# Современник от судьбы

С Анаром меня познакомил его отец, выдающийся азербайджанский поэт Расул Рза, в начале 60-х годов в Москве. Расул Рза был одним из самых глубокоуважаемых мной поэтов современности, большим художником и мудрым человеком. В течение многих лет он, как и ныне покойные Имран Касумов, Кара Караев был моим задушевным собеседником во времена наших встреч в Москве, на писательских съездах и пленумах, на заседаниях Комитета по Ленинским и Государственным премиям. Во время одной из таких встреч он и представил своего сына, который учился тогда в Москве, если не ошибаюсь, на Высших Сценарных Курсах.

Анара, как писателя, я впервые узнал, прочитав его эссе, посвященное великому Джалилю Мамедкулизаде. Это эссе под названием «Большое бремя – понимать», было опубликовано в журнале «Новый мир» в период редакторства незабвенного А.Т.Твардовского. Я был членом редколлегии «Нового мира» и помню, что эссе было встречено с большим интересом, ибо, впервые на современном литературном уровне знакомило русского и союзного читателя с творчеством и трудной судьбой классика азербайджанской литературы. Это был взгляд на Дж.Мамедкулизаде представителя нового поколения, поколения шестидесятников. Анар не обходил острых углов в судьбе этого писателя, как в царские времена, так и в советский период. Автор особо подчеркивал, что Дж.Мамедкулизаде был не только врагом ура патриотизма и религиозного фанатизма, но и не менее яростным противником русификаторской политики царских властей. Это был довольно-таки смелый пассаж в тексте национального автора. Анар открыто писал, что именно этот вопрос как-то стыдливо замалчивается в литературоведении. Он нашел, на мой взгляд, приемлемую формулу, утверждая, что Дж.Мамедкулизаде искренно любил русский народ, но не как подданный Российской империи, а как человек, воспитанный на великой культуре этого народа.

Примерно в те же годы мое внимание привлекли и рассказы, повести, статьи Анара, опубликованные в московской прессе – в «Литературной газете», «Советской культуре», «Неделе», в журнале «Дружба народов», телевизионные спектакли по его произведениям, экранизированные и показанные Центральным телевидением.

Анар писал и пишет в основном о близком ему круге городской интеллигенции, его прозе присуще психологическая достоверность, лаконизм, кинематографическая зримость и пластичность. Как в прозе, так и в публицистике он ставил и ставит самые острые вопросы духовной жизни своего народа и мучительно ищет ответы на эти вопросы. Ищет вместе со своими героями, а не за них.

Анар один из ярких и интересных представителей поколения шестидесятников, которому с гордостью причисляю себя и я, хотя я и несколько старше по возрасту. Несмотря на модное сейчас снобистское и скептическое в лучшем, и циничное, откровенное хамское, в худшем случае, отношение к шестидесятникам, убежден, что самые талантливые представители этого поколения в литературе, театре, кино, сыграли огромную роль в духовном, эстетическом и даже идеологическом обновлении общества. На основах, заложенных лучшими представителями этого поколения, как в России, так и в бывших союзных республиках, взошли идеи свободы, демократии, независимости.

Именно приверженностью этим идеям, как в своем творчестве, так и в общественной деятельности, Анар очень близкий мне собрат по перу, с которым за долгие годы контактов нас связывают взаимные симпатии.

Когда Анар приезжал в Бишкек на юбилей «Манаса» и был гостем в моем доме, я подарил ему свою книгу с автографом «От старшего брата». А недавно Анар подарил мне свою новою книгу с надписью «От младшего брата». И это не просто слова, нас, как и наши народы, связывают братские чувства.

В советское время Анар был писателем, чье творчество вызывало большой интерес и союзной литературной критики, и огромной читательской аудитории бывшего СССР.

В то время мы больше встречались в Москве, на писательских собраниях, на заседаниях Верховного Совета СССР, и я помню, с какой душевной болью Анар рассказывал мне о самой большой проблеме Азербайджана о карабахской трагедии.

Сейчас мы чаще встречаемся в Турции, в Стамбуле (хотя в июле этого года снова встретились в Москве, оба выступили в Колонном зале, на международной конференции «Религии против террора».)

Принимая участия на разных симпозиумах, конференциях в Стамбуле, мне приятно видеть каким уважением пользуется Анар в Тюркском мире, и благодаря своим изданным в Турции книгам, и своей принципиальной, взвешенной позицией во время обсуждения самых важных литературных и общественно-политических вопросов. Именно он был инициатором издания двуязычного (на турецком и русском) журнала «Да» («Диалог Авразия»), в течение четырех лет возглавлял международную организацию в Стамбуле под названием «Платформа Авразия», а сейчас является ее почетным председателем.

Но больше всего меня радует, что Анар, в свои уже немалые теперь годы, активно занимается творческой работой. По собственному опыту знаю насколько трудной, порой неблагодарной работой является руководство творческим союзом. Анар уже 18 лет возглавляет Союз писателей Азербайджана, являясь при этом и депутатом Парламента своей страны, Председателем его Комиссии по культуре, не говоря о других ответственных общественных обязанностях, и при этом остается верен своему основному призванию – литературе.

С интересом прочел последние вещи Анара – повесть «Комната в отеле», навеянную турецкими впечатлениями. Я знаю, что Анар очень любит эту страну, хорошо знаком с ее историей, культурой. Но вместе с тем, он в этой повести не боится писать и о том, что для него неприемлемо. Трагическая судьба главного персонажа повести – азербайджанского ученого в Турции – в каком-то смысле – символ краха многих иллюзий.

Своеобразна и последняя крупная вещь Анара «Белый овен, черный овен». Отталкиваясь от фольклорного образа – сядешь на белого овна, выйдешь в светлый мир, сядешь на черного – попадешь в мрачный и темный мир, – в двух частях своего произведения писатель воссоздает две модели будущего своей родины – Азербайджана. Счастливой, благополучной, свободной, демократической страны, в которой решены все территориальные, национальные, социальные, духовные проблемы в первой части и страшную версию во второй – та же страна, разделенная на три фактически оккупированные зоны – в одной царит чудовищный религиозный фанатизм, регулирующий и регламентирующий даже семейные отношения в другой коммунистическая система в самой худшей форме духовного подавления личности, фарисейства и догматизма, в третьей – дикий капитализм с поклонением золотому тельцу и с попранием всех моральных, культурных ценностей. И если несколько лубочная идиллия первой части кажется нам далекой от реальности утопией, то ужасы второй части – антиутопии, вызывают вполне определенные ассоциации с постсоветской действительностью. И не только в Азербайджане.

Зачатки этих угроз существуют во всех бывших республиках, а в некоторых уже воплотились в жизнь.

Так вот, я желаю Азербайджану, родине Анара, приблизиться к тому идеалу, который в своих мечтах увидел писатель. И чтобы все опасности, от которых он предостерегает, никогда не осуществились бы в действительности.

Анар подарил мне и свой фотоальбом, в котором опубликовано и мое (вместе с казахским писателем М.Шахановым) приветствие ему по случаю 60-летия. Закончу эти заметки цитатой из того приветствия:

«Дорогой Анар. Мы знаем Вашу литературную династию и Вас, как одного из славных сынов азербайджанского народа... Вы достигли 60-летия в очень сложный исторический период, что отражается в постижении вами новых проявлений духовности присущего вам выдающегося таланта».

Эти слова я хочу повторить и сегодня, хотя сегодня Анару уже далеко за 60 и дай Бог двигаться дальше...

2005 г.

Чингиз Айтматов

# Последняя ночь уходящего года

Рассказ

Наступил последний вечер уходящего года. Время близилось к девяти. Гамида-хала[[1]](#footnote-1) хлопотала на кухне. Тофик поминутно бегал к телефону, а затем влетал в кухню, чтобы выпалить очередную новость.

– Мама, знаешь, Сейран тоже придет!

– Кто такой Сейран, милый?

– Ой, неужели ты не помнишь? Он же тебе нравился; ты еще сама сказала, что он очень аккуратный.

– А-а-а! Ну что же, прекрасно.

Тофик волнуется. Еще бы! Впервые за всю свою четырнадцатилетнюю жизнь он встречает Новый год в «компании». «Компания» – это его школьные друзья-восьмиклассники. Еще три месяца назад они начали договариваться о встрече Нового года.

– Давайте соберемся у нас, – предложил Тофик. – Кроме мамы, никого дома не будет, а она рано ложится спать.

– А старший брат и сестра?

– Они никогда не встречают Новый год дома.

Тофик открыл матери «секрет»: девочки тоже придут. Родители разрешили.

– А еды хватит? – беспокоится Тофик.

– Хватит, хватит, дорогой, – успокаивает его Гамида-хала. – Пусть еще хоть десять гостей придут. Всех накормим.

Тофик вновь бежит к телефону, звонит то одному, то другому, с кем-то долго и горячо спорит. Потом звонят ему – и снова длится долгий разговор. Ему кажется, что собрать эту компанию – дело невыполнимое. И в самом деле, один хочет прийти пораньше, другой – попозднее, третий далеко живет, четвертый не знает адреса, пятый вообще раздумал приходить. Больше всего, разумеется, капризничают девочки.

– Вот видишь, мама, Франгиз не придет.

– Почему, сынок?

– Она, говорит, думала, что мы будем одни, а оказывается, говорит, твой брат и сестра дома, я стесняюсь.

– Что же делать, милый? – разводит руками Гамида-хала.

Тофик зло смотрит на дверь, ведущую в комнату, где почему-то сидят и не уходят Дилара и Рустам.

– Никогда не бывают дома, а сегодня, как назло, вдруг им захотелось встретить Новый год в семейной обстановке, – сетует Тофик, язвительно подчеркивая последние слова.

– Ну не выгонишь же их, – пытается успокоить Тофика мать.

Но он, вконец расстроенный, выходит из кухни и снова хватается за телефонную трубку.

– Не виси на телефоне! – открыв дверь, кричит Дилара. – Может, кто-нибудь звонит нам!..

Странно, что Дилара дома в этот новогодний вечер. Такого с ней за последние годы еще не случалось. А Рустам? Тут уж совсем ничего не понять. Его под Новый год видели дома только при жизни отца...

Да, при Газанфаре шумно бывало у них в новогоднюю ночь, всегда собиралось много друзей. После его смерти семья несколько лет не отмечала новогоднего праздника. Гюляра и Рустам уходили к друзьям. А Гамида-хала с Диларой и Тофиком засветло укладывались спать. Потом стала уходить и Дилара. Теперь, видать, настал черед Тофика.

Но сейчас все дома. Нет, не все. Нет Газанфара. Он умер семь лет назад. Нет и Гюляры – она с мужем будет у свекра. Так никогда не бывает, чтобы все были вместе. Всегда кого-то нет.

Стенные часы бьют десять. Тофик, завершив «дипломатические» переговоры, вновь входит в кухню и почему-то смущенно переминается с ноги на ногу.

– Что, Тофик, все не можешь собрать гостей? – участливо спрашивает Гамида-хала.

– Да нет, но... – мнется Тофик и, с трудом переборов смущение, выдавливает: – Понимаешь, мам, Рауф говорит, приходите к нам. Его родители куда-то уходят... И мы будем одни. Совсем одни...

– Ну что же, милый, – произносит Гамида-хала и проводит теплой рукой по волосам сына. – Если вам так хочется, соберитесь у Рауфа. Что тут такого...

У Тофика заблестели глаза: мать не обиделась!

– Только что вы там будете есть?

– Что-нибудь найдется, – радостно отвечает Тофик. – Консервы или еще что-нибудь в этом роде...

– Какие там еще консервы! – сердится Гамида-хала. – Возьми немного плова.

– Нет, нет, мамуля, на что нам плов? Да если я явлюсь с казаном под мышкой, меня все засмеют.

Гамида-хала слабо улыбается.

– Ну ладно, иди!

И в самом деле, на что им плов? Они будут есть консервы и чувствовать себя свободными и независимыми... А здесь они ели бы вкусный плов, но чувствовали бы себя стесненно, скованно. Плов и консервы, прошлое и будущее, старость и молодость... Вот о чем думает Гамида-хала.

Тофик крепко целует мать и уходит.

Рустам спит в своей комнате. Так он, во всяком случае, заявил: «Я ложусь спать, не будите меня». Гамида-хала прекрасно знает причину этого «сна». Уже целую неделю Рустам в ссоре со своей невестой, и они принципиально не звонят друг другу.

Дилара себе места найти не может. Она слоняется из угла в угол, перелистывая старые журналы, включает телевизор и то и дело поглядывает на телефон. А телефон молчит.

Гамида-хала продолжает стряпать.

Раздается звонок. Гамида-хала отворяет двери. В переднюю входит Гюляра и ее муж Сулейман с Вагифом на руках.

– Милости просим, – радушно встречает их Гамида-хала. – Проходите в комнаты, я сейчас.

«Что бы им прийти на десять минут раньше. Как было бы хорошо! – думает она. – Вся семья была бы в сборе. Даже если бы Тофик и ушел потом...»

Гамида-хала моет руки и спешит к гостям.

– Какими судьбами?

– Пришли поздравить тебя с Новым годом, – отвечает Гюляра.

Снова звонок. В комнату, запыхавшись, влетает подруга Дилары Лейла.

– Ой, знаешь, Дилара, уф, не могу!..

– Да ты отдышись, дочка, – успокаивает ее Гамида-хала. – Что-нибудь случилось?

– Да ничего особенного, – переводя дыхание, отвечает Лейла. – Просто я бежала всю дорогу... Директор сказал; «Во что бы то ни стало найдите Дилару. Какой может быть без нее концерт!»

В глазах Дилеры на миг вспыхивает радость, но она тут же напускает на себя безразличие.

– Нет уж, извините! Теперь им Дилара понадобилась. Могли меня заранее включить в программу. А сейчас... Подвел, наверное, кто-нибудь...

– Нет, нет, честное слово! – горячо убеждает Лейла. – Директор даже не подозревал, что тебя нет в программе. А когда узнал, знаешь, как рассердился!..

Только сейчас Гамида-хала догадалась, почему Дилара дома.

– Одевайся, да побыстрее, – строго говорит она дочери. – Не время капризничать. Раз зовут – иди.

Дилара мотает головой – ни за что. Но Гамида-хала знает свою дочь. И действительно, через несколько минут девушки, нашумев, убегают.

Гамида-хала извиняется – ей надо на кухню. Гюляра следует за ней.

– Знаешь, мамочка, мы приглашены к друзьям Сулеймана. Но вот Вагиф... Пусть он побудет у тебя?

– Конечно, дочка, пусть останется...

Гюляра быстро укладывает Вагифа.

– Ну, мамочка, нам пора. Откровенно говоря, мне эта компания не по душе, я бы с удовольствием осталась с тобой, да боюсь – обидятся. Ну, дай я тебя поцелую. Как говорится, с наступающим!..

– Будьте счастливы, Гамида-хала, – прощается Сулейман.

– Спасибо, родной! Всего доброго, всего хорошего...

Хлопает дверь. Гамида-хала возвращается на кухню и, повторяя «всего доброго, всего хорошего», продолжает готовить плов на пятнадцать человек. Вдруг вспоминает: Рустам! Она идет в комнату сына.

– Рустам, ай Рустам!

– Да?

– Вставай, нельзя столько спать, а то весь год проспишь!

– Ах, мама, оставь, пожалуйста!

– Слушай, я с кем говорю? Вставай сейчас же! У меня к тебе дело. Иди-ка сюда!

– Ну что там еще?

– Иди и помоги мне.

– Рустам нехотя поднимается с кровати, Гамида-хала берет его за руку и тянет в переднюю.

– Возьми трубку и звони!

– Куда звонить?

– Сам знаешь!

– Не буду!

– Нет, позвонишь! Никто из моих детей и ты сам никогда еще не перечил мне. И если ты сегодня не сделаешь того, о чем я прошу, на всю жизнь обижусь.

– Мама, но ведь...

– Звони! И все!

– Но...

– Если не хочешь обидеть меня.

Рустам мнется.

– Ну?

– Вот только ради тебя...

Гамида-хала уходит в комнату, где уже сладко посапывает маленький Вагиф. До нее доносится жужжание вращающегося телефонного диска и негромкий голос Рустама.

– Да... здравствуй...

Несколько секунд холодного молчания и безразличное:

– Как видишь, да...

Снова молчание, а потом голос, полный иронии:

– В самом деле?..

«Наверное, она сказала ему что-нибудь не так», – думает Гамида-хала.

– И я тоже. Можешь быть уверена на все сто процентов, – произносит Рустам тоном, способным заморозить уши его собеседницы.

«И зачем они так, – сокрушается Гамида-хала. – Ведь любят же друг друга».

И вдруг Рустам переходит на шепот. Гамида-хала не разбирает слов, но чувствует: в голосе Рустама уже нет ни холода, ни иронии. Потом сын начинает говорить громко. Вот сейчас – это ее Рустам: ласковый, чуткий. Он чему-то смеется, и вновь наступает молчание. Но уже не то, ледяное, а теплое и живое.

Зевок, спокойный, безмятежный зевок, и вопрос:

– А что мне у вас делать?

«Она его зовет к себе», – догадывается Гамида-хала.

– Нет, знаешь, я сказал маме, что буду сегодня дома.

Гамиде-хала хочется встать и сказать ему: «Иди!» Но она не поднимается с места.

– Не знаю, право. А кто у вас будет?

«Ну вот, можно и не вставать, он пойдет…»

– Нет, знаешь, мне что-то не хочется. Если бы вы были одни... Честное слово, я не капризничаю. Но я их не люблю.

«Нет, не пойдет...»

– Так вот, поздравляю тебя с наступающим годом. Желаю много, много...

«Не пойдет... Определенно не пойдет!»

– Ты очень хочешь, чтобы я пришел?

«Кажется, пойдет».

– Нет, давай завтра утром...

«Нет, не пойдет...»

– Ну, хорошо, хорошо. Не начинай все сначала. Может быть, приду.

«Пойдет».

– Как, который час? Двадцать минут двенадцатого? Есть, иду!

Рустам вешает трубку и вбегает к матери.

– Мам, знаешь...

Между Рустамом и Тофиком семь лет разницы. Но смущаются они одинаково. Это от Газанфара. У того, когда он смущался или нервничал, тоже начинал дрожать мизинец.

– Иди, милый, иди. Передай ей от меня большой, большой привет!

Рустам быстро одевается, спрашивает:

– А куда девалась наша мелюзга?

– Дилара пошла в школу, будет петь в концерте, а Тофик у товарища. У них собралась компания...

– Тофик с компанией? Дожили!

– А что ж! Тофик уже взрослый парень.

– Так ты совсем одна?

– Ну почему же одна. Вот Вагиф у нас.

Рустам улыбается.

– Хороший у тебя кавалер, ничего не скажешь. И уже серьезно: – Нет, если бы я знал, что ты останешься одна...

– Почему же одна? Мы будем вдвоем с ней. Побеседуем...

– С кем? – удивленно спрашивает Рустам.

– Да вот с той девушкой, что в телевизоре, – отвечает Гамида-хала. Рустам смеется. – А кроме того, – продолжает она, – ты же знаешь, что я рано ложусь... Посижу немного и лягу спать. Когда вернешься, звони сильнее, а то не проснусь.

Рустам, конечно, не помнит: когда был жив Газанфар, в новогоднюю ночь в доме веселились до утра.

Попрощавшись с матерью, Рустам уходит.

Стол накрыт на двенадцать человек. Сейчас он выглядит странно в безлюдной комнате. Но еще удивительнее, что Гамида-хала накладывает в огромное блюдо плов и ставит его на стол, приговаривая вполголоса:

– Вы сядете сюда, Рагим и Назифа пусть сядут на том конце, а ты, уста[[2]](#footnote-2), вот здесь... Теймур, пройди сюда к жене, а вы, дети, чуточку потеснитесь... Султан – вот твое место, ведь ты будешь тамадой...

Гамида-хала беззвучно смеется. «Кажется, я немного тронулась».

Она выходит на балкон. Тихо, пусто. «Неужели хоть кто-нибудь сейчас бродит по улицам?» Едва успела Гамида-хала подумать об этом, как заметила двух прохожих. Они вышли из магазина – в руках покупки. Ежась от холода, громко смеясь и переговариваясь, они спешат куда-то. Гамида-хала возвращается в комнату. Включает телевизор. На экране – девушка-диктор.

Гамида-хала придвигает стул поближе к телевизору и садится.

– Давай побеседуем, доченька. Тебе, наверное, надоели эти передачи, ведь правда? Все празднуют, а ты здесь!..

«Одним из серьезных культурных достижений в уходящем году была постановка балета молодого композитора Юсифова», – говорит девушка на экране телевизора.

«Молодой композитор Юсифов...» «Этот молодой композитор, – думает Гамида-хала, – веселится в кругу своих друзей и даже не слушает тебя. Сейчас вряд ли кто смотрит передачу». И вновь обращается к девушке:

– Иди ты, доченька, домой. А о достижениях нашей культуры расскажешь завтра. Они за ночь никуда не убегут, эти достижения.

«Многие выдающиеся произведения живописи созданы также и нашими художниками», – продолжает диктор.

– Сейчас без двадцати двенадцать. Возьми машину, дочка, и как раз успеешь. Ведь тебя ждут... Тебя есть кому ждать. Ты молодая и красивая. Наверно, у тебя жених. Ему сейчас тоскливо одному. Разве не так, милая...

«...Работа Фазилова, посвященная пастухам, очень оригинальна и естественна...»

– Ну и пусть естественна. А ты, доченька, спеши. Как жених обрадуется! Он поцелует твои волосы. Они у тебя красивые. Пусть весь Баку сейчас смотрит на тебя, но тебе ведь хочется быть только с ним, разве не так?

«В числе новых кинофильмов...»

– Понимаю, доченька. Работа! Нельзя так просто оставить все и уйти. Но ведь обидно, в такой вечер...

«А кто же еще одинок в этот вечер? – спросила она себя и вспомнила: – Телефонистка в справочном бюро!»

Гамида-хала подошла к телефону и набрала «09». Послышались частые и тонкие гудки. Занято. Набрала еще раз. Женский голос ответил:

– Справочная!

– Здравствуй, дочка.

– Какой номер?

– Я говорю, здравствуйте. Поздравляю вас с Новым годом.

– Спасибо!

– Вы одна, вам скучно, наверно?

– Кто это говорит?

– Просто так, женщина.

– А, Рая! Я тебя не узнала. Что хорошего? Где ты, с кем?

– Нет, это не Рая. Вы меня не знаете.

– Так что же вам нужно?

– Ничего. Просто я хотела вас поздравить и спросить, как вы себя чувствуете в этот вечер.

– Благодарю, – сухо бросила телефонистка и тут же добавила: – Не занимайте, пожалуйста, линию! Новый год еще не начался, а вы уже, видать, успели...

Гамида-хала рассмеялась и положила трубку.

Девушка ушла с экрана телевизора. Передача кончилась. По бакинскому времени уже наступил новый год. Гамиде-хала стало чуточку грустно, что девушка, с экрана исчезла. Теперь она была совсем одна. Вскоре позвонил Рустам, поздравил мать. Чуть позже позвонил Тофик; за ним Гюляра – поздравила, спросила о сыне, Дилара не звонила – в школе трудно добраться до телефона.

Гамида-хала включила приемник, но легкая музыка пришлась ей не по душе. Она очень любила слушать Бюль-Бюля, и у них были отличные магнитофонные записи его песен, Гамида-хала включила магнитофон.

«Почему к концу жизни человеку остаются одни эти аппараты? – подумала она, но сразу отогнала грустную мысль. – Нет, я не права. Мне остались не одни аппараты. У меня чудные дети. И все меня любят». И вдруг ей пришла в голову странная мысль. Ей захотелось услышать голос Газанфара. Она пыталась прогнать эту мысль, но не могла. Дело в том, что Газанфар как-то записал свой голос на магнитофонную ленту. После его смерти никто в доме не решался прослушать запись. И вот теперь ее неудержимо потянуло сделать это.

Не в силах совладать с собой, Гамида-хала достала из ящичка заветную ленту и вставила ее в аппарат.

Послышались смех, возгласы, она различила свой голос и голоса детей. Потом наступила внезапная тишина, и мягкий голос Газанфара произнес:

– Слушай, Гамида...

У Гамиды-хала перехватило дыхание, и по спине поползли мурашки. Как будто Газанфар разговаривал с ней из другого мира.

– ...Я не поэт и не философ. Я обыкновенный рабочий. Правда, у меня есть какое-то имя, и если соберутся пять человек, то хотя бы один из них наверняка меня знает. Но повторяю, я самый обыкновенный человек и не собираюсь мудрствовать и философствовать. Но у меня есть жизненный опыт. Я, как говорится, повидал и лицо и изнанку жизни и хочу тебе кое-что сказать... Придет день, и меня не станет...

В репродукторе магнитофона раздался звенящий от негодования голос Гамиды-хала:

– Хватит! Ради бога, не продолжай! Без тебя нам и дня жизни не нужно.

Какими естественными были тогда эти слова; тогда они казались неопровержимой правдой.

Послышался смех Газанфара.

– Ну, хорошо, женушка! Пусть это будет лет через сорок-пятьдесят... придет день, и я уйду...

– Газанфар!..

– Не перебивай! Дай мне произнести мою литературную речь. – Газанфар вновь засмеялся. – И тогда я оставлю тебе единственный клад – наших детей. Конечно, если смерть не поспешит, я сам воспитаю их. Но если... Тогда это сделаешь ты. Не обязательно, чтобы они у нас стали врачами, инженерами, учеными. И пусть будут кем захотят, лишь бы они были людьми, хорошими людьми.

И еще, Гамида, наступит день, все они вырастут и, как птицы, улетят из родного гнезда. Не называй их отрезанными ломтями. Помни, куда бы они ни ушли, в какую бы среду, в какую бы семью ни попали, они унесут с собой что-то твое и мое, точно так же, как мы, встретившись, принесли каждый что-то от своих отцов и матерей.

– Скажешь – философствует Газанфар? Но это истинно так: ничто в жизни не кончается, не пропадает, никто не умирает. То, что начинает один, продолжает другой. От одного поколения к другому переходит и хорошее и плохое. Мы с тобой, Гамида, мне кажется, прожили и еще проживем хорошую жизнь. Своими руками добывали свой хлеб. Пусть все то доброе, что было в нашей жизни, и дети наши возьмут в свою новую жизнь...

Так... Конец ленты... Правда, можно было послушать снова. Но сколько бы ни слушала Гамида-хала, Газанфар не скажет ничего больше. Но это уже не печалило Гамиду-хала. Она взглянула на стол и не стала ничего убирать. Прилегла рядом с Вагифом, осторожно погладила его черные как смоль волосы, коснулась губами теплого лба...

Январь 1960г. Баку

Перевод Гр.Грекина

# Рассказ гардеробщицы

*Рассказ*

Моя работа какая? Принимаю и сдаю пальто. Ну, в общем – состою при вешалке. А в учреждении народу много. Всех и не упомнишь... Да и когда примечать? С ног собьешься, покуда бегаешь с одеждой взад-вперед. Народу за день всякого перебывает видимо-невидимо, уж чего-чего, а одежу каждого в лицо знаю. А как же! Соображаю, у кого какое; у одного – одно, у другого – другое. У всех разные пальто – и покрой и мода, как вы теперь ее называете... *Я* и без номерка не спутаю. За семь лет сколько ее перенянчила, разной-то одежи, день-деньской бегаешь с ней в обнимку. Известно, будешь помнить.

Ты вот, может, не поверишь, а знаю, куда чье пальто пове­сить. Смотрю, к примеру, эти приходят и уходят вместе. Ну, куда их одежу вешать? Рядом и вешаю. Да я не о том хотела...

История тут одна вышла. Ну, по правде, истории-то никакой, просто... Вот то место, видишь, где кожанка та висит? Так на то место года два-три назад всегда вешала, бывало, два пальто. Одно такое женское, беж, помню, очень новое. Да черное, мужское. Поношенное было, рукава истертые... Так вместе и висят у меня весь день. Утром примешь вместе, вече­ром вместе отдашь.

А то, случалось, не придут, так и пустует номерок. Я думаю, и болели-то они оба враз. Гадать, сынок, не гадала, кто они друг для друга; муж ли с женой, или еще кто, но прямо неразлучные!

Помню еще, ходил тот мужчина в белом шарфе, знаешь, такие мужские шерстяные шарфы, в точности, как на тебе, сынок, такой же точно. Снимет, этак засунет в карман пальто... А как холодно на дворе либо задождит с утра, всегда в такое непогожее время принимаю шарф с женским пальто...

Подаст сперва ее, женское, повешу подниз, а поверх уж его. Глянешь иной раз, ну чисто живые люди! Обнимает черное-то ее пальтишко, укроет собой. Как от дурного глаза бережет.

Так и было с ними – вместе да вместе.

Придут на работу пораньше либо наоборот – опоздают, а их место всегда ихнее. Бывало, народу найдет, уж такая толкучка, всех раздеть и места не хватает. И хоть не видать моих, все потихоньку оставлю местечко... И сама не знаю, отчего это у меня было... Не решалась!

Было тогда у меня на примете еще одно пальто. Тоже мужс­кое, коричневое. Это всегда отдельно висело. Придет, по сторо­нам не глядит, скинет – и пошел себе. Один ходил. Пришел один и ушел один. Ни приятелей, ни знакомых – никого у него не было.

Хорошее было пальто, новое, из дорогого материала. Такое запомнишь! Как-то оборвалась на нем вешалка – взять бы иголку с ниткой, дело-то пустяковое, так нет! Мука мне чистая с ним была. Как ни повесь, все грохнется наземь. Я уж и говорила и совестила... А на другой день опять, как было, по-старому. Дело-то оно пустяковое, да смотря для кого. А этот, видать, иголки сроду не держал в руках... Ну, лопнуло у меня терпение, взяла да и сама пришила...

Так и шло себе время полегоньку. В один прекрасный день... помню, народу много, все торопятся, ко мне очередь от самых дверей. Еле поспеваю. Тоже ведь – надо людей раздеть поскорее, чтоб толкотни не было, да номерки не спутать, беспорядку не допустить. Запыхалась я, прямо-таки ног не чую. Потом гляжу, стало спокойнее. Ну, думаю, слава тебе... Хоть дух перевести. Села в сторонке, и тут – батюшки, никак я в спешке-то моей ошиблась, своих повесила порознь! То, легонькое женское-то, у меня с коричневым. Эх, непутевая, говорю себе. Пошла, посмотрела; может, черное сунула на место этого коричневого? Да вижу – нет, пусто. Один номерок висит.

На следующий день то же. И другие дни...

Потом, вижу, пришел! Этот мой, в черном. Подает пальто... Что ж делать, сынок, повесила я отдельно. Не могла же я на одно место повесить три пальто! А день был нехороший: дождь не дождь – так... маленько моросило. Такое как зарядит с утра, считай на полный день. И намочить не намочит, только скука. У всех пальто сухонькие, чуть, может, рукава влажные. А у моего – ну, хоть выжимай! Нитки живой нету.

Что ж, время идет, прошло этак с месяц. Все как было. Как с того дня началось. Я уж стала привыкать. Да вот как-то обращается ко мне тот, что в черном. Вокруг, конечно, никого. «Очень, говорит, вас прошу, подайте мне ее пальто, хоть на минутку». И показывает на это самое, женское.

Ты, сынок, знаешь, какой у нас порядок. Кто какой номерок даст, такое пальто и получит. Будь ты мне родной брат, а без номерка не выдам. Про чужое пальто и говорить нечего! А тут словно что сделалось со мной. Смотрю я на него, как он мнется, и думаю себе, жалею; эх ты, родимый мой, чего же теперь глядеть? Гляди не гляди, ничего не переменится.

Дескать, видно, так тому и быть. Ему-то я этих слов не сказала, а пошла и сняла с вешалки пальто. Ладно, думаю. Он взял, поглядел, поглядел... потом вернул. «Спасибо»,– говорит. И ушел. Ну, а больше я его не видела.

15 декабря 1959г. Баку

Перевод Г.Ковалевича

# Наутро после той ночи

*Рассказ*

Стояла весенняя ночь тридцать седьмого. Тихая бакинская улица.

В начале ее вздыбились два дома, громоздких, как старые утюги.

За домами – скверик.

Как земля впитывает влагу, так и улица впитала и поглотила все дневные голоса, звуки шагов и колес.

Скверик обезлюдел, обезулыбился; полосатые скамейки издали похожи на чистые, без помарок разлинованные страницы тетради.

Лишь на одной из скамеек, над которой обломанным крылом свесилась ветка, сидела и миловалась парочка.

Сквер, улица, дома окунулись в темень. Лишь из окна четырехэтажки по правую руку сочится в ночь жидкий свет.

Все спят. Но спят мятно, тревожно.

Примерно к двум часам полуночи безмолвие улицы было расколото скрежетом – у четырехэтажного дома затормозила машина.

Шум ржавых тормозов стремительно подъехавшей машины, как ножом, рассек и отбросил сны.

Никто не встал с постели. Никто не выглянул с балкона. Никто не подошел к окну.

Люди напрягли слух.

На первом этаже, в первой квартире, обитала пожилая чета.

Башир-киши был домкомом.

Жену его звали Зулейха.

Только что ей снилось родное село, из дымохода вился белый-белый дым. Кто-то громко окликнул ее: «Зулейха, снеси-ка посуду эту, вымой, где ты пропала?» Она подошла на голос и узнала маму.

Домком Башир же во сне пил огненно-рыжий чай, аппетитно дымившийся в грушевидном стаканчике – армуды.

Затормозившая машина разбудила их враз. Стали прислушиваться. Вот открылась дверца.

– Аллах, упаси от беды, – прошептала Зулейха. Ей захотелось истолковать только что виденный сон. Вода – ко благу... еще мама...

Дверца машины захлопнулась.

– Упаси Аллах...

Донеслись шаги. По их звуку Башир попытался определить число пришельцев: трое или четверо.

Открылась парадная дверь.

Затоптались совсем близко; у дверей Башира.

«Кого-то возьмут в эту ночь?» – думал-гадал он.

Топот миновал дальше.

Напротив на площадке, во второй квартире, жила старуха-вдова Захра. После смерти мужа одну из двух комнат она сдавала внаем.

Старушка была туговата на ухо и спала крепко, хоть из пушки пали – не добудишься. Вот и теперь – не проснулась. Квартиранткой у нее жила машинистка Сакина, тридцатидвухлетняя, невзрачная, обходительная скромница.

Она-то проснулась сразу и стала тревожно прислушиваться. Пока топот приблизился к их дверям, в ее голове молниеносно пронеслись тысячи мыслей. Как капельки ртути, дробились мысли в ее мозгу, распадались, разбегались, вновь сливались и вновь дробились, и вновь соединялись...

«Не может быть, чтобы из-за одной буковки никто кроме Ахмедова не знает разве Ахмедов опустится до такого но нет правда слово-то важное будь оно неладно надо же мне споткнуться именно на этом слове черт бы побрал эту букву «з» обязательно ей надо было приткнуться к «п» партия-зартия нет не поверю Ахмедов такого себе не позволит но кто знает чужая душа потемки может быть из страха за свою шкуру нет он не трус ладно ведь в кабинете нас было двое кто мог еще знать может он заподозрил что я нарочно а мне обязательно нужно было дать маху на таком слове партия-зартия кому в голову могло прийти что одной буквой так исказится смысл теперь поди докажи что не нарочно случайно так вышло да с какой стати мне нарочно пакостить себе я человек маленький ни с кем ничего сотню страниц отстукаешь а из-за одной опечатки партия-зартия эх нет Ахмедов мужчина хоть и часто бранит меня, а на такую низость не пойдёт, нет, нет быть не может, не верю, но что ни говори, нет, ведь...».

Сакина извлекла из-под подушки узорчатый, собственноручно вышитый платок и отерла холодную испарину со лба. Шаги громыхали по лестнице. На втором этаже, в квартире номер три, жил холостяк архитектор Сурхай. Единственный свет шел из его окна. Он трудился над проектом новой школы. Завтра – последний срок, потому и работал всю ночь.

Он так ушел в работу, что ничего вокруг не замечал. Не слышал ни скрежета тормозов, ни топота на лестничной клетке. Не услышал он шагов и теперь, когда они раздались у его дверей, звук шагов миновал в направлении четвёртой квартиры.

Там жил старый партиец Курбан-киши.

В последние три месяца каждую ночь он оставлял на тумбочке у кровати смену белья, зубной порошок, зубную щетку и три куска мыла -друзья смолоду его окрестили чистюлей.

Едва машина подкатила к дому, как Курбан-киши открыл глаза. Он еще не спал. Вообще в последнее время он спал плохо. Но был он спокоен и тверд. Когда топот поднимался ступень за ступенью, он подумал: «Сегодня 14 марта тридцать седьмого».

В человеческой жизни случается несколько самых важных дней – дни, запечатлевающиеся в памяти, – день, когда ты родился, день первой влюбленности, день, когда становишься отцом или матерью, день утраты дорогого человека, день, когда сбылась заветная надежда, – и еще день, которому не суждено запечатлеться в памяти, день угасания памяти – смертный день – вот самые важные вехи жизни человеческой.

Шаги приблизились к дверям Курбана-киши.

«Четырнадцатое марта»... – твердил он это число и отчего-то воскрешал в памяти самые важные дни жизни своей.

7 декабря 1903 года. Петербург. Первая тайная студенческая сходка.

18 августа 1904 года. Первая студенческая демонстрация.

22 февраля...

10 сентября...

8 июля...

Ссылка...

Подполье...

Гражданская война...

28 апреля 1920 года. Утро в Баку.

5 октября 1936 года. Последняя серьезная стычка с Хозяином-Киши. Все семь месяцев, прошедших с того октябрьского дня, Курбан-киши ждал еще одного важнейшего дня, вернее, важнейшей ночи в своей жизни. Ждал каждую ночь. Ждал эту ночь.

«Значит, ночь на четырнадцатое марта».

Теперь он думал уже не об этой дате, а совсем о другой. Он знал, что, хотя и эта ночь – одна из важных дат его жизни, все же она не последняя из них. Он знал, что есть в его жизни еще один важный день, важное утро. Утро правды и справедливости. Когда же оно наступит? В какой день? В каком месяце? В каком году? Может оно наступить, когда его самого уже не будет на свете.

Звук шагов уперся в дверь Курбана-киши.

Курбан-киши приподнялся на локте, свесил ноги на пол, нашаривая впотьмах шлепанцы. Босую ногу, коснувшуюся пола, обдал холодок. Елозя ногами, как слепец палкой, он нащупал-таки шлепанцы.

Обул правую ногу, левую – не пришлось: он изумленно застыл, прислушиваясь к отдаляющимся – ступень за ступенью – шагам.

На третьем этаже было две квартиры. Одна опустела недели две тому назад.

Там жил композитор Фарадж, пока никто в ней не поселился. В шестой же жила молодая семейка – Джаваншир с женой Тавус и шестилетней дочуркой Реной. Когда машина завернула за угол, рука Джаваншира, гулявшая по пояснице жены, обездвижела и замерла. Через мгновение, отстранившись от жены, он вскочил на ноги. И Тавус напружинилась, затаив дыхание. И он, и она стали вслушиваться.

Дочурка безмятежно спала, и снилось ей большое, светлое голубое окно – окно без занавесок, и кто-то учил ее считалке: раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...

Раз, два, три, четыре, пять.

Когда машина затормозила у подъезда и в парадном раздался топот, Джаваншир прошептал жене два слова:

– За Курбаном, наверное.

Его информированность имела свои основания. Двумя неделями раньше, когда вот также к дому подкатила машина, он уведомил жену:

– За Фараджем.

На первых порах, когда жене открылась тайна догадливости мужа, она смотрела тучей. Джаваншир вразумлял: «Ты – женщина, не суйся в мужские дела». Дня через два Тавус перестала кукситься. «Какое мне дело, – решила. – Он – мужчина, ему видней». К тому же это обстоятельство в известной степени означало их собственную безопасность. В ночь примирения, осыпая ее шею поцелуями, Джаваншир шептал: «Я ничегошеньки не выдумываю, не прибавляю... меня спрашивают, и я говорю то, что слышал вот этими вот ушами...».

Когда топот, миновав дверь Курбана, прокатился выше по лестнице, постель под супругами словно ощетинилась и стала колоться. Джаваншир протянул руку к карману подвешенного у кровати пиджака, дрожащими пальцами поднес к губам папиросу, но не закурил, оцепенел, вслушался, напрягая слух.

«Может, ошиблись, – подумал он. – Разве не видят, что у нас на этаже две квартиры. Одна пустая, другая моя...».

– Послушай, Тавус, а ты не сболтнула чего-нибудь лишнего?

– Что ты говоришь, Джаваншир!

– Ведь у твоих подружек язык без костей...

– Ох, Джаваншир. Мы же с тобой пару месяцев назад все обговорили. С тех пор никто из них к нам ни ногой, и я их в глаза не видела. Ни с кем не знаемся, не водимся. Сам лучше меня знаешь.

Шаги прошли мимо пятой квартиры.

– Джаваншир... – голос у Тавус осекся, колебалась, сказать ему или нет. Наконец, решила, что лучше все-таки, если он будет знать. – Наша Рена, негодница, опять ту песенку мурлыкала...

– Что? Опять? – он вскочил с постели.

Композитор Фарадж, живший бобылем, отчего-то проникся обожанием к маленькой Рене. Сочинял веселые детские песенки и учил ее их петь.

Позавчера Джаваншир, просматривая газеты и приобщаясь к мировым событиям, вдруг вскочил как ужаленный: Рена, не ведавшая о мировых событиях, баюкала свою куклу, напевая колыбельную песню, сочиненную врагом народа Фараджем!

Джаваншир так взбесился, что, ни слова не говоря, кинулся в смежную комнату и сгоряча надавал шлепков дочурке, поостыв, пригрозил Тавус: «Услышу еще раз такое от твоего щенка, пеняй на себя!».

Звук шагов припечатался к двери Джаваншира. Тавус сказала срывающимся голосом:

– Вчера, слышу, опять напевает... Я ее за ухо, а она мне: мамочка, я подзабыла песенку, вот и напеваю, чтобы проверить себя, все ли забыла, или нет.

При этих словах Тавус допустила немыслимую нелепость – улыбнулась.

Улыбка в такую-то пору, в такую-то ночь для Джаваншира была тягчайшим кощунством. Он стиснул ее плечо:

– Заткнись. – И выругался. Шаги оторвались от их двери и отдалились. Джаваншир нервным движением закурил папиросу.

– Эх, голова моя садовая... – И хихикнул. – Совсем память отшибло. Ведь наверху еще этаж.

– Ну да... – Тавус душили слезы. Ругань еще жгла ей уши.

«Четвертый этаж, – думал он. – Четвертый... За кем же они? За капитаном? Или нефтяником?».

В седьмой квартире жил морской капитан Салаев, – ходил рейсами на Астрахань, дома бывал три дня: понедельник, вторник, среда...

«А сегодня – пятница. Значит, нефтяник Зейналлы? Надо же! Кто бы мог подумать. Форсу хоть отбавляй. В последние времена и здороваться перестал».

Джаваншир навострил уши.

Шаги прервались у квартиры номер восемь.

Раздался стук в дверь. Громкий стук, слышный на весь дом.

А житель шестой квартиры Джаваншир размышлял:

«Вот так-то. Гражданин Мурад Зейналлы. Дофорсился! Еще три большие светлые комнаты со всеми удобствами освободились. Кто-то вселится? Кто бы мог подумать – нос кверху, а рыльце-то в пушку...»

В пятой квартире... Пятая была опечатана.

В четвертой квартире взад-вперед прохаживался старый партиец, думал-гадал: «Может, как-нибудь выбраться в Москву, самолично вручить письмо. Посмотрим...».

В третьей квартире архитектор корпел над проектом новой школы.

Во второй всхлипывала Сакина, а бабушка Зохра спала и не видела снов.

В первой квартире домком Башир учил жену уму-разуму:

– Не мели пустое. Зря никого забирать не станут. Кто знает, чего он там напортачил. – Потом добавил со вздохом: – Эх! Кому достанешься, бренный мир, если и Сулейману не достался...

Дверь из восьмой квартиры открылась. Чуть погодя вновь донеслись шаги. Их звук спускался этаж за этажом. Загремела и захлопнулась дверь в парадном. Загудел мотор. Машина тронулась с места, и рокот истаял в ночи.

Тишина улицы поглотила все звуки.

В доме, погруженном во тьму, светилось одно-единственное окно.

В скверике, на скамье под свесившейся обломанным крылом веткой парень целовал девушку в губы.

\* \* \*

Наутро домком Башир, подхватив кисть и ведро с краской, вышел на лестничную площадку, где висел щит со списком жильцов, написанным белыми буквами. Фамилия жильца пятой квартиры была замазана домкомом черной краской две недели тому назад.

Вот и сегодня ему работа.

Было семь часов утра.

Жильцы, спешившие на работу, встретились на лестничной площадке, – Сакина, Джаваншир с женой. Задергав шаги, они уставились на домкома. Сакину передернуло, она еще плотней обвила платок вокруг шеи.

Башир поднял кисть и приблизился к фамилии «Зейналлы».

Вдруг Джаваншир с Тавус вздрогнули, а Сакина судорожно вцепилась в бахрому шелкового платка. И домком Башир застыл на месте.

В проем парадной двери на серый цементный пол площадки падал косой свет. В приоткрытую створку двери виделась часть улицы, окно противоположного дома и зеленые всходы пшеницы на блюдцах – «сэмэни» – на подоконнике.

Но жильцов повергло в изумление другое.

В дверях стоял жилец восьмой квартиры нефтяник Мурад Зейналлы.

Мурад обвел взглядом домкома, доску, ведро с краской и все понял. Но не сдвинулся с места.

Джаваншир, заикаясь, выдавил из себя:

– А вы... вчера... ночью... разве...

Выглянула из дверей и жена домкома Зулейха. И так же оцепенело уставились на Мурада и остальные.

Донеслись чьи-то стремительные шаги с верхнего этажа.

Это был Сурхай, несший под мышкой скатанный рулоном ватман.

Мурад улыбнулся во весь рот, обнажив белые крепки зубы.

– Ну что вы, ей богу? О чем это вы подумали. Это «скорая помощь» приезжала. Фариду в роддом повез. Сын родился у меня.

Тавус хлопнула себя по лбу:

– А-а-а... вахсей! Совсем запамятовала я. Фарида ходила на сносях.

– И правда, – подхватила Зулейха, – она же вот-вот должна была родить. Да хранит Аллах новорожденного. Пусть вырастит большой, в добром здравии, при отце при матери.

Джаваншир отчего-то побледнел, торопливо взялся за папиросу.

Сакина залилась краской и потупила взгляд.

Раздался стук: кисть выпала из рук домкома, оставив на полу черную кляксу.

– Поздравляем. Гёзун айдын! – на ходу сказал Сурхай и поспешил по своим делам.

Младенцем, родившимся в ту ночь, был я.

Разные дни бывают в году – дни радости, дни печали.

Будни и праздники.

Но есть годы, которые запечатлеваются в памяти одним сплошным цветом.

Наше поколение обозначает годом рождения в анкетах 1937-й.

Уже взрослыми мы осознали, что это был год черный, омрачивший народную память страхом, тревогой и болью.

Но для нас этот год – самый важный в жизни. Год, когда мы впервые увидели солнце, деревья, звезды.

Москва 1964г.

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# Происшествие в полночь

Документальный рассказ

В один из мартовских вечеров к легковой автомашине «Москвич-412», под номером АБА 31-75, подъехавшей к заправочной, подошел сотрудник ГАИ и потребовал у водителя документы. Водителем (и владельцем) машины был Мазан Алиев, работник конторы №5 Азербайджанского нефтяного морского строительно-монтажного треста. Сотрудник ГАИ, просмотрев документы, вернул их Мазану Алиеву.

– Нехорошо, Алиев, – сказал он. – Я уважаю вас, как инвалида войны, но нельзя же ехать с такими вот покрышками. Они же совершенно «лысые». Это опасно!

М. Алиев стал объяснять, что он ездит по этой дороге к месту своей работы в сорока километрах от Баку и возвращается к себе домой, а живет он в противоположном конце города – на Восьмом километре – и, кроме того, примерно раз в месяц навещает сына, живущего в Ленкорани, потому, естественно, и покрышки износились. Он давно хочет сменить покрышки и даже припас нужную для этого сумму, но как раз сейчас в продаже покрышек нет.

– На этот раз я ограничиваюсь предупреждением. Но учтите, в следующий раз – накажу.

М.Алиев поблагодарил и отъехал от бензоколонки. Машина его была с дополнительным устройством для ручного управления, так как Мазан на войне потерял левую ногу.

Мазан Гамид оглу Алиев, 1923 года рождения, родом из Масаллов, был призван в армию в августе 1941 года и демобилизовался в 1946 году. Сержантом артиллерии он прошел всю войну и в составе десятого истребительного противотанкового полка дошел до Германии. Трижды был ранен – первый раз в левую руку, второй – в живот. Третье ранение в левую ногу, которое он получил 18 марта 1945 года, оказалось самым тяжелым, ему ампутировали ногу. Имеет боевые награды.

Уже после войны, работая на нефтяных промыслах, он окончил энергетический факультет АзИИ. В 1946 году у него родился первый ребенок – сын Гурбанали, а когда в 1971 году у Алиева родилась дочь – Жале, она была одиннадцатым ребенком в семье. Вся семья Алиевых, за исключением сына Гурбанали, работающего преподавателем музыки в Ленкорани, жила в трехкомнатной квартире на Восьмом километре. Старшие дети получили высшее образование. Трое детей работают, остальные, кроме самых маленьких, – учатся. Работает и жена Мазана – мать-героиня Дуня ханым.

Мазан Алиев, как упоминалось выше, работает в строительно-монтажном тресте, неделю бывает в море, неделю – дома. Его зарплата – 220 рублей в месяц и плюс 35 рублей – пенсии.

По комплекции Мазан Алиев среднего роста, худощав, вернее даже щупл. По характеру добр, отзывчив, деликатен до застенчивости. Трудолюбив, знает цену трудовой копейке.

Это некоторые сведения о человеке, с которым в одну мартовскую полночь случилось невероятное, почти фантастическое происшествие, О событиях этой полуночи – 25 марта 1974 года – и наш рассказ. О трех людях, принявших участие в этих событиях. О нескольких часах, в которых как бы спрессовано множество кардинальных проблем человеческой жизни и смерти, преступления и наказания, жестокости и воли, смелости и трусости. Итак, обо всем по порядку.

25 марта. 18.30.

Днем Мазан Алиев где-то услышал, что в Центральном универмаге, по улице Гуси Гаджиева продаются ереванские покрышки. Вернувшись с работы, он немного отдохнул и в 18.30 собрался за покрышками. Для этой цели у него хранились деньги – 500 рублей. 300 из них прислал из Ленкорани сын, а двести – собственные сбережения Мазана Алиева. Деньги хранились у жены. Мазан попросил их у нее, и жена отдала ему 480 рублей, 20 оставила на расходы до зарплаты. Итак, с 480-ю рублями в кармане в 18.40 Мазан Алиев выехал на своем «Москвиче» из дома, что на Восьмом километре.

Примерно к восьми часам вечера оп подъехал к новому универмагу и, поставив машину у тротуара улице Низами, вошел в здание магазина. Молоденькая продавщица сказала, что покрышек нет, были и закончились, но, может быть, что-то осталось на базе, не знает. Сейчас заведующего нет, заходите завтра и с ним поговорите. Присутствовали ли при этом разговоре другие участники нашей истории, неизвестно. Во всяком случае, Мазан Алиев огорченным вышел из универмага и, сев в свой «Москвич», поехал по улице Низами вверх. Недалеко от универмага, на углу улицы Полухина стояли два человека. Один из них поднял руку, и Мазан остановился.

Одному из парней (он был выше ростом) было примерно 23 года, второму примерно 17. Они сказали, что из Шекинского района, приехали в Баку учиться, снимают квартиру, но хозяин комнаты выгнал их сегодня вечером из дома, ибо они не смогли в срок оплатить квартиру. Теперь им негде ночевать, и у них нет денег. Поэтому они просят подвезти их до Кюрдамира (приблизительно в 200 километрах от Баку), где у старшего парня проживает сестра, та одолжит им деньги, сегодня же вечером, вернее, к полуночи, вернутся обратно.

Мазан Алиев был добрым человеком по натуре, наличие одиннадцати детей привило ему еще одно чувство – особенно участливое отношение к молодым и юным. Он сказал, что очень сочувствует парням и с удовольствием оказал бы им услугу, но у него совершенно «лысые» покрышки и поэтому он не рискует ехать так далеко. Парень, что постарше, вроде бы обрадовался этому:

– Как раз, – сказал он, – у мужа сестры есть совершенно новые покрышки, и четыре из них за свою же цену он отдаст вам.

Соблазн оказался сильным, и Мазан Алиев согласился. Старший из парней сел сзади, младший – рядом с водителем.

Но прежде чем «Москвич» тронулся с места, сидящий сзади сказал:

– Только мне надо на минутку зайти в дом вот на этой улице и взять свои вещи.

Он показал дом, и Мазан Алиев, включив обратную скорость, развернулся, подъехал к дому №20, по улице Полухина. Старший парень быстро соскочил и исчез в подъезде дома, младший остался на своем месте. Хотя и стемнело, Мазан в зеркале машины заметил шрам на лбу у рядом сидящего парня. Он хотел спросить о его происхождении, но подумал: может быть, этот шрам связан с какой-то неприятной для молодого человека историей, и ему было бы неловко вспоминать об этом. Мазан не задал своего вопроса. Но вопросы задавал сам парень – он интересовался устройством дополнительных рычагов ручного управления, и Мазан подробно, обстоятельно объяснил парню, что есть что и что к чему. Парень сказал, что тоже умеет водить машину. – Вот и прекрасно, – сказал Мазан, – когда будем ехать обратно, если устану, за руль сядешь ты, а эти дополнительные рычаги усвоить не так уж и трудно. Приглядывайся ко мне и все поймешь.

В подъезде показался старший парень, в руках он держал небольшой чемодан, а через руку перебросил светлый плащ. На шее у него был шарф. Мазан вышел из машины для того, чтобы открыть багажник, но парень отказался класть чемодан в багажник. Он сказал, что там бьющиеся вещи и лучше будет, если он положит чемодан рядом с собой на сиденье. Когда Мазан садился в машину, ему показалось, что из подъезда на него кто-то смотрит, но силуэт человека быстро исчез во мраке дверей.

Приблизительно в 20.40 они подъехали к площади Азнефти, и Мазан сказал, что ему надо позвонить домой, предупредить жену, чтобы не беспокоилась. У него не было «двушек», и он попросил у парней. У них тоже же не оказалось. Мазан хотел разменять, но поблизости не оказалось ни открытых лотков, ни киосков.

– Так мы же к полуночи вернемся, – сказал старший парень, и Мазан Алиев, отказавшись от попыток позвонить домой, тронулся в путь.

Парни оказались очень общительными. Рассказывали о себе, о своей учебе. Старший сказал, что зовут его Адилем, он учится на подготовительных курсах политехнического института. – А меня зовут Айдыном, я учусь на подготовительных курсах института народного хозяйства, – сказал младший.

– Какое совпадение, – сказал Мазан, – одного из моих сыновей тоже зовут Айдыном, а моя дочь учится в том же институте народного хозяйства.

Разговор перешел на детей, и Мазан сказал, что у него их одиннадцать. Он вспоминал о забавном лепете самой маленькой дочурки Жале – любимицы всей семьи.

Он говорил о музыкальных способностях своих детей, о том, что старший сын Гурбанали работает преподавателем музыки в Ленкорани, а средний сын Айдын твой тезка – прекрасно играет на кяманче. О нем даже в газете писали, и он выступал по телевидению. Да и сам Мазан любит иногда поиграть на перламутровой таре.

Мазан рассказывал о войне, о том, сколько горя, страданий, болей пришлось пережить ему, как и многим другим. Когда он был ранен в третий раз, перед самым концом войны – 18 марта 45-го, он, раненым, попал в окружение и три дня пролежал среди трупов – немцы и его сочли мертвым. И только тогда, когда наши войска отбили территорию у врага, М. Алиеву была оказана необходимая медицинская помощь – пришлось ампутировать ногу.

Парни сочувствовали, жалели Мазана, и младший сказал:

– Как же много пришлось тебе испытать, дядя.

– Да, – сказал Мазан. – Дай бог, чтобы никогда не пришлось испытать того, что выпало на нашу долю. Вы – счастливое поколение. Учитесь, все у вас впереди.

Парни соглашались и говорили, что хотя порой трудно бывает в Баку с жильем, с деньгами, но, конечно, что означает все это по сравнению с испытаниями военных лет.

Когда проезжали мимо района, где находился трест, Мазан показал место своей работы. Он начал рассказывать о своей работе на Нефтяных Камнях, о той трудной поре, когда только-только возводились эстакады на

Каспии, и он, Мазан Алиев, работал вместе с прославленными пионерами морского бурения – в бригаде незабвенного Михаила Каверочкина, на одной вышке с знаменитым Гурбаном Аббасовым. Мазан рассказывал парням о том, с каким трудом удавалось тогда причаливать к эстакадам и перебираться на стальной остров по неустойчивым доскам, и с какими это было связано опасностями и риском.

Старший парень внимательно слушал, а потом назвал нескольких крупных нефтяников родом из Шеки и сказал о своем родстве с ними. Младший молчал и тоже внимательно и вежливо слушал.

Старший парень стал напевать мейхана (мейхана – нечто вроде смеси частушек и блатных ритмических песен), а младший начал в такт ему щелкать пальцами.

Мазан несколько удивился, ведь обычно студенты не поют мейхана, это скорее любимый жанр полублатных гуляк. Он сказал парням об этом.

– Эх, от лекций, семинаров трещит голова, – ответил старший парень. – Надо же иногда развеяться.

Приблизительно в 11.15 ночи они доехали до станции Казимамедли, и близ круглосуточно работающей столовой Мазан притормозил:

– Ребята, – сказал он, – наверное, вы голодны. Давайте перекусим.

– У нас нет денег, – ответил младший.

– Ничего, я вас угощаю. – Парни отказались.

– Доедем, у сестры и перекусим, – сказал старший, и младший предложил Мазану заправиться бензином в заправочной, недалеко от Казимамедли.

Минут через 15 они доехали до бензоколонки, и Мазан вышел из машины для того чтобы заправить ее. Когда он вытаскивал из кармана талоны, он вытащил и деньги, которые предназначались для покупки покрышек.

Парни в машине о чем-то переговаривались.

Мазан сел за руль, и они поехали дальше. До Кюрдамира оставалось километров 30.

Мазан Алиев посмотрел на свои ручные часы – было без десяти минут 12. Они проехали еще километра два. Старший парень обратился к впереди сидящему:

– Дай сигарету.

«Сейчас нажмет зажигалку», – подумал Мазан, и это было последнее, что он подумал ясным сознанием. Младший парень протянул сигарету назад, и в ту же секунду Мазан почувствовал острую боль с правой стороны шеи, как будто он наткнулся на гвоздь.

Через секунду такую же острую боль он почувствовал чуть ниже. Мазан снял ногу с газа и выпустил руль и почувствовал новую точку боли. Он уже понял, что удары ему наносит старший, хотел увернуться, выскочить, но теперь его крепко схватил за руки младший.

– Да что вы, ребята? – успел еще сказать Мазан, и в его мозгу медленно определялась ситуация, и в то же время нестерпимая боль туманила сознание. – У меня же дети, одиннадцать детей.

Младший нецензурно обругал его детей.

– Берите все, машину, деньги, не убивайте, – еще успел сказать Мазан, но ножевые удары следовали один за другим. Мазан пытался защититься левой рукой, и финский нож дважды проткнул руку насквозь.

«Нож изготовлен в ГДР. Общая длина ножа 25с. Клинок ножа стальной с односторонним лезвием. Размер клинка: длина 11 см, ширина 2,7 см, толщина 0,2 мм. На обороте клинка имеется участок длиной 7,5 см., состоящий из двухрядных зубьев, треугольной формы, заточен с обеих сторон. Обух выполняет функцию пили… Рукоятка ножа изготовлена из передней ноги дикой козы (оленя). Рукоятка покрыта шерстью желтовато-соломенного цвета. На противолежащей клинку части рукоятки имеется копыто (две пары) черного цвета. Нож является колюще-режущим холодным оружием и предназначен для активного нападения и обороны».

(Из заключения судебной экспертизы).

Одиннадцать ударов нанес Мазану этим ножом старший парень. Мазан упал на сиденье. Младший пролез через него, нажав на живот Мазана локтем. Еще один болевой шок, ибо у Мазана на животе были еще швы от военных ран.

– Возьми у него из кармана деньги, – сказал старший. Младший залез к Мазану в карман, в котором рядом с талонами на бензин лежали 480 рублей, взял и, не считая, передал назад. Затем он уже по собственной инициативе, сорвал с руки Мазана часы.

Если бы Мазан успел включить сигнальное устройство, сигналило бы до того, пока не сел аккумулятор. Но он не успел этого сделать. Младший парень завел машину, пользуясь ручным рычагом, как его учил Мазан и «Москвич» снова двинулся в путь. Старший парен нанес 12-й удар в висок Мазану. Нож прошел под кожей у виска через ротовую полость, рассек язык, прошел между зубами, и кончик его вышел у горла, рядом с кадыком.

Старший парень пытался вытащить нож, но не смог, слишком крепко засел он там, куда был нанесен удар.

Играло роль и то, что нож был зубчатым, пилообразным с одной стороны, это затруднило его вытягивание – зубья застряли между зубами.

– Может быть, он не умер, – сказал младший парень, всматриваясь в шоссе.

– Я не так ударил его, чтобы он смог выжить, – не без гордости ответил старший.

– Мне кажется, он раскрыл глаза. Выколи ему глаза, – сказал младший.

– Я не могу выдернуть нож, – сказал старший.

– А что теперь нам с ним делать?

– Выбросим его в Ширванский канал.

– А это далеко?

– 60 километров.

– Нет, далеко, наткнемся еще на кое-кого, давай его выбросим прямо здесь.

Тело Мазана навалилось на правую дверцу машины, и когда старший парень, взяв его за волосы, другой рукой открыл дверцу, Мазан Алиев вывалился на шоссе из мчавшейся на высокой скорости машины. «Москвич» помчался дальше.

\* \* \*

Студента первого курса политехнического института Гамзаева Садыка вызвали прямо с лекции к декану. Рядом с деканом сидел незнакомый человек.

– Вы Гамзаев Садык? – спросил он.

– Да.

– Это ваш чертеж?

Это было задание по курсу – «Строение следов точки в эпюре». Гамзаев сделал его недавно. В углу чертежа были написаны его имя и фамилия, название института.

– Ни с кем из ваших друзей ничего не случилось?

– Нет, – ответил Садык и побледнел. – А что? – спросил он испуганно.

– Кто ваши близкие и друзья?

Первыми Садык назвал своего младшего брата и товарищей по комнате – Айдына и Эвеза.

– Что-нибудь с ними случилось? – спросил он нетерпеливо.

– Не беспокойтесь, – ответил незнакомый человек и тщательно записал имена и фамилии Айдына Джалилова и Эвеза Ибрагимхалилова.

– У кого из них мог оказаться ваш чертеж?

– Где вы были вечером и ночью 25-26 марта?

Вопросы следовали один за другим.

Садык отвечал взволнованно и сбивчиво, он уже догадался, что перед ним следователь. 25 марта вечером был на занятиях, они закончились к десяти вечера, и вместе с товарищами вышел из института, сел на троллейбус, доехал до своей остановки, оттуда пешком дошел до дома №20 на улице Полухина. Там он снимала комнату вместе с двумя своими товарищами – Айдыном Джалиловым и Эвезом Ибрагимхалиловым. Все трое из Шекинского района, учатся в одном институте. Его чертеж мог оказаться и у того, и у другого, так как он бы уже не нужен Садыку, и Садык выбросил его – может быть, в мусорную урну, а может, чертеж просто завалялся под диваном – там Садык держал свои бумаги, тетради, книги. Но зачем этот чертеж первокурсника мог понадобиться его друзьям, которые учатся уже на четвертом курсе?

– А где в тот вечер были ваши соседи по комнате?

– Эвез по вечерам работает, а Айдын был дома. Весь вечер.

Откуда Садыку известно, что Айдын весь вечер был дома?

– Когда я вернулся, Айдын сказал мне, что заходил Ахмед.

– А кто такой Ахмед и зачем он заходил?

– Ахмед – наш знакомый, тоже шекинец. Он несколько дней жил у нас. Мы познакомились в кафе «Фархад», где собираются обычно парни из Шеки. Он сказал, что ему негде ночевать, и мы согласились, чтобы он переночевал у нас. Он жил у нас примерно дней десять. Потом к нам должна была приехать мать Айдына Джалилова, и они тогда предложили Ахмеду уйти. Он ушел, но оставил свои вещи. Это было в середине марта. А в тот вечер – 25 марта, он зашел и забрал свои вещи, сказав Айдыну, что уезжает в Шеки.

– Как фамилия. Ахмеда?

– Я не знаю.

...Айдын Джалилов слово в слово повторил то, что говорил Садык. Да, приблизительно в восемь вечера зашел Ахмед, забрал свой чемодан, плащ и шарф и сказал, что уезжает в Шеки, попрощался с Айдыном. Айдын вышел его провожать, но Ахмед сказал странную фразу: не надо выходить на улицу, еще заподозрят...

Что именно? В чем именно? Кто? Ахмед не уточнил. Айдын остался в подъезде, он заметил неподалеку машину марки «Москвич»-412. На номер не обратил внимания. Еще он заметил силуэт водителя, который стоял у багажника, затем, когда Ахмед с чемоданом сел сзади, прошел и сел за руль. Впереди, кажется, еще кто-то сидел, но кто именно, Айдын не запомнил, как не запомнил он и водителя. Он вернулся в свою комнату, вскоре пришел Эвез, а часа через два и Садык. К полуночи они легли спать. Следователь показал Айдыну шарф:

– Вы знаете этот шарф?

– Да, – сказал Айдын, – это шарф Ахмеда.

\* \* \*

Переправившись через бурную горную речку, в небольшое селение Киш Шекинского района въехала машина АЗ-69. Из машины вышли трое и постучались в калитку одного из дворов. Хозяин дома – пожилой мужчина открыл дверь, и один из прибывших представил другого: «Это – Абдуллаев из ОБХСС, – сказал он. – На вас поступил сигнал. Участок вашего двора превышает норму, мы все должны заново обмерить».

Хозяин двора Агамамед Абдуррагимов был рабочим Шекинского шелкового комбината. Несколько месяцев назад в Ростове был задержан и осужден его старший сын за спекуляцию цветами.

– К нам поступил сигнал, что цветы эти вы выращиваете вот на этом участке, и отвозил их в Ростов ваш младший сын Ахмед. Он с той же целью и сейчас поехал в Ростов, – сказал работник ОБХСС.

– Да что вы? – удивился Абдуррагимов. – Ахмед сроду в Ростове не был. Он был в Баку и вернулся три дня тому назад. И сейчас он где-то здесь в селении, скоро придет.

Прибывшие тем не менее долго осматривали двор, мерили его. Собрались любопытствующие из соседних дворов. В стороне стояла женщина, курила кальян и пристально вглядывалась в лицо одного из прибывших – его звали Фазиль Ахундов. Заметив что-то особенное во взгляде, Ахундов, улучив минуту, подошел к ней.

– Вы напали на верный след, – одними губами, шепотом сказала женщина, – не уходите отсюда.

Уже в полночь явился Ахмед Абдуррагимов. На лице его были следы от ран. Ахундов сказал Ахмеду, что он должен поехать с ними в районный центр и подписать документ о том, что он в эти дни не выезжал в Ростов.

Ахундов сел впереди, Абдуллаев и еще один товарищ вместе с Ахмедом Абдуррагимовым уселись на заднем сиденье.

Машина ехала по крутым горным дорогам. Внезапно Ахундов повернулся назад и между прочим спросил у Ахмеда:

– А где еще у тебя раны, помимо лица?

– На спине, – моментально ответил Ахмед и осекся. Может быть, именно в этот момент он понял все – рядом с ним отнюдь не работники ОБХСС, и что в районный центр его везут совсем не для того, чтобы он подписал бумаги. Мгновенно поняв все, он сделал отчаянное движение – попытался вырваться из машины, но дуло пистолета старшины Амрали Абдуллаева уперлось в живот.

Первая часть операции была успешно завершена. Ахмеду не удалось скрыться, уйти, и теперь можно было говорить начистоту: старший лейтенант милиции Фазиль Ахундов напрямик спросил у Ахмеда Абдуррагимова о событиях полуночи 25 марта на шоссейной дороге между Казимамедли и поселком Муганлы. Ахмед Абдуррагимов признался сразу и тут же сообщил имя своего напарника – Мамеда Ахмедова, проживающего в Шеки, в доме № 3 по улице «Шеки фехлеси». Через несколько минут работники оперативной милиции Али-Байрамлинского района Ф.Ахундов и А.Абдуллаев явились в дом Ахмедовых и забрали Мамеда. (Через день мать Мамеда – Салатын со слезами на глазах принесла в милицию 200 рублей и сказала: – Эти деньги я случайно обнаружила сегодня, когда подметала пол. Они не наши, у нас не было этих денег, а чужого мне не надо).

Это были деньги Мазана, разделенные, как показал Абдуррагимов, ровно пополам. (80 рублей они растратили, добираясь из Кюрдамира в Шеки).

Преступники были доставлены в отделение милиции в Али-Байрамлинский район, где они совершили преступление в полночь 25 марта. Двадцать часов провели в пути в тот день Ф.Ахундов и А.Абдуллаев и добились успеха. За эту четкую операцию оба они получили значок отличника МВД Азербайджанской ССР.

\* \* \*

А события в ту ночь развивались следующим образом. Выбросив тело Мазана Алиева на шоссе, Мамед (он звал себя Айдыном), и Ахмед (назвавшийся Адилем) помчались дальше. Мамед более или менее умел водить машину, и, может быть, именно поэтому, зная это, Ахмед привлек этого несовершеннолетнего парня к осуществлению своего замысла. А замысел был прост – напроситься в любую частную машину, в пустынном месте убить водителя, раскулачить машину и продать ее по частям.

Этот план успешно осуществлялся, вплоть до двенадцати часов тридцати минут уже 26-го марта. Выбросив Мазана, преступники помчались дальше. Цель была – добраться до Шеки, ибо в Кюрдамире, естественно, никаких родственников у них не было.

То ли Мамед был слишком неопытным водителем и преступником-дебютантом, то ли он недостаточно освоил специфическое ручное управление «Москвичом», то ли страх и волнение, связанные с содеянным, оказались гораздо сильнее, чем они предполагали, то ли свою роль сыграли все те же злополучные «лысые» покрышки, во всяком случае, проехав километров тридцать от места преступления, недалеко от селения Падар они потерпели аварию. Машина, мчавшаяся со скоростью около ста километров в час, пролетев по воздуху метров тридцать, трижды перевернулась. Поразительно, но факт: преступники, получив лишь легкие травмы, выбросились из машины. Ахмед, забрав плащ и чемодан, забыл в машине свой шарф и чертеж Гамзаева, непостижимо каким образом оказавшийся у него и послуживший ключом к быстрому раскрытию преступления и обнаружения преступников. Парни побрели в степь. Они провели ночь, спрятавшись за холмом. А рано утром пешком двинулись в путь. В дороге сытно пообедали, на попутных машинах добрались до Шеки, растратили около 80 рублей, остальные деньги разделили пополам. Конечно, о раскулачивании перевернувшейся трижды и помятой до неузнаваемости машины, не могло быть и речи. Так что единственным, материально выгодным для преступников, результатом «операции» были двести рублей на каждого.

\* \* \*

Но события в ту ночь развивались и в другом направлении, и это самое поразительное в данной истории: в том, что Мазан Алиев не погиб. Да, да, случилось невероятное! Тщедушный человек без одной ноги, с военными ранениями, которому физически сильный 23-летний преступник нанес двенадцать ножевых ранений финским ножом, которого на ходу выбросили из мчавшейся машины, не умер, а медленно и тяжело поднялся, смочил лицо водой из лужицы и, встав у обочины дороги, попытался останавливать проезжающие машины. Две машины промчались, не заметив его. У Мазана Алиева кружилась голова и мутилось в глазах. Он тронул рукой на горле у кадыка торчащий кончик какого-то, как ему показалось гвоздика. Это был кончик ножа, рукоятка которого торчала на его виске, Мазан взялся за эту рукоятку, но сразу отпустил, испытав нестерпимую боль. Он не мог поворачивать языком, рот его был наполнен кровью, но он не осознавал, что все это соединяется единым предметом – холодным оружием, ножом, рукоятка которого была из ноги дикой козы.

Осветив его своими фарами, резко затормозила машина марки ГАЗ-51. В ней возвращались из ночной смены рабочие «Ширваннефти». Водителю машины и пассажирам показалось, что они видят кошмарный сон – на виске у человека, залитого кровью, торчало нечто полосатое, с шерстью желтовато-соломенного цвета и парой черных копыт. Им показалось, что они видят рогатого человека, вернее человека с одним рогом.

Истекающий кровью Мазан показал на дорогу и, еле ворочая языком, сказал:

– Двое шекинских парней угнали мою машину, догоним их.

– Да куда тебе? – ответил водитель. – В пункт скорой помощи – вот куда тебе надо.

Через минут двадцать Мазан Алиев был доставлены в пункт скорой помощи в Казимамедли. Нож почти невозможно было вытащить. И в тот момент, когда ночной сторож крепко ухватил Мазана за плечи и молодой врач встав на табуретку, изо всей силы дернул нож за рукоятку и он вышел, – Мазан Алиев – впервые за все это время – потерял сознание и не приходил в себя ровно три дня.

\* \* \*

Вот выводы судебно-медицинской экспертизы:

«1. Гр-ну Алиеву М.Г. было причинено множество колото-резаных ран в области шеи, головы, спины и левой кисти... Описанные повреждения относятся к тяжелым телесным повреждениям, как вызывающие стойкую утрату общей трудоспособности свыше одной трети.

2. Описанные в пункте № 1 повреждения не являлись опасными для жизни в момент причинения их, так как не сопровождались выраженным шоком, кровопотерей, раны не проникали в полости тела».

Позже выступая на суде, главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР профессор А.Атакишиев объяснил, что хотя двенадцать ножевых ранений нанесли Мазану Алиеву тяжелые увечья (внешне это выглядит так: он не мог двигать шеей, поворачивается всем корпусом, постоянно трет себе висок, пытаясь унять не прекращающую боль), и ранения должны быть признаны тяжелыми, ни одно из них, однако, не задело, к счастью, жизненно важных центров. Это кажется чудом, но даже двенадцатый удар, нанесенный в висок, окажись его направление чуть иным, раздробил бы кость, и тогда наступила бы мгновенная смерть. Видимо, низкий потолок машины мешал нанесению более размашистых и точных ударов. И это уже не мнение медицинского эксперта, а парадокс жизни – то, что нож застрял, предохранило жертву от худшего. Ведь опьяненные кровью и собственной жестокостью, провоцируя друг друга, преступники могли наносить все новые и новые удары. Вообще в этой истории много парадоксов. Пытаясь как-то смягчить вину Мамеда Ахмедова, вину, в которой невозможно найти ничего смягчающего, его адвокат, может быть, по профессиональной необходимости, договорился до того, что его подзащитный, выбросив из машины тело Мазана Алиева, фактически спас ему жизнь. Ведь если бы его выбросили в Ширванский канал, как это предлагал старший преступник, спасение было бы невозможным...

28 марта Мазан Алиев пришел в сознание. Он назвал себя, свой адрес, попросил врачей сообщить родным, успокоить их. Он сказал также, что в состоянии беседовать со следователем. Текст, записанный следователем со слов Мазана Алиева, является его первым показанием в деле. Оно по существу не отличается от позднейших его показаний, сделанных уже в период выздоровления и нормального функционирования сознания. Отличие лишь в небольших деталях, что впрочем, не удивительно, если учесть состояние человека на третий день после такого потрясения. В показаниях Мазана Алиева воссоздается история, рассказанная нами выше, – от его поездки в универмаг, от момента, когда он на углу улиц Низами и Полухина посадил в свою машину двух парней, и до того момента, когда он с торчащей на виске рукояткой ножа был доставлен в больницу. Все это уже знакомо читателю. Хочу подчеркнуть лишь один момент: израненный ножевыми ударами и соскользнувший на сиденье Мазан, которого преступники считали мертвым, слышал и воспринимал все последующие разговоры в машине – и сомнения насчет окончательности и точности своей смерти, и предложение нанести новые удары, и ответ, что невозможно вытащить нож («что я отвечу дяде», – любопытная реплика младшего, и ответ старшего – «заплатим ему»), и про выкалывание глаз, и про Ширванский канал. Слышал все и не шевелился. Не шевелился, зная, что любое – малейшее – проявление жизни для него смерть. Это я пишу, чтобы еще раз подчеркнуть волю и выдержку пострадавшего.

– Узнаете ли вы преступников, если мы их покажем вам?

– Я их видел в темноте и почти не разглядывал. Я же все время смотрел на дорогу. Но, думаю, все же узнаю.

Привели шестерых парней одинакового роста и почти одинаковой комплекции. Мазан видел их как бы в тумане, как бы сквозь пелену, но он сразу обратил внимание на шрам на лбу одного из парней и тотчас узнал его.

– Вот Айдын, – сказал Мазан.

Айдын, он же Мамед Ахмедов, стоял притихший, ничем непримечательный, внешне вроде бы даже спокойный, будто все это мало его касается.

Ахмед Абдуррагимов не знал, куда его ведут из камеры предварительного заключения. Правда, вчера его с Мамедом повезли к месту происшествия – они опознали то место, где произошла авария, холм, за которым переночевали. Они опознали машину Мазана Алиева которую разбили, а с Мамедом провели даже эксперимент (естественно, на другой машине) – проверяли: действительно ли он умеет водить машину и в какой степени умеет. Но теперь Ахмеда повели почему-то в больницу, и он ничего не понимал. Все он понял лишь в тот момент, когда в сплошь забинтованном человеке, у которого на лице виднелись одни лишь глаза, он узнал свою «воскресную» жертву. Что испытал он в этот момент? Желание, не сознавая ничего броситься на беспомощного, прикованного к постели человека, чтобы завершить то, что так неудачно было упущено три дня назад? Или желание объясниться, извиниться, вымолить прощение? Или, может быть, радость, что все же, несмотря на всю чудовищность вины, судьба уберегла его от худшего – хотя бы формально он не стал убийцей, не лишил все же жизни отца одиннадцати детей, инвалида войны, не взял, как когда-то говорили, греха на душу?

Мазан долго всматривался в лица семи других парней, точно так же подобранных по росту и комплекции. Ахмед в машине сидел сзади, и его Мазан помнил еще хуже, чем Мамеда. Но, внимательно разглядев все семь, он категорически отверг пятерых из них.

– Оставьте только вот этих двоих, – сказал он.

Одним из двоих был Ахмед. Их глаза встретились – глаза убийцы и жертвы, и Мазан безошибочно указал:

– Этот.

Может быть, он и не помнил черты лица, но выражение глаз сказало все – в них сквозь страх продиралась та же жестокость и безжалостность, которые направляли удары в той полуночной машине.

И реакция последовала незамедлительно:

– Жаль, что я не ударил тебя сильнее, чтобы ты не выжил, – прошипел Ахмед.

И тогда следователь нанес Ахмедову пощечину. Тут же на глазах у Мазана и медперсонала.

Я категорически против превышения власти со стороны должностных лиц, но в данном конкретном случае мои симпатии целиком на стороне следователя. Причем он добавил:

– Я ударил тебя вместо Мазана, который не может сделать это своими забинтованными руками.

\* \* \*

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской ССР под председательством – председателя Верховного суда республики А. Ибрагимова, с участием народных заседателей А.Карадаглы и Ф.Айдазаде, прокурора Е.Юсифова, защитников С.Мадатовой и С.Эфендиева, секретаря Ф.Дашдамиров рассматривала это дело с 15 по 18 октября 1974 года. В процессе принимали участие представители общественности – заведующий кафедрой психологии АПИ им. Ленина проф. Ш.Агаев и директор Азербайджанского центрального института усовершенствования учителей, кандидат педагогических наук Б.Велиев. Участие в процессе профессора-психолога и педагога-доцента впервые применялось в практике суда в республике и было обусловлено тем, что один из преступников – Мамед Ахмедов был несовершеннолетним – в момент совершения преступления ему было шестнадцать с половиной лет, в момент судебного процесса – семнадцать.

На судебные заседания этого процесса был приглашен и я.

За несколько дней до начала процесса я внимательно ознакомился с делом, с двумя пухлыми папками, заполненными показаниями пострадавшего, преступников, свидетелей, протоколами очных ставок, документами, справками, фотографиями ножа, разбитой машины, местности и т.д.

Помимо самой истории, которую я уже рассказал в деле поражают и некоторые детали. Оба преступника с самого начала не отрицают своего преступления. Ахмед признает, что именно он наносил ножевые ранения, Мамед признает, что после совершения преступления он вел машину. Но, признавая самое страшное, они отвергают кое-какие подробности. Об этом позже, когда будет рассказ о самом судебном заседании. Забегая вперед, хочу сказать, что на суде совершенно точно, на основание неопровержимых улик было доказано, что преступление было заранее спланировано, продумано, но в предварительных показаниях есть разные объяснения последовательности и мотивов совершенных поступков. Меня больше всего поразило следующее объяснение Мамеда в одном из его показаний: мы заранее не думали и не хотели его убивать. Но когда он вышел у бензоколонки заправлять машину, я сказал Ахмеду; чем же мы заплатим за проезд, у нас же нет денег. Он ответил: давай убьем его. Я согласился.

Убивать водителя только из-за того, что нечем расплачиваться за проезд! Я не знаю, что более чудовищно – преднамеренное, спланированное, продуманное убийство с целью ограбления и обогащения (что и было на самом деле) или вот такое психологическое состояние, такой образ мыслей, если этот бред можно назвать мыслью, такая нравственная деформация, когда подобным вот таким безразличным и равнодушным манером решается вопрос жизни и смерти другого человеческого существа. Ведь за этой фразой стоит вроде бы следующий невероятный подтекст: неудобно было не платить за проезд, и мы решили убить его. Вот уж поистине, лучшее лекарство от перхоти – гильотина!

Признаться, и при ознакомлении с делом, и позже, на суде у меня возникло подозрение: не являются ли эти парни ненормальными в чисто медицинском, психиатрическом смысле этого слова. И другой вопрос: не были ли они пьяны в ночь преступления, а может быть, накурились анаши? Ответы на эти вопросы – отрицательные.

Их нормальность и абсолютная вменяемость подтверждаются авторитетными медицинскими экспертизами. В ночь преступления оба были совершенно трезвы и не было никаких признаков наркотического опьянения – это категорически утверждает пострадавший – он заметил бы это по запаху, по разговору, поведению. Так как же быть? Откуда, помимо чудовищной патологии нравственного сознания, помимо аномалии характеров некоторые частности, которые с точки зрения МЕДИНСКИ, я подчеркиваю, МЕДИЦИНСКИ нормального человека – просто необъяснимы, Я не говорю о вещественных уликах, оставленных на месте преступления, – преступники не обладали достаточным профессиональным опытом. Меня поражают такие факты, вроде ниже следующего, которые могли бы казаться даже забавными, если бы не были связаны со столь трагическими обстоятельствами. На странице 64-й дела указано, что вовремя предварительного следствия, однажды Ахмед Абдуррагимов попросил свидания с прокурором, утверждая, что хочет сделать ему важное признание по делу, когда прокурор принял его в присутствии свидетелей, заключенный заявил, что никаких важных признаний у него нет, просто он просит прокурора одолжить ему тридцать рублей. Непостижимо! (Этот документ кончается фразой в невозмутимом протокольном стиле: «Прокурор отказался удовлетворить данную просьбу»). Есть в деле еще один любопытный документ – письмо, которое на клочке серой оберточной бумаги написал Мамед Ахмедов и бросил во время прогулки в камеру А.Абдуррагимова. Вот оно (я сохраняю стиль письма): «Здравствуй, Ахмед! Ахмед-джан, если хочешь узнать о нашем деле, слушай, что я пишу. Ахмед, положение таково. Ты сам знаешь, что ты старше, если оба пойдем, дадут большой срок. Давай ты возьми это дело на – себя, в этом деле преступник – ты. Ахмед, ты поверь, если я спасусь, поверь, что ты тоже спасешься, обещаю это тебе, как мужчина. Мой отец говорился с тем человеком все в порядке. Я получил письма из дома и от того, кого мы ударили. Пишут, что если я выйду, дело наше облегчится. Отец говорит, что машину он отремонтирует, если я выйду и тебе дадут меньше срока. Ты соглашайся с тем, что я пишу. Ахмед, здесь ничего такого нет, мне здесь все объяснили. Я стремлюсь выйти и облегчить твои дела. Что бы я ни говорил против тебя, ты соглашайся. Есть пословица такая – друзья познаются в беде, что бы я ни говорил против тебя, ты не принимай это как предательство. Потому что мы всё это делаем ради того чтобы спастись. Знай, что если я выйду, выйдешь и ты. Потому что мы хлеб-соль делили, были друзьями. Что бы я ни говорил, ты все это возьми на себя. И тот человек, и мой отец, и твой отец согласны с этим. И тебе дадут меньше срока. Если тебя допросят раньше меня, скажи что это я его заставил. Ахмед, я жалею тебя, потому что и тебя надо спасти. Я тебе не приказываю, чтобы ты соглашался. Эти дела от тебя зависят. Напиши мне и пошли сразу. Мою записку сожги, меня здесь научили».

Подпись: «Мамед»

Заметьте, речь идет о дружбе, о том, что друзья познаются в беде, о том, что они делили хлеб-соль. Он обещает, как мужчина.

Ахмед Абдуррагимов передает записку следователю. Позже Мамед показал, что такое же письмо с аналогичным содержанием было написано ему Ахмедом, но согласно просьбе последнего, он его сжег. Неважно, было ли такое письмо или нет, лжет Мамед или в данном случаи говорит правду. Ясно одно – «друзья» стоят друг за друга. Они подличают и предают даже в рамках той извращенной морали, которую признали для себя, сговорившись в сотрудничестве во имя убийства и ограбления: они попирают даже собственный кодекс соучастников преступления. «Не считай, что я тебя предаю, возьми вину на себя, скажи, что это ты меня свел с пути, чтобы мне, как несовершеннолетнему, можно было спасти свою шкуру. А потом я и тебе помогу, слово мужчины» – вот коварно-простодушная суть записки. Не слишком ли хитроумно для несовершеннолетнего?

А может, это от наивности? От наивности написал письмо, от наивности сжег письмо. Да наивностью тут и не пахнет!

«Отец договорился, машину отремонтирую» (кстати, все это ложь – никто с Мазаном ни о чем не договаривался, и никакого письма он в тюрьму не писал). Но дело даже не в этом. Машину отремонтирую – значит, все сводится к материальному ущербу, который можно воздать, договорившись о цене. Расчет, подлость, убежденность, что за деньги можно все – убить и уйти от наказания, «заложить» своего напарника и жить безмятежно, – вот смысл и записки, и мировоззрения, если в данном случае уместно это солидное слово для 17-летнего Мамеда. Не эта ли отравленная идейка о всемогуществе денег, неизвестно каким образом завладевшая умами некоторых молодых и немолодых людей, заставила А. Ибрагимова глубоко задуматься над данным происшествием, которое лишь на первый взгляд может казаться всего-навсего уголовным делом. Конечно, не всегда страсть к обогащению, к деньгам приводит к столь острым происшествиям. Но в самом зерне этой страсти есть нечто глубоко чуждое принципам нашего общества, и вместе с тем весьма опасное. У нас нет ни философской, ни психологической, ни социальной базы для такого мировоззрения, но, тем не менее, появляются люди, и среди них немало молодых, которые не только придерживаются такого мировоззрения пассивно, но и пытаются активно претворить его в действие. Взятки, подкупы, коррупция, хищения – так сказать, экономические формы саботажа против нашей философии, морали, мировоззрений. И следующий шаг, полшага – может быть – насилие, жестокость, убийство.

– Откуда такая жестокость у части молодого поколения? – размышляет Абдулла Ибрагимов. – Если рассуждать даже чисто обывательски, они же, эти молодые люди, не могли ожесточиться на войнах, не выпало на их долю социально-политических потрясений, да и жизненных трудностей им особенно хлебнуть не пришлось. Так в чем же дело? Почему наши следственные органы часто по жестокости совершенного преступления безошибочно определяют возраст преступника – им оказывается лицо не старше 20-25 лет. Почему растет число немотивированных преступлений? Об этих проблемах, надо говорить во всеуслышание, чтобы попытаться решить их. Умалчивание проблемы ни в коем случай не есть ее решение, наоборот, оно, такое умалчивание, только усугубляет болезнь. – К словам председателя Верховного суда республики, человека компетентного в этих делах, стоит прислушаться.

Есть человеконенавистническая теория, основанная якобы на статистике, что в период длительного отсутствия войн растет число немотивированных преступлений, происходит эскалация насилия. Мы отвергаем эту обскурантистскую теорию, которая косвенно, да и прямо оправдывает всемирную бойню. Мы отказываемся признать врожденными биологическими качествами человека – агрессивное начало в нем, кровожадность, жестокость.

Но мы должны дать свой ответ – научный, политический, эмоциональный – на вопрос: как появляются и формируются люди, рожденные 20-25 лет тому назад, слушающие радио и смотрящие фильмы, проживающие рядом со своими сверстниками – строителями городов и тружениками полей, исследователями неизвестных глубин космоса и добытчиками нефти из недр земли, моря, рядом со старшим поколением, прошедшим тяжкие испытания войны и разрухи, рядом со всем высоким и светлым в нашем обществе, и в то же время готовые хладнокровно и бездумно поднять руку на самое священное на земле – на человеческую жизнь, на жизнь другого человека. Как могло в условиях нашего общежития формироваться в подобных подонках, столь высокое уважение к деньгам, богатству и столь низкое неуважение к человеческой жизни. Я обратил внимание что на суде, отвечая на протокольные вопросы председателя – имя, фамилия, место, год, месяц и день рождения Ахмед Абдуррагимов еще как-то нехотя мог назвать свое имя, фамилию, место и год рождения, а вот день и месяц рождения не помнил, и в данном случае он не юлил. Он не помнил его в самом деле, самую важную дату в жизни каждого человека, день чуда, когда он появляется на свет. Мне это показалось не случайным – в этом была еще одна, пусть и небольшая, но характерная черта – неуважение к жизни, к человеческой жизни вообще и к своей жизни в частности. Неважно, когда появился на свет, неважно, когда и как уйдешь – перевернешься в машине, погибнешь в поножовщине, будешь приговорен к расстрелу...

Больше всего в облике преступников, которых я впервые видел на суде, потрясло безразличие. Был и страх, у Ахмеда потом была даже истерика, были попытки ловчить, лгать, но больше всего было, все же равнодушия, атрофии всех чувств, эмоций, безразличия ко всему на свете и к своей собственной участи в том числе.

Выбор пал на Мазана совершенно случайно – могли сесть в эту машину, могли и в следующую или предыдущую. Могли убить этого человека, инвалида, отца одиннадцати детей, могли и другого – холостого, бездетного, старого или молодого, могли убить и в том случае, когда он им рассказывал о своих военных ранениях и своей работе, и в том случае, если бы он говорил о женщинах Африки и пляжах Сочи. Будь он добрым или вспыльчивым, разговорчивым или молчуном, с юмором или без. Индивидуальность не играла никакой роли. Был только объект. Неважно, какой. Они решили его убить до того, как узнали. Но когда они его узнали – а человека, особенно если он такой общительный, как Мазан, лучше всего можно узнать в дороге, – это ни в коей мере не изменило их намерений. Они поддерживали разговор, называя его дядей, слушали, поддакивали, «сочувствовали», но на самом деле ничего из сказанного Мазаном о своей трудовой жизни, о семье не находило никакого отклика в их опустошенных – когда? как? каким образом? – душах. Он говорил на одном языке, они воспринимали на другом. Появились ли у них хоть какие-то зародыши сомнения – быть может, сохранив план убийства, не убивать именно вот этого человека, так трудно сумевшего сохранить свою жизнь в годы войны и такого доброго, а найти другого. Могли появиться такие сомнения – ведь он был так внимателен к ним, могли ли они, эти сомнения, возникнуть, ну хотя бы в момент, когда он предложил угостить их? Он предложил перекусить в столовой у станции Казимамедли в 23.15. Они же предложили ему другое – заправить машину бензином, чтобы ПОТОМ, ПОСЛЕ ЭТОГО, не тратить время на заправку, – и хлопотно это, и небезопасно. «Ничего, что при вас нет денег, я вас угощаю», – сказал Мазан в 23.15, а в 23.30 т.е. через 15 минут, когда он вышел у бензоколонки, они установили окончательный срок и место убийства – через 5-10 минут в 5-10 километрах отсюда.

Ничто не могло изменить их решения. Он был объектом и только. Ну, а предмет? На какой предмет они хотели убить его? Угнать машину и раскулачить ее? Допустим. Да, но Мазан вспоминает, как, «убив» его, они сразу же начали говорить о судьбе машины, о том, что опасно быть в ней, лучше ее бросить, – говорил Мамед, а Ахмед не очень решительно предложил доехать все же до Шеки, а там продать по частям.

Через несколько минут после того, как они выбросили Мазана на шоссе, «Москвич» перевернулся. Они – могли погибнуть. Во всяком случае, их план потерпел крах, лопнула затея обогащения. Они огорчились? Да нет, особенно не огорчились.

Безразличие, страх только и владели ими. Да и безразличие было сильнее страха. «Убить человека? Ну и что?». Но ведь и продать машину не удалось? Не беда!» Еще в машине, при «мертвом» Мазане они говорили, что через некоторое время угонят другую машину, естественно, предполагая, что и тот водитель будет убит, – преступники входили «во вкус». Ну вот, они попались с первого раза. «Да, не получилось». Их ждет осуждение. «Не повезло».

Какие-то серые, ничего не выражающие слова – символы душевной пустоты.

В дороге они напевали мейхана. Может быть, от страха, пытаясь приободрить самих себя? Может быть. Но мне почему-то кажется, что пели, свистели и щелкали пальцами они тоже, скорее от полного равнодушия и безразличия, к тому, все-таки весьма значительному поступку, который собирались совершить.

Едва ли не самым страшным для меня было то, что в них не было ненависти к своей жертве. Никакие неутоленные чувства возмездия, неотомщенные обиды, незабытые оскорбления не сжигали их сердца. В восемь вечера они даже не знали о существовании такого человека – Мазана Алиева – на свете. Почти четыре часа провели они вместе в пути, дышали одним воздухом, беседовали, смеялись. То, что рассказал о себе Мазан, не могло вызвать к нему ни ненависти, ни злобы, ни зависти. И даже тогда, когда один из них наносил Мазану удары ножом, а другой держал руки жертвы, было скорее импульсивное ожесточение, вызванное самовзинчиванием, чем застоявшаяся ненависть. По-настоящему возненавидели они Мазана только тогда, когда он выжил. А теперь, на суде, в самом деле ненавидели. Он стоял перед ними живой, не только с неповорачивающейся шеей из-за ножевых ранений, но и с несклоненной головой – из-за, своей биографии. Той биографии, которую им ни прожить, ни понять не дано.

\* \* \*

Судебное заседание началось с чтения обвинительного заключения. Читал его один из двух народных заседателей, ведущий диктор Азербайджанского радио Айдын Карадаглы. С его голосом у азербайджанских радиослушателей ассоциируются сообщения государственной важности, тексты торжественные, официальные. Я пытался догадаться об ощущениях преступников, когда они слышали о своих деяниях в чеканных фразах официального документа, голосом живого радио. Вещало как бы само государство, чьи законы и чью мораль они попрали. Эту мысль в ходе процесса неоднократно пытался им внушить и А.Ибрагимов, который говорил, что они виноваты не только перед конкретным лицом, пострадавшим М.Алиевым, но, в не меньшей степени и перед обществом. Обществом, которое вкладывает немало материальных средств, чтобы вырастить и воспитать своих членов достойными людьми.

Затем говорил Мазан Алиев. Он говорил долго, обстоятельно, подробно восстанавливая весь ход событий, уже знакомый читателю.

Я с нетерпением ждал первых слов обвиняемых. Как поведут себя, что скажут, какими фразами, доводами попытаются если не оправдаться, то, по крайней мере, объясниться?

Первые же фразы как Ахмеда, так и Мамеда, были попытками уличить Мазана Алиева в каких-то неточностях. Да, да, именно в неточностях. В неточностях деталей. Потому что основную суть происшествия и свою роль в нем они не отрицали.

– Он говорит неправду, – с видом оскорбленной невинности восклицал Мамед, – не нажимал я на его живот локтем. Я вышел из машины, прошел перед ней и сел за руль с другой двери. Не перелезал я через него.

– Хорошо, допустим, что это так. Не перелезал. Но руки-то держал, когда твой напарник наносил удары.

– Нет, и рук не держал, я держал руль.

– Говорил, умолял Мазан Алиев, чтобы вы его убивали?

– Да, говорил, умолял.

– Ну, а ты?

Молчание.

– Говорил он, что у него одиннадцать детей, чтобы вы пожалели его, не убивали?

– Да, говорил.

– А ты обругал его детей непристойными словами?

– Нет, не ругал.

– Взял ты у него из кармана деньги – 480 рублей и передал Ахмеду?

– Да, взял и передал.

– Сорвал ты с его руки часы?

– Нет, не срывал.

– Говорил ли ты, что он, может, еще не умер?

– Да

– Что ответил Ахмед?

– «Я не так ударил его, чтобы он выжил».

– И ты предложил выколоть ему глаза?

– Этого я не предлагал.

– Но ты говорил, что нам с ним делать?

– Да.

– И он предложил выбросить труп в Ширванский канал?

– Да.

– А ты сказал, что встретим еще кое-кого?

– Да.

– А кого ты имел в виду, когда говорил: кое-кого?

– …

– И вы выбросили его на дорогу?

– Я не выбрасывал.

– Как же он оказался на дороге?

– Дверь случайно открылась, и он выпал.

– Но вы не остановились?

– Нет.

– О чем вы договорились у бензоколонки?

– Убить его километров через 5-10.

– И вы договорились, что сигареты, которые попросит у тебя Ахмед, будут знаком?

– Нет.

– А что же?

– Просто он попросил у меня сигареты, и я дал.

– И в ту же секунду, не закурив, он стал наносить удары?

– Да.

– Так это не было знаком?

Молчание.

Не следует думать, что отрицание Мамедом ряда деталей носит непроизвольный характер или делается во имя восстановления истины. Просто за время предварительного заключения «соседи по камере» успели растолковать и нашептать ему некоторые статьи Уголовного кодекса. Он прекрасно осведомлен об обстоятельствах, отягчающих («выколи ему глаза», «выбросим его сейчас) и смягчающих («я держал руль, рук не держал», « дал просто сигарету», т.е. это не было знаком, не я давал непосредственный сигнал к действиям) вину. Он прекрасно учитывает чисто эмоциональные моменты, которые могут усилить антипатию к нему, и потому отрицает, что обругал детей, не хочет прослыть излишне жестоким – «не давил на живот локтем, вышел из дверей, перешел впереди машины и сел за руль с другой стороны». Чтобы не беспокоить труп, так сказать. Какая деликатность!

– Какова же была ваша цель?

– Угнать машину, раскулачить ее и продать.

Это не отрицается.

– Когда ты приехал в Баку?

– 23 марта.

– Где и когда вы познакомились с Ахмедом?

– Мы были знакомы еще в Шеки.

– А потом где и когда вы встретились?

– В Баку, 24 марта.

– Каким образом?

– Случайно. На улице.

– И что было потом?

– Мы гуляли весь день. Потом обедали в кафе «Фархад». У Ахмеда не было денег, я его угостил.

– И где же возник разговор об этом деле?

– Там же, в кафе.

– Расскажи подробно.

– Ахмед предложил мне остановить частную машину, попросить водителя отвезти нас куда-нибудь загород, а там его убить и угнать машину.

– Ты согласился?

– Да.

– Жалеешь ли ты теперь о своем поступке?

Молчание.

Это молчание было страшнее всего. Потом, в конце процесса, в последнем слове Мамед произнес фразы, видимо, вложенные в его уста адвокатом, пытающимся как-то смягчить участь своего клиента, о своем раскаянии, о том, что он сожалеет о содеянном, чувствует себя виноватым перед пострадавшим, но ни в начале процесса, ни по его ходу он этих слов не произносил. И не потому, что это был какой-то вызов, просто он не ощущает этих чувств.

Для деформированной нравственности преступление становится преступлением лишь раскрывшись, лишь в том случае, если наличествуют свидетели, а в данном необычайном варианте – если оказалась живой сама жертва. Не раскрытое, не доказанное, не имеющее свидетелей преступление – для нравственно деформированного сознания – не преступление. Раскрытие и, следовательно, боязнь кары – единственные предохранительные моменты. Все остальное – угрызения совести, внутренне самоистязание, ощущение страха за содеянный грех или как когда-то говорили, боязнь перед богом – все это не имеет никакого значения. Не пойман – не вор. Нет свидетелей убийства – не убийца. Мало ли что сам знаешь об этом. Можешь спать спокойно, даже не вспоминая об одиннадцати сиротах.

Другое дело, если попался. Раз попался, нельзя считать свой поступок таким же не вызывающим сомнения, как в вечер уговора в кафе «Фархад». Но по существу ни в психологии Мамеда, ни в понимании им нравственных законов, ничего, собственно, не произошло. Если бы преступление удалось бы до конца, если – бы они не попались Мамед, может быть, до последних дней своей жизни никаких угрызений совести не чувствовал бы. «Совесть»? А что это такое? Убивать человека – это плохо? Разве? Жестокость – это плохо? Да? Предательство это плохо – почему?

На эти предполагаемые вопросы преступника, которые вытекают из самой логики его поведения и мышления, очень трудно ответить. Действительно, как ему объяснить, что предательство – это плохо, жестокость – это зло, а совесть – понятие высокое. Что стоит за словами, если их невозможно доказать, показать в конкретных, зримых формах, на высоких примерах человеческого благородства, героизма, самопожертвования, доброты. На примерах из современной нашей жизни, из истории, из художественной литературы. История? Они ею не интересовались. Книги? Они их не читали. Ну, а современная жизнь? Неужели они не встречали добрых, честных, благородных людей? Как же так – не встречали? Взять хотя бы того же самого Мазана Алиева, чья биография могла казаться нарочито хрестоматийной, если бы не была абсолютно реальной? Суровый путь бойца на войне, самоотверженный труд на Нефтяных Камнях, здоровая, прочная, многодетная семья. И личные его качества – доброта, отзывчивость, трудолюбие. Так что же? Все это не остановило руку, наносящую ножевые удары, и язык, предложивший выколоть глаза. В чем же дело? Очевидно, для людей подобного рода существует иная шкала ценностей, в которой то, что для нормальных людей – плохо, вовсе и не плохо, то, что всем кажется злом, вовсе и не зло. Совесть, жалость, человечность? Слова, слова, слова… Ну, а деньги? Богатство? Тоже слова? Нет, это реальное. Ну, хотя бы возможность разгуляться в кафе «Фархад» – зауряднейшем из питейных заведений Баку. Замороженная рыба, малосольные огурцы, бутылка, две, три бутылки бакинской водки, 15-20 рублей в один вечер. Ну, хорошо, помножьте все это на десять вечеров, на сто? За все это – именно за это, ибо предельно убогий духовный мир преступников и не видел других соблазнов «сладкой жизни» – можно убить первого встречного человека, у которого имеется собственный автомобиль.

Но, может быть, здесь – другое? Может быть, так уж случилось, что им довелось встречать в жизни только людей – злых, лживых, продажных. Или хотя бы одного, двух таких людей, которые сформировали их характеры. Недаром адвокат Ахмеда обратил внимание на наколки на руках у Мамеда, как на признак его ранней связи с блатным миром. (Трудно пришлось на этом процессе опытным адвокатам. Не находя смягчающих обстоятельств для своего клиента, каждый пытался усугубить вину другого обвиняемого).

Но вот в качестве свидетеля выступает отец Мамеда – этот 58-летний мужчина, рабочий Шекинского шелкового комбината, выглядит глубоким стариком, трагедия сына сломила его. На его лице, заросшем белой щетиной, следы страдания. Судья просит его рассказать о себе; он рассказывает о себе, о трудовой своей жизни, о том, как ему пришлось работать с очень ранних лет и уже в 16 лет содержать семью из пяти человек.

Сейчас он работает в красильном цехе комбината, там же работает его жена, работал и сын Мамед (с зарплатой 60 рублей) до своего рокового отъезда в Баку. Пример отца был перед глазами Мамеда. Но, может быть, он в этом примере видел нечто противоположное его подлинному смыслу. Может, он оценивал жизненный путь отца как ненужное в жизни самопожертвование и благородство, которые ни к какому особо благополучному существованию не привели. Может быть, для умов незрелых, праведная жизнь без материальной компенсации – дурной пример, так сказать, доказательство от обратного?

Любопытно было наблюдать во время процесса за поведением преступников и жертвы. Последний казался более взволнованным, более взвинченным. Физически он более или менее выздоровел, но до сих пор не оправился от психического шока. Он оправился от ножевых ран, но до сих пор не может прийти в себя от потрясения того самого мига: кто же и за что же причиняет ему страшную, чудовищную боль – наносит удары – неужели тот самый парень который за минуту до этого весело болтал с ним, шутил, пел. За что? Вопросы, которым нет ответа даже сейчас, на суде. Потому что, черт возьми, ведь можно было, в конце концов, просто угнать какую-нибудь машину и раскулачить ее, не обязательно при этом убивая водителя, причем столь жестоким образом. Мазан пытался понять. Ему, как и любому человеку с нормальным нравственным сознанием, не только трудно, но фактически невозможно это понять. И, может быть именно поэтому он относится к преступникам, доставившим ему столько страданий, без злобы, скорее с недоумением и, как ни странно звучит это слово в подобном контексте, с некоторой даже ЗАБОТЛИВОСТЬЮ. Сколько раз в своем выступлении он повторял выражение «они же были, как мои же дети» (в смысле возраста, конечно). А в момент, когда старшему из обвиняемых – Ахмеду Абдуррагимову стало плохо на суде и он попросил воды, Мазан Алиев, у которого была бутылка с минеральной, быстро поднялся, подошел к нему и протянул наполненный стакан. В этом не было ни рисовки, ни позы. Это было естественным побуждением человека, живущего категориями добра, элементарной человечности, а не зла и злобы.

Был на суде и такой волнующий момент. В качестве вещественного доказательства председатель суда показал финский нож, которым были нанесены увечья Мазану Алиеву. Как только судья показал нож, Мазан закрыл лицо руками и опустил голову – он не мог смотреть на это оружие.

– Вы узнаете этот нож?

– Нет, – ответил Мазан, не поднимая головы, – я же его не видел.

– Но вы признаете, что именно им нанесены были вам удары? (Ваш ответ необходим для протокола).

– Наверное, раз его вытащили из моего виска.

– Пойдите и опознайте его.

– Я не могу, – сказал Мазан и еле слышно добавил, – я боюсь.

Судья улыбнулся.

– Не бойтесь, он же в моих руках.

Мазан сказал поразительные слова:

– Я боюсь проходить мимо них, – он указал на скамью подсудимых.

Ровно за пять минут до этого он не только прошел мимо этой скамьи, но и подошел к Ахмеду со стаканом воды. Сейчас же, видимо, действовали какие-то чисто физиологические импульсы, не контролируемые сознанием защитные инстинкты. Но он все же переборол в себе это, подошел к судье, внимательно рассмотрел нож и прямо-таки ахнул. Опять же в его реакции было больше недоумения, чем гнева. И, возвращаясь обратно мимо скамьи подсудимых, он произнес не менее поразительные слова:

– Ну как же вы могли... разве можно человека... таким вот ножом... Ну, кулаком бы хоть ударили.

Поразительными были не только слова, но и тон каким они были сказаны – не грозно обвинительным, а слегка порицательным. Не громкое осуждение, а мягкий, я бы даже сказал, упрек. Так говорит добрый дядя с шалуном-племянником, разбившим мячом стекло в окне.

И я абсолютно верю в бесхитростные слова жены Мазана Дуньи-ханым, которые она произнесла в своих свидетельских показаниях. На просьбу судьи охарактеризовать своего мужа, Дунья-ханым сказала:

– Ну, что мне о нем сказать? Мы вместе прожили много лет. И вот я знаю, если бы вы дали ему право он прямо сейчас отпустил бы этих парней.

Я верю Дунье-ханым не потому, что достаточно хорошо знаю характер Мазана (я не знаю достаточно хорошо), и не потому, что придерживаюсь идеи христианского всепрощения. Я верю в другое: в неистребимое доверие человека много пережившего, много страдавшего к другому человеку, в то, что не может быть у него, у этого самого другого человека, под всеми злыми и гнусными наслоениями чего-то хорошего, истинного, что еще не поздно спасти.

Можно ли еще спасти 17-летнего Мамеда? (Пока речь только о нем). Признаться, я очень сомневался в этом, не только тогда, когда знакомился с делом, но и тогда, когда видел, как он на суде прямо-таки с какой-то беспардонной наглостью пытался уличить Мазана Алиева в мелких несоответствиях его показаний, когда он скорее выглядел истцом, нежели ответчиком. Я сомневался в этом, когда услышал ответ Мамеда на абстрактно, но очень важно поставленный вопрос профессора Ш.Агаева, «что он, Мамед, сделал бы, если его вот сейчас отпустили бы?».

– Вернулся бы домой, – был ответ.

Он даже не догадывался, что мог быть иной ответ: пошел бы умолять, просить Мазана простить меня, попытался бы как-то загладить свою вину.

Но мои сомнения поколебались лишь в один момент.

В качестве свидетеля в зал вызывается мать Мамеда – Салатын Ахмедова. В зал входит 40-летняя миловидная женщина в келагае. Сколько скорби и в то же время какой-то прозрачной чистоты в лице этой женщины. (Я не знаю, какую долю ответственности в извращенном воспитании сына несет эта женщина. Во всяком случаи, это она добровольно сдала следствию обнаруженные ее 200 рублей: «Нам чужих денег не надо»).

Отвечала она тихо, грустно, правдиво. Кстати, один из ее ответов послужил установлению еще одного звена истины, но об этом – позже. Сейчас речь о ней. Сейчас я хочу рассказать об одном из самых волнующих эпизодов процесса, который тронул всех сидящих в зале.

Когда на свидетельском месте появилась мать и стала отвечать на вопросы – имя, фамилия, год рождения, Мамед заплакал. Он плакал не громко, не навзрыд, а тихо и горько, как нашкодивший ребенок. И это был первый, искренний и истинный эмоциональный отклик с его стороны за все это время. И не было ни доморощенного суперменства (он, конечно, не знает такого слова, но отравлен бациллами этого понятия – самим себе присвоенным правом, попирать человеческие законы, лишать жизни других и т.д.), не было тупой дотошности в желании уличить Мазана в мелких неточностях, не было душевной глухоты ко всем призывам к его чувствам, разуму, не было полной апатии и атрофии ко всему этому процессу, где решалась его судьба. Было лишь одно – близость единственного существа – способного любить его несмотря на все, даже на ЭТО, ибо по меркам любой шкалы ценностей нет ничего выше любви матери к своему ребенку – каким бы он ни был и чего бы ни натворил. Мать может наказать, отвергнуть, осудить своего ребенка и принять осуждение его другими, согласиться на любое наказание, наконец, оправдать это наказание, признать его справедливым, но при всем этом она не перестает любить свое дитя. Потому что, если бы она перестала его любить даже за то, что он преступник, то это тоже было бы преступлением против законов природы и нарушением человеческих нравственных законов. Подобно тому, как в гуманистический принцип закона входит обязательность оказания медицинской помощи даже осужденному на смерть преступнику, так и материнская любовь не противоречит правосудию.

Когда Мамед заплакал, увидев и услышав мать, во мне впервые затеплилась надежда. Я не знаю, каким он выйдет из заключения, отбыв свой срок, – перевоспитавшимся человеком, понявшим, что такое хорошо и что такое плохо, или же ожесточившимся злодеем, приобщившимся к преступному миру и освоившим, уже его профессиональные навыки, но, во всяком случае, в его слезах, вызванных появлением матери, – некая хрупкая надежда...

А чисто практически этот эмоциональный эпизод стал поворотным пунктом в процессе, в результате которого Мамед «раскололся» и признал то, что до этого отрицал.

Дело в том, что и он, и Ахмед категорически отрицали свой предварительный сговор еще в Шеки, что они приехали в Баку уже с определенным планом.

– Как вы встретились в Баку?

– Случайно, – твердили оба.

– Зачем ты приехал в Баку? – спрашивали у Мамеда.

– Просто так, – отвечал он.

– Погулять... – отвечал он.

– К любимой девушке... – отвечал он.

– И ты ее увидел?

– Нет, она уехала...

Ответы были явно несостоятельными, придуманными наспех, но других он не давал.

– Почему ваш сын поехал в Баку? Что он вам сказал? – спросили у отца Мамеда.

– Сказал, что едет гулять, – был ответ.

– К кому?

– Он не сказал.

Те же вопросы были заданы матери.

– Сказал, что едет гулять, – ответила Салатын Ахмедова, – я и говорю, – куда же ты едешь в большой город, к кому? Ты же никого там не знаешь. Ни знакомых у нас там нет, ни родственников. А он отвечает: там друг.

– А кто этот друг, он назвал этого друга? – спрашивает судья, и в зале наступает гробовая тишина.

– Да, – отвечает Салатын-ханым, которая только что вошла в зал и не слышала ни показаний мужа, ни показаний сына. Но, может быть, она говорит «да» и не только по этой причине, а и по глубокому и врожденному чувству невозможности говорить неправду. – Он сказал, что едет к этому вот Ахмеду.

Шорох проходит по залу. А.Ибрагимов обращается к Мамеду:

– Ты слышал, что сказала мать?

В самом начале процесса А.Ибрагимов разъяснил обвиняемым их права, определяемые законом, в том числе право говорить неправду в своих интересах. В отличие от свидетелей обвиняемый имеет право лгать и не несет за это уголовной ответственности.

– Так вот, – говорит А. Ибрагимов, – у тебя есть такое право. Ты можешь продолжать лгать – ты не несешь за это прямой ответственности. Ты можешь сказать, что лжет твоя мать, что ты ей не называл имени Ахмеда. Так как же?

Глубокое молчание. Слезы. Может, впервые в жизни в душе у парня происходит какое-то сложное борение, Затем четыре еле выговоренных слова:

– Я скажу после перерыва.

Объявляется перерыв.

\* \* \*

Ахмед Абдуррагимов вел себя на процессе иначе, чем Мамед. Вначале он, как и Мамед, пытался уличить Мазана Алиева в мелких несоответствиях. Он утверждал, что Мазан согласился повезти их в Кюрдамир из-за покрышек, а не потому, что они, якобы, договорились о цене за проезд – 50 рублей. Он тоже отрицал, что просьба о сигарете была условным знаком. Он отрицал, что Мамед передал ему деньги – 480 рублей, ведь и он успел уже ознакомиться – устно и заочно с определенными статьями Уголовного кодекса – может быть, отсутствие пункта о деньгах, т.е. ограбление, облегчит его участь – снимет обвинение еще по одной статье.

Но потом он избрал другую линию поведения – стал выдавать себя за больного. В самом деле, с начала процесса выглядел хуже Мамеда – был бледен, дрожал, даже упал в обморок. Он знал, что в отличие от несовершеннолетнего Мамеда, ему может грозить самое суровое наказание. Статья, по которой он обвинялся, допускает и высшую меру. Трижды во время процесса Ахмеда Абдуррагимова обследовали специально вызванные врачи – терапевт, невропатолог, психиатр. Они подтвердили, что никаких органических изменений у Абдуррагимова нет, и состояние его по всем показателям удовлетворительное. Однажды он сделал странный жест -помахал кому-то из судей рукой и сказал: привет. Во второй раз он крикнул: вы убили моего отца, убьете и меня (отец его жив-здоров, никогда никаким преследованиям не подвергался). Когда он попросил воды, и Мазан принес ему наполненный стакан, Абдуррагимов оттолкнул стакан. – Это отрава, он хочет отравить меня, – взвизгнул он.

Специально вызванный врач-психиатр, профессор Агабек Султанов установил, что все это – элементарная симуляция. Вместе с тем, он отметил, что у обвиняемого нервная истерическая реакция, которая, однако, не мешает ему все нормально воспринимать, и он находится в абсолютно вменяемом состоянии. Заключение профессора А. Султанова сыграло свою роль: Абдуррагимов перестал играть, а когда заговорил Мамед, заговорил и он.

\* \* \*

– Да, – сказал Мамед после перерыва, – мы договорились еще в Шеки. Ахмед сказал, что я еду в Баку, через несколько дней приезжай и ты. Угоним машину, раскулачим, продадим и кутнем.

– В Баку вы встретились сразу?

– Нет, на следующий день после моего приезда.

– А что ты делал в день приезда?

– Пошел в кино.

– Что ты смотрел?

«Мазандаранский тигр» (!)

– На следующий день вы встретились...

– Да, в кафе «Фархад». Потом на углу Полухина, остановили эту машину.

– Значит, в преступление тебя вовлек Ахмед?

– Да.

– Обвиняемый Абдуррагимов, он говорит правду?

– Нет, – Абдуррагимов начал говорить, – это он меня уговорил. Он раз пять делал мне это предложение, пока я не согласился.

Врет ли Ахмед Абдуррагимов? По всей вероятности да. Очевидно, что преступный замысел возник именно у него. А Мамеда он вовлек в это дело, потому что он, Мамед, умеет водить машину. Но это ни в коей мере не смягчает вину Мамеда. Он, по собственному признанию, без тени сомнения и колебаний принял преступное предложение Ахмеда.

– Где достали нож? – вопрос Ахмеду.

– Его подарил мне один парень в кафе «Фархад».

– Как его зовут.

– Фикрет.

– Фамилия? – Не помню.

– Где работает, живет?

– Не знаю.

\* \* \*

В последнее время Ахмед нигде не работал, но до этого некоторое время был плотником в поселке Зых. У Ахмеда отец, мать. Два старших брата его осуждены за спекуляцию.

«Если бы сыновья мои были бы порядочными людьми, мне не пришлось бы работать в таком преклонном возрасте», – говорил отец Ахмеда.

Ахмед женат, имеет ребенка. (В деле есть письмо следователю его жены Маиры: «Я уже три месяца не видела лица своего мужа. Что теперь я буду делать, куда пойду с этим ребенком. А семья родителей Ахмеда очень бедная, это видели и ваши работники, когда пришли к ним в дом. Помогите мне»).

В показаниях жены указывается, что 26 марта он пришел домой и снял свою рубашку. Она была в крови. Жена ее выстирала. На суде не было никого из семьи Абдуррагимова – ни отца, ни матери, ни жены, ни сестры. В марте, за несколько дней до рокового происшествия, умер ребенок его сестры и об этом, уже в Баку, сообщил ему Мамед. Два брата, как уже было сказано, – сидят в тюрьме. Ситуация трагическая – все напасти обрушились на голову 23-летнего парня. Является все это – хоть в малейшей степени – смягчающими обстоятельством в его преступлении? Конечно же, нет. Но, может быть, они должны учитываться, если не по законам юриспруденции, то по законам психологии. Да, психологический настрой души преступника тоже нельзя сбрасывать со счетов, если бы... Если бы Ахмед Абдуррагимов не напевал бы в машине веселые песенки, не щелкал бы пальцам в такт мейхана, не шутил бы, не смеялся… Если бы не обсуждал хладнокровно и деловито план убийства в кафе «Фархад» за день до событий 25 марта. «В этот день (т.е. 24 марта) мы хорошо гульнули».

Человек, подавленный горем, так себя не ведет. Упоминания о бедствиях, обрушившихся на семью Абдуррагимовых, я сделал лишь потому, что хотел подчеркнуть еще раз полное безразличие Ахмеда ко всему на свете, в том числе и к несчастью близких. Он, который мог бы стать единственной опорой отцу после осуждения старших братьев, поспешил пойти по их же пути, но только еще дальше. Положение семьи абсолютно не трогало его. Ведь даже для формального оправдания себе он не сказал, что хотел убить и ограбить ради того, чтобы помочь деньгами своей семье. В этом была бы своя хоть и чудовищная, преступная логика. Нет. «У семьи горе, мне какое дело? Я убью, ограблю, а на эти деньги гуляку опять-таки в этом пресловутом кафе «Фархад».

Кстати, об этом кафе. На суде неоднократно фигурировало это название и говорилось о том, что здесь собираются парни, приехавшие из Шеки, точно так же в некоторых других бакинских кафе встречаются приезжие из других – определенных – районов. Я не хочу огульно осуждать это явление, хотя оно и попахивает столь ненавистным мне местничеством. Я понимаю, что приехавший из далекого района молодой человек может на первых порах чувствовать себя одиноко и неуютно в большом, незнакомом городе. Естественно его желание найти кого-то из знакомых, «своих», и в этом определенный пункт – пусть это будет кафе может служить надежным ориентиром. В этом еще ничего плохого, может быть, и нет. Но когда ориентир превращается в явку, когда сама атмосфера кафе, где встречаются только «свои», рождает кастовость, замкнутость, уже настораживает. Ведь именно в атмосфере кастовости, замкнутости, ложно понятого доверия к «своим» могут и возникать ситуации, когда один парень запросто предлагает другому стать соучастником преступления, а третий вкладывает в их руки нож, абсолютно спокойный на счет того, что «свой» не выдаст (– Фамилия? – Не помню. Где работает, живет? – Не знаю). И об этом тоже стоит серьезно призадуматься.

Серьезно стоит призадуматься над многим. Мы к счастью, не можем говорить о волне насилия и жестокости, ибо в нашем обществе нет той духовной атмосферы, которая порождает подобные явления в массовом порядке. Наши книжные лотки не завалены смакующими преступления комиксами, у нас нет и не может быть искусства, воспевающего насилие, секс, идеал «золотого тельца». На наши экраны почти не находят путь зарубежные фильмы, изображающие даже элементы всего этого. Оговорка «почти» не случайна. Все же есть маленькие грешки у нашего проката. В погоне за кассовыми сборами – нет-нет да и появятся на наших экранах фильмы, рассчитанные на крайне примитивное сознание и тем более для него, примитивного сознания, опасные. Ведь не зря и в этом деле фигурирует название такого рода фильма – «Мазандаранский тигр»).

Конечно, незачем сводить всю эту историю к проблеме «Мазандаранского тигра» и кинематографа вообще. Но один из уроков – этой истории, на мой взгляд, – это призыв к ответственности – ответственности кино, телевидения, радио и т.д. – в воспитании духовности в людях, в воспитании и обогащении их эмоций, нравственного и человеческого начала в них. Это особенно относится к тому поколению, чей скудный жизненный опыт не является достаточной моральной гарантией в сложных нравственных выборах и испытаниях. Конечно, преступления о которых рассказано выше, – это исключение, далеко не типичное для нашей жизни явление. Даже в маленьком зале судебного заседания положительные, как говорится, примеры не надо было долго искать: здесь сидели старшие дети Мазана Алиева – труженики, работяги, с привитыми с раннего возраста твердыми жизненными принципами. Здесь в качестве свидетелей пришли Айдын Джалилов и Садык Гамзаев – студенты строительного факультета Азербайджанского политехнического института, скромные, вдумчивые ребята, потрясенные происшествием, к которому они имели косвенное касательство. Ведь у них дома несколько дней прожил Ахмед Абдуррагимов, пил с ними чай, беседовал, а в это время в его извращенном сознании созревал замысел преступления.

Никто из нас не застрахован от случайных знакомств, неразборчивых связей. Но как же все-таки случилось, что эти ребята не раскусили Ахмеда Абдуррагимова, не поняли его истинной сущности, живя с ним под одной крышей. Правда, его не раскусил и Мазан, человек со значительно более богатым жизненным опытом, но ведь с Мазаном он играл, а с ними он мог быть более или менее откровенным. Дело в том, что Ахмед, поняв своих временных соседей по комнате лучше, чем они его, не был с ними откровенен. Но все же по каким-то приметам его поведения они засомневались в нем и потому при первом же удобном случае (приезд матери Айдына был лишь поводом) попросили Ахмеда покинуть их комнату.

Но они, люди с нормальным сознанием, не могли и мысли допустить, что Ахмед способен на такое. Они, по доброте душевной приютили человека, которому было негде ночевать и который носил в себе замысел преступления. Мне, помимо всего, очень интересен и такой вопрос: какой эмоциональный и психологический вывод сделали для себя из этой истории два студента, или, говоря проще, пришли ли они к убеждению, что никому нельзя доверять и как бы человек ни жаловался на то, что ему негде спать, пускать его к себе в дом не следует – вдруг окажется преступником. Было бы очень печально, если бы на основании этого своего горького опыта они отказались бы в дальнейшей своей жизни протягивать кому-либо руку. Об этом хорошо сказал А. Ибрагимов, расспрашивая Садыка в качестве свидетеля. По делу было ясно, что и Садык, и Айдын Джалилов вне подозрений, но им на суде все же был задан ряд очень пытливых вопросов. А в конце А. Ибрагимов сказал: «Долг следствия и суда – рассмотреть все возможные подозрения и только потом снять их. Но если вы из этого зала выйдите с убеждением, что ко всем людям надо относиться подозрительно, как к потенциальным преступникам, это будет очень плохо. Я хочу верить, что этого не случится».

Выступили адвокаты.

Адвокат Ахмеда Абдуррагимова, признав его виновным в попытке убийства и незаконном ношении холодного оружия, просил снять с подсудимого обвинение по третьему пункту – по статье ограбления.

Адвокат Мамеда Ахмедова, признав его виновным в ограблении (как-никак в его доме обнаружено 200 рублей) и в незаконном (не имея водительских прав) вождении автомобиля, просил снять с него обвинение по статье преднамеренной попытки убийства.

Прокурор потребовал лишить Ахмеда Абдуррагимова свободы сроком на 15 лет, а Мамедова – сроком на 10 лет.

Суд удалился на совещание.

\* \* \*

Я наблюдал тех, кто в зале, – семьи жертвы и преступника. Жена, дети Мазана, он сам беседуют с матерью и отцом Мамеда. Они говорят о посторонних вещах, не о самом событии, не о суде. Они говорят о своих родительских заботах, небольших заработках, мелких неурядицах, плохих квартирных условиях, условиях на работе. Я думаю о том, сколько общего между этими семьями в особенностях быта, поведения, образа жизни. И в смысле забот, и в смысле заработков у этих семей между собой гораздо больше общего, чем у любой из них с семьей прокурора, судей, адвокатов, профессоров-экспертов.

Волей-неволей разговор возвращается к этой истории. Кто-то посторонний подсказывает: договорились бы между собой, починили бы машину, вернули бы вам, а вы помогли бы облегчить их участь.

– Я своей кровью не торгую, – веско отвечает Мазан, – а машину они мою ранили еще хуже, чем меня, изувечили…

– Встать. Суд идет!

Стоя выслушиваем приговор, который звучит как бы из репродуктора – читает его Айдын Карадаглы:

– ...Ахмеда Абдуррагимова к 12 годам лишения свободы…

– ...Мамеда Ахмедова к 8 годам лишения свободы...

– ...Имеющиеся в деле вещественные доказательства – 200 (двести) рублей возвратить их владельцу, пострадавшему Мазану Алиеву, шарф – его владельцу – обвиняемому Ахмеду Абдуррагимову, финский нож – уничтожить!

– ...Иск Мазана Алиева по поводу его машины – рассмотреть отдельно, как гражданское дело.

– ...Приговор окончательный, обжалованию в кассационном порядке и опротестованию не подлежит.

\* \* \*

В одном из своих выступлений на суде Мазан Алиев говорит: – Я не умру.

Он это сказал в ответ на заботливый вопрос судьи о состоянии здоровья и не вредно ли для него волнение.

– Ничего со мной не будет, – сказал Мазан Алиев. – Я не умираю. На войне сколько раз меня хотели убить, три раза ранили, три дня я пролежал среди трупов, фрицы думали, что я мертв. Но я не умер. И вот они двенадцать раз ножом ударили, выбросили из машины. Думали, что я мертв. А я не умираю.

Его слова вызвали улыбку, добрый смех; с такой серьезностью и убежденностью говорил это Мазан. Смеялись даже его дети. Но я подумал о том, что в этих простых словах есть глубокий символический смысл.

Зло имеет много обликов. Есть зло войны, когда в тебя стреляет враг. Существует зло и в мирное время, когда на тебя поднимается рука преступника.

Мазан Алиев – я еще раз – в последний раз, подчеркиваю это – прошел всю войну, получил ранения, потерял ногу, но выжил, работал, окончил заочно институт, возводил буровые в море, вырастил и воспитал одиннадцать детей, а в свободное время играл на таре с перламутром. 29 лет спустя после последних выстрелов войны, двое парней, родившихся 6 и 12 лет спустя после этих же самых последних выстрелов, нанесли ему 12 ножевых ранений в 10 километрах от города Казимамедли в мартовскую полночь. И он опять жив.

В данном случае эта живучесть, как мне кажется, символизирует не только счастливую судьбу одного конкретного лица, но и нечто большее, победу жизни вообще. Поразительная живучесть маленького, щупленького человека, у которого одиннадцать детей, – это и живучесть народа, который несет в себе, сохраняет и передает из поколения в поколение великое нравственное начало, извечное добро, извечно противостоящее насилию, злу и смерти.

1974г. Баку

Перевод автора

# Я, ты, он и телефон

*Рассказ*

Номера телефонов

Не похожи один на другой,

Но во всех – человеческий голос…

Дни плохие,

Не похожи один на другой:

Сам однажды не отвечаешь,

И однажды молчит телефон

Вагиф Векилов

Вчера умер твой телефон. Умирают не только люди. Умирают номера телефонов. Забудешь в своей жизни много цифр: номер паспорта, зарплату на последней работе, номер автомобиля друга, численность населения своего города, расстояние до Луны, но не забудешь эти пять цифр, которые именно в такой последовательности, именно в этом сочетании были для тебя самым ценным подарком с ее голосом и запахом фиалок в трубке.

Иногда я поднимал трубку черного телефона, как крышку рояля. Иногда клал трубку, как закрывают крышку гроба.

И вот его нет, этого номера. То есть он существует, но теперь это для меня недоступная территория, и расстояние к этим пяти цифрам на диске, которые у меня под рукой, непреодолимое расстояние в мили, километры – нет, целые парсеки. Могу набрать четыре пятых этого расстояния, но никогда не наберу последнюю цифру, потому что твой номер – это закрытая черная дверь, ключ от которой потерян.

Мне не надо было тебя видеть. Я звонил тебе, слышал твой голос и говорил: «Какие у тебя холодные пальцы, милая, почему?» И ты мне отвечала, почему.

Я мог не видеть тебя, но я чувствовал тебя на расстоянии, как жители побережья чувствуют море, даже если не видят его.

И вдруг моря не стало.

Самая банальная история: я, ты, и... конечно же, он. Но еще и телефон. А все началось со свадьбы Расима.

– Нас было пятеро, – продолжал свой тост Фируз. – В общем, как в фильме, помните: «Их было пятеро»? Я, Кямал, Мурад, Расим и Сеймур. Мы, как крепости, пали один за другим. Вот полюбуйтесь: наши жены – все расхохотались, – а дома еще и чада. Так вот, сегодня мы теряем Расима. Конечно, я шучу. Я желаю вам всего наилучшего, дорогие Расим и Фарида, Счастья, радости, сыновей и дочерей. Но за нас мы уже пили и еще будем пить. Теперь же мне хочется поднять бокал за последнего из могикан, за нашего милого Сеймура. Он молодой, холостой наш, неженатый друг наш, светик-солнышко, наше последнее утешение и символ потерянного рая.

Все повернулись ко мне, сквозь смех и звон бокалов я видел лица, сливающиеся в некое общее выражение – улыбающееся, удивленное.

Когда гости начали расходиться и мы все вместе – Фируз, Кямал, Мурад с женами и я один – шли по ночным улицам города, я вдруг почувствовал, как жена Фируза взяла меня под руку.

– Ну, Сеймур, когда на твоей свадьбе, будем гулять?

– Не скоро.

– Почему? Или ты принимаешь всерьез слова этого болтуна? – Она ласково прижалась к своему мужу. – Думаешь, что семья – ад?

– Он не может найти достойную девушку, – сказал Фируз.

– В самом деле. Эй, ребята, давайте найдем Сеймуру невесту. Если мы найдем тебе лучшую девушку Баку, ты женишься?

– Непременно, – сказал я. – Только с условием. Вы должны найти ее сейчас же, пока я в несколько приподнятом настроении. А завтра я передумаю.

– Милый мой, – сказал Кямал, – где мы найдем ее в такой час? На улице, что ли? Не думаю, чтобы ты женился на девушке, которая в этот час одиноко прогуливается по улицам.

– То-то и оно-то, – сказал я. – Значит, вопрос отпадает.

– У меня есть предложение: давайте найдем ему невесту по телефону? Вот как раз автомат.

– Прекрасная мысль, – сказал я. – Только у меня нет двухкопеечных.

Сразу же мне предложили дюжину двухкопеечных. Я прошел в будку.

– Говорите номер.

– Да набирай любой, – сказал Фируз. – Вот, например... – Вдруг он осекся. – Э, брат, нет. Это, знаешь ли, ответственность. С тещей не поладишь – всю жизнь меня ругать будешь.

– Ах ты, трусишка, – сказал я. – Вот в этом и все дело. Ответственность. Кямал, говори ты.

– У меня предложение, – сказала жена Фируза, у которой всегда было какое-нибудь предложение. – Чтобы не было индивидуальной ответственности, давайте сделаем так: каждый скажет одну цифру.

– Отлично, – сказал Фируз. Он всегда был в восторге от предложений своей жены. – Два. Я набрал цифру.

– Девять, – сказала жена Фируза.

– Ноль, – сказал Кямал и повернулся к жене: – Твоя очередь.

– Ну, не знаю, – замялась она. – Ну, хорошо: четыре.

– Пять, – сказал Мурад.

И только жена Мурада ничего не успела сказать, так как в трубке уже звучали протяжные гудки, Фируз протянул мне платок:

– На, закрой мембрану. Чтоб голос не узнала. В случае чего – можешь удрать.

Все расхохотались, и я повесил трубку.

– Спит моя невеста.

И мы двинулись дальше.

Все разбрелись по домам, и я почему-то почувствовал себя очень одиноко. Я долго ходил по пустынному бульвару, вглядываясь в темное море и разноцветные буи, и вдруг вспомнил номер, по которому звонил час тому назад. Было два часа ночи. Я вошел в ближайший автомат и, когда вынимал из кармана двухкопеечные, в руке обнаружил платок Фируза. Улыбнувшись, я закрыл им мембрану и набрал номер 2-90-45.

Ждал я недолго. В трубке раздался женский голос, и его даже нельзя было назвать сонным, может быть, только чуть-чуть уставшим и чуточку удивленным.

– Я слушаю.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Кто это?

– Это я. Давайте знакомиться.

Я машинально, как от пощечины, захотел закрыться от резкости, брани; или не вздрогнуть от отбоя, как от двери, которую захлопывают перед твоим носом. И я поразился, когда не последовало ни того, ни другого. Голос так же спокойно сказал:

– Вы не думаете, что время несколько позднее для этого?

– Ничуть. Я только что вышел со свадьбы самого близкого друга. Это был мой последний холостой друг, и у меня такое ощущение, что я с его похорон.

– Ну, зачем вы так? А вы сами разве не женаты?

– Нет. А вы замужем? – Она засмеялась.

– Не много ли вы хотите узнать в первые же минуты знакомства?

– Вы простите, пожалуйста. Я вовсе не из серии телефонных хулиганов. Просто мне было очень одиноко. И я решил позвонить, чтобы хоть с кем-нибудь поговорить.

– А как вы узнали мой номер?

– Чистая случайность. Ну... я набрал первые пришедшие мне на ум цифры.

– Очаровательно.

– Вы знаете, я немного выпил и мне очень одиноко.

– Это бывает.

– Не можем ли мы встретиться с вами?

– Вот это уж никак невозможно. Давайте уговоримся с вами так. Сейчас уже поздно. Вы сейчас пойдете и ляжете спать. А завтра проснетесь, и все будет хорошо. Вот увидите.

– Но я хочу видеть вас. Или хотя бы говорить с вами.

– Вы теперь знаете мой телефон. Или вы забыли его? Так вот, если у вас в трезвом виде появится такое же желание, можете позвонить мне.

– Правда?

– Правда. Ну, спокойной ночи.

– Я завтра же вам позвоню.

И хоть это было предельно глупо, но, когда я шел по пустынным ночным улицам, мне казалось, что у меня уже кто-то есть.

На следующий день я, естественно не позвонил. Весь день я мотался и уже забыл обо всем. Несколько дней спустя на обсуждении плана работ я сцепился с заведующим нашей лабораторией, который к тому же был и моим научным руководителем.

После обсуждения Фируз увел меня к себе домой. Мы с ним работали в одном институте. По дороге он учил меня уму-разуму, говорил, что не надо лезть на рожон, если даже я прав, есть много форм выражения и отстаивания правды, и восстанавливать против себя всех – явно не самая удачная из них.

– Есть такое понятие, как эвфемизм, – говорил он. – Можно сказать человеку, что он, видимо, введен в заблуждение, и ту же мысль можно выразить так: ты отпетый дурак, что ты смыслишь в этой работе? Так вот...

– Так вот, мне надоели твои обтекаемости, – сказал я.

– Ну, хорошо, я вижу, сейчас с тобой бессмысленно говорить, пошли ко мне чай пить.

– Ты знаешь, – говорила мне жена Фируза, в то время как в другой комнате он облекался в синюю пижаму и мягкие пуховые домашние тапочки, – просто поразительно, как он сам произносит слова «мам-ма», «пап-па». Никто его не учил... – Она говорила о своем годовалом сыне.

– Да, это удивительно, – сказал Фируз из коридора. – У меня появилась теория, что язык создали дети. Не взрослые в эпоху детства человечества, а именно дети. Это они придумали слова, которыми пользуемся мы, взрослые. Ну, посмотри, что за прелесть! У кого ты видел такого мальчика, а, дядя Сеймур?

Я мучительно пытался вспомнить номер: помнил две последние цифры, еще первую – два, и третью – ноль, а вот вторую – никак не мог вспомнить.

– Послушай, Семая, ты не помнишь, какую цифру сказала ты в тот вечер?

– В какой вечер?

Пришлось долго объяснять, пришлось выдержать целую лавину острот, предположений, намеков, ухмылок, шуток, и когда я был уже у порога, уже в пальто, услышал голос Семаи:

– Вспомнила: девять! Это номер моего троллейбуса.

– Алло. Здравствуйте, это я.

– Здравствуйте. Кто это?

– Вы уже забыли. Помните, я вам звонил? Три дня тому назад. Почти в это время.

– Но у вас был другой голос, – сказала она насмешливо. – Или это целый отряд одиноких друзей одного женившегося? Скрашиваете, так сказать, свое одиночество телефонными развлечениями.

Она умела говорить резко, но, к счастью, я вдруг догадался в чем дело, и быстро закрыл мембрану платком.

– Клянусь вам, это только я; наверное, в прошлый раз у меня был очень пьяный голос.

– Нет, вот точно такой, как сейчас. Просто мне показалось сперва, что это другой голос. – Она как-то облегченно засмеялась. – Итак, сегодня вы трезвы?

– Как стеклышко. И, тем не менее, мне очень хотелось позвонить вам. Я даже записал ваш телефон, на случай, если забуду.

– Хорошо, что вы позвонили, а то мне тоже сегодня грустно. У меня испортился приемник.

– Вы всегда так поздно ложитесь?

– Да, я до поздней ночи слушаю радио. А сегодня вот перегорел предохранитель, и я как без рук, сама не своя, просто места себе на нахожу.

В трубке я слышал (правда, издалека), как кто-то играет на пианино.

– Вы не любите отвечать на вопросы, но простите за нескромность: кто это играет в такое время?

– А-а... – Она засмеялась. – Это не у меня, у соседей. Такая настырная девочка, занимается до поздней ночи. Стены-то тонкие, от ее гамм можно с ума сойти. Когда у меня работает приемник, я хоть ее игру почти не замечаю.

– А что вы слушаете по радио?

– О, я обжила эфир, как свою комнату. Вот здесь ночной концерт... – Я как будто видел, как она сидит у приемника и водит пальцем по шкале. – Здесь какие-то отрывистые мелодии из-за океана. Вот здесь завывание бури, здесь речь на каком-то непонятном языке. А вот здесь шумный вечер: конферансье острит, я не понимаю слов, но все смеются, свистят, аплодируют, и мне становится тоже весело. Вот здесь всегда какая-нибудь интимная передача: мужчина и женщина говорят так тихо, почти полушепотом, я чувствую, как они прямо дышат в микрофон. Удивительная вещь радио. Как будто со мной в комнате весь ночной мир, ночное небо, полное мелодий, драм, самолетов.

– Самолетов? – переспросил я.

– Слышите? – сказала она, и я понял, что она замолчала, прислушиваясь.

И спустя немного я тоже услышал далекий гул самолета. «Интересно, пролетит ли он и над моим домом? – подумал я. – Интересно, где ее дом находится – в каком районе города?»

– Радио и самолеты чем-то очень близки, – сказала она. – Правда?

– Может быть, тем, что у них общее небо?

– Может быть, – сказала она и опять замолчала.

Теперь в трубке не было гула самолета, лишь однообразно и назойливо звучали гаммы.

– Я все рассказываю, а вы молчите. Вы тоже мне что-нибудь расскажите.

И, чувствуя всю нелепость ситуации и, тем не менее, будучи не в силах уйти от вдруг появившегося желания, я выложил незнакомому мне человеку все свои неприятности по работе и то, как мне с каждым днем труднее находить общий язык со своим ближайшим другом Фирузом, и то, за что я не люблю своего научного руководителя, и все то, что я сказал ему сегодня на обсуждении, и еще многое другое.

Потом я как-то опомнился и быстро, быть может, даже слишком поспешно, распрощался с ней.

Я шел к себе домой и думал о том, что никто не поверит тому, что случилось. И в самом деле – нелепо делиться самыми сокровенными мыслями с человеком, о котором буквально ничего не знаешь. Разве только то, что она по ночам любит слушать радио, а ее соседка до глубокой ночи разучивает гаммы.

Один из персонажей этого рассказа – телефон. И мне хотелось бы набросать несколько штрихов к его образу.

В последнее время я часто думал о телефонах, и они для меня стали каждый на свое лицо. В кабинете руководителя нашей лаборатории стоит черный телефон, и каждый раз, когда я смотрел на него (на телефон, а не на руководителя), я не мог освободиться от ощущения, что его шнур – это бикфордов шнур.

Когда я видел испуганные, вечно беспокойные глаза нашего руководителя, то, как он сидит на своем кресле словно на иголках и вздрагивает от каждого звонка, я чувствовал, что для него этот черный аппарат – это мина, которую поставили в его кабинете на тумбочку. Она может в любую минуту взорваться дурным известием: могут позвонить и сообщить ему, что он снят с работы или что от него ушла жена.

А в канцелярии нашей стоял телефон без диска – с опечатанным диском, – как машина без колес, как письмо без адреса: он был беспомощен и казался мне символом зависимости и бессилия – тебе могут позвонить, но ты не можешь. И этому виду телефонов я противопоставлял телефоны-автоматы, которые олицетворяли, на мой взгляд, идею безнаказанности, безответственности – можешь позвонить и сказать все что угодно, тебе же не могут позвонить и ответить.

Но никогда я так горько не жалел, что у меня дома нет телефона, и я как скупой рыцарь откладывал все попадающиеся мне двухкопеечные в левый карман пиджака, отнимая их у знакомых, разменивая другие деньги на двухкопеечные во всех магазинах, будках и киосках.

Я звонил ей теперь почти каждую ночь и по какой-то установившейся традиции – в позднее время.

И эти разговоры с их нудным аккомпанементом разучиваемых гамм, с паузами, заполненными гулом самолетов и еле слышным дыханием приемника где-то в фоне, с ее чуть усталым, чуть ироничным голосом уже входили, как привычка и необходимость, в мою жизнь. И я узнавал о ней все больше, хотя все еще ничтожно мало.

Я узнал, что зовут ее Медина, что живет она одна, что у нее карие глаза и туфли 35-го размера. Вот и все, собственно, что я знал о ней.

– Сколько вам лет? – спросил я ее однажды.

– О, я глубокая старушка, у меня внуки и внучки, – сказала она.

И я прекрасно ощутил по ее молодому голосу, что она мистифицирует меня, понял и другое: ей не хочется говорить ни о своем возрасте, ни о своей работе, ни о своем, так сказать, семейном положении. Обо всем этом она не спрашивала и меня, хотя уже знала, что мне 29 лет, что я не женат, живу с мамой и работаю в научном учреждении. Не знала она только моего подлинного имени, так как, включившись в ее игру, я назвал совершенно другое имя – Рустам. А может быть, и ее звали не Мединой.

– Когда же мы с вами встретимся?

– А зачем? – сказала она. – Нам и так хорошо. Не знаю, как вы, а в мою жизнь эти звонки внесли что-то очень важное. Мне приятно, что я в какие-то часы жду звонка человека, с которым я могу делиться, потому что я совсем его не знаю, ни разу не видела и даже не могу представить себе, и он тоже может делиться со мной, так как тоже не имеет ни малейшего представления обо мне. Встретимся, разочаруемся друг в друге, и все пройдет. И если даже не разочаруемся, это будет что-то совсем другое, банальное и обычное. Давайте сохраним наши отношения в такой форме. Уверяю вас, это будет гораздо интереснее. Расскажите лучше, как у вас там на работе. Все уладилось?

– Я подал заявление об уходе.

– А куда вы пойдете?

– Еще не знаю, а что вы посоветуете? – Она не ответила, и я услышал гул самолета.

Мы встречали Новый год у Фируза. Пришли и новобрачные Расим и Фарида. Без десяти двенадцать мы сели за стол, виртуозно накрытый женой Фируза при участии всех других жен. Я пришел позже всех. Было очень холодно, и после снежной и метельной улицы как-то особенно приятно было чувствовать свет и тепло домашнего очага.

Часы пробили двенадцать, мы все начали обниматься, и целоваться, и желать друг другу кучу радостей, а Фируз сказал, что это будет исторический год женитьбы Сеймура. Затем мы выпили еще, и Фируз увел меня в сторону. Мы сидели с ним с бокалами в руках, и он, уже изрядно пьяный, говорил мне одному тост:

– Я пью за тебя. Чтобы ты всегда был таким прямым, принципиальным, но к тому же еще немного и трезвым реалистом. Я знаю, в душе ты, может, начинаешь презирать меня. Мол, я продался вот за эти деревяшки, – он показал на свою сверкающую мебель в новостаромодном стиле, – или за норку Семаи. Нет, я никогда не скажу слова против своей совести, ты можешь быть уверен. Но надо где-нибудь и уступить, чтобы где-то отстоять. Чтобы удержать свои позиции, надо идти на компромиссы.

– Может, ты и прав. Только для меня эта бухгалтерия слишком сложна.

– Эх, – он махнул рукой, – давай лучше выпьем. Где ты будешь работать с нового года?

– В газете, – сказал я. – А наукой буду заниматься, так сказать, в порядке собственной инициативы. Я уже зачислен в штат.

– Ну что же, тебе лучше знать, хотя я совершенно не одобряю.

Он сел к роялю, а его жена спела последнюю новинку нашего радио, и я вдруг вспомнил про гаммы, а затем и про радио.

– Я хочу сказать тост.

Все удивленно повернулись ко мне, все знали, что я никогда не произношу тостов.

– Вот мы здесь все вместе, нас много, и нам всем вместе хорошо. Но давайте подумаем, что сейчас кто-то одинок. Например... стрелочники.

– Кто-кто? – хором переспросили меня.

– Стрелочники, – сказал я с вызовом, – да, стрелочники, которые знают расписание поездов, выходят из своих одиноких избушек в ночь и пургу, чтоб встречать поезда.

– Ты, кажется, уже малость... – сказал Расим, – того, хватил лишнего.

– Да нет, попросту виноват стрелочник, – сказал Фируз, и его жена громко расхохоталась. К ней присоединились и все другие. Фируз посмотрел на меня и сразу встал. – Тише. Он, кажется, вздумал обижаться. Прошу прекратить смех. Итак, за стрелочников.

Все подняли свои бокалы.

– Нет, – сказал я. – Я не за стрелочников хотел выпить. Меня перебили. Я хочу выпить за другого человека и предупреждаю, если кто-нибудь вздумает острить на этот счет, пусть на меня не обижается.

– Ух ты! Вот как? Ну-ну, давай...

– Я хочу выпить за одного человека, за одного одинокого человека, который сидит сейчас у своего приемника. Он знает расписание всех передач всех радиостанций мира и выходит к концертам, как стрелочник к поездам. В его комнате весь мир, и как он одинок со всем миром!

Я залпом осушил свой бокал.

Все выпили молча, недоумевая и теряясь в догадках, а потом опять загалдели совершенно о другом.

Я вышел в коридор, набрал номер и долго-долго ждал. Трубка молчала. «Вот тебе и стрелочник, – подумал я. – Она не теряется. Где-то встречает Новый год. Впрочем, что же здесь удивительного?»

Я звонил еще и еще. Я звонил ей в час ночи и хотел поздравить с Новым годом по московскому времени. Я позвонил еще через час, хотел поздравить ее с пражским Новым годом, еще через час – не знаю уже по какому времени, может быть, по Гринвичу. И только в половине шестого, когда я уже звонил с улицы, из автомата, я услышал ее голос.

– Поздравляю вас с Атлантическим Новым годом.

Она, наверное, не поняла, и я не стал объяснять.

– А, это вы? Я только что пришла.

– Знаю. Я звонил вам целую ночь.

– Я была у подружки.

– Это неважно, – сказал я. – В новом году я хочу сделать вам важное признание. Я безумно люблю вас.

– Вот как! – она засмеялась. – Приятный сюрприз в первые же часы нового года.

– Вы мое сокровище, солнышко, золотко, я не знаю, какие слова надо говорить в таких случаях, но я люблю вас, как никогда никого не любил, я знаю – это нелепо, глупо, я даже не видел вас, но, тем не менее, это так. Я не мыслю своей жизни без вас.

– Без моего телефона, – сказала она. – Вы знаете, если даже знаешь, что эти слова просто блажь, все равно их приятно слышать.

В первый раз нашему разговору не аккомпанировали гаммы – уже наступало утро, – и, так как я когда-то учился музыке, мне в голову пришло сравнение: хроматическая гамма жизни – чередование белых и черных клавишей, дней и ночей, хороших, светлых дней и плохих, мрачных дней.

– Когда же я увижу вас? Впрочем, вы правы: это прекрасная форма любви – контакты по телефонным проводам. Прекрасная связь.

– Односторонняя, – сказала она. – Я в том смысле, что вы мне можете звонить, я вам нет.

– Да, поэтому я все же должен вас видеть. Скажите, где вы живете? Я сейчас же примчусь к вам.

– Прошу вас, – сказала она, и я почувствовал в ее голосе боль, – не отнимайте у меня эту радость. Если вы будете делать мне такие предложения, которых, поверьте, я наслышалась уже от очень многих, то мы и с вами перестанем общаться, – и добавила после паузы: – Я к вам очень привязалась. Вы первый человек, которому я говорю эти слова после гибели мужа.

Третьего января я пошел на новую работу. Весь день на новой работе я редактировал большой материал, а к концу секретарь редакции сказал мне, чтобы я отнес рукопись машинистке и чтобы она обязательно отпечатала его к утру. У входа в канцелярию висел большой список телефонов сотрудников редакции. Я как-то машинально просматривал телефоны сотрудников, вдруг вздрогнул, увидев номер, как будто увидел знакомое лицо в незнакомой толпе.

– Кто такая Велизаде? – спросил я у секретаря.

– Это наша машинистка. Вы только что ей дали материал. А что?

Я посмотрел в окно и увидел: машинистка с карими глазами спускалась по лестнице. Тук, тук, тук – стучали ее каблуки; я знал, что у нее туфли 35-го размера.

Это было как в сказке. Случай свел нас в одном учреждении, и она пока не знала об этом. Сейчас, когда она отстукивает на своей машинке огромный материал, она не знает, что я – это я, что ли?..

Я не мог сдержаться: спешил сообщить ей эту новость – звонил из автоматов впервые в эти ранние вечерние часы, но телефон молчал. «Ничего, – подумал я, – позвоню в обычное время, и это тоже будет сюрпризом».

Ночью позвонил ей.

– Здравствуйте. Я звонил вам два часа тому назад.

– Что же в такую рань? Я была у подружки. У меня большая работа, и я работала у нее.

– Какая же такая работа? – как можно более «лукавым» голосом спросил я.

– Да вот – взяла работу на дом. Поручение нашего нового начальника.

– Новый начальник?

– Да, сегодня у нас появился новый заведующий отделом.

– И какой же он? – спросил я, еле скрывая смех.

– Да так, мне он не понравился. Надменный какой-то. Правда, по первому впечатлению трудно судить.

Я обомлел. Этот вариант мне не приходил в голову.

– А чем он вам не понравился?

– Да ерунда, первое впечатление всегда обманчиво. Может, он и хороший. Во всяком случае, держится с таким достоинством! Высокий, статный, лицо красивое, но очень надменное. И такой гонор! Разговаривает таким, знаете, руководящим тоном; «Отпечатайте к утру!»

В первый раз она проговорилась о своей профессии. Но я не стал расспрашивать – я знал больше того, что она могла рассказать.

– А как у Вас дела? Устроились на новую работу куда-нибудь?

У меня и в мыслях не было заводить с ней что-то вроде игры, но в тот момент какой-то внутренний тормоз пришел в движение, и я сказал:

– Нет. Знаете, я передумал: решил остаться на старом месте.

А утром я впервые увидел мою Медину. Я видел ее и вчера, но вчера это лицо было одним из многих – по-своему привлекательное, милое, но ничем особенным не выдающееся, обыкновенное лицо, может быть, даже и красивое, но какой-то неяркой, блеклой красотой.

Теперь, перебирая странички отпечатанной на машинке статьи, я украдкой разглядывал Медину, пытаясь найти гармонию между ее зримой сущностью, такой незнакомой и чуждой для меня, и ее таким близким и родным телефонным «я».

Я был обходителен и чуток с ней, предельно внимателен и любезен, и во мне взяло верх любопытство: отметит ли она эту перемену?

Чтобы узнать это, мне надо было дождаться часа нашего вечернего телефонного свидания.

– Вот, я же говорила вам, по первому впечатлению нельзя судить. Он, оказывается, такой милый, душевный человек. Просто душка.

– Не спешите судить и по второму впечатлению, оно тоже может обмануть.

– Нет, нет, вчера просто я не могла даже разглядеть его глаза. Зато сегодня разглядела.

«И когда она успела, – подумал я. – Ведь она даже не смотрела на меня»,

– Они такие чистые, глубокие, умные, – продолжала она.

– Я уже начинаю ревновать вас, – сказал я. Так началась эта игра. Для меня уже были ясны ее правила, хоть она не знала об этом ничего.

Я уже ничего не мог поделать. События вышли из-под моего контроля, как письмо, когда его уже опустил в почтовый ящик.

У этой игры были свои сложности. Дело было не только в том, чтобы она не узнала меня, – в конце концов в трубке я неизменно пользовался платком. Надо было менять весь свой словарь, выражения, акцент. Надо было менять манеру поведения и, самое сложное, – свою психологию, образ мыслей.

На работе я старался быть совсем другим человеком. Хоть и доброжелательным, но недоступным, в непробиваемой броне. И она говорила мне по телефону обо мне, разбирала меня по косточкам, тонко и точно анализируя каждый мой шаг, каждый жест, каждое выражение лица. Правда, я часто сам провоцировал ее на такие разговоры, но в последнее время все чаще и чаще чувствовал, что моих усилий не требуется, она сама заводила разговор о Сеймуре Халиловиче. Говорила о нем долго и охотно во время нескончаемых ночных телефонных разговоров с Рустамом. А вот о Рустаме с Сеймуром Халиловичем не говорила никогда. И вообще о ее телефонной жизни не знал никто.

И я не знал, радоваться этому или грустить; иногда мне казалось, что она не говорит о Рустаме из-за полного равнодушия, и я грустил; иногда же я думал, что она скрывает свои отношения с ним, как что-то глубоко сокровенное, важное и дорогое. Случилась удивительная вещь – какое-то смешение чувств. Будучи Сеймуром Халиловичем, я, представьте, ревновал Медину к ее ночной телефонной жизни. А ночью в телефонном разговоре меня, уже Рустама, раздражали ее бесконечные беседы о Сеймуре.

– Давайте будем с вами на «ты», – сказал я однажды, – ведь мы уже давно знакомы.

– Хорошо. Давай, – услышал я в трубку.

– Будь здорова, спокойной ночи, – сказал я, радуясь как ребенок, что со мной она будет на «ты», а вот с ним на «вы».

И поразился тому, что впервые подумал о себе, о своем другом «я», в третьем лице.

– По-моему, ты уже неравнодушна к нему.

– Откуда знаешь? – ответила она лукаво. – Может, он тоже неравнодушен ко мне.

Я со злостью бросил трубку. И несколько дней не звонил ей. Мое неравнодушие к ней заметила, по-видимому, не только она. И когда мы с ней о чем-то оживленно болтали в коридоре, к нам подошел один из старых сотрудников.

– И не старайся, – сказал он, смеясь, и посмотрел ей в глаза. – Пробовали – не получилось; еще никому не удалось растопить лед сердечка нашей маленькой машинистки.

Мы все трое засмеялись, а потом, когда мы с ним остались вдвоем, он сказал:

– Совершенно непрошибаема. Живет монашенкой. Хранит верность погибшему мужу.

И я узнал, что ее муж был летчиком и несколько лет назад погиб в воздухе.

В тот вечер, поздно уходя с работы, я заметил, что она все еще стучит на машинке. У нее были длинные тонкие пальцы, и, когда она писала на машинке, казалось, что она играет на рояле.

Ночью я позвонил ей, и она сказала мне:

– Ты, оказывается, нехороший. Зачем ты бросил трубку? А вот назло тебе сегодня Сеймур Халилович провожал меня домой.

– Как провожал? – изумился я, и в искренности моего изумления можете не сомневаться.

– А вот так. Я засиделась на работе, было поздно, и он вызвался проводить меня. Он истинный рыцарь.

«Скорее истинный дурак», – подумал я. И в самом деле, она засиделась допоздна, а я и не подумал проводить ее.

Но понял и другое. Понял, что она выдает желаемое за действительное и что, если Сеймур проводил бы ее, это не было бы ей неприятно. А может, просто хочет позлить меня в отместку за брошенную трубку, хочет заставить ревновать. Следовательно, она ко мне, «телефонному поклоннику», тоже относится как-то по-особенному? Я терялся в догадках. Но зато, когда она в следующий раз задержалась на работе, я уже знал, как мне поступить.

Мы шли по пустынным улицам города, и я спросил ее:

– А что вы делаете по вечерам, когда не работаете?

– Сижу дома, – просто ответила она.

– Просто так, – сидите одна-одинешенька?

– Да, но почему просто так. Читаю, слушаю радио.

Неужели она расскажет про радио все то, что говорила мне по телефону? Но она заговорила совершенно о другом, и я был благодарен ей.

– Вот мое окно, – сказала она, показывая на третий этаж.

Мы стояли у ее дома. Она сняла перчатку.

– Может, у вас в подъезде темно. Я провожу вас наверх.

– Нет, – сказала она.

Но я решил идти до конца.

– А может, вы пригласите меня к себе?

– С удовольствием. Но сейчас уже поздно, – посмотрев на часы, сказала она, и я почувствовал, что она начинает нервничать.

– Поздно? Разве вы ложитесь так рано?

– Да нет... – она засмеялась.

– Ну, раз вы не хотите угостить меня чашечкой кофе, то давайте хотя бы пройдемся еще немного.

Она молча пошла рядом со мной, и мы несколько раз обогнули ее дом. Мне так хотелось побывать у нее, посмотреть эту квартиру с гаммами за стеной, увидеть ее приемник, ночную лампу, мягкое кресло у приемника. И может, пригласи она меня в тот вечер, я открыл бы ей свою двойную игру.

Но когда мы еще раз подошли к ее двери, она быстро протянула мне руку.

– Ну, спасибо, Сеймур Халилович, спокойной ночи.

– Учтите, под лежачий камень и вода не течет, – сказал я.

Она засмеялась, повернулась и ушла.

Я прислушивался к звуку ее каблуков на лестнице и вдруг понял, почему она спешила, нервничала, смотрела на часы: она хотела успеть к телефонному звонку. Она ждала моего звонка.

Через несколько дней, когда наш ответственный секретарь порол на летучке какую-то чушь, я резко перебил его и, попросив слова, разнес в пух и прах. Он мне не ответил, и мне вдруг стало его жалко: столько лет проработал человек в газете, и никто, очевидно, не говорил с ним при сотрудниках в таком тоне.

После летучки мне стало не по себе. Во-первых, просто я был не до конца прав; во-вторых, я вспомнил совет Фируза; и, в-третьих, мне не хотелось бы уйти и с этой работы. Ведь здесь была Медина. И я пошел в кабинет ответственного секретаря.

Когда ночью я звонил Медине, я уже знал, о чем будет разговор.

– Ой, знаешь, Рустам, наш Сеймур прямо молодец. Говорят, он сегодня на летучке так осадил нашего ответ-секретаря. Ты знаешь, это просто невероятно, до сих пор никто не мог слова поперек ему сказать. А тут при всем честном народе.

– Знаю я этот тип людей, – сказал я. – Ой, как хорошо мне знаком этот тип. Бушевать на собраниях, говорить смелые речи на людях, а потом, небось, твой Сеймур пошел к этому самому секретарю и без свидетелей, наедине попросил прощения.

– Какой ты нехороший, – сказала она грустно. – И почему ты его так не любишь?

– Потому, что ты его любишь, и потому, что я люблю тебя.

– Прекрасно, вот и все мы будем любить друг друга.

– Да, тебе, конечно, смех. Но вся беда в том, что с ним ты видишься, ходишь в кино...

– Откуда ты знаешь, что я с ним хожу в кино?

– Догадываюсь.

Она засмеялась. Эта мысль была ей, видимо, приятна.

– А со мной только телефонное общение.

– Но ведь мы договорились!

– А ты рассказывала ему обо мне?

– Что ты? Я никому об этом никогда не скажу. Это для меня, знаешь, что-то... – Она умолкла, подыскивая слово. – Ну, святое... что ли...

На следующий день мы были с ней в кино. Фильм был про летчиков-испытателей, и Медина очень расстроилась, может быть, это было причиной и того, что в тот вечер она разоткровенничалась и, когда мы возвращались по бульвару, рассказывала мне про мужа, о том, что вся их жизнь прошла в небе. Они познакомились в небе. Она была обыкновенной пассажиркой, он пилотом. Но потом она стала стюардессой, чтобы быть с ним. Они поженились и летали в Москву и обратно и целовались украдкой в багажном отделении. Потом она забеременела и вышла в декретный отпуск. В последний раз она провожала его до трапа. Они простились – поцеловались, и между их губами легло расстояние, и они не знали, что это расстояние станет расстоянием между жизнью и смертью – между вечным небом, откуда он не вернется, и вечной землей, где она напрасно будет его ждать.

Когда самолет пошел на взлет, она по народному обычаю бросила вслед уходящему воду. Наверное, это было впервые в истории авиации, чтобы вслед убегающему по взлетной полосе стремительному лайнеру бросали, как тысячи лет назад, воду. Потом он поднялся в воздух. Потом пошел дождь.

Она остановилась, прислушалась к чему-то, и только много спустя я тоже услышал гул и понял, что она слышит его раньше всех других людей – у нее профессиональный абсолютный слух. Мы смотрели на передвигающиеся разноцветные точки в ночном небе, и она сказала:

– Там его могила. Вдовы ходят на кладбище, я смотрю на небо.

Затем она рассказала мне, что часто ездит на аэродром в ночные часы, просто так стоит в стороне и смотрит на улетающие и прилетающие самолеты. И еще она сказала, что у нее был выкидыш и даже ребенка не осталось ей от мужа.

Я провел рукой по ее лицу, стирая слезинки, и потом как безумный начал, ее целовать.

– Нет, нет, нет, не надо, – говорила она, и я чувствовал, как все труднее и труднее ей это говорить.

Я проводил ее и тотчас же позвонил.

Голос был возбужденный и даже веселый, и мне стало обидно за всех романтиков и за всех погибших в небе, на земле, в воде...

– Ты знаешь, – сказал я ей (теперь мы и на работе были с ней на «ты»), – вчера, как только мы расстались, я позвонил тебе, и – представляешь? – твой номер был занят. Я звонил еще и еще. С кем это ты могла говорить в два часа ночи?

Я даже не ожидал такой реакции. Она побледнела и как-то вся встрепенулась, но быстро взяла себя в руки.

– Ты, видимо, не туда попал. В это время я уже спала.

Очевидно, мне никогда не узнать ее подлинного отношения к своему телефонному «я».

– Я тебя вчера видел во сне.

– Странно, как можно видеть во сне человека, которого ты ни разу в жизни не видел.

– Я видел во сне твой голос и твой приемник «Неринга».

– Ну «Неринга» – еще можно понять; а вот как выглядит мой голос во сне, это действительно интересно было бы знать. А какая я, по-твоему? Ты хоть как-то меня представляешь?

– Высокая, пышноволосая, длинноногая. – Я говорил, стараясь найти контрастные с ее настоящим обликом определения.

– Ты удивительно прозорлив, – сказала она. – Теперь я буду сниться тебе каждую ночь.

– Ты, наверное, снишься не только мне.

– Ты опять о том же?

– Нет, знаешь, говорят, царица Мехин Бану каждую ночь снилась ста мужчинам. А каков твой тираж?

– Я существую в единственном экземпляре и только в твоем сне, ты мой добрый гений.

– Спасибо.

– Слушай, добрый мой гений, я хочу посоветоваться с тобой по одному вопросу. Только, умоляю, не выходи из себя, не рви и не мечи и не вешай трубку, пока я не договорю.

Я ждал этого разговора три дня тому назад и три дня терялся в догадках: почему она не заводит об этом речи?

– Итак, слушай. Только спокойно. Ты запасся валидолом?

– Ну не тяни душу.

– Хорошо. Три дня назад Сеймур предложил мне выйти за него замуж. Ну что с тобой, ты не упал в обморок?

– Нет, – сказал я. – И что же ты ему ответила?

– Пока ничего. Вот хочу с тобой посоветоваться. Ты же мой самый-самый лучший друг. Самый дорогой человек.

Удивительная вещь – женская психология. Стоит ей, женщине, увлечься другим, как вы сразу становитесь для нее «самым-самым лучшим и дорогим».

– Не надо, – сказал я. И самое ошеломляющее было то, что я говорил это искренне. – Не выходи ни за кого замуж. Или выходи за меня. Я люблю тебя. Ах, если б можно было бы зарегистрироваться по телефону!

Она смеялась долго и чуть истерично.

– Ну, хорошо, будь умным мальчиком. Ты же еще совсем маленький.

– Откуда ты знаешь? Ты же меня не видела.

– Я чувствую по всему: по твоему голосу, по твоему характеру, по твоему отношению ко мне. Умоляю тебя: оставайся таким и не спеши взрослеть.

– Может быть, я старше твоего Сеймура.

– Нет, нет, мой дорогой. Уж в этом ты поверь женской интуиции...

Это смахивало на фарс, но мне было в самом деле очень больно.

– Не надо, Медина. Что буду делать я? Ведь он мне не позволит звонить к тебе в два часа ночи.

– А мы что-нибудь придумаем. Ведь изменять мужу по телефону – это еще не грех. К этому времени у тебя дома будет телефон и я сама буду звонить тебе.

Как мне было объяснить ей, что такого не может быть.

– Пойми меня, – сказала она серьезно и грустно. – Вот вы, мужчины, часто говорите о своем одиночестве, это так смешно, вам никогда не понять, что такое подлинное одиночество, как может быть одинока женщина. Просыпаться ночью и чувствовать, как стены идут на тебя и... В общем, не будем говорить о грустных вещах. Итак, если ты скажешь нет, я откажусь...

Что я мог ей сказать? Она замолчала, потом я услышал гул самолета и понял, что это и есть ответ. Никогда ни одному из нас: ни мне, Рустаму, ни мне, Сеймуру, – не быть соперниками ее мертвого мужа.

Вечером после работы она впервые пригласила меня к себе. Я знал подъезд и этаж, но ошибся дверью квартиры. Долго звонил в темноте, и никто мне не открывал, потом чиркнул спичкой и увидел записку: «Ключи у соседей». Я вдруг заметил, что слова написаны на нотной бумаге, и сразу понял, куда я стучусь. В памяти всплыли гаммы. Я повернулся и постучал в противоположную дверь.

Приемник «Неринга», мягкое кресло, торшер – все оказалось точно таким, как я представлял себе.

– Сейчас я тебе поймаю отличную музыку, Сеймур, – сказала она. – Вот ты пока слушай, а я сварю кофе.

Потом я ее целовал, обнимал, ласкал и чувствовал, как в ней мучительно и сладостно пробуждается женщина. За стеной уже совсем близко заиграли гаммы, потом вдруг она вырвалась из моих объятий, прислушиваясь к чему-то. Я знал и ждал, что вот через несколько мгновений услышу и я гул самолета. Но никакого самолета не было.

И тогда я понял, к чему она прислушивается. Она прислушивалась к телефону. Это было то самое время, когда звонил Он.

Он – это я.

И хотя я знал, что Он больше никогда не позвонит, я тоже в какой-то миг усомнился в этом, и тоже стал ждать, и мне даже захотелось чуда – чтобы телефон зазвонил.

Телефон молчал.

Январь 1967г. Баку

Перевод автора

# Грузинская фамилия

*Рассказ*

Телеграмма была совершенно нелепая: «Мурадову Октаю прилетаю двадцать девятого рейсом 203 встречай».

Хорошо еще, что телеграмма попала к маме, а не к сестренке. Она у меня обожает детективные ситуации.

«Кого же я все-таки еду встречать?» – думал я, сидя в кресле аэрофлотского автобуса.

Мы ехали по еще сонным улицам, я разглядывал просыпающийся город и не мог сосредоточиться на мысли, кто же автор анонимной телеграммы.

Город лучше смотреть рано утром. Днем облик города определяется ритмом движения. А рано утром, сбросивший свои одежды, косметику – потоки людей и транспорта, рекламу,– с молчаливыми витринами и афишами, оголенный, город обретает свою каменную суть. Утро – это пластика застывших форм, фактуры камня... Гулко раздаются шаги одинокого прохожего на пустынной площади.

Кто же прилетает?

Теряясь в догадках, я вдруг обнаружил, что автобус уже подъезжает к новому зданию аэропорта, которое у меня, архитектора, всегда вызывает критический зуд.

Через несколько минут я уже стоял на открытой террасе и не сводил глаз с трапа, по которому сходили пассажиры.

Боже мой! Нелепо, несуразно, невозможно! Я узнал ее в тот короткий миг, пока она еще не надела большие черные очки.

– Октай! Слава богу, а я уж думала, что ты не получил моей телеграммы.

– Где твой багаж?

– Да нет у меня никакого багажа. Дорогой, упрячь меня быстренько куда-нибудь. Сможем мы сразу найти такси?

– Пошли,– сказал я. – Мадам скрывается от всемогущей мафии?

– Все объясню в такси. Скорее! Ой, даже не верится, что я в Баку. А ты совсем не изменился...

Мы сидели в такси, и она жадно и торопливо разглядывала убегающие назад здание аэропорта, дорогу, высокие фонари.

– Какой роскошный аэропорт! Очень похож на Бейрутский. И давно его построили?

– Уже три года,– сказал я.– Может, ты все-таки...

– Да, да, да, не сердись. Слушай, я чертовски рада тебя видеть. Я, собственно, затем и приехала...

– Прекрасно, но почему это обставлено такой тайной?

– Интересно! – удивилась она и перешла на шепот.– Я, замужняя женщина, приехала на свидание к своей первой любви, и ты хочешь, чтобы здесь не было никакой тайны?

Эсмер была моим другом детства, но никогда – моей первой любовью. Так, чуточку нравилась...

– Знаешь, мы недавно вернулись из Болгарии – Джемала переводят на Ближний Восток...

Джемал – это ее муж, дипломат, работал чуть ли не во всех странах Европы чуть ли не вторым секретарем посольства. Впрочем, последнее время, кажется, действительно был вторым секретарем... Мне Джемал не нравился с первого дня знакомства постоянно и неизменно, хотя за последние восемь-десять лет мы с ним почти не встречались.

– Слушай,– начала она. Та взволнованность и какой-то тревожный, даже чуть истеричный энтузиазм, с которым она ступила на бакинскую землю, как грим, постепенно сходил с ее лица, уступая место нервной озабоченности. – Я удрала, понимаешь, удрала от мужа, от друзей и даже от портнихи, хотя у меня сегодня очень важная примерка. Правда, не навсегда, только на один день – вечером улечу обратно. Прилетела поздравить тебя с днем рождения, хоть ты, кажется, и не очень рад мне.

– Не говори глупостей. Я оцениваю всю глубину твоей жертвы, тем более что ты даже опережаешь события. Исторический день моего явления в этот бренный мир – завтра.

– Как завтра? Ведь двадцать девятое – сегодня.

– Да, но родился я тридцатого апреля. Как раз ко дню Международной солидарности трудящихся.

– Неправда! – воскликнула она так решительно, что даже я сам на миг усомнился. – Прекрасно помню, что мы отмечали это двадцать девятого.

Волна нежности к этой, такой чужой теперь мне женщине в платье чуть ли не от самого Диора, к несостоявшейся первой моей любви захлестнула меня. Вспомнилось, как в год окончания школы мы с мамой решили перенести мой день рождения на субботу. Действительно, тогда это было двадцать девятое число. Ко мне пришел весь класс. Эсмер впервые была у нас в гостях. И запомнила, пронесла через время, страны, чужие лица, чужие даты, как пронес этот вечер и я сквозь свои непутевые годы.

Именно в этот вечер она остригла свои длинные косы. Помню, наш учитель математики Бабаев, объясняя нам какую-нибудь теорему, вдруг останавливался и читал рубаи Омара Хайяма или бейт из Физули. Большой поклонник восточной поэзии, он называл длинные косы Эсмер «Шаби-Елда» – самая длинная ночь года, традиционный образ черных кос в восточной поэзии. Он был удивительным человеком, наш математик. Толстый и добрый, порой строгий и весьма шумный. А умер тихо, как тихо и незаметно перестают ходить часы.

Джемал тоже был нашим учителем. Он пришел в нашу школу, когда мы были уже в десятом классе, и был старше нас лет на восемь-девять, не больше. Преподавал нам английский язык.

– Ну, рассказывай, как ты живешь?

– Лучше ты расскажи. Все путешествуешь?

– Да,– ответила она,– главным образом проживаем по заграницам. Но и в Москве – отдельная трехкомнатная квартира. Мусоропровод, раздельный санузел, черный кафель, неспаренный телефон, метро в двух шагах.

– Чего ты злишься? Я чем-нибудь обидел тебя?

– Какая тонкость чувств, какая чуткость! Обидел?! Я примчалась как угорелая – чего это мне стоило! – чтобы поздравить его, а он делает постную мину, и вообще сегодня не день его рождения.

Я засмеялся.

– Это просто праздник для меня, что ты приехала, но что я могу поделать, если родился не сегодня, а завтра? Твой приезд окутан таким туманом таинственности, обставлен такими предосторожностями, что мне, право, совестно допытываться.

– Ну, слушай: жена одного атташе в Москве давно уговаривала меня составить компанию – съездить в Загорск с субботы на воскресенье. В последний момент я подсунула ей свою подругу, а сама махнула сюда.

– Но к чему такая секретность?

– Мы с Джемалом давно собирались приехать в Баку погостить. Родственников у нас, сам знаешь, здесь уйма. Я уж и подарки для всех приготовила, а то скажут: «Полсвета объездила...» И вдруг, представляешь, увидят меня тут! А приехать все не удается...

Она неожиданно остановилась и добавила совсем по-детски:

– Я так соскучилась по Ичери-Шахар.

Она жила когда-то в Ичери-Шахар, Крепости, старой части Баку. Две маленькие комнатушки под лестницей в ветхом двухэтажном доме. Окна одной из комнат смотрели на тесный грязный дворик, другая комната вообще не имела окон. Там при тусклом свете маленькой лампочки мы готовились к экзаменам, зимой грели руки у керосинки. Мать Эсмер все приговаривала; будь в доме мужчина, и здесь можно было бы пробить окно на улицу... Как у многих из послевоенного поколения, у Эсмер было трудное детство.

– А почему ты ничего не сказала Джемалу?

– Странный вопрос. Ты разве не помнишь, какой он? Нисколько не изменился.

Да, я помнил. Как только Эсмер окончила школу и они были помолвлены, он запретил ей встречаться со своими бывшими однокашниками. Даже в классе я ловил его косые взгляды, когда Эсмер хохотала, шутила с нами. Наш возраст – наша общая территория. На этой территории он был чужаком и, видимо, остро переживал это. Впрочем, это я понял позже.

Она поступила в институт иностранных языков, а он уже преподавал там, и через год они поженились. Как-то Эсмер обзвонила нас и пригласила к себе. «Только точно в двенадцать».

Мы пришли – мальчики и девочки, еще недавно запросто хлопавшие друг друга по плечу. Как сейчас помню этот тягостный визит. Мы попали в неимоверно чистую аккуратную квартиру, обставленную самой «модерновой» мебелью, и увидели Эсмер, которая казалась деталью этого благополучия, казалась растерянной, испуганной, не знающей, где бы ей притулиться. «Он на лекции до двух часов, у нас в распоряжении два часа»,– сказала она, и всем стало еще более неловко и неуютно, а больше всех – ей самой. Она повела девочек на экскурсию по квартире, мы, мальчики, слышали, как где-то открываются какие-то ящики, скрежещут, гудят какие-то механизмы и приборы, где-то моросит душ, где-то спускают воду, а сами, раскрыв рты, рассматривали полки серванта с набором всевозможных напитков и сигарет самых разных и невиданных марок.

Потом Эсмер усадила всех нас за стол, сама прошла на кухню и вернулась с тарелкой в руках. А в тарелке было (и сейчас ком подступает к горлу, когда я рассказываю это) восемь штук дешевого фруктового мороженого в цветной оберточной бумаге, по одному на каждого из нас, она спустилась и купила их незадолго до нашего прихода и припрятала где-то в холодильнике – это было единственное, чем она могла нас угостить.

И тогда мне впервые показалось (впрочем, только показалось), что я ее люблю, и мне захотелось увести ее отсюда, не знаю куда,– может быть, опять в Ичери-Шахар.

Вскоре они уехали из Баку...

– Ну как ты тут, доволен своей работой и жизнью?

– В общем-то, доволен. Знаешь, с возрастом приходит трезвость и уже не считаешь себя гением человечества и, примирившись с тем, что ты один из многих тебе подобных, как-то чувствуешь себя легче. Исчезает нервозность, суета.

– Превосходная философия. Отдает чуть-чуть поповщиной. В Загорск должен был ехать ты.

– Это уже что-то новое. Меня обвиняли пока что в консерватизме и лженоваторстве, в модернизме и архаизме, в погоне за модой и в старомодности. А вот в поповщине еще не догадались.

– Вот как? Ты, оказывается, крупный спорный художник? Как Пикассо, например?

– Нет, все гораздо проще. Все эти копья ломаются в пределах нашей мастерской. Там всего восемь человек.

– А в чем заключается твоя работа?

– Проектирую типовые районные гостиницы.

– Ой, Октайчик, знал бы ты, какие гостиницы мы с Джемалом видели, в каких отелях останавливались! Какие отели в Болгарии! Золотые пески. Солнечный берег – с ума сойти! Вот бы тебе посмотреть!

Формула «Мы с Джемалом» порядком надоела мне, и я перебил ее, может быть, излишне резко:

– Так что будем делать – поедем ко мне?

– Нет, нет, я ж сказала: я здесь инкогнито. Просто побродим по городу, где-нибудь перекусим, а ночью я улечу... Я уже запаслась обратным билетом. Идет?

Я повел ее в Нагорный парк, и мы позавтракали в летнем кафе, а внизу был весь город, море синее-синее и большой белый пароход «Киргизстан», который отплывал в Красноводск. «Киргизстан», выходя из бухты в открытое море, дал протяжный гудок – он растекался над морем, городом медленно и долго.

– Как называется этот остров? – она показала в сторону горизонта.

– Нарген.

– Да, да, вспомнила, Нарген. В детстве мне он казался страшно загадочным и таинственным. Так хотелось побывать на нем... Туда можно добраться?

– Можно совершить морскую прогулку. На остров мы не сойдем, но ты увидишь его вблизи.

– Пожалуйста, прошу тебя.

– Мы это сделаем вечером. Будет гораздо романтичнее. Ну, пошли. Или заказать еще что-нибудь?

– Что ты? Каких мук я натерпелась, чтобы сбросить лишний вес. Но сейчас я, кажется, в норме. Как ты находишь?

– Вполне.

– Я придерживалась системы йогов.

Система йогов. Сейчас она начнет говорить о французских коврах, о Кафке и фильмах Антониони, о песнях Галича. Боже мой, неужели это та самая Эсмер, которая в восьмом классе сожгла в уборной наш классный журнал, когда учитель литературы поставил ей, отличнице, тройку. Первую тройку в жизни.

– Помнишь, Эсмер, как мы доводили нашего литератора? А история с истопником, помнишь?

Мы не любили нашего литератора. Каждый раз, когда он входил в класс, все незаметно стучали ногами, а ему, говорили, что это, мол, в подвале работает истопник. Не вытерпев, он перевел нас в другую классную комнату, но все, конечно, повторилось, «Что это – истопник тоже передвигается вслед за нами?» – под громовой хохот всего класса спросил бедняга учитель.

– Какой истопник? – непонимающе сказала Эсмер.

Мне было неохота рассказывать. Если такие истории не помнят, пересказывать их бессмысленно. Без всего того, что за ними стояло, они не смешны, неинтересны – попросту пусты.

Мы вышли к морю. Приморский бульвар в этот ранний час – владение старых бабушек, матерей с детскими колясками.

Эсмер вдруг спросила именно о том, о чем подумал и я:

– Ты все еще не женат?

Я усмехнулся и пожал плечами. Объяснять ей про коммунальные условия и материальные затруднения про то, что младший братишка мой учится в Москве и сестренка еще школьница? Да и было бы это только половиной правды.

– Ты что, убежденный холостяк?

А может, она и права. Но мне захотелось рассказать ей, как однажды в погожий майский день я увидел перед каким-то домом голубой «Москвич», на заднем сиденье сетку с провизией, а около машины – счастливого, здорового молодого человека с открытым лицом, в легкой спортивной рубашке, рядом стояли его молоденькая, красивая, чистенькая жена и аккуратненькие дети, они собирались ехать за город. И впервые я почувствовал, что в этом нет ничего пошлого, и мне самому, оказывается, немного хочется этого.

– Ты знаешь, в чем разница между Москвой и Баку? – перебила она мои мысли.– Баку упирается в море, как в последнюю станцию, он кончается в море, опрокидываясь в море отражениями своих домов. А Москва не кончается, не завершается, а сходит на нет, теряясь в пригородах.

– Может, ты права... Москва мне часто снится. Просыпаюсь среди ночи, и вдруг нестерпимо хочется бросить все и сейчас же, вот сию же минуту, укатить, как это сделала ты.

– В общем, видно, человеку отовсюду хочется куда-нибудь укатить.

– Замечательная философская мысль. Глубокая и точная.

– Перестань издеваться, я могу и обидеться... У тебя есть кто-нибудь? – вдруг спросила она. – Я имею в виду, ну, сам понимаешь...

– Нет,– ответил я машинально.– То есть, я хотел сказать, да.

Получилось глупо, и я попытался сострить:

– Я говорю иногда «нет», когда надо сказать «да».

– Это бывает,– спокойно сказала она.– А я раз в жизни сказала «да», когда надо было сказать «нет»... Но это я совершенно о другом...

Мы направились к Крепости.

– А Ичери-Шахар ломают. Сносят старые дома.

– Что ты говоришь?! – в ее глазах был неподдельный ужас.– Это же история, жизнь. Ты понимаешь, это же фольклор в архитектуре. Ичери-Шахар строили веками.

– Милая, я все-таки архитектор. Но люди не могут жить в таких условиях. Ветхие дома, кривые, узкие улочки, антисанитария...

– Понимаю, понимаю. Так пусть переселяют людей.

– А дома остаются? Отличная мысль! Огромное мертвое пространство в самом центре города – памятник, так сказать, сентиментальным воспоминаниям детства?

– Постой, Октай. Я, кажется, узнаю этот переулок. Да, конечно, вот там наш дом.

– Его уже нет, снесли.

– Как снесли? Покойной маме когда-то обещали квартиру в новом доме, но я думала, что этот дом останется.

Мы подошли к развалинам, на которые взирал своими выкорчеванными окнами-глазищами остов пустого двухэтажного дома. Я показал его Эсмер.

– Вот этот дом ты должна узнать, он стоял как раз напротив вашего.

– Ну, конечно, здесь жила тетя Месме. Когда под Новруз-байрам она пекла шекербура[[3]](#footnote-3), невозможно было уснуть от запаха. Она пекла их всю ночь, и мы никак не могли дождаться утра, хотя знали, что утром она сама пришлет нам праздничный подарок.

Она почти кричала, потому что наши голоса перекрывал шум бульдозера, разрушающего стены большого трехэтажного дома. Там, где раньше были улочки, узкие, как вагонные коридоры, и балконы противоположных домов почти соприкасались, как верхние полки купе, теперь простиралась огромная площадь развалин – камень, щебень, а посреди этой площади гудел бульдозер, и мне почему-то все время бросались в глаза его номерные знаки: ГТ-44.

– Знаешь, в Ичери-Шахар мы все жили, как в огромной коммунальной квартире. Все знали абсолютно все обо всех. Если у кого-то горе, плач разносился во все дома. Кто-нибудь схватил корь – все дети переболеют. Все общее: запахи, скандалы, сплетни, свадьбы, похороны. Радость общей судьбы, если хочешь.

Я ли не знал этого, ведь и я вырос здесь, в Ичери-Шахар, в Крепости. В Крепости... А ведь это современные города – крепость. Каждый заперт в своей квартире, и только случайные, мимолетные встречи на лестничных клетках, не обязывающие ни к какому соседскому общению.

– Чем же вы все это замените? Понастроите коробки, модерн из стекла и стали?

– Уйми эмоции,– сказал я,– рассуди здраво. Люди достойны жить в домах со всеми удобствами, и их переселяют. Разумеется, здания исторической ценности будут сохранены.

– Здания исторической ценности! Для меня – это дом, где я родилась и выросла,

– Однако ты покинула его, как только представилась возможность. – И сразу же пожалел о том, что сказал,– это был запрещенный удар.

Она ничего не ответила. Сделала несколько шагов по направлению к месту, где когда-то стоял их дом, и была ее комната без окон, со старым ковром на стене у ее кровати, потом повернулась ко мне.

– Пошли.

Я увидел ее глаза. Неужели это она восторгалась два часа назад отелями Золотого берега, твердила о системе йогов...

Мне захотелось отвлечь ее, и я заговорил о проекте реконструкции Ичери-Шахар. А Эсмер рассказала, как они два года назад жили в Англии и какое там было небо – низкое, вылинявшее, словно плотно оклеили его грязными обоями.

Мы ходили по Крепости, и вновь мне бросались в глаза металлические таблички с названиями улиц на древних стенах, вывеска с фамилией какого-то зубного врача, реклама сигарет «Кэмэл», сохранившаяся от съемок фильма «Человек-амфибия». Все это поражало своей несопоставимостью с вечными камнями Ичери-Шахар, было в этом нечто непристойное, коробящее. Ну, как если бы Венере Милосской сделали наколку тушью.

Мы вышли из Крепости почти у нашего дома.

...В тот самый вечер, 29 апреля, когда мы собрались у нас, я пошел провожать Эсмер. Мы чуть отстали от других ребят, и в этом самом переулке у нее вдруг сломался каблук. Я побежал за машиной, и мы впервые в жизни сели в такси.

Когда прощались, она неожиданно спросила:

– Ты ничего не хочешь сказать мне?

И сейчас, видимо, ход наших ассоциаций совпал, и я не удивился словам Эсмер.

– Помнишь, как здесь у меня сломался каблук и ты меня провожал? – И добавила: – Все могло бы быть иначе...

Но говорить о прошлом мне не хотелось.

– Ты еще не проголодалась?

– Нет еще, рано. Часов в пять.

– Так, половина третьего. Значит, нам надо убить еще два часа.

– Не слишком ты галантен, однако.

– Не придирайся к словам. Хочешь, пойдем в кино.

Мы поспели почти к началу в мою любимую «Кинохронику». Шел документальный фильм «Япония в войнах» с уникальными кадрами; камикадзе – летчики-смертники перед самым вылетом.

– Как странно звучит: «камикадзе» – правда? Смотри, какие у них лица! – шепнула она.– Жуть! Интересно, что эти камикадзе чувствовали в воздухе? А вдруг передумают? – сказала Эсмер.

Ей ответил диктор:

– Ничего не связывало их больше с землей. Бензина для возвращения в баки не наливали.

Я почувствовал нервную дрожь ее пальцев на своей правой руке, потом ее волосы у правой щеки, потом ее голову у себя на плече, потом близко-близко какой-то невероятно тонкий аромат ее духов. Меня охватило мальчишеское желание поцеловать ее, но я не сделал этого. Вспыхнул свет. Фильм окончился.

– После этой жути надо хорошенько пообедать, – сказала она беспечно и весело.– Мне рассказывали, где-то открыли потрясающую шашлычную.

В битком набитой шашлычной Эсмер была единственной представительницей прекрасного пола. Экстравагантный вид ее привлекал всеобщее внимание. Мужчины, многие из которых были явно под градусом, бесцеремонно разглядывали нас. Недвусмысленные смешки, междометия, причмокивания грозили перейти в более четко выраженные формулировки, и я горько пожалел, что привел ее сюда, но буфетчик за стойкой (по неофициальному штату он был и вышибалой одновременно), быстро сориентировавшись в обстановке, подошел к нам и устроил за столиком у окна. Я сел спиной к морю, а Эсмер – спиной к публике и через мое плечо вглядывалась в темнеющий на горизонте остров Нарген.

– Что будем пить?

– Шампанское, – сказала она. – Знаю, это ужасный провинциализм – пить с шашлыком шампанское, но мне хочется. Помнишь, в тот вечер, у вас...

Да, я помнил, все помнил, и что в тот вечер она впервые в жизни попробовала шампанское, но, откровенно говоря, сентиментальность ее воспоминаний уже начала раздражать меня. Нечего было ей будить то, что по неумолимой логике жизни должно быть забыто безвозвратно, нечего было ей приезжать – ни к чему это паломничество в прошлое. Я чувствовал, что на душе у меня начинают скрести кошки, и хмуро глядел в противоположное окно, за которым были вбиты в тротуар, как гвозди, прямые деревья.

– Вспомнила смешной случай. Как-то на одном важном пикнике Джемал открывал шампанское и угодил прямехонько пробкой в тарелку какого-то посла. У меня душа ушла в пятки. Джемал побледнел, но все, слава богу, обошлось: посол оказался человеком с юмором. – Она отпила глоток шампанского.– Твое здоровье, рада тебя видеть.

– Нет, подожди. Первый тост – за тебя. Ты приехала – это здорово.

После первого же бокала я понял, что сегодня мне необходимо что-нибудь покрепче шампанского.

– Если не возражаешь, я закажу водку для себя.

Залпом выпив стакан, я почувствовал, как стушевываются, расплываются все частности, детали... Стоит мне выпить, как я начинаю глубокую философию на мелких местах. Стоит мне выпить – и я в Москве, без поездов и самолетов, без денег и билетов. И цветет сирень на Дорогомиловской набережной, и рядом все друзья, и в мире много прекрасного: вечерний радио-хор и старинная народная песня «Кучэлэрэ су сэпмишэм», московский май, мужская дружба, прохладные женские пальцы, Грузия, белая громада Благовещенского собора, освещенная прожекторами, море, земля ранней весной, лунная ночь в Загульбе и дождь после Ахсуинского перевала, зимний Таллинн и большие медлительные лошади в парке Монсури, как об этом сказано у Хемингуэя (это в Париже, в котором я никогда не был), и вечные камни Ичери-Шахар, которых все же не смести бульдозерами...

Однажды мы с приятелем пришли в Ичери-Шахар и увидели, как ломают старую баню. Кто-то по нерадивости забыл приколотить здесь табличку «Памятник архитектуры, охраняется законом», и лихой бульдозерист, весело напевая, вел свою машину в наступление на беззащитный, как бы съежившийся дом. Мы подняли крик, но он ничего не хотел слушать: «Мне сказали, я выполняю». Тогда мой приятель побежал звонить по инстанциям, а я сел на отвал бульдозера: «Попробуй скинуть меня отсюда». В общем, баню мы спасли.

– Давай выпьем, знаешь, за что? Вот ты прилетела из Москвы. Вы с Джемалом объездили полсвета. Но лучшее путешествие – это то, которое совершается от горлышка бутылки к ее дну. Вот я и хочу выпить за это путешествие.

Поток мрачного красноречия понес меня, и я все говорил, говорил, говорил о том, что ей никогда не понять меня, потому что никто не может понять другого до конца, и суть каждого человека наглухо заперта в нем самом, как в несгораемом шкафу, а его никому другому не открыть, потому что нет двух одинаковых ключей, далее если существуют отмычки. Боже мой, чего только я не плел! И вдруг я заметил, что она не слушает меня и куда-то смотрит в сторону.

– Куда ты смотришь? – спросил я резко.

– Вон там висит зеркало. Хочу установить, так ли уж я похожа на несгораемый шкаф.

Мы пошли к морю, и я взял два билета на теплоход. Морской ветер остервенело губил все изысканные тонкости ее прически, и она обеими руками натягивала платок, стараясь хоть что-то сохранить. Я обнял ее за плечи. Теплоход отходил все дальше и дальше от города, залитого огнями, в густой мрак тяжелого моря. Исчезли контуры телевизионной вышки, и красные огни на ней выглядели, как пуговицы ночного неба.

Она закрыла платком лицо, видны были только лоб и глаза, и они были прекрасны. Я взял и закрыл платком ее лоб и глаза, теперь видны были нос, губы, подбородок, и они тоже были прекрасны.

Теплоход дал протяжный гудок и стал возвращаться обратно. Я провел пальцами по ее прохладной руке.

– У тебя пять пальцев, солнышко.

– Удивительно, что я не шестипалая, правда? – сказала она сквозь платок.

Я сорвал этот платок с ее губ и долго-долго целовал ее. Она накинула свой платок на мою шею и туго стянула его. Я чувствовал все формы, все изгибы, все черты ее лица и слышал ее шепот...

– Вот я и опутала тебя...

Мы ехали на аэродром, и мои мысли буксовали, как колесо машины, возвращаясь к одной и той же фразе, вернее обрывку фразы: «Рыбачьи поселки, разбросанные по всему побережью». Откуда этот обрывок, о чем он говорил, почему я не могу отвязаться от него, и почему он заставляет все у меня внутри мучительно и остро ныть?

И когда Эсмер рассказывала об эмигрантах, которых она встречала в разных странах, о том, какая плохо скрытая тоска в глазах даже самых преуспевающих из них, мне подумалось, что и она, а может, и я, мы тоже в стране взрослых эмигранты из страны детства. Эмигранты, навсегда лишенные возможности возвратиться обратно.

– Значит, только одна посадка в Астрахани. А утром я уже в Москве! Как обидно, что я не смогла остаться на день твоего рождения. Обидно... Пока мы еще не уехали, приезжай в Москву. Мы с Джемалом будем рады тебя видеть.

Опять мы с Джемалом!

– Я не знал, что Джемал сделал такую головокружительную карьеру: открывать шампанское на дипломатических раутах – это не каждому удается.

– Не будь злюкой, – сказала Эсмер.– Он...

– Я знаю, он на все руки мастер. Кажется, в ранней молодости он был сапожником?

– А ты дурак, – побледнев, произнесла она.– Да, в ранней молодости он был сапожником – содержал большую семью и сам учился. И стыдно над этим глумиться.

Мне действительно стало стыдно. До отлета оставалось еще полчаса, и мне уже хотелось, чтобы это время быстрее прошло. Я вздохнул с облегчением, когда объявили посадку.

– Все будет хорошо.

Это было последнее, что я услышал от нее. Она обернулась с верхней ступеньки трапа, помахала мне рукой и исчезла в зияющем провале люка. А через несколько минут она была тремя точками в черном небе – две красные и одна зеленая.

Еще через двадцать минут наступило тридцатое число, и я стал на год старше. Я подъезжал к ночному городу, и его освещенные витрины были такими холодными. Но огромное чувство облегчения, какой-то смутной радости, освобождения от чего-то наполнило меня, я думал о своей работе, о том, как хорошо мне будет, когда я завтра утром – нет, уже сегодня – сяду за свой стол, за большой белый планшет. Какой изумительный запах у туши, какая прекрасная форма у остро отточенных карандашей. Какое вообще потрясающее счастье на свете – работа, ощущение деятельности, и какое несчастье – отсутствие этого.

На меня надвигался огромный город – мое ремесло.

Разбудил меня звонкий голос сестренки.

– Поздравляю, поздравляю, расти большой, умный, хороший, не обижай свою единственную сестричку! – Она наклонилась к моей постели и расцеловала меня. – Тебе телеграмма, представляешь, из Астрахани! От какого-то грузина.

Я выхватил у нее бланк. Два слова: «Поздравляю, целую». И подпись: «Камикадзе».

1967г. Баку

Перевод Я.Садовского

# МОЛЛА НАСРЕДДИН-66

*Шутка*

Да будет земля тебе пухом, Мирза Джалил!

## Без шуток

Без шуток, дорогой читатель. Я хочу тебе сказать несколько серьезных слов и поведать тебе о некоторых делах. Шутки в сторону, вот, допустим, -ведь правда же, нет худа без добра, – в один прекрасный день вдруг эта моя стряпня попадет тебе в руки, – а случилось так, что в этот день, я очень извиняюсь, мать твоих детей собрала ребятишек и увезла их к своей сестре. И ты сам, не дай господи, по причине маленького насморка, не смог к ним присоединиться и остался дома, а телевизор немного барахлит и радио не работает. И сосед, с которым ты вечерами играешь в нарды, уже три дня как переехал на дачу. И друг твой, с которым ты коротаешь вечера, находится на собрании. И в этом случае – нет, в этом ничего плохого нет, с каждым бывает, ты немного скучаешь, хочешь чем-нибудь себя занять, и вдруг тебе на глаза попадается, я очень извиняюсь, вот эта самая моя писанина, и, от нечего делать, ты берешь и начинаешь ее ковырять, пути господни неисповедимы, чем черт не шутит, глядишь, и ты уже стал читать эту болтовню. Некоторые вопросы тебе будут ясны, а некоторые вопросы будут не ясны. Тогда ты захочешь что-то разузнать и что-то выяснить, – так вот, чтобы тебя не затруднять, я с самого начала хочу тебе сказать два слова.

Да, душа моя. Если ты прочтешь это мое сочинение от начала до конца, тогда, открыв первую страницу, ты увидишь, да, действительно, наверху написано; «Анар», а чуть ниже написано: «Молла Насреддин-66» – и под этим в скобках, маленькими буковками: «Шутка».

В это время ты прикусишь зубами палец: «Интересно, что все это означает, то есть, что такое – Анар? Почему «Молла Насредднн-66»? Что это, трамвай? И почему слово «шутка» написано в скобках?»

Душа моя, не волнуйся, потерпи немного, сейчас я все по порядку, постепенно, тебе расскажу. Анар – так меня нарекли, то есть это мое имя. 66 – это значит, что я это сочинение написал в 1966 году по новому летосчислению, и ей-богу, я даже сам не знаю, какой это год получается по старому летосчислению.

А слово «шутка» написано в скобках вот почему: дело в том, что каждое сочинение принадлежит к какому-нибудь виду, французские мудрецы это называют «жанр», – то есть, как тебе сказать, вот, например, роман, знаешь? – роман, драма, комедия, новелла и тому подобное? Вот этот самый жанр обычно пишут всегда в скобках. Да, а что касается Моллы Насреддина, здесь вопрос не такой легкий. Весь белый свет знает, что один Молла Насреддин был 600 лет тому назад, а другой был 60 лет тому назад (ей-богу, человеку сразу приходят на ум новые и старые деньги). Могу только сказать, что первый Молла Насреддин был хороший мужик, да будет земля ему пухом.

В 1906 году нашего летосчисления в городе Тифлисе появился другой Молла Насреддин, и этот был еще лучше.

Собрал он вокруг себя несколько человек, среди них были Шмель, Балагур, Малярик, Семьпятницнанеделе[[4]](#footnote-4), и с их помощью начал издавать сатирический журнал, чем и прославился на весь свет.

Дорогой мой читатель, я вижу, как только ты дошел до этого места, так нахмурил брови, достал сигарету, нервно прошелся по комнате и в сердцах сказал: нет, это уж слишком! Смотри, с кем он себя сравнивает! То есть что он хочет сказать? Был первый Молла Насреддин, был второй Молла Насреддин, а третий, мол, – я, Насреддин 66-го года! Фиги! Глотай осторожно, а то подавишься!

Нет, нет, ей-богу, нет, клянусь аллахом, нет, клянусь бородой пророка – нет!

Шутки в сторону. Кто я такой, чтобы возмечтать о подобных вещах? Я же только хочу сказать, что как во времена Моллы Насреддина было над чем смеяться, так и сейчас тоже, если очень постараться, кое-что можно найти. Хочу сказать, что люди всегда смеялись, и когда было плохо, когда у них дела не ладились, и сейчас, когда дела пошли на лад, жизнь стала лучше, кругом весна, птички поют, только над чем смеялись и над чем смеются? Вот, душа моя, в чем вопрос. 60 лет тому назад – над чем смеялся Молла Насреддин? Давай-ка перечислим: над моллой, над дервишем, над шейхом, беком, ханом, миллионером, городовым, цензором, – скажи, разве не так? Ну, вот, правильно, спасибо, дай бог тебе здоровья. Значит, в то время был молла, были бек, хан, помещик, миллионер, шейх, дервиш, городовой, цензор и всякая там шушера. А где они сейчас? Нету! И слава богу, что нету. Значит, мы над ними посмеялись, и точка. А что сейчас есть, чего тогда не было? Вот, например, в этом нашем городе сколько институтов, фабрик, заводов, библиотек, театров, сколько красивых зданий, и в этих зданиях живут те, которые строили эти здания, или их товарищи, или их друзья. А разве могло быть так, чтобы в те времена рабочий-маляр, каменщик – жил со своими домочадцами в доме, который он построил своими руками? Разве в те времена рабочий, крестьянин, бедняк, вообще простой народ, когда болел, мог бесплатно лечиться? Разве женщина могла выходить на улицу без чадры? А интеллигент мог разве пикнуть из страха перед гочи[[5]](#footnote-5)?

Ушли те времена, и, слава богу, что ушли. Ушли навсегда. С треском провалились в тартарары.

Раз так, раз человек видит, что эти черные дни кончились, что навсегда наступили светлые времена, что делать человеку, как не радоваться, не смеяться, не хлопать в ладоши? То есть, если сейчас дядя Молла Насреддин посмеется, то посмеется он от радости, от счастья, сам посмеется и нас посмешит.

По правде говоря, мы еще не вымели из дому весь мусор, не вырвали сорняки, поэтому, наряду с тем, что мы будем смеяться от радости, от гордости, иногда пусть мы будем смеяться и от досады, с иронией, с гневом, смеяться плача и плакать смеясь. Во, брат, как!

Давайте будем смеяться над дурными делами, над глупыми разговорами, бессмысленными поступками.

Да, исчезли, ханы, беки, дервиши, колдуны, знатные бездельники, но ведь не исчезла же трусость! Иногда, редко, раз в год, глядишь, случайно встретишь труса...

Да, да, трусость, подлость, мерзость, глупость – это только на «ось», а есть еще на «ство»: кумовство, воровство, мотовство, взяточничество, а есть еще на «ик»: шкурник, склочник, завистник, сплетник, доносчик, а есть еще на «га»; хапуга, сутяга, прощелыга, выжига, подлюга, сквалыга.

А еще есть невежды, подхалимы, равнодушные: а что тебе, больше всех надо? Вот эти-то страшнее всех!

А еще есть... Но если всех перечислишь, скажут: утрируешь, краски твои мрачные. А где же хорошие «ость», где честность, верность, стойкость, преданность? Где хорошие «ик»: отличник, ударник, передовик, бессребреник? Где герои, храбрецы, умники, правдолюбы? Где мужество, героизм, патриотизм? Скажешь, нет? Как это, нет? Наоборот, очень даже много. Больше, чем плохого, в сто раз больше, в тысячу раз больше. И поэтому-то пишущих о хорошем гораздо больше.

Раз так, душа моя, ты уж на меня не сердись, пусть я этим своим сочинением выведу плохое на чистую воду, посмеюсь над ним, вытащу на свет божий кое-где встречающиеся мелкие недостатки, и пусть народ посмотрит, кто захочет – посмеется, а кто захочет – улыбнется, и если, даст бог, твои губы чуть тронет улыбка – очень хорошо, я буду очень доволен, а не тронет, ну что ж, тоже буду доволен, лишь бы ты был жив и здоров.

Только у меня есть одна просьба: когда будешь читать эту мою стряпню, пожалуйста, не щурь глаза. Почему? Потому что, если сощуришь правый глаз и прочтешь левым, все тебе покажется левым.

Если глаза у тебя слабые – ничего, надень очки. Только смотри, не надевай темные очки. Вредно. И розовые очки не надевай – еще вреднее. Надевай простые, обыкновенные очки.

Шутки в сторону. Все, что я сказал, очень серьезно.

Серьезно. В высшей степени серьезно.

Кроме шуток.

Так. Вот здесь серьезный разговор кончается.

Перейдем к шутке.

*Шутник*

## Утро селения Кизиловка

*Очерк*

Наша машина поднималась в горы, преодолевая высокий подъем, и лучи, падающие с чарующего лика нежной луны, чей платок, словно у кокетливой невесты, завязанный под подбородком, чуть виднелся из дымки облаков, серебристыми жемчужинами осыпали дорогу. Обжигающие лучи огненного солнца, как вечный факел, освещали нам путь, вьющаяся, как змея, дорога, как ураган, бегущая по долинам, как поток по горам, удлиняясь, удлинялась, расширяясь, расширялась и, умножаясь, умножалась. И словно притягивала нас к чарующему горизонту волшебного края, к очаровательному миру звезд, мерцающих в глубинах лазурного неба. Величественное солнце отражалось на стеклах нашей машины, чистое небо раскрывалось над нами, как недоступное, необъятное море, редкий дождь, оторвавшись от черных туч, находил убежище на земле, и крупные капли, а также струи, как сказочные богатыри, завершавшие свой путь и стремящиеся к заслуженному отдыху, находили вечный покой на теплой груди матери-земли. Вечный покой! Вечная стоянка! Вечное место! Меридиан! Мементо мори! Мекка! Ме...

«М-е-е-е», – услышали мы вдруг блеяние возвращающихся с пастбищ овец, и эти звуки оторвали нас от грез и вернули в реальную жизнь богатырей труда, создающих мир, еще более прекрасный, еще более заманчивый, чем наши грезы и мечты.

Нежный стон пастушьей свирели в ритме жизнеутверждающего марша прозвучал как победный гимн, как симфония труда, зовущая к победе, к новым достижениям, к борьбе, к наступлению вперед, в будущее. Мой спутник, глубоко вздохнув, сказал:

– Ох, жаль, ох, как жаль!

Я спросил моего спутника, отчего он так вздохнул и чего ему жаль. Он сказал:

– Жаль эти горы, эту землю, этих честных, трудолюбивых, способных, прозорливых, культурных, образованных, эрудированных, бескорыстных людей. Жаль плодородную землю селения Кизиловка. Жаль деловой коллектив колхоза «Красный хлопок».

– Друг мой, скажи мне, а почему тебе их жаль?

– Так, – сказал мой спутник и снова вздохнул, потом достал папиросу, вложил ее в губы, зажег спичку, поднес огонь к папиросе, прикурил, сделал затяжку, вдохнул дым в легкие, потом выпустил его – одну часть через левую ноздрю, другую через правую, – и медленно, не торопясь, солидно, терпеливо начал говорить.

– Ты знаешь, – сказал он, – было время, когда колхоз «Красный хлопок» гремел на весь район. На его полях выращивали такой высококачественный хлопок, что его можно было с чаем пить, – а теперь? Председатель колхоза Мамед Очковтираев и его заместитель Али Угождаев и еще несколько паразитов разорили колхоз. Да что рассказывать, сам увидишь.

К вечеру мы приехали в селение Кизиловка. Решив, что утро вечера мудренее, мы направились прямо к дому председателя. Как назло, попали к ужину. Подали жирную баранину, шашлык, кутабы, люля-кебаб, наршараб и вино ал-шарап.

От вина мы отказались.

Председатель сказал:

– Обижусь. Не будем нарушать обычаи нашего народа. Гость – это собака... э-э-э, простите, это лошадь хозяина, где привяжет, там и должен стоять... э-э-э, простите, сидеть. Опоздавший гость ест из собственного кармана. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Гость приходит вечером, а уходит утром. Гость, то есть, по-нашему, кунак, это от слова «гонмак», то есть приземлиться. Сегодня вы у нас приземлитесь, завтра мы у вас приземлимся. Одолживший должнику здоровья желает. Рука руку моет, а руки лицо. Скрытый торг дружбе не впрок. Гость не любит гостя, а хозяин обоих. Сосед соседу...

– Хорошо, хорошо, мы согласны, – сказал мой спутник и с трудом успокоил председателя.

Очковтираев разлил водку в стаканы. Угождаев сказал:

– Между первой и второй не разговаривают. Выпили по второй.

– Бог троицу любит. Выпили по третьей.

– Без четырех углов дом не строится.

Пропустили по четвертой.

Когда выпили по пятой, я сказал:

Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. – И тут председатель послал Угождаева в погреб за водкой.

Что было дальше, я не очень помню. Помню только, что председатель сказал красивый тост. Оказывается, он был опытный оратор. Не говорил, а млел. Мой спутник сказал мне:

– Ты видишь, какой это честный, правдивый, трудолюбивый, образованный, эрудированный, современный, культурный, способный товарищ. Ты послушай, как он говорит!

Председатель вспоминал в своем тосте мудрые изречения многих выдающихся людей. Между прочим, он также частенько поминал черта и в заключение сказал:

– Черт меня толкает, говорит, поцелуй этого хорошего человека!

И, подойдя ко мне, он чмокнул меня сначала в левую, а потом в правую щеку.

Некто Намаз Ябедников, который все это время сидел в углу и не проронил ни слова, вдруг стал что-то бормотать:

– Нет, кажется, я не выдержу... Нет, я брякну! Нет, я обязан брякнуть!

И еще что-то неразборчивое.

Никто не обращал на него внимания, поэтому он решил применить обходный маневр и обратился к помощи черта:

– Черт меня давно толкает, говорит, эх ты, трус, сидишь тут, развалился, как мешок с хлопком... Тут я попросил слова.

– Большое вам спасибо, – сказал я. – Ваше село, ваш колхоз, ваши поля, ваши участки, ваша техника, ваши культурные учреждения и особенно ваш стол нам всем очень понравились. Но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Есть у вас и серьезные недостатки. Мы не можем закрывать на них глаза. Вот, например, вы, товарищ Ябедников, в то время как колхоз «Красный хлопок» отстает по сдаче хлопка, вы спокойно сидите на мешке с хлопком! Как это можно? Позор всякому, кто прячет народное добро от народа! Позор!

Ябедников попытался возразить, что селение, мол, горное, здесь хлопок не выращивают и так далее, но я прервал его:

– Не надо обижаться на справедливую критику, критика – вещь полезная, критика – это залог наших успехов, надо прислушиваться к доброжелательной критике и делать из нее необходимые выводы.

Все мы аплодировали. Ябедников от стыда опустил голову.

На рассвете наша машина, оторвав нас от приветливых, современных, культурных, простых, трудолюбивых, образованных, эрудированных, честных жителей гостеприимного, плодородного, живописного, процветающего селения Кизиловка, спустилась на дорогу, извивающуюся, как змея, вокруг гор. Горячие лучи солнца освещали наш путь как символ светлого будущего селения Кизиловка.

Молчун Болтливый

## Стакан воды

Однажды в деревню приехали из города большие товарищи. Собрав жителей, провели хорошее собрание. Говорил хлопкороб. Говорил пастух. Говорил лесник. Говорил механизатор. Говорил зоотехник. Один из приехавших сказал:

– Что-то я не вижу представителя поливальщиков. Неужели в такой большой деревне нет ни одного передового поливальщика?

Тут забегали по деревне – как это нет? Конечно, есть. Сейчас мы его найдем.

Побежали к водяной мельнице на высохшей речке, увидели поливальщика Сухого Джафара. Привели на собрание. Большие товарищи сказали:

– Приветствуем тебя, товарищ Сухой Джафар. Хорошо, что пришел. Тут все выступали, может, ты тоже скажешь два слова?

Сухого Джафара подтолкнули к трибуне. Поливальщик растерялся: что ему сказать? О чем? Он так разволновался, что задел на трибуне стакан и уронил. Вода разлилась.

Поливальщик окончательно оробел и еле выговорил:

– Ничего, вода – это к добру...

Сказав это, он сошел с трибуны и сел в дальний угол. В конце собрания один из приехавших произнес хорошую речь. Он сказал:

– Я хочу вам напомнить об одном. Надо обратить особое внимание на орошение. Надо изучать опыт передовых поливальщиков. Выступавший передо мной поливальщик Сухой Джафар, прославленный на всю страну, гордость вашей деревни, сказал очень хорошие слова. Он сказал: вода к добру. Я на 100 процентов присоединяюсь к этим словам. Знайте цену воде! Знайте цену поливальщику Джафару! Вода – это залог наших будущих побед! Вода – это звезда ясных ночей!

Так взошла звезда поливальщика Джафара. Его отправили в Узбекистан для обмена опытом. Композитор О. Оптимистов написал на слова П.Пессимистова песню, а певица С. Соловей исполнила эту песню.

В ранний час, в поздний час,

Сотню раз, сотню раз,

Поливая поля,

Ты поддерживал нас.

Землю наших полей

Поскорее полей,

Поливальщик Джафар,

Я хочу быть твоей.

Дорогой мой Джафар,

Золотой мой Джафар,

Ты мне нужен всегда,

Как посеву вода!

Однажды поливальщика Сухого Джафара пригласили в город. Был митинг по поводу двадцатидвухлетия Самур-Дивичинского канала. Неожиданно председатель предоставил слово поливальщику Сухому Джафару. Сухой Джафар, стоя в растерянности, не знал, о чем говорить, но отступать было поздно, все ждали его выступления. Сухой Джафар поднялся на трибуну, оглянулся вокруг и вдруг заметил на краю трибуны стакан с водой. Джафар откашлялся и начал:

– Вот, например, возьмем стакан этот. Правильно говорили наши деды – когда вода налита в посудину, ее можно пить. Вот сейчас, например, я могу взять этот стакан и выпить. Но, например, если эта вода будет стоять здесь три дня, я ее пить не смогу. Почему? Потому что когда вода стоит на одном месте, она тухнет. Поэтому и роют каналы, чтобы вода не стояла на одном месте, а все время текла и нашла свою яму. Да здравствуют те товарищи трудящиеся, которые рыли этот канал!

Поливальщику долго аплодировали.

Прямо оттуда поливальщика Джафара, втолкнув в черную «Волгу», повезли на другой митинг, посвященный внедрению новых шаек в старые бани. Вытащив Сухого Джафара из машины, его сразу же подтолкнули в сторону трибуны. Поливальщик сказал:

– Возьмем, например, этот стакан воды... В николаевское время богатеи очень много мучили народ из-за этой воды… Можно сказать, давали пить, а в рот не попадало. Правда, иногда для видимости они строили кое-где бани – хотели привлечь на свою сторону народ. Чем? Водою в бане! Да что говорить, тут можно много сказать – правду говорят, умные мысли приходят человеку в голову, когда он в бане. В этот славный день по случаю внедрения новых шаек в старые бани я поздравляю вас от всего сердца!

После митинга поливальщика Джафара попросили выступить по телевидению.

Сухой Джафар сказал:

– Хорошо. Только с одним условием – поставьте передо мной стакан воды.

Через час Сухой Джафар начал свое выступление:

– Уважаемые телезрители! Возьмем, например, этот стакан воды...

После этого в течение целой недели поливальщик Джафар выступал на различных собраниях и митингах. На встрече с пионерами он сказал:

– Дорогие ребята! Не забывайте народную поговорку; уступи дорогу старшему, а воду младшему.

На совещании зоотехников он сказал, что есть такие, кто чуть завидит воду – захочет пить, завидит лошадь – захромает.

На научной конференции астрономов он выдвинул гипотезу о том, что вода прозрачная, а луна круглая. На конференции, посвященной проблемам художественного перевода, он сказал, что колодец должен сам давать воду, нельзя сделать его колодцем, наливая туда воду.

В интервью, которое он дал журналисту, он так выразил свое отношение к положительному герою: в тихом омуте черти водятся.

Однажды собрали очень большое собрание… Слово дали Сухому Джафару. Сухой Джафар был уже не тот Сухой Джафар, который когда-то покрывался потом при виде трибуны. Уверенно шагнул он к трибуне, поднялся, окинул привычным взглядом зал и, прочистив горло, начал:

– Возьмем, например, этот стакан...– и тут у Джафара пересохло в горле. Лицо его покрылось красными пятнами. В знак особого уважения ему вместо стакана с водой поставили стакан с крепким чаем. Заикаясь, он пробормотал:

– Вода... чай... Арпачай... Кюрекчай… Гянджачай... в общем, я утонул...

Чайханщик Джамиль, давно уже завидовавший поливальщику Сухому Джафару, сидел в тринадцатом ряду и с наслаждением наблюдал, как его соперник идет ко дну. Наконец он не выдержал и крикнул с места:

– Ну что, друг, поймал реку в шапку?

С того дня звезда Сухого Джафара закатилась. Но взошла звезда чайханщика Джамиля.

Водохлеб Недомойка,

М.Мокрый

## Цепочка

Жил-был один человек по имени Аваз Авазов[[6]](#footnote-6). Хороший был парень. Голова вниз, волосы вверх.

Однажды шел Аваз Авазов по улице, и вдруг ему захотелось узнать, интересно ему стало, какой сейчас год, какой месяц, какой день и который час? То есть, сколько минут какого или без скольких минут сколько? Остановился он, задумался, вспомнил год, месяц, день, но сколько ни старался, не мог вспомнить, который час.

Потому что у него не было на руке часов.

Аваз Авазов не знал, как быть. И тут на другой стороне улицы он увидел своего старого приятеля Али Алиева. Он подошел к нему и, протянув руку, сказал:

– Мой старый друг, Али Алиев, как хорошо, что я тебя встретил. Старый друг, скажи мне, который сейчас час?

Али сказал:

– Мой дорогой друг, Аваз Авазов. Как хорошо, что я тебя встретил, который сейчас час, это я тебе скажу. Но, дорогой друг, за это ты должен дать мне одну спичку, потому что только что – жаль, тебя не было! – нам попался один баран, так он нам такую овцу зарезал, что я теперь должен долго ковырять в зубах.

Аваз сказал:

– Клянусь жизнью, спички у меня нет. Но ты не волнуйся. Вот видишь, идет мой дорогой сосед, Вели Велиев. Не может быть, чтобы у него не было спички. Сейчас достанем.

Аваз Авазов поздоровался с Вели Велиевым. Как живешь, хорошо, как дети, так себе. Аваз изложил свое дело. Вели сказал:

– Конечно, какой может быть разговор, сосед соседу и нужен только на черный день, что такое одна спичка, чтобы я тебе отказал? Но, брат, ты должен за это дать мне одну сигарету. Почему? Потому что сигареты у меня кончились.

Аваз сказал:

– Ты же знаешь, Вели, я бросил курить. Но сигарету я сейчас найду.

Аваз побежал за угол в табачный киоск к продавцу Мамеду Мамедову.

Мамед Мамедов сказал:

– Что такое одна сигарета? – все сигареты в мире для тебя не жаль. Ты мой старый покупатель. Недаром говорят: «Продавцу покупатель самый близкий приятель». Но, дорогой покупатель, ты на меня не обижайся, я тебе сигарету дам с одним условием, ты должен мне за это дать двушку для автомата. Есть одна кукла, надо ей позвонить.

Аваз Авазов пошарил в карманах, сказал:

– Клянусь жизнью, нет у меня двушки! Но ничего, тетя моя живет здесь недалеко, сейчас у нее возьму.

Побежал Аваз к тете.

Сын тети, его двоюродный брат Ахмед Ахмедов, сказал:

– Как не стыдно! Разве я умер, чтобы ты из-за двух копеек топал на четвертый этаж без лифта? Вот тебе десятка, двадцатка, сотня, дай бог здоровья твоему дяде, то есть моему папе, на, сори, трать, как свои! Но у меня к тебе одно маленькое дело. Угадай, какое?

Аваз Авазов тупо уставился на Ахмеда. Ахмед, прищурив один глаз, сказал:

– Ну, угадай! Угадаешь, сотня твоя.

Аваз заморгал глазами. Ахмед, прищелкивая пальцами и приплясывая, вдруг запел: бродяга я-а-а-а-а... Ну что, догадался?

Аваз не понимал.

Ахмед сказал;

– Эх ты, недотепа! Новое индийское кино видел?

– Э-э, да ты, оказывается, темный! Вот в чем вопрос, у меня к тебе дело: на это кино невозможно достать билеты. Лично я ходил семнадцать раз, но мы с одним приятелем поспорили, что я схожу двадцать. Сегодня хочу пойти. Билетер живет в нашем дворе. Ты его знаешь? Абас Абасов. Сделай так, чтобы он меня пропустил.

Аваз и Ахмед отправились в сторону кино.

Аваз Авазов что-то шепнул на ухо Абасу, Абас сказал:

– Это можно. Но ты, старик, за это устроишь мне одно дело. Я твоего брата бесплатно пропущу в кино. А ты моего братика бесплатно устроишь шофером такси.

Аваз Авазов пошел к начальнику таксомоторного парка Садыку Садыкову. С трудом прорвался.

В своем громадном кабинете за огромным столом Садыков сидел в глубокой задумчивости. Кончик карандаша он закусил зубами, одна рука его лежала на сердце, а указательный палец другой руки был приставлен к виску. Взгляд его был устремлен в какую-то неизвестную точку. В кабинете никого не было.

Аваз Авазов кашлянул. Потом тихонько чихнул. Потом громко зевнул. Потом трижды вздохнул и вдруг тихо запел:

«Аршин мал а-аалан». Садыков не обращал на него никакого внимания. Наконец Авазов тихо сказал:

– Салам.

Садыков повернулся к нему и сказал:

– Скрылась в горах...

Авазов сказал:

– А-а...

А потом осторожно спросил:

– Кто?

Садыков сказал:

– Та-та-та-та-та-та-та-та... Черт... не идет!

– Почему не идет?

– Откуда я знаю, почему не идет? Не идет и все! Черт ее побери! Та-та-та-та-та-та...

Аваз Авазов осторожно спросил:

– И давно скрылась?

Садык Садыков сердито посмотрел в его сторону. Его заспанные глаза налились кровью. Он буркнул:

– Кто?

– Ну, эта... та, которая скрылась в горах...

– В каких горах?

– Я не знаю, вы сами сказали, что скрылась в горах... И пока не вернулась...

Садыкова как будто змея ужалила.

– Гражданин, кто вы такой? Что вы здесь делаете? Кто вас пустил?– брызгал он слюной.– Кто дал вам право вмешиваться в мой рабочий процесс?

– Простите, вы сами сказали, что скрылась в горах и пока не вернулась... Причем сказали это мне, потому что в комнате никого, кроме меня, не было... И я вас спросил: кто?

– Кто, кто... Душа моя скрылась в горах... Не могу эту чертову рифму найти!.. та-та-та-та-та-та, та-та... не идет и все!

Аваз:

– А-а, теперь понятно... Вы пишете стихи.

– Ну да... Целую неделю не могу заснуть... Девять тысяч строк написал... Все шло как по маслу... А вот застрял! Душа моя скрылась в горах... Душа моя скрылась...а-а...

Аваз сказал:

– В садах...

Садыков от удивления замер. Потом вскочил, как распрямившаяся пружина, навалился на Авазова и громко чмокнул его сначала в одну щеку, потом в другую.

– Слушай, да ты – Пушкин! По твоим непричесанным волосам видно, что ты поэт! Я тебя искал на небе, а ты мне попался на земле! Значит, как ты сказал?

– Душа моя скрылась в садах...

– Молодец! – Садыков быстро записал. Поставил точку. – Все. Поэма готова. Он протянул Авазову толстую папку и сказал:

– Я тебя прошу, ты сам уточни рифмы. Тут у меня все переполнено, – он показал на грудь, – а насчет рифмы немного не того... Ты там пошуруй...

Аваз Авазов сказал:

– Я, правда, не поэт, но в позапрошлом году ехал в автобусе с одним поэтом, я передам ему, он исправит. Но за это ты должен сделать мне одно дело...

И он изложил Садыкову свое дело.

Садыков задумался. Вытащил карандаш изо рта, почесал им голову.

– По правде говоря, твое дело не такое простое... Подарок – это одно дело, но деньги счет любят. Сам знаешь, стихи, искусство – это вещь хорошая. Да что толку на голодный желудок стихи писать? У тебя должен быть полный карман, чтобы вдохновение забило фонтаном... – Потом, подумав немного, сказал: – Хорошо. Ты человек бывалый. Как ты думаешь, сколько мне за эту поэму заплатят?

Аваз, немного подумав и точно что-то вспомнив, назвал цифру.

– Хорошо,– сказал Садыков. – Присылай своего человека. Я скажу секретарше, пусть он ей скажет: «Душа моя скрылась в садах», она пропустит. – И, протянув Авазову толстую папку, добавил: – А это я передаю тебе. Считай, что ты хозяин.

Аваз Авазов прямо оттуда пошел к Аскеру Аскерову.

– Аскер-муаллим, помните, в позапрошлом году мы с вами ехали в одном автобусе, я еще билет вам купил?

Аскер Аскеров, увидев под мышкой Авазова папку, побледнел.

– Нет, нет, нет, – начал он заикаться, – я болен, у меня нет времени, ничего не помню. Я переезжаю в другой город. Бабушка моя умерла. Жена в больнице. Дядя упал с крыши. Не знаю я вас!

Аваз сказал:

– Как? Не знаете? У меня еще была в руках банка с рыбками... Скляри я достал...

Глаза Аскера радостно блеснули:

– Скляри?

– Да, скляри.

– И он еще жив?

– Сдох. Но если хотите, я вам достану.

– Это точно?

– Сто процентов.

Аскеров глубоко вздохнул.

– Ладно, – сказал. – Как называется?

– Не мое, одного знакомого. Прошу вас прочитать.

– Читать я не буду. Но если ты мне устроишь рыбку, напишу хорошую рецензию. Опубликуют.

От Аскерова Аваз пошел к свояку Намазу Намазову. Намаз Намазов работал продавцом в зоомагазине.

Намаз сказал:

– А, это ты? Каким ветром занесло? Наверно, будет хорошая погода. Бывает же такое чудо, и ты в нашу дверь стучишь! Ну, в чем дело?

Аваз изложил дело. Намаз надел очки, сказал:

– Что за вопрос? И ты, такой большой человек, по такому маленькому делу пришел ко мне?! Мог бы просто позвонить... хотя да, совсем забыл, проклятый склероз, у меня же нет телефона! Веришь ли? Иногда сидим с женой, она говорит; как-то там моя сестричка. Был бы у нас телефон, позвонила бы ей: сестричка, сестричка, как ты там? Послушай, Аваз, говорят, у тебя есть блат в АТС, может, ты поможешь с телефоном? Клянусь жизнью, если ты мне это сделаешь, мне будет стыдно тебе в глаза смотреть, что я тебе ничего не мог сделать.

Аваз пошел прямо в АТС к Акперу Акперову. Несколько лет тому назад они познакомились в очереди за мясом.

Акпер сказал:

– Помнишь, а? Какое было время! Слава богу, сейчас с мясом наладилось. Чем могу служить?

Аваз Авазов объяснил, чем он может служить. Акпер Акперов сказал:

– Нет, это трудно. Не могу. – Помолчав, он встал и начал расхаживать по комнате. – Ладно, любому другому отказал бы, тебе не могу. Нового номера у нас нет, но твоему свояку я дам номер пожарной команды: 01. Ну что скажешь? Короткий и легкий. Что улыбаешься? Доволен? Дай пять... Слушай, старик, тебя тут видели на футболе рядом с гармонистом Кули Кулиевым... Вы что, друзья?

– Да нет, просто билеты попались рядом. Даже не знакомы.

Акпер нахмурился.

– Конечно, – сказал он, – как дело касается меня, так вы уж и не знакомы! Чтобы тебе устроить телефон, я иду на такой риск, а ты не можешь привести одного паршивого гармониста на свадьбу моего свояка! Значит, так? Не можешь?

Аваз Авазов от Акпера Акперова пошел к своему другу детства Гуламу Гуламову.

– Гулам, – сказал он, – я умер, ты должен меня хоронить. Я слышал, ты в прошлом году рвал зуб у тетки гармониста Кулиева... Я тебя очень прошу, скажи ей, пусть уговорит своего племянника, есть один знакомый, надо, чтобы он пошел играть к нему на свадьбу...

Гулам сказал:

– Аваз, ты знаешь, что я человек прямой. Привести Кули на свадьбу – это для меня раз плюнуть. Но ты должен за это устроить одно мое дело. Кровь из носу, а сделать это надо. Мой сын в этом году должен поступить в институт. Понял? Во что бы то ни стало. Вообще-то он должен был поступать в позапрошлом году, но не получилось.

Аваз сказал:

– Я рад тебе помочь, но что я могу сделать?

– Многое. Экзамен принимает Башир Баширов. Прохвост, каких свет не видал. Три года подряд не уходит в отпуск, сам остается принимать экзамены. В первый год купил мотоцикл. На второй год – «Волгу». Теперь остается третий раз, наверно, хочет купить трамвай. Ты должен его обработать.

Аваз сказал:

– Но мы с ним даже «здрасте» не сказали!

– Зато он друг Бекира Бекирова.

– А я и Бекира Бекирова не знаю!

– Ты меня слушай. Башир Баширов друг Бекира Бекирова. Бекир Бекиров с Бебиром Бебировым как родные братья, Бебир Бебиров – сосед Бедира Бедирова. Теперь ты понял?

– Да, но...

– Ты погоди, слушай дальше. Бедир Бедиров скоро пойдет к Талату Талатову, сватать его дочь за своего сына. Талат Талатов – друг Кудрета Кудретова. Кудрет Кудретов с Фикретом Фикретовым как родные братья. А Фикрет Фикретов живет в одном доме с Сеидом Сеидовым. Теперь понял? Сеид Сеидов!

– Но я не знаю и Сеида Сеидова!

– И не надо. У Сеида Сеидова есть сестра Саида Саидова. А Саида Саидова близкая подруга Фериды Феридовой. А Ферида Феридова, ну что, сказать? Или ты и ее не знаешь? Ферида Феридова, насколько мне известно, в молодости была в тебя влюблена как кошка! Вчера я читал в одной книге, что любовь не умирает. Как я это прочел, я прикусил палец: ага, думаю... погоди, тут дело выгорит! Я должен пройти под бородой Аваза Авазова! Теперь, Аваз, сам видишь, – моя судьба в твоих руках!

Аваз нашел Фериду Феридову в доме отдыха пенсионеров. Ферида долго протирала стекла очков, потом надела их и посмотрела в упор на Авазова.

– Повтори свое имя. – Она протянула к нему микрофон слухового аппарата и, опершись на палку, поднялась со стула.

– Ах, это ты, друзок… – сказала она, достала из стакана свою челюсть, надела ее, схватилась за сердце и, крикнув «ах», упала в обморок.

Когда она очнулась, тут и пошло!

– Отчего ты так опоздал, мой голубь! Отчего ты так опоздал? Неужели ты ни минуты не колебался, когда дал мне выпить напиток разлуки? Но это обман! Это сон! Прочь с моих глаз! О злополучная тень моей невозвратной юности! Я призываю землю, небо, гордые облака, бурные водопады быть свидетелями моей любви! Довольно, пусть кончится этот сон, эта мука! Ах! Нежные струны моего сердца тронул легкий весенний ветерок! Они зазвучали и умолкли!.. Душераздирающие стоны твоей разбитой лютни, словно печальная скрипка, запели во тьме... Увы! Ты опоздал, несчастный! Забудь меня! Прощай! Прощай, печальное дитя... мой неверный птенчик! Бессовестный бродяга, ты не принес даже нескольких жалких хризантем на наше последнее свидание! И это – твоя любовь? Твои безумные, опьяняющие клятвы?

Аваз понял, что без хризантем их разговор не будет стоить и двух копеек на старые деньги. Он помчался на базар. Но какие хризантемы в это время года? На углу стояли два пижона, нахлобучив на глаза шапки. Аваз хотел пройти мимо, но один из пижонов преградил ему дорогу и сказал другому:

– Сейчас мы спросим этого культурного товарища, – он обернулся к Авазу и указал на своего приятеля. – Скажи, любезный, этот тип похож на Фантомаса?

Аваза прошиб холодный пот. Что он мог ответить? Сказать – похож, одному не понравится, сказать – не похож, другому не понравится. И, решив про себя: будь что будет,– он сказал:

– Клянусь вот этой головой, вылитый Фантомас! – И только он это сказал, как другой пижон достал из кармана нож и бросился на Авазова, но первый преградил ему дорогу, и они сцепились. В суматохе Аваз смылся.

Он бежал три квартала и остановился на углу четвертого, чтобы перевести дыхание, и тут заметил прислоненное к его животу дуло пистолета.

Владелец пистолета сказал:

– Салам алейкум, молодой человек. Меня зовут Фантомас, а вас как?

Аваз Авазов грохнулся на землю. Когда он очнулся, он увидел, что Фантомас обмахивает его громадным маузером.

– Напрасно старушка ждет сына домой, – пропел Фантомас. – Ну, очнулся? Очень уж ты нежный. Слушай, кореш, хочу купить машину. «Волгу». Но, конечно, спросят: «Откуда у тебя тугрики, ты зелень на базаре продаешь, откуда столько денег?» Сам знаешь, неприятны такие разговоры. Вот я и ждал такого культурного человека, в очках, вроде тебя, а ты взял и пришел ко мне своими ногами. Сколько стоит «Волга»? Сам скажи. 56 кусков. Правильно. Отсчитаю сто. Новенькими. Ну как, пойдет? И еще букет хризантем. Цветы твои, фамилия твоя, машина моя. Что скажешь?

У Аваза даже язык прилип к гортани. Он не мог выговорить ни слова и только кивнул в знак согласия.

Шурин Аваза, Бахрам Бахрамов, три года назад получил квартиру. Три месяца тому назад защитил диссертацию, стал кандидатом. Три недели тому назад купил «Волгу».

Аваз Авазов пришел к Бахраму Бахрамову.

Бахрам сказал:

– Это именно то, чего я хотел. Продам «Волгу», сто тысяч положу в карман. На 56 куплю новую машину, на остальные сыграю свадьбу. Вот, Аваз, ты должен найти мне хорошую невесту. Квартира у меня есть. Мебель есть. Пианино, холодильник, телевизор, пылесос, полотер, все мне достали. А ты достань жену. Если уж совсем начистоту, у тебя в отделе есть одна фифочка... Очччень симпатичная... машинистка. Рагима Рагимова.

После работы Аваз попросил Рагиму Рагимову задержаться, сказал, что есть срочная работа.

Как только они остались наедине, Аваз, понизив голос, сказал:

– Работа – это только предлог. Мне нужно с тобой поговорить по личному вопросу. Пойми меня правильно.

Рагима вскочила со стула.

– Стыдно вам, товарищ Авазов! – воскликнула она. – Я знала вас как приличного мужчину. Я честная порядочная скромная девушка. Если брат узнает, он разрежет меня на куски. Двоюродный брат отрежет мне голову, а троюродный брат выколет мне глаза!.. Как же вы посмотрите в глаза своей жене? Как раз, сегодня я ее видела, она приходила получать вашу зарплату!

Аваз покраснел, как редиска.

– Успокойся... о чем ты говоришь? Речь совсем о другом...– И он в нескольких словах изложил ей дело.

– А-а-а...– сказала Рагима.– Так бы и сказали. Сколько комнат, говорите? Четыре? Пять? Живет один? Никаких там родителей, сестер, братьев? Что? Есть одна сестра? Ах, ваша жена... Никогда не видитесь?.. Это хорошо. Кандидат или доктор? А как с докторской? А, есть тема, пишет... Значит, через год защитит... Ну что же, я согласна. Но у меня есть три условия.

– Говори, какие условия?

– Первое; а) он должен устроить мою младшую сестру Рахилу в детский сад, 6) среднюю сестру Медину – в музыкальную школу, причем не на скрипку, а на рояль, в) младшего брата Рагима в институт, г) среднего брата Керима в аспирантуру, д) третью сестру Секину пробовали в кино, не прошла. Надо это дело пробить, потому что девушка очень хочет сниматься, ж) старшую сестру Эмину...

Аваз достал записную книжку и посмотрел, сколько букв в алфавите.

Рагима продолжала:

– ...Третьего брата Селима должен устроить левым крайним в «Нефтяник», да не в дубль, а в основной состав.

Аваз тихо спросил:

– Сколько у вас сестер и братьев? Рагима сказала:

– Кроме меня, девять. Остались два брата. Двойняшки. Валид и Халид, Валида должен устроить в шашечную федерацию президентом, а Халида в сумасшедший дом.

Аваз спросил:

– Тоже президентом?

– Нет, пациентом.

Аваз спросил:

– Первое условие кончилось?

Рагима сказала:

– Кончилось. Второе условие: он должен получить хорошую большую квартиру, с окнами на море. И чтобы был балкон.

– У Бахрама отличная квартира!..

– Надо большую. Я хочу взять с собой родителей, братьев и сестер. 12 душ, все мы живем в одной комнате.

Аваз тяжело вздохнул.

– Давай третье условие.

– Третье условие, чтобы он, то есть мой муж, и его знакомые называли меня не Рагима, а Раечка.

Аваз обрадовался:

– Это пожалуйста. Считай, что это сделано.

Третье условие он выполнил в тот же день. Остальные стал устраивать постепенно. Наконец все было сделано, осталось получить квартиру.

Однажды утром Аваз пришел на прием к заведующему райжилотделом Кямалу Кямалову. Подойдя к зданию, он сначала посмотрел на окно. Потому что поговаривали, что Кямал Кямалов прячется от посетителей и входит в свой кабинет через окно. И у него якобы даже есть очень крепкая веревочная лестница.

Вошел Аваз, видит – никого нет, дверь открыта настежь. Прошел в приемную, поздоровался с секретаршей. Секретарша сказала:

– Здравствуйте. Присаживайтесь. Чем можем быть полезны?

Аваз ответил, что хотел бы видеть Кямала Кямалова.

Секретарша сказала:

– Пожалуйста, проходите.

Аваз Авазов вошел в кабинет. Кямал Кямалов сидел за столом. Он тут же вскочил и подошел к Авазу.

– Салам алейкум, добро пожаловать. Извините, мы не знакомы, познакомимся. Кямал Кямалов, очень рад. Чем могу быть полезен?

– Я пришел по поводу квартиры...

– И хорошо сделали. Сколько комнат?

– Комнаты три-четыре...

– Три-четыре – значит семь. Прекрасно. В каком районе?

Авазу показалось, что он видит сон... Потом мелькнула мысль, что Кямалов над ним издевается… Но потом он решил: будь что будет, и сказал:

– Хорошо бы в центре. В новых домах. И чтобы балкон выходил на море.

Кямал Кямалов сказал:

– Пожалуйста! Заявление написали?

– Нет...

– Садитесь, пишите. Вот вам бумага. Нет, погодите, эта бумага плохая. Вот на этой. Отличная бумага, с водяными знаками. Вот карандаш. Одна сторона зеленая, другая синяя, а эта желтая... Жалко, восьмицветный дома остался... Пишите какой хотите. Написали? Отлично. Давайте, наложу резолюцию.

Кямалов взял заявление Аваза, поставил красивую подпись, а внизу указал год, месяц и день, хотел написать час, посмотрел на свои ручные часы, видит, что они стоят.

– Простите, – сказал он Авазову, – у меня часы остановились. Сколько на ваших?

Аваз ответил, что у него нет часов, но он сейчас узнает. Он вышел из кабинета, хотел спросить секретаршу, но ее не было. Он побежал в коридор, но и там никого не было. Аваз выбежал на улицу. И тут на другой стороне улицы он увидел своего старого приятеля Али Алиева. Он подошел к нему и протянув руку, сказал:

– Мой старый друг, Али Алиев, как хорошо, что я тебя встретил. Старый друг, скажи мне, который сейчас час?

Али сказал:

– Мой дорогой друг, Аваз Авазов. Как хорошо, что я тебя встретил. Который сейчас час, это я тебе скажу. Но, дорогой друг, за это ты должен мне дать одну спичку, потому что только что...

**(Продолжение следует)**

## Приключение чисел

*Сказка*

Однажды Единица сказал Двойке: – Послушай, Двойка, давай стань рядом, будем дюжиной.

Двойка ответила:

– Нет уж, лучше ты стань со мной рядом, будем Двадцать Одно. Двадцать Одно больше, чем дюжина.

Единица ответила:

– Нет, я должна стоять впереди тебя, потому что я раньше, чем ты.

Двойка сказала:

– Нет, я должна стоять впереди тебя, потому что я старше тебя.

Единица сказала...

Двойка сказала...

Договориться никак не могли.

Наконец они решили: давай пойдем к Тройке, она старше нас, пусть нас рассудит.

Тройка была мудрая, прошла огонь, воду и всевозможные трубы. Она поняла, что из этой затеи ничего не выйдет.

Но на уме у Тройки было другое. Она давно уже хотела стать Шестеркой. И сейчас, когда она встретила Единицу и Двойку, она подумала, что это очень кстати. Если Единица и Двойка объединятся, я с ними не справлюсь, подумала Тройка, у нас силы будут равные. Надо их поодиночке обмануть и присоединить к себе.

Сначала Тройка потащила за угол Двойку, заманила и присоединила ее к себе, а потом Единицу. Так стала она Шестеркой.

Четверка сказала Пятерке:

– Видала? Тройка раньше смотрела на нас снизу вверх, а теперь стала Шестеркой, возгордилась и смотрит на нас сверху вниз.

Пятерка сказала Четверке:

– Ничего, давай и мы объединимся и станем Девяткой. Тогда мы ей покажем!

Четверка и Пятерка объединились и стали Девяткой.

Узнав об этом, Шестерка вскипела, перекувырнулась, и тоже стала Девяткой.

Первая Девятка, узнав об этом, велела ей передать, что она не настоящая Девятка, а лжедевятка, переделанная из Шестерки. Если будет поднимать голову, так она так ей даст, что та снова станет Шестеркой.

А Девятка, переделанная из Шестерки, велела передать первой Девятке, чтобы она очень-то не зарывалась, а то она ее как двинет, так она распадется на три тройки. После этого они уже не трогали друг друга.

Однажды первая Девятка подумала: до каких же пор ей оставаться в одиночестве? Надо найти себе пару и объединиться. Приняв такое решение, Девятка отправилась к Семерке.

Вторая Девятка тоже подумала, что она одинока, надо найти себе пару, и она отправилась к Восьмерке.

Узнав об этом, первая Девятка снова задумалась. Хорошо, сказала она себе, если я стану рядом с Семеркой, у нас получится Девяносто Семь. А у той стервы получится Девяносто Восемь! И опять она будет впереди.

Подумав об этом, Девятка бросила Семерку и тоже пошла к Восьмерке. Одна Девятка схватила Восьмерку за одну голову и потянула к себе, а другая Девятка – за другую голову и тоже потянула к себе.

Тонкая талия Восьмерки разорвалась, и один кружок остался у первой Девятки, другой – у второй Девятки.

Первая Девятка подумала, что же ей делать с этим кружком? И придумала: она стала его надувать, как шар. Дула, дула, и кружок превратился в Ноль. И Девятка поставила Ноль рядом с собой.

Увидев это, вторая Девятка тоже стала надувать свой кружок, превратила его в Ноль и поставила рядом с собой. Только в темноте она спутала левую и правую сторону, и вместо того, чтобы поставить его после себя, она поставила его перед собой. Таким образом, первая Девятка, образовав Девяносто, почувствовала себя на седьмом небе, а вторая Девятка, превратившись в Ноль Девять, стала Справочным Бюро, которое помещалось в подвальном этаже.

И оттуда Ноль Девять крикнула на седьмое небо, чтобы Девяносто взяла ее к себе.

– Ведь ты тоже когда-то была простой Девяткой! – сказала она. Но Девяносто, с иронией посмотрев на Ноль Девять, сказала:

– Да, это правда, когда-то мы обе были Девятками. Но если сейчас тебя в таком виде увидят рядом со мной, то надо мной будут смеяться – потому что ни справа, ни слева я поставить тебя не могу,

Ноль Девять не ответила. А что она могла ответить?

Странные дела происходили на свете. Больше не оставалось никаких других чисел, кроме этих двух. Поэтому в школах перестали проходить арифметику. Преподавателей математики, назначив им пенсию девяносто рублей, отправили по домам.

На рынке все стоило девяносто рублей: хочешь, покупай девяносто коров, хочешь – девяносто коробок спичек.

Погода в некоторых районах была плюс девяносто, а в некоторых районах минус девяносто градусов.

Футбольные матчи длились девяносто минут и все заканчивались с одинаковым счетом: девять – ноль.

Писатели, как ни старались, не могли написать книгу больше чем на девяносто страниц. Все, кто звонил по телефону, набирали ноль девять.

Оттуда им отвечали:

– Вам девяносто раз говорили – набирайте любой номер, все равно попадете или 90-09, или 09-90.

Самолеты, автомобили, поезда – все двигались со скоростью девяносто километров в девяносто минут.

Мнения можно было менять только на девяносто градусов.

Рост у всех стал девяносто сантиметров, а вес девяносто килограммов.

Всем было девяносто лет.

Собрания начинались в 9-0 утра и кончались в 9-0 вечера. Все ложились спать в 9-0 вечера, вставали в 9-0 утра.

И я, если бы написал эту сказку в те времена, начал бы так: «В девяностый день года...»

Так прошло девяносто дней. Наконец людям это надоело.

– Что за чертовщина! – возмущались они.– Не можем сосчитать собственных пальцев!

Пришли к первой Девятке, которая теперь была Девяносто.

– Послушай, товарищ Девяносто, тебе там не скучно в одиночестве?

Оказывается, Девяносто только этого и ждала. Она сказала:

– Еще как скучно! Сижу здесь на этой верхотуре одна, а у этого Нуля одна только видимость. Не знаю, чего я взяла его к себе и стала Девяносто. Жила себе припеваючи, когда была Девяткой, была одна, с кем хотела крутила. И еще неизвестно, может быть, в один прекрасный день меня бы повысили, сделали бы Десяткой.

Люди сказали:

– Послушай, товарищ Девяносто, а может быть, – ты согласишься отделить от себя единицу? Что от тебя убудет?

Девяносто задумалась: ей показалось это предложение подходящим. Отделив от себя единицу, она отправила ее вниз.

– Спасибо, товарищ Девяносто... простите, товарищ Восемьдесят Девять.

Потом отняли от Восьмидесяти Девяти Тройку, Четверку, Пятерку, Шестерку, Семерку, Восьмерку – осталось Пятьдесят Четыре, и, разделив на шесть, получили Девятку.

Единица, Двойка, Тройка, Четверка, Пятерка, Шестерка, Семерка, Восьмерка и Девятка выстроились в ряд.

Люди, обращаясь к числам, сказали:

– Дорогие друзья, знайте, что у каждого числа есть свое место, не будь Единицы, не было бы ни Десятки, ни Сотни, ни Тысячи, ни Миллиона. Девятка, прельстившись Нулем, вознеслась очень высоко, но, оставшись в одиночестве, поняла, что без вас она ничего не может сделать. Поэтому займите каждый свое место. Занимайтесь своим делом. Будьте друг с другом вежливы. Встречайтесь почаще в приборах, на школьных досках, в книгах, в тетрадях, в проектах! Складывайтесь, вычитайтесь, умножайтесь и делитесь!

Единица, Двойка, Тройка, Четверка, Пятерка, Шестерка, Семерка, Восьмерка и Девятка, взявшись за руки, пошли к часам, что на углу у музея Низами. Там ждали их Десять, Одиннадцать и Двенадцать.

Плюс Минусов

## Рука руку моет, или Приглашение на бозбаш

Окончив свой рабочий день, солнце, как говорится, уже собиралось снять с города свое покрывало с золотистой бахромой, когда начинающий романист товарищ прозаик Жуль Иков, подняв телефонную трубку, позвонил молодому критику-любителю товарищу ученому Гарыну Кулиеву[[7]](#footnote-7).

Поговорили о том, о сем, о пятом, о десятом.

Короче говоря, товарищ Жуль Иков любезно и радушно пригласил товарища Гарына Кулиева к себе в гости на бозбаш. Гарын Кулиев, как молодой ученый и внештатный критик, немного поломался, но донесшийся из телефонной трубки запах бозбаша так ударил ему в нос, что он побоялся не пойти, нехорошо получится.

Если вас познакомить сначала с Жулем Иковым (друзья в шутку называли его Жуликов), а затем с товарищем Гарыном Кулиевым, то нужно сказать, что Жуль Иков был душевным парнем. Превосходно играл в нарды, где плов, там он тамада, и стиль-метод его, в общем, был хорошим, новым, современным; предложения такие короткие, отрывистые, однако глубокомысленные; слова все двусмысленные, абзацы большие, главы короткие, романы длинные. Если сказать, что Жуль Иков знал жизнь как свои пять пальцев, то это будет неверно. Почему? Потому что в этой мысли есть незавершенность. Зачем должно быть пять пальцев, в то время как у него было десять пальцев (это еще не считая десяти пальцев на ногах).

Но если Жуль Иков и знал жизнь как свои десять пальцев, однако содержание своих произведений он не высасывал из пальца. Даже несмотря на то, что свой новый роман он назвал: «Рука руку моет, и рука – лицо». Одним словом, Жуль Иков парень не промах.

Что же касается другого товарища, молодого ученого, учителя Гарына Кулиева, то это был юноша и аспирант с романтическим воображением. Гарын Кулиев хорошо исполнял траурные причитания, у него были три комнаты, жгуче-черные усы, желтая «Волга», золотые зубы и розовый галстук, и, кроме того, он был из тех парней, что едят и пьют немного.

Итак, будем придерживаться существа дела.

Надев габардиновое пальто, Гарын Кулиев прямо направился к учителю Жулю Икову, и Жуль Иков, увидев его, сказал: «Добро пожаловать», – и добавил: «Эши, всегда приходи».

Подруга, иначе говоря, законная жена Жуля Икова Ненем Нехре-ханым, выйдя из кухни и с достоинством приветствуя пришедшего гостя, то бишь молодого комплиментарщика Гарына Кулиева, сказала:

– Добро пожаловать.

Жуль Иков, лизнув Гарына Кулиева, как лижут соль-лед, и, спросив его о здоровье, о делах, обратился к жене:

– Эй, подруга жизни,– сказал он,– быстренько организуй нам обед, а то у нас в животе урчит от голода.

Произнеся эти слова, Жуль ощерился в улыбке.

– А-а,– сказал он и добавил: – Дорогой друг Гарын[[8]](#footnote-8), если я сказал, что у меня в животе урчит, не принимай это близко к сердцу, так, к слову пришлось. Я ни на что не намекаю. Эши, надо же было твоим покойным родителям дать тебе такое имя...

Гарын:

– Да – сказал он,– не говори.

В этот момент аромат бозбаша, вырвавшись из кухни, заполнил всю комнату, и Гарын Кулиев осторожно глотнул слюну.

В это время Жуль Иков сказал:

– Пожалуйста, садись за стол.

И Гарын Кулиев ответил, что было бы неплохо вымыть руки.

А Жуль Иков сказал, что вода у нас не идет, но я полью тебе на руки.

Они прошли на кухню. Жуль Иков полил воду, Гарын Кулиев вымыл руки, и как раз в это время Жуль Иков спросил, что думает молодой комплиментарщик о его романе «Рука руку моет, и рука – лицо». Гарын Кулиев кончил мыть руки и, вытирая их полотенцем, ответил, что, к сожалению, еще не имел удовольствия ознакомиться с романом «Рука руку мост, и рука – лицо».

Жуль Иков слегка закашлял, и двое коллег, собратья по перу, войдя в комнату, сели за стол.

Как раз в это время на столе появился бозбаш, ярко-зеленая зелень, ярко-красная редиска и зелье, будь оно неладно. Жуль Иков и Гарын Кулиев, засучив рукава, принялись за бозбаш, и как принялись! Немного насытившись, Жуль Иков, как говорится, вновь вернул русло разговора к тому деликатному делу.

– Мой роман ты не прочел,– сказал он,– что ж, на здоровье. Но дело в том, что... Как говорили до революции старые набожные мужчины, если это не секрет для бога, то какой же секрет для тебя. Сегодня вечером враги мои и всей нашей округи, как говорится, хотят положить нас на лопатки.

Именно в это мгновение Ненем Нехре-ханым, войдя в комнату, спросила:

– Брат Гарын, каков бозбаш, не сырой ли, огонь был небольшой, боюсь, чтобы он не был недоварен, не сырой ли?

Гарын Кулиев;

– Нет, нет,– сказал он,– не сырой.

Ненем Нехре-ханым вернулась на кухню, и Жуль Иков продолжал:

– Да, я говорил о том, что на сегодняшний вечер назначено обсуждение моего романа. Приглашены преподаватели вузов и студенты, сотрудники научного института, в общем, вся литературная общественность и все интересующиеся.

Как раз в этот момент Ненем Нехре-ханым, войдя в комнату, спросила:

– Брат Гарын, извините, а соль как, не мало ли, боюсь, что пресно.

Товарищ Гарын Кулиев:

– Нет, нет,– сказал он.– Соли достаточно, не пресно.

Ненем Нехре-ханым вернулась на кухню, и Жуль Иков продолжал:

– Я хорошо знаю это отродье. Если они хотят кого-то свалить, то сначала накручивают выступающих, я хорошо знаю это отродье.

Именно в это время Ненем Нехре-ханым, выйдя из кухни, спросила:

– Брат Гарын, извините, не много ли воды, боюсь, что много воды.

Гарын Кулиев:

– Нет, нет,– сказал он,– все в порядке. Ненем Нехре-ханым вернулась на кухню, и Жуль Иков продолжал:

– Ты видишь, воспользовавшись тем, что я сейчас совсем один, – сын моей тети Зло Вреднов уехал на курорт, мой земляк Марателев уехал в село на свадьбу, а сосед мой Графоманский болен,– мои недоброжелатели нападают на меня.

Как раз в этот момент Ненем Нехре-ханым, выйдя из кухни, спросила, а как перец, сладкий ли.

Гарын Кулиев:

– Да, хорош,– сказал он,– сладкий.

Ненем Нехре-ханым:

– Брат Гарын, попробуйте мясо, – сказала она, – как следует прожуйте, посмотрите, какое оно мягкое. Прекрасно переваривается.

Гарын Кулиев:

– Да,– сказал он,– хорошо переваривается.

Ненем Нехре-ханым вновь вернулась на кухню, и Жуль Иков продолжал:

– Значит, пью за твое здоровье, Гарын, ты мне ближе брата, спасибо, живи сто лет, и мы проживем благодаря твоей поддержке.

– Спасибо.

Выпили.

– Пфф!

Говоря «Будь ты неладна», Жуль Иков сморщился:

– Ты должен простить мне мою вину. В смысле коньяка я перед тобой в долгу. Недорогой – три звездочки. На следующей неделе за мной вместо трех звездочек – пять звездочек.

...Вечером, придя на обсуждение, Гарын Кулиев записался в число выступающих. До него выступили двое-трое. Все они очень плохо отозвались о романе. Не оставили в произведении камня на камне. Сказали, что в романе «Рука руку моет, и рука – лицо» не чувствуется рука писателя и что роман очень плох во всех отношениях.

Жуль Иков, наклонившись к уху Гарына Кулиева, прошеп-тал:

– Я погиб, ты должен поднять мой труп с земли. Говори захватывающе. Образным языком.

Гарын Кулиев только сейчас вспомнил, что, помимо того, что он не читал произведения, в спешке он забыл спросить имя главного героя. И даже не знает, герой ли это или героиня,

Но, как говорится, взявшись за гуж, не говори, что не дюж.

У Гарына Кулиева все внутри пылало, язык и горло пересохли; налив из графина воды, он отпил немного и начал речь:

– Уважаемые собратья по перу и любители литературы. Я не могу согласиться с мнением товарищей, выступивших до меня. Почему? Потому что, если произведение хорошее, зачем же его чернить, критиковать?

Главное и основное достоинство романа товарища молодого автора Жуля Икова «Рука руку моет, и рука – лицо» в том, что это... не сырое произведение. Готовое произведение. Да, да, не сырое, а готовое. В этом произведении мы видим сильный огонь.

Сильный огонь, да, да, огонь сердца автора – молодого прозаика. Здесь мы не встречаем ничего пресного. В произведении много соли, да, да, оно не пресное, соленое. Язык сладкий, да, да, сладкий. Воды здесь немного, нет, нет, наоборот, мало воды, не то что в некоторых других произведениях других товарищей. Изображение природы мягкое. Образы кроваво-сочные, да, да, кроваво-сочные, Жуль Иков не пользуется набившими оскомину, да, да, набившими оскомину приемами. В целом произведение свежее, ароматное, доставляет удовольствие, наслаждение, хорошо переваривается. Вы скажете, а что же, ошибок совсем нет? Есть, конечно, есть. Вообще-то, это мое личное мнение, автор может согласиться и может не согласиться с этим. Но мне кажется, что, если бы товарищ молодой прозаик Жуль Иков ставил между главами не три звездочки, а пять звездочек, это было бы целесообразнее и лучше.

...С обсуждения Жуль Иков и Гарын Кулиев возвращались вместе. На город опустилась ночь. Луна, временно исполняющая обязанности солнца, лениво освещала землю. Жуль Иков тихо напевал.

Вдруг, стукнув себя по лбу, Гарын Кулиев остановился:

– Вай, – сказал он, – совсем забыл. Не сказал. Немного жирный был.

– Что?

Жалкий Бездельник,

Ловкач Потешников

## Интересное исследование

Молодой ученый Болтол Огиев уже несколько лет ведет серьезное научное исследование на тему «Об одном неизвестном поэте». На днях он закончил свою диссертацию. Ниже мы приводим отрывок из этой интересной работы.

«Прежде чем перейти к основному содержанию нашего исследования, я хочу выразить свою искреннюю и глубокую благодарность нашим уважаемым и известным ученым А, Б, В, Г, Д (и так далее, всего тридцать шесть букв.– Ред.) за их ценные советы, дружеское отношение, глубокий ум, доброе сердце, мягкий характер, вежливое обхождение, добрые намерения и острое перо.

Я приношу также свою глубокую признательность товарищам, которые принимали участие в написании этой работы: нашедшему тему Талату Талатову, изучившему источники Мидхаду Мидхадову, собравшему цитаты Ахаду Ахадову, уточнившему их Асаду Асадову, прочитавшему древние рукописи Кудрату Кудратову, переведшему их Хидаяту Хидаятову, разъяснившему слова, имена и термины Фикрету Фикретову, систематизировавшему полученные таким образом данные Ахмеду Ахмедову, обобщившему их Мамеду Мамедову, заключившему весь материал Немату Нематову, написавшей диссертацию карандашом Шевкет Шевкетовой, написавшей диссертацию чернилами Иззет Иззетовой, перепечатавшей ее на машинке Исмет Исметовой и, наконец, переплетавшему ее Карапету Карапетову.

Мой научный труд посвящен неизвестному поэту, жившему в неизвестном веке в одном неизвестном городе. По некоторым предположениям, имя этого поэта было Чинар. Условно мы именуем его Чинар Гирдимано-Бейлаканский, потому что не может быть никакого сомнения, что, если он родился в Гирдимане, он с полным основанием мог носить прозвище Гирдиманский, а если он родился в Бейлакане, – Бейлаканский. К великому сожалению, в результате долголетних поисков мы не нашли никаких сведений, проливающих свет на личность и биографию Чинара Гирдимано-Бейлаканского. Тем не менее мы можем смело утверждать, что это был гордый, передовой, образованный, выдающийся художник своего времени, обладавший энциклопедическими знаниями и всегда стоявший на страже интересов порабощенного народа. К сожалению, мы не имеем никаких данных, подтверждающих принадлежность имеющихся у нас в руках стихов именно Чинару Гирдимано-Бейлаканскому. Однако не может быть никакого сомнения, что Чинар Гирди-мано-Бейлаканский как великий гуманист и художник-реалист занимает незыблемое, почетное и особенное место среди бессмертных звезд поэзии. Некоторые ученые доказывают, что изречение: «Жду привета, как соловей лета» – впервые было сказано именно Чинаром Гирдимано-Бейлаканским. А некоторые исследователи, идя еще дальше, приписывают ему также изречение: «Соловей, соловей-пташечка». Мы же, сделав еще более смелый шаг в этом направлении, смеем утверждать, что еще одно изречение, автор которого до сих пор остается неизвестным, также принадлежит Чинару Гирдимано-Бейлаканскому. Вот это изречение: «Роза вянет от мороза».

По нашему мнению, это изречение тоже впервые было высказано Чинаром Гирдимано-Бейлаканским. На чем мы основываемся, выдвигая такое предположение? а) Автор этого изречения неизвестен. Неизвестно также, является ли его автором Чинар Гирдимано-Бейлаканский. Следовательно, мы можем с полным основанием утверждать, что у нас нет никакого основания полагать, что это изречение не создано Чинаром Гирдимано-Бейлаканским. И, таким образом, ни у кого не может быть возражений против того, чтобы это изречение приписать Чинару Гирдимано-Бейлаканскому. б) В произведениях Чинара Гирдимано-Бейлаканского мы неоднократно встречаем слова «роза», «соловей», «пташечка», «привет», «лето» – следовательно, эти слова и образы для него характерны, в) Гениальная простота, глубокая мудрость, сила наблюдения и обобщения свидетельствуют о том, что мы имеем дело со зрелым, сложившимся оригинальным художником, обладающим широким видением мира. Нам неизвестно, сколько прожил Чинар Гирдимано-Бейлаканский. Поэтому можно предположить, что у него была долгая, полная богатых переживаний и событий жизнь, и если в преклонном возрасте художник, познавший жизнь, изрекает глубокие мысли, то в этом нет ничего удивительного.

Ниже мы приводим, газель из его еще не найденного Дивана:

Как не жаловаться мне, как не плакать – яр ушла,

Излеченье ран моих, губ моих нектар – ушла,

Стан у милой – кипарис, а глаза – ворота в рай,

Райских радостей лишив, как от чая пар,– ушла.

Мое сердце обманув обещанием своим,

Эту муку навсегда мне оставив в дар, ушла.

За фиалковый твой рот жизнь свою готов отдать.

Что я сделал, чтоб в груди был такой пожар? Ушла.

Посмеялась надо мной, оборвала счастья нить,

Душу мне заколдовав темной властью чар, ушла.

Луноликая твоя, та, чьи зубы – перламутр.

Взяв с собою навсегда твой покой, Чинар, ушла.

Примечание: К сожалению, пока еще у нас в руках нет фактов, подтверждающих принадлежность газели Чинару Гирдимано-Бейлаканскому, подтверждающих, что эта газель взята из его Дивана и вообще факт существования самого Дивана. По некоторым гипотезам, Чинар Гирдимано-Беилаканский писал и в жанре «кошма». Нижеприводимая кошма вполне могла принадлежать ему.

ГОШМА

Роза рядом с тобой побледнеет пусть.

На щеках твоих мак заалеет пусть,

Пусть блестит белый лоб в жгучей тьме кудрей,

Губ душистый рубин пламенеет пусть.

Нас гора Муров ждет, погоняй коней!

Наша юность летит – угонись за ней!

В этот свадебный день нежной яр моей

Бархат, шелк и атлас взоры греют пусть.

Пусть грозят нам враги острием стрелы,

Не боялись вовек воронья орлы,

Когда яр входит в дом, накрывай столы –

Перед ней сыр и мед посвежеют пусть!

Я б у смерти не стал клянчить день-другой,

Я б с хорошим хорош, а с плохим – плохой,

Где Чинара прочли, теша слух кошмой,

Там поэтов язык онемеет пусть.

Примечание: Как видно, поэт, питаемый народным творчеством, обогатил кошму новыми красками, метафорами и рифмами. Он нанизал на ожерелье нашей поэзии новые яркие жемчужины. Он подарил нашему поэтическому розарию благоухающие цветы.

Одно из стихотворений Чинара Гирдимано-Бейлаканского, которым мы еще не располагаем является стихотворением под названием «Буква С». Эти стихи написаны свободным размером, этот факт еще раз доказывает, что люди, утверждающие, что свободный стих – это новаторство в нашей поэзии, ошибаются. Эта форма существовала в нашей литературе еще с древних времен. Гирдимано-Бейлаканский, написав стихи свободным размером еще несколько сот, а может быть, и несколько тысяч лет тому назад, предвидел достижения не только нашей современной литературы, но и современной техники. Чтобы доказать это положение, достаточно обратить ваше внимание на слово «телефон», имеющееся в стихотворении.

В самом ухе

ссвистит телефонная трубка

голоссс

вьется оссою.

ссрываясь

от ссслез.

ухо ждет,

уху больно,

но сслушает чутко;

это голосса

сссоло,

поссследнее

SOS

Голосс

ссснова и ссснова...

Не ссслышно

ни ссслова...

Голоссс,

ссстой!

У сссоседей

сссипит

пылесоссс!..

Примечание: Как видно, Чинар Гирдимано-Бейлаканский был художником, обладающим богатым разносторонним талантом. По мнению некоторых ученых, вообще не существовало такого человека. На сегодняшний день мы не говорим ни да ни нет. Потому что это не является предметом нашей кандидатской диссертации. После защиты кандидатской диссертации автор намерен продолжить свои исследования, написать докторскую диссертацию и всесторонне осветить вопрос, существовал или не существовал Чинар Гирдимано-Бейлаканский.

Заключение:

Автор выражает свою глубокую признательность газелисту Джумшуду Джумшудову, принимавшему непосредственное участие в написании газелей Чинара Гирдимано-Бейлаканского, ашугу Мюршиду Мюршидову, сочинившему кошму, и киберне-тической машине «СС-77», создавшей стихотворение «Буква С»

## Ореховая скорлупа

В женской парикмахерской многолюдно и тесно – не то что яблоку, волосу негде упасть. Работа кипит: красят, стригут, завивают, моют голову. С кресел, стоящих рядом, одновременно поднимаются две молодые женщины. Они созерцают в зеркале свои пахнущие лаком прически и не замечают друг друга. Надевая пальто, одна из них случайно задевает локтем другую и поспешно извиняется.

– Ничего, пустяки,– отвечает та, продолжая старательно прилаживать на голове шляпку.

Услышав голос «потерпевшей», женщина, надевающая пальто, быстро оборачивается и радостно восклицает:

– Валида. Ты ли это?

– О-о, Халида. Это ты? – раздается в ответ.

– Как ты изменилась, похорошела. Тебя не узнать,– сказала Халида.

– А ты осталась все той же, Халида.

– О чем ты говоришь, дорогая. Шутка ли, три года прошло.

Подруги выпорхнули из парикмахерской и, оживленно беседуя, пошли по улице.

– Нет, подруги так не поступают. Не искала меня, не интересовалась, а ведь мы целых пять лет сидели рядом в университете,– мягко упрекает Валида.

– Но ведь меня здесь не было, я два года провела с мужем за границей.

– А кто твой муж?

– Муж врач. У нас мальчик и девочка. А ты как?

– Мой муж инженер. У нас дочка. И с одним ребенком еле справляемся.

– И не говори. Хорошо, что у меня такая работа, ну, как тебе сказать... Наш директор очень славный человек. Говорит: совсем не обязательно быть весь день пригвожденной к своему месту...

– Слава богу, в этом отношении и у нас неплохо. На службу мы, конечно, тоже ходим, но больше...

– Понимаю, понимаю,– перебивает Халида и, наклонившись, с заговорщической улыбкой показывает на свою прическу, – это называется, я была на объекте.

– А я в библиотеке, – в тон ей отвечает Валида, и обе закатываются хохотом.

– Твоя работа близко от дома?

– В двух шагах. А твоя?

– Одна остановка на метро. Муж хорошо зарабатывает?

– Не жалуюсь.

– А сколько у вас комнат?

– Три. А у вас?

– И у нас три. А машина?

– «Жигули».

– А у нас «Москвич». Муж говорит, на что нам твоя зарплата, бросай работу, сиди дома. Нет, отвечаю я, ни за что.

– Твой муж такой же, как и мой.

– Да что говорить, Валида, ведь служба – это одно удовольствие. Что хорошего дома? Торчи на кухне, вари бозбаш, никуда не выйди.

– Да к тому же, как застрянешь дома, так уж ни в парикмахерскую, ни по магазинам не пойдешь,– подхватывает Валида. – Не станешь же говорить дома, что тебе нужно пойти на объект или в библиотеку. Нет, работа – это прелесть.

– А коллектив у вас хороший?

– Даже не знаю. Я ведь там недавно, всего каких-нибудь год-полтора. Знаю только директора и кассиршу в очках... Как же их звать... Забыла... Все равно, они очень хорошие люди.

– Наша кассирша тоже очень приятная женщина. Обходительная, вежливая. Ну, а других сотрудников я и не знаю. Я ведь тоже всего с год там работаю. Знаю только, что сидящий напротив меня сотрудник очень аккуратный человек. Стол у него чистенький всегда.

– Молодой?

– Этого-то я как раз и не знаю. Я его не видела ни разу. Директор разрешил ему приходить во второй половине дня. Ну, а я прихожу с утра, а с середины дня иду на объект, теперь ты знаешь какой. Все собираюсь задержаться, посмотреть, кто это сидит со мной в одной комнате.

– Ты счастливая. А вот у меня сосед неряха какой-то. Я его тоже никогда не видела. Он бывает в первой половине дня, а я во второй. Я тоже собираюсь прийти как-нибудь пораньше, сказать ему, что же ты такой бессовестный, грызешь без конца орехи, а за собой не убираешь. Хоть бы раз сам убрал. Почему я должна за него это делать?

Внезапно Халида останавливается и, запинаясь, спрашивает:

– Что? Как ты сказала? Орехи?

– Да, да, орехи,– не замечая волнения подруги, продолжает Валида. – Каждый раз прихожу, вижу, в комнате пусто, а на столе полно ореховой скорлупы. Не знаю, мужчина это или женщина. Скорей всего мужчина. Не может быть женщина такой неряхой.

– Валида, ты в каком учреждении работаешь? – сдавленным голосом спрашивает Халида.

– Вот в этом,– показывает Валида на шестнадцатиэтажное здание.

– Не сорок седьмая комната?

– А ты откуда знаешь? – удивляется Валида и, внимательно посмотрев на Халиду, спрашивает:

– Что с тобой? Ты как-то странно смотришь?

– Ради бога, извини меня, Валида,– произносит Халида дрожащим голосом,– честное слово, если бы я знала, что это ты, я бы обязательно убирала скорлупу.– Она сует руку в карман, вытаскивает горсть орешков и протягивает их Валиде...

Некоторое время подруги молча смотрят друг на друга, потом разражаются смехом.

Отдышавшись, Валида смотрит на часы:

– Ой, до конца работы остался час. Побегу, надо хоть показаться. Ты идешь?

– Нет, я утром отметилась в табеле.

## Наш голова

(*В связи с 76-летнем со дня рождения н 69-летием творческой деятельности заслуженного парикмахера Давуда)*

Правда, природа создала заслуженного парикмахера Давуда, семидесятишестилетие со дня рождения и шестидесятидевятилетие творческой деятельности которого мы сегодня отмечаем, плешивым и безбородым, но он своим честным трудом и преданностью делу завоевал имя седовласого аксакала[[9]](#footnote-9).

Парикмахер Давуд (все его любя так называют) правильно говорит: «Человек должен завоевать уважение собственной рукой. Ибо каждый чешет собственную лысину. Если бы каждый дал безбородому один волос, он был бы с бородой». Но Давуд (все его любя так называют), кроме того, говорит, что борода сама по себе еще ни о чем не говорит. Если судить по бороде, то козел уже давно был бы муллой. Под волосом должна быть голова, а под бородой зуб, иначе съедят твою голову. Именно поэтому Давуд-джан (все его любя так называют) всегда весел и бодр.

И действительно, кто может подумать, что сегодня исполняется 69 лет творческой деятельности и 76 лет со дня рождения заслуженного парикмахера Давуда, которому мы вот уже 69 лет доверяем свои головы. Да, это так. Уже 69 лет, как мы передали их в полное распоряжение дяде Давуду (все его любя так называют), и поэтому вот уже 69 лет, как он наш голова. По правде говоря, дядя Давуд и ремеслу-то своему научился на наших головах. Даже тогда, когда нам некогда было голову почесать, мы ходили к дяде Давуду, чтобы он поправил нам голову. И Давуд-киши (все его любя так называют), как бы ни была занята его голова, всегда находил время поправить нам голову. Долго он занимался нашими головами и наконец направил их по верному пути. И всегда с шуткой, всегда с добрым словом, с хорошим обхождением. Да, вот какой он, наш дорогой Давуд (все его любя так называют)!

А собственная голова нашего дорогого Давуда тоже много повидала. Было время, когда заведующим парикмахерской был Лысый Гасан. А у Лысого Гасана против нашего уважаемого Давуда (все его любя так называют) был зуб.

– В одной парикмахерской двум лысым не бывать! – сказал Лысый Гасан Давуду. – Или ты сделаешь так, чтобы у меня росли волосы, или смотаешься отсюда.

Сколько ни убеждал его Давуд, что если бы лысый знал средство от облысения, то сам бы себе помог, – все было напрасно. Пришлось Давуду подать заявление и уйти с работы по собственному желанию.

Но времена изменились, и в один прекрасный день Лысого Гасана уволили и на его место назначили Гасана Лысого.

И дядя Давуд, пробормотав про себя «Такова жизнь», вернулся на свое место.

Парикмахер Давуд теперь у них, у парикмахеров, за главного советчика. Каждый раз, когда заходит о нем речь, молодые парикмахеры говорят:

– О-о-о, Давуд!

Как искренни, значительны, мудры и справедливы эти слова!

И в самом деле, милый Давуд (все его любя так называют) передает свой богатый опыт молодежи. Давуд не из тех парикмахеров, у которых голова держится на плечах кое-как, его голова мыслит даже в таких делах, в которых ничего не смыслит.

Тут мне приходит на ум прошлогодний спор на совещании, посвященном проблеме «Борода и усы». Некоторые ораторы утверждали, что усы – это признак отсталости. Мол, смешно в век атома и ракет отпускать усы. Мол, можем ли мы завтра отправиться на Луну или на Марс с усами? Другие же возражали, что носить усы – это национальный обычай и что мы не можем отказаться от национальных традиций. Известно, что еще Кёроглу семь раз обкручивал свой ус вокруг своего уха, а Гачак Наби, когда хотел отомстить своим врагам, сбривал им усы. Значит, и сегодня сбривать усы – это означает попасть под влияние чужой моды. Конечно, все развивается, жизнь меняется, сегодня, например, отпустить бороду – это действительно было бы старомодно, но ничего нельзя возразить против усов. И не настаивайте.

Спор разгорелся не на шутку, и, если бы не вмешательство парикмахера Давуда, неизвестно, чем бы все это кончилось. – Мирза Давуд (все его любя так называют) напомнил участникам спора мудрую народную поговорку: вверх плюнешь – усы, вниз плюнешь – борода. Потом он основательными доводами доказал необходимость бороды, ибо не зря говорится, что, если у тебя нет бороды, не рассчитывай на авторитет. Так дедушка Давуд (все его любя так называют) в критический момент занял ясную и принципиальную позицию.

Вот такой человек наш Додик (все его любя так называют). Давайте же в этот торжественный юбилейный день пожелаем уважаемому маэстро Давуду долгой жизни, здоровья и ясной головы.

## Овцы мои

Вчера с пухлой папкой под мышкой я шел по улице. И встретил одного своего приятеля. Мы обнялись, расцеловались, спросили друг друга, как идут дела.

Приятель мой спросил:

– Далеко ли собрался? И что это за папка? Я ответил, что иду в издательство, несу свои новые рассказы.

Приятель мой глубоко вздохнул и сказал:

– Ваш хлеб тоже не из легких. В вашей области такие овцы, что выжить среди них не так просто.

– Как? – спросил я.

– А вот так,– ответил он.

– А откуда это тебе известно?

– Известно. На своей шкуре испытал.

Я понял, что мой приятель что-то недоговаривает, увел его в тихий угол городского сада, купил ему две порции мороженого и бутылку лимонада и сказал:

– Ешь, пей и выкладывай.

– Однажды,– начал выкладывать мой приятель,– и мне, несчастному, захотелось написать рассказ. Вижу, все пишут: управдом пишет, автоинспектор пишет, завмаг пишет, и я подумал, а чем я хуже? Взял и написал рассказ. Содержание было такое: парень любит девушку, и как назло эту девушку любит и другой парень. А девушка не знает, кому отдать предпочтение. Первого парня я назвал Хаял, второго – Мелал, а девушку – Маджара. Ты знаешь, у меня слабость к таким поэтическим именам. В общем, короче говоря, не буду долго тебя мучить, я коснулся многих тем, поднял много вопросов, охватил много проблем и, как полагается, дал подробное описание природы. Но это все я не пересказываю тебе. А рассказ заканчивался так, что однажды Маджара, наконец сжалившись над парнем, говорит, чтобы он позвонил ей ровно в восемь часов вечера. Ровно в восемь часов Хаял входит в телефонную будку, но как назло автомат не работает. Хаял находит вторую будку, но автомат этот тоже не работает. Так он заходил в несколько будок, но все напрасно. Автоматы не работали. Таким образом, он упускает время, и Маджара, отвернувшись от такого ненадежного человека, отдает свою руку другому, то есть Мелалу. Рассказ кончался у меня красиво: «Маджара и Мелал сидели в аллее Приморского парка под плакучей ивой. Маджара опустила ресницы и не произносила ни слова. Мелал тоже молчал. Он был переполнен. Он исподтишка смотрел на ее длинные кудри, на ее нежные губы, на ее щеки, порозовевшие, как тюльпаны, и чувствовал себя счастливым. В это время Хаял стоял на прибрежных камнях, как изваянье, смотрел на беснующиеся волны и на крыльях романтических грез уносился в мир сладостно-горьких воспоминаний о своей несбыточной любви. Ах, забуду ли зеленые глаза Маджары!»

Короче говоря, написал я этот рассказ, взял промокательную бумагу, приложил к рукописи, потом думаю, дай прочту его моей половине – как-никак первая проба пера.

Прочел я ей рассказ, она выслушала его молча, ни слова не сказала. Как я дошел до последней фразы, как она вскочит, как крикнет: «Я узнала!» – и вылетела из комнаты.

У меня прямо сердце упало, что, думаю, с ней случилось? Побежал за ней.

– Милая, кого ты узнала?

– Тебя узнала!

И вижу: она собирает вещи.

– Меня? – спрашиваю.

– Ты думаешь, у меня нет родни? – а сама укладывает уже платья в чемодан.– Или ты думаешь, меня в капусте нашли? – Говорит, а сама, вижу, заворачивает новые лакированные лодочки. – Ты думаешь, я в руки тебе смотрю? Если уйду из твоей поганой каморки, так мне и голову негде преклонить? Думаешь, с голоду без тебя умру? Где моя расческа?

– Миленькая, объясни мне, пожалуйста, что случилось? Что ты надумала? Куда ты собираешься?

– Ты думаешь, я уж такая дурочка, ничего не понимаю? Где моя расческа?

– Но объясни мне, пожалуйста, что ты поняла?

– Точно сам не знаешь! Еще скажешь, что у тебя нареченной не было? Где моя расческа? Ты что, думаешь, меня в капусте нашли?

– Миленькая моя! Какая капуста? Какая расческа? Черт... вот твоя расческа... Объясни мне, что происходит? Я ничего не понимаю!

– Так... Ты еще надо мной издеваешься! Может, ты и меня не знаешь? Кто, по-твоему, эта Маджара или как ее там звали, эту дрянь?

– Маджара? Как кто? Образ...– Я стал заикаться.– Художественный образ... персонаж... так сказать, продукт художественного мышления.

– Вот что, ты мне брось зубы заговаривать: Продукт мышления! Продукты, фрукты. Знаю, что ты за фрукт! Иди расскажи это своей бабушке! Со мной этот номер не пройдет! А дочь Теюба кто такая? Тоже не помнишь?

– Дочь Теюба?..

– Ну да! Двоюродная твоя сестра Хурниса! Точно я не знаю, что вас с ней нарекли, когда вы только родились! Потом она удрала с другим, а ты женился на мне.

– Но какое это имеет отношение к нам?

– Ах, значит, не имеет? Хорошо. Скажи мне, какого цвета глаза у Хурнисы?

– Откуда я знаю?

– Ах, ты не знаешь! Давай мою расческу! Закрой чемодан. Я ни минуты больше не останусь в этой берлоге!

– Миленькая, успокойся... Но ведь глаза у Хурнисы...

– Да, зеленые! Как у этой твоей шлюхи, про которую ты написал! Значит, говоришь, трудно забыть ее глаза? Ну что ж, не можешь забыть, не надо! Черт с тобой. Но я здесь больше не останусь. Ни минуты.

Я стал ее уверять, что вот честное слово, клянусь матерью, не помню я никакой Хурнисы, – и тогда я взял и заменил цвет глаз Маджары: из зеленых сделал желтыми – как свет светофора, зачеркнул последнее предложение, потом пошел, купил жене красивую дубленку, и так через три дня с трудом помирились.

Принес я свой рассказ машинистке Секине. Попросил перепечатать. Секина сказала:

– Нет, нет, нет, у меня нет времени. Откуда у меня время? Не могу. О войне? Если о войне, не буду, ни за что. Мне для здоровья вредно. Врачи сказали, что мне нельзя нервничать. И так у меня давление высокое.

– Нет, Секина-ханым, не о войне, честное слово, нет.

– Смешной?

– Нет, не смешной...

– Тогда не могу. О чем?

– О любви.

– О любви? Давай сюда. Напечатаю.

Секина стала печатать и, печатая, делала свои замечания:

– Молодец. Это место ты хорошо написал. Мне нравится.

Я от радости чуть не прыгал. Мы уже дошли до середины рассказа, как вдруг Секина остановилась.

– Я тебя очень прошу,– сказала она,– скажи, просто терпенья нет, хочу узнать – за кого она выйдет замуж? За этого или за другого?

– За другого, – сказал я.

– Как? – посмотрела она на меня грозно.– Ни за что! Ты должен сделать так, чтобы она вышла за этого! Этот симпатичный. А тот какой-то мямля.

– Но как же, – попытался я возразить,– по художественной логике...

– Ах, вот что? Когда тебе надо, ты передо мной так и стелешься, а сейчас тебя просишь такой пустяк, а ты не хочешь! Логика! Ты думаешь, я уж совсем такая серая, культуры у меня не хватает? Думаешь, я и книг не читаю? И в кино не хожу? Логика! Так вот, если хочешь знать, я читала столько книг, сколько волос на твоей голове! Вот что, если она за него не выйдет, не буду печатать.

– Но Секина-ханым…

– Короче. Будь я на месте этой девочки, я бы вышла только за этого!

– Но Секина-ханым... Вы не на месте этой девушки... Я же изобразил не вас.

– Знаешь что,– побелела она, – иди изображай свою жену! Не на ту нарвался! Забирай эту свою писанину и катись отсюда!

Короче говоря, три недели искал я машинистку. Одной не нравилось содержание, другой – тема, одна сделала замечание, что не нравится язык, другая покритиковала развитие характеров... Одна сказала; очень длинный, времени нет. Другая сказала: очень короткий, ничего не заработаешь.

Наконец нашел одну тихую, и она мне все перепечатала.

Взял под мышку папку, пошел в издательство. Сначала, прочел младший редактор, сказал, хороший рассказ, но кое-что надо вычеркнуть. Потом прочел средний редактор, сказал, хороший рассказ, только надо восстановить то, что вычеркнули. Потом прочел главный редактор, сказал, рассказ хороший, только суховато. Убавь общественные мотивы, прибавь личные. Потом прочел самый главный редактор, сказал, рассказ хороший, только надо все переделать. Убавь личные мотивы, прибавь общественные. Потом рассказ дошел до самого-самого главного редактора. Самый-самый главный прочел и созвал всех нас к себе.

– Я прочел ваш рассказ,– сказал он, обращаясь ко мне, – мне понравилось. Вы коснулись очень важных общественных проблем. Это правда, к сожалению, все еще некоторые отдельные недостатки, временные наши недочеты иногда встречаются. Действительно, бывает иногда, в редких случаях, некоторые телефоны-автоматы у нас плохо работают. Но... здесь один важный промах. Какой момент?

Редакторы переглянулись. Младший редактор поднял руку.

– Товарищ самый-самый главный, можно я скажу?

– Говори.

– Жизненная правда.

– Правильно,– сказал самый-самый главный.– Именно. Жизненная правда. Дорогой автор, допустим, мы возьмем и напечатаем этот ваш рассказ, вот так, как есть. А Новая Зеландия?

– Что? – мне показалось, что я ослышался.

– Я говорю: Новая Зеландия?.. Ведь вам известно, что наш журнал читают в Новой Зеландии, Финляндии, Исландии, Гренландии? Допустим, в Новой Зеландии какой-то читатель прочел ваш рассказ. Читает и видит, что ваш герой входит в телефонную будку, телефон не работает. Ну и что? Бояться показывать свои недостатки мы... что?

Средний редактор поднял руку и сказал:

– Не должны.

– Правильно. Не должны. Но вот герой входит во вторую будку, и там тоже телефон не работает. И в третьей будке не работает! И как это тогда называется?

– Обобщение! – подсказал кто-то.

– Правильно, обобщение. Получается, что ты сгущаешь краски. Не видишь светлых сторон жизни. Отдельные временные случайные редкие мелкие недостатки ты – что?

– Подчеркивает,– сказал младший редактор.

– Преувеличивает! – сказал средний редактор.

– Утрирует! – сказал главный редактор.

– Раздувает! – сказал самый главный редактор.

– Не угадали, – сказал самый-самый главный редактор. – Этим самым автор, – здесь он сделал краткую паузу, – создает ложное представление у читателей Новой Зеландии.

– Вы совершенно правы, товарищ самый-самый главный редактор, – сказал я. – По правде говоря, когда я писал этот рассказ, я не подумал о Новой Зеландии.

– И напрасно, – сказал самый-самый главный. – Как это вы не подумали? Вы человек молодой, образованный. Когда пишешь, надо иметь перед глазами карту, прикинуть, что скажут о том, что ты пишешь, на острове Тринидад и Тобаго? Как посмотрят на полуострове Тао-Као? Какие сделают выводы на склоне горы Клунтур-Плунтур?

– Учту, – сказал я.

– Вот и хорошо, – сказал самый-самый главный. – Знаете, что я вам посоветовал бы? Почему ваш герой Хаял должен остаться в одиночестве? Вы давайте поставьте проблему по-другому. Пусть все трое будут счастливы. Хаял, Маял... Простите, Мелал и Маджара. Все трое, рука об руку, идут по зеленой широкой и новой аллее. Садятся в тени плакучей ивы – это место у вас мне нравится. Проблему плакучей ивы вы хорошо поставили... Да, так, значит, садятся они под ивой, все трое...

– Как? – сказал я.– Трое? Но ведь любовь...

– На что вам сдалась эта любовь? И без вас о любви много пишут. А вы пишите о дружбе, три друга, три товарища в тени ивы...

Самый-самый главный редактор на этом месте сделал паузу. Средний редактор, воспользовавшись моментом, промычал:

– Мм… мм...

Самый-самый главный сказал:

– Вы что-то хотите сказать?

– Я говорю, товарищ самый-самый главный, мм... мм… как вы на это смотрите…

– На что?

– Мм... на тень... на то, что сидят они в тени...

– А что в этом такого?

– Мм... мм... ничего такого... но все-таки... я говорю... мм... может быть... как бы не было разговоров... мм... скажут: тень... теневые стороны... почему тень? Что-то здесь не то....

Самый-самый главный редактор задумался, потом сказал:

– Вы говорите, это могут не так понять?

– Да ведь кто его знает?.. мм... во всяком случае... тень... теневая сторона... в общем, чтобы не было лишних разговоров... как бы это выразиться... бояться своей тени... тень...

Самый-самый главный редактор сказал:

– Хорошо.

И обратился ко мне:

– Вы лучше измените это место. Не в тени ивы... лучше так: ива… ива... вот: при свете ивы! – Он даже хлопнул от радости в ладоши. – Очень хорошо! Чудесно! Конец сделайте такой... – Тут глаза его приняли задумчивое выражение, и бархатным голосом он произнес с большим чувством: – Лунный свет. Плакучая ива купает свои косы в зеркале родника. Три друга сидят при свете ивы, предаваясь романтическим мечтаньям. Ива! Точки... и эти трое... Точки... Ну как?

Младший редактор сказал:

– Отлично! Более чем отлично!

Средний редактор сказал:

– Я еще в 1913 году говорил, товарищ самый-самый главный редактор, что вы гений.

Главный редактор достал платок и вытер слезы.

– Слова здесь лишние... Что здесь можно добавить? – И он заплакал.

Самый главный редактор сказал:

– Одного я не могу понять, обладая таким редким даром, давал людям такие прекрасные советы, почему вы сами не пишете?

Самый-самый главный редактор положил кулак на стол и сказал:

– Игла.

– А-а... – сказали редакторы и сделали вид, что вес поняли. Но по тому, как они удивленно посмотрели друг на друга, я догадался, что поняли они не больше меня.

Нарушив молчание, я спросил:

– Что, получается слишком остро?

Самый-самый главный покачал головой и укоризненно сказал:

– Не догадались! Знаете поговорку: игла всех одевает, а сама голая ходит.

Младший редактор сказал:

– Товарищ самый-самый главный редактор, как вы хорошо знаете наше богатое народное творчество!

Короче говоря, не буду морочить тебе голову, хлебнул я горюшка, а кончилось тем, что рассказ мой не напечатали. С того дня я это дело бросил.

Выслушав рассказ моего приятеля, я сказал:

– Друг мой, к счастью, такие жены, такие машинистки, такие редакторы единичны, временны, случайны. Большинство наших людей честные, чистые, правдивые, культурные, чуткие, умные, смелые, воспитанные. Сейчас я иду в издательство. Я уверен, что встречусь с умным, чутким и смелым редактором. Я знаю, что самый-самый главный редактор правой рукой (а если он левша, то левой – и это не беда!) наложит хорошую резолюцию на первом листе моей повести и скажет: «В набор!»

Приятель мой сказал:

– Ты шутишь?

– Нет, – сказал я, – я говорю совершенно серьезно. Шутка кончилась.

1967г. Баку-Бузовны

Перевод Музы Павловой и Акпера Бабаева

Стихи в переводах М.Павовой

Рассказ «Приключение чисел» переведен Аллой Коган

Рассказ «Ореховая скорлупа» Адилой Гусейновой

# Сказка о добром короле

Во времена стародавние в стороне чужедальней, не то в Океании, не то в Мавритании жил-был король. Добрый король. Очень, очень добрый король. Бывают же и злые короли, не так ли?

А этот был добрый. Любил своих подданных и никогда их не казнил, даже не наказывал.

За всю свою долгую-долгую жизнь король, поверите ли, не только что человека, даже клопика не раздавил. А посему королевское ложе кишмя кишело насекомыми, и король страдал бессонницей. Он ловил при свете ночника клопов и блох, но не давил их, а бережно перекладывал в постель королевы. Не со зла, нет, он очень любил королеву, просто сон у нее был отменный, так что и целая армия насекомых не могла потревожить его.

Во сне королева так громко храпела, что колонны хрустально-железобетонного королевского дворца-бункера ходили ходуном.

Бедный король! Стоило ему, переселив всех блох и клопов, на миг задремать, как его тотчас будил храп королевы.

Утром королева просыпалась свежая и румяная после крепкого сна, а король опять-таки не мог отдыхать – его ждали государственные дела, Это был несчастный король. Несчастный и добрый. Очень-очень добрый король.

Сказать по правде, ему смертельно наскучило быть королем. С превеликой радостью отказался бы он от трона. Но сделать это было никак невозможно. Потому что тогда королем стал бы первый министр. А этот – он не только бы всех блох, клопов и воробьев в королевстве истребил, но и коллег своих – министров, а в первую голову самого короля. Король же, хоть и жаждал сна, но не вечного. Отнюдь.

Король не отказывался от трона, ибо отлично все понимал. Это был не только добрый и несчастный, но и очень мудрый король. Очень, очень мудрый.

Это был добрейший, несчастнейший и мудрейший король. К тому же это был еще и очень одинокий король. Все подданные в его королевстве были парными. При дворе было восемь поваров, восемь кучеров, восемь стражников, восемь министров и восемь поэтов. Повара ненавидели друг друга, ибо никак не могли сойтись в мнениях о конечной цели мироздания. Кучера дрались на кулачках, ибо никак не могли договориться, в чем смысл бытия.

Один поэт писал анонимку на другого, доказывая, что рифмы собрата грозят устоям королевства. Стражники и министры доносили друг на друга. Но никто из них не был одинок. Каждый был среди коллег – напарником. Один король был одинок как перст. У королей не бывает коллег.

У королей, как известно, не бывает ни коллег, ни желаний!

Кучер желал стать поваром, повар – стражником, стражник – поэтом, поэт – министром, а министр – королем. В конце концов королем мечтал стать каждый. Кроме самого короля, понятно, потому как он уже был им.

Все сплетничали и жаловались королю друг на друга. А король никому не мог пожаловаться. И посплетничать ему было не с кем. Разве что с королевой. Но королева покинула его. Она сбежала с первым министром.

Первый министр долго ждал своего часа, но однажды понял, что король никогда не умрет и не уступит ему власти. А ему страсть как хотелось стать королем, а пуще того, мужем королевы. Королева была так юна, нежна и тонкостанна, что, проглотив вишенку, казалась беременной.

У королевы была заветная мечта, и, пообещав – исполнить ее, первый министр склонил ее сбежать с ним не то в Бенгалию, не то на остров Шпицберген. Там они основали свое королевство, и первый министр, то бишь новоявленный король, исполнил, что обещал: он записал храп спящей королевы и объявил его государственным гимном.

Каждую ночь радиостанции нового королевства передавали гимн-храп, и новый король с наслаждением слушал его. Он любил свою королеву, а коли любишь, так и храп – не храп, а дивная музыка.

Старый король, уязвленный изменой жены и коварством министра, – запретил своим подданным слушать чужое радио. Но подданные тайно слушали храп бывшей королевы. Одни из любопытства, прежде-то им никогда не доводилось слышать его. Другие из злорадства, так, мол, и надо ему, нашему старому королю, что оставили его с носом. Остальные же слушали с искренним сожалением и недоумением, как же, мол, мудрый король наш упустил королеву с храпом-гимном.

В тайне от всех слушал радио и сам король.

В заветный час он удалялся с маленьким транзисторным приемником в королевский нужник, запирался там и вожделенно слушал храп, который так мешал ему когда-то спать и по которому он так теперь тосковал.

Слушал и вспоминал, как в молодости познакомился на танцплощадке с прелестной юной королевой, как они ехали вместе в трамвае, как пахли ее волосы, когда он впервые поцеловал ее в темном подъезде своего хрустального королевского дворца. Слезы текли по щекам короля. Это был очень сентиментальный король.

Храп-гимн смолкал, и наступала ночь. Одинокая ночь одинокого короля в одинокой постели, в которой уже никогда не будет королевы. Даже клопы и блохи куда-то поисчезали.

Наступила зима, и совсем невесело стало королю. Зимние ночи были нескончаемы, и король лежал без сна, уставившись в высокий, как небо, лепной потолок своей опочивальни. Лежал и думал. Это был мыслящий король. Он думал о том, как бы ему заснуть и увидеть во сне королеву. Как бы сделать так, чтобы она пришла в его сон, в его постель, в его дворец, в его страну... Никто бы про то не прознал, и никаких тебе сложностей, нот, деклараций, соглашений.

Но тут короля ожгла мысль, что ведь королева-то может присниться и кому-то другому. Он представил себе это и совершенно расстроился. А что, если она снится кому-то из его подданных? Может статься, его новому первому министру... Король в бешенстве вскочил со своего ложа. Он был добрый и мягкосердечный король, но такой измены не желал прощать ни королеве, ни первому министру, ни последнему кучеру. И король принял решение. Это был ко всему еще и очень решительный король.

По королевскому указу все подданные, от министра и до цирюльника, отныне обязаны были письменно докладывать о своих сновидениях. Теперь король только и занимался тем, что читал длинно изложенные сновидения, как правило, путаные и бессмысленные. Королю это вскоре смертельно наскучило, и он решил ограничить поток, ввести его в строго отмеренное русло. Донесения о сновидениях не отменялись, они по-прежнему должны были быть подробными и точными. Но сами сновидения сокращались до одного в неделю. Видеть сны разрешалось только по воскресеньям. Но для особо важных лиц, министров и стражников, как водится в цивилизованных королевствах, предусматривалась надбавка – полсновидения по четвергам.

Никто ни разу не нарушил закона. Все видели сны, сколько им было положено, и писали о них, как то предписывалось королевским указом. И король радовался послушанию своих верноподданных.

Но тут возникла такая незадача. Сны-то, хоть и основательно урезанные, оставались путаными, а порой и вовсе чудовищными. Королевству от них, прямо скажем, никакой корысти. И тогда король решил создать департамент снов, который бы направлял, определял и визировал сновидения. И никаких чтобы кошмаров, чудищ и запутанных символов! За ясные, чистые и здоровые сны!

Ознакомившись с недельной сводкой, король с удовлетворением убедился, что всем снился один и тот же сон. Но сон, хоть и один и тот же, у каждого был окрашен в ярко индивидуальные тона. Один видел короля на вершине высокой горы, другой – в цветущем саду, третий – на белом коне и т. д. и т. п.

Королю понравилось. Он любил разнообразие в однообразии и однообразие в разнообразии.

Но сам король никаких снов не видел, ибо никак не мог заснуть.

– Счастливы ли мои подданные? – спрашивал король у бывшего второго министра, который после коварного бегства бывшего первого стал первым.– В мире ли живут они?

– О да, в мире и счастии, – отвечал бывший второй, а ныне первый министр. – С утра до ночи обнимаются и целуются.

– Это ложь! – сказал вдруг бывший третий министр, а ныне – второй.

Все застыли в ужасе,

– Ваше величество, вас дезинформируют,– бесстрашно заявил второй министр. – Ваши подданные с утра до ночи спорят друг с другом.

– Спорят? – удивился король.– О чем же они спорят?

– О том,– ответил второй министр,– кто из них самый счастливый... Каждый ваш подданный готов поклясться, что самый счастливый на свете человек – это он.

– А-а! – облегченно вздохнул король.– Это хорошо. Это полезный спор, пусть спорят.

Король пожелал отметить наградой второго министра за честность и правдивость и, не придумав ничего лучше, решил сделать его первым, а первого вторым.

Но пока король прикидывал да примеривал, вмешался третий министр.

– Ваши подданные не только спорят, ваше величество,– учтиво сказал он.– Я осмелюсь уточнить сообщения моих коллег. Они даже избивают друг друга.

– Как? – сказал король.– Избивают? Фи, как это грубо. За что же?

– Не далее как вчера я видел сам, как двое юношей едва не убили друг друга,– вкрадчиво продолжал третий министр.– Дракой они разрешали спор о том, кто из них больше любит вас, ваше величество.

Король застенчиво улыбнулся.

Третий министр стал первым, первый третьим. А второй так и остался вторым.

Ночью король вспоминал слова своего лучшего министра и улыбался в темноте. Как сильно любят его подданные, если готовы даже убить друг друга из верноподданнических чувств. Теплая волна признательности захлестнула короля. Что бы еще придумать, чтобы еще больше осчастливить своих подданных, думал всю ночь напролет король. И к утру пришло гениальное решение. Подданные, рассуждал король, стали счастливы после того, как он запретил им видеть сны. Следовательно, чтобы сде-лать их еще счастливее, надобно ввести еще какие-либо запреты.

На следующий день король созвал своих министров.

– Жду ваших предложений,– заключил король свое краткое сообщение.– Я дал вам общую мысль, детали должны разработать вы.

Один из министров предложил вывести из алфавита букву С. Он сильно шепелявил.

Другой министр предложил ввести единый цвет – коричневый. Он был дальтоник.

Третий министр предложил остричь всех женщин. Его жена была лысой.

А четвертый министр предложил вдруг запретить вопросительный знак.

Все предложения были приняты. И король особо подчеркнул, что все это делается для счастья подданных. Что и предписывалось в указе о запретах.

«Выполняется наш указ? Счастливы мои подданные?» – хотел спросить король министра. Но, вспомнив, что вопросительный знак отменен, сказал все это с утвердительной интонацией.

Но тут опять возникла незадача.

Король, как известно, должен прежде всего сам выполнять свои указы. И потому он выкрасил свои волосы, брови, бороду и глаза в коричневый цвет. Указ о букве С, ну, той самой, запретной... Так вот, указ тот соблюдался королем неукоснительно. Слов с этой буквой он не произносил. Хотя это было не так-то просто, ибо слов с этой буквой в их языке было великое множество. Но самым сложным оказался вопросительный знак. У короля было два камердинера, и он обычно справлялся у них, который час. Теперь, понятное дело, он не мог спрашивать. С одним все обстояло просто. Человек он был смышленый, и король, когда ему хотелось узнать время, говорил: сейчас девять часов. На что камердинер отвечал: «Прошу прощения, ваше величество, сейчас половина второго». И никаких хлопот. А другой ужасно был глуп, к тому же трус и льстец. Какое бы время король ни назвал, он отвечал: так точно, ваше величество. И когда он дежурил, король нипочем не мог узнать, который час...

И король снова стал думать.

Он лежал бессонными ночами и думал о том, как несправедливо устроен этот мир. Его запреты осчастливили страну, а что ему с того? Одни хлопоты!

Запомнить все, что запрещено,– это ли не проблема для короля?!

А для министров?!

Однажды первый министр поставил перед королем туго набитый саквояж с разоблачающей документацией. Тут было все – и магнитофонная лента с голосом министра, который ночью в разговоре с женой дважды произнес слово с запрещенной буквой, и фотографии длинноволосой дочери другого министра, и ветка с зелеными вместо коричневых листьями с дерева, растущего во дворе третьего министра, и, наконец, записанный особым устройством ночной бред и бормоток второго министра, из чего явствовало, что он видел сны, причем – о ужас! – в среду.

Министры сами нарушали законы своей страны.

У короля дрожали губы. Это был очень впечатлительный король.

– Что же делать? С нарушителями? – спросил король, не заметив от волнения, что нарушает собственный указ о запрете вопросительного знака.

Первый министр, отметив про себя оплошность короля, спокойно отозвался:

– Ну, для начала посадить!

– Куда? – еще раз нарушил закон король.

– В тюрьму, – тихо и нежно ответил министр.

– Но у нас нет тюрем! – воскликнул в волнении король.

– Построить бы надо,– еще тише и нежнее сказал министр.

Король призадумался, а потом сказал:

– Так тому и быть. Но поручите это лучшим архитекторам. Чтобы было современно, уютно и удобно.

– Мы объявим конкурс на лучший проект,– пообещал министр.

– В архитектуре здания должна ощущаться монументальность, торжественность, вечность, – повелел король.– Такие здания должны строиться на века. Для нынешнего и будущих поколений.

Первый министр молча поклонился.

И очень скоро была сооружена такая фешенебельная коричневая тюрьма в роскошном высотном здании, что многие подданные стали с умыслом нарушать законы, только бы переселиться туда. Дело в том, что в королевстве жилищные условия были неважными.

Вскоре тюрьма оказалась перезаселенной, и никакие нарушения, ни действительные, ни фиктивные, не могли помочь попасть туда. Редким везунам удавалось устроиться недельки на две где-нибудь на девяносто девятом этаже – и то за большую взятку.

Тысячный арестант – очаровательная невестка первого министра, схваченная из-за своих длинных, к тому же золотисто-рыжих волос, была объявлена мисс Тюрьмой, и король самолично защелкнул на ее запястье позолоченный браслет-наручник.

К слову сказать, первый министр и сам отхватил себе в этом здании семь камер с видом не то на Красное, не то на Желтое море...

Королю очень нравилось тюремное здание, он бы и сам не прочь был переселиться туда из своего хрустально-железобетонного бункера, и если он не делал этого, то лишь из опасения, что это могут превратно истолковать в соседних королевствах.

А короля все мучила бессонница. И ох как скучно жилось ему на этом свете. Все, что можно было отменить, запретить, искоренить, было отменено, запрещено, искоренено. Все думано-передумано, сделано-переделано. Все прочитано, все забыто.

Ночью во дворце ему было не только одиноко, но и безумно холодно. Король топил большую печь книгами из своей библиотеки. В четные дни – книгами современных авторов, в нечетные – книгами классиков. Королевская библиотека на глазах вылетала в печную трубу. И подданные, заботясь о добром здравии короля, приносили во дворец книги из своих библиотек. Когда все книги в королевстве сожгли, начали топить печь дровами.

По ночам король по обыкновению думал. Однажды ночью он обнаружил, что думает сразу о двух вещах и что обе мысли рифмуются. Он удивился и пририфмовал к двум первым еще и третью мысль. Это так его увлекло, что он решил выражать отныне свои мысли в стихах. И король написал длинное-предлинное стихотворение. Когда он закончил его, то понял, что мысли – это совсем не главное, а главное – рифмы. И еще король понял, что главное в его жизни – это поэзия, а королевство, трон, корона – сущая ерунда! Король написал еще пятьдесят пять стихотворений и окончательно понял, что прежде всего он – поэт, а потом уже король. Он решил объявить об этом подданным. Но под утро спохватился, что всем, а тем более первому министру, знать это не обязательно более того, не надо, и более того, попросту опасно, «Мои поэтические обязанности не должны мешать королевским, а королевские поэтическим»,– твердо решил король. Это был трезвый король. Очень, очень трезвый. Поэту, как и королю, нужна публика. Королю не хотелось читать стихи своим придворным поэтам. Он не забыл еще, как однажды чихнул, и все поэты хором сказали, что это к добру, а наутро сбежала королева.

– Приведите ко мне поэта,– велел король первому министру.

– Из какой камеры? – спросил министр. Теперь, когда он сам поселился в тюрьме, он мог сколько угодно нарушать законы.

– Приведите ко мне настоящего поэта,– распорядился король.

– В королевстве есть один настоящий поэт,– сказал первый министр,– но он обитает не то в лесу, не то в пустыне.

– Разыщите его,– повелел король. Поэта разыскали и привели. Это был красивый, статный и гордый молодой человек. Король прочитал ему свои стихи.

– Ну как? – спросил он, нарушив от волнения закон.

– Что как? – спросил поэт, который слыхом не слыхал об этом законе. Первый министр тотчас хотел его арестовать, но король жестом остановил его.

– Стихи как?

– Какие стихи?

– Те, что я прочел.

– А разве это были стихи? – в третий раз нарушил закон поэт.

– Да,– ответил король.

– Но это не стихи.

– Почему?

– Потому, что стихи – нечто совсем другое.

– Значит, мои стихи вам не понравились, – задумчиво сказал король.

– Какие стихи? – спросил поэт. Король грустно повернулся к министру:

– Этот человек четырежды нарушил закон,– сказал король.– Он без конца задает вопросы.– И тихо добавил; – Распорядитесь.

– Вы арестованы, – объявил министр поэту.

А поэт, ничего не знавший о новых законах в королевстве, подумал, что его арестовали за неодобрение королевских стихов.

– Свободных мест в тюрьме нет, ваше величество,– доложил первый министр.– Дозвольте разместить его в хлеву.

– Не отвлекайте меня по мелочам,– с досадой сказал король.– Этот человек нарушил закон и должен быть наказан. А где, как и сколько он будет сидеть, не имеет ровно никакого значения.

А ночью король снова писал стихи. Целый год король писал по ночам стихи. Ровно через год он вызвал к себе первого министра и повелел:

– Приведите ко мне поэта.

К королю ввели сгорбленного старика, в котором трудно было узнать прошлогоднего гордого юношу.

– Вы очень изменились,– ласково сказал король.– Наверное, много работаете. От нашей работы немудрено постареть. Я тоже много писал весь этот год. Я хочу почитать вам, послушайте.

Король читал свои стихи. Поэт сидел молча. Король закончил и вопросительно посмотрел на него.

– Прикажите отправить меня в хлев,– взмолился поэт.

– Но почему, почему, почему вам не нравятся мои стихи? – дрожащим от обиды голосом спросил король. Он готов был заплакать.

– Не расстраивайтесь,– сказал поэт.– Не каждый может стать королем. Не каждый может стать и поэтом.

– Нет, может! – властно сказал король. Это был очень упрямый король.– Я докажу вам, что любой и каждый может писать стихи. Все будут писать стихи... Все, все, все.

На следующий день был издан указ: всем, без исключения, подданным вменялось в обязанность писать стихи. Более того, все должны были разговаривать только стихами и более никак.

Все было зарифмовано – государственные законы, ресторанные меню, расписание движения поездов. Если рифма не совпадала, менялись закон или график движения. Правда, возникали некоторые казусы. В одном доме случился пожар, и пока хозяин вызывал по телефону пожарных, искал рифму к своему адресу, дом сгорел.

Но это были частности. В общем же и целом подданные успешно справлялись с новым указом короля. И тогда король освободил поэта из хлева и так его напутствовал:

– Вы свободны,– сказал король.– Ступайте к людям. Будьте поближе к жизни. Вы убедитесь в роковом своем заблуждении. Все люди могут говорить стихами, должны говорить стихами и будут говорить стихами.

Поэт вышел на улицу. Ему захотелось напиться, и он попросил воды. Но он просил в прозе и воды ему не дали. Ему хотелось поесть и найти себе ночлег. Но он упорно продолжал говорить в прозе. И не из упрямства, нет. Поэт умел писать стихи, но говорить стихами не умел. И ему или вовсе не отвечали, или отвечали в стихах. Поэт за день наслышался столько рифм, что не выдержал и к вечеру бросился с высокой скалы.

Об этом доложили королю.

– Поэт кинулся со скалы. Умер! – сказал первый министр.

– Поэт не может умереть,– ответил грозно король. Он умел быть и грозным, когда требовалось.

– Вы правы, ваше величество,– пробормотал министр.– Поэт не может умереть.

– А если не может,– продолжал король,– то значит, он не мертв, а жив.

– Вы правы, ваше величество, он не мертв, а жив.

– А если он жив, то следует воздать ему по заслугам, как положено в королевстве, где все поэты. Надо поставить ему большой памятник, дать ордер на большую квартиру-гробницу и выделить персональную машину-катафалк. Всем объявить, что он жив. И вообще,– задумчиво и грустно продолжал король,– кто выдумал смерть? Как можно умирать в столь счастливом королевстве? Это неблагодарно! Я запрещаю моим подданным умирать,– сказал король с металлом в голосе.

В душе же сильно обрадовался: он нашел нечто такое, что еще мог запретить!

Спустя некоторое время король вызвал к себе первого министра.

– Теперь, когда я запретил наконец саму смерть, – сказал король,– мои подданные, конечно, безмерно счастливы?

– О да, ваше величество,– ответил первый министр,– прежние короли, ваш дед и прадед, тоже любили запрещать, но вы перехлестнули всех.

– Мой отец, – задумчиво произнес король,– запретил бога... В детстве мама что-то рассказывала мне о нем, но я смутно помню, что это... А мой дед запретил зеркало. Я родился спустя много лет после этого запрета.

– Зеркало! – повторил первый министр. – Я даже слова такого не слыхивал.

– Припоминаю, – сказал король, – мне рассказывала бабушка, что зеркало – это нечто такое, что убеждало моего деда, будто он урод. Поэтому он запретил зеркало и изгнал его за пределы нашего королевства.

– Запреты осчастливили нас,– признал первый министр. – Но, ваше величество, я осмелюсь просить вас еще об одном запрете. Сделайте великое одолжение, исполните мою личную просьбу.

– Проси! – повелел король.– Ты хороший министр, и я запрещу ради тебя все, что бы ты ни пожелал. Если осталось что-либо запрещать.

– Осталось, ваше величество, осталось! – горестно воскликнул министр.

– Запретим! – пообещал король.– Говори.

– Любовь,– с болью сказал министр.

– Любовь,– повторил король, и сердце его сжалось.

Он вспомнил сбежавшую королеву.

– Да, любовь. Пока она есть, люди будут страдать, ревновать и мучиться от одиночества.

Министр был тонким сердцеведом, он подбирал такие слова, которые буравили сердце королю.

– Мой мальчик,– сочувственно сказал король. Он впервые так обращался к своему министру.– Ты так молод и красив. Ты познал счастливую любовь, но откуда тебе ведомы ревность, страдание, одиночество?

– О, я страдаю уже три часа подряд! – признался министр.

– Три часа подряд! Но почему? У тебя красивая жена. Она любит и верна тебе. Не так ли?

– И я так считал, ваше величество. Но сегодня в полдень жена отправилась за город, чтобы осмотреть развалины дворца вашего деда, того, кто запретил зеркало. Среди руин она нашла осколок разбитого стеклышка, как я разумею теперь, заколдованного, и вернулась домой совершенно неузнаваемой.

– Неузнаваемой?

– Именно так, ваше величество. У жены была сестра, умершая несколько лет тому назад. До указа о запрещении смерти,– поспешно добавил министр. – Они были близнецы.

– Так,– заинтересованно сказал король.

– Жена моя, вернувшись с этим стеклышком, все смотрелась в него и повторяла: «Милая моя сестричка, я вижу тебя! Спасибо, что ты явилась мне в этом стеклышке». Я решил было, что она рехнулась, Но потом, когда она на минутку выпустила из рук стеклышко, я схватил его и посмотрел. И что же я увидел!

– Не было там никакой сестры, и не с сестрой она, как оказалось, ворковала. В проклятом стеклышке я увидел молодого, красивого человека, моего счастливого соперника. Я взбесился – и он тотчас разгневался. Я нахмурился – и он в ответ. И тут я понял, что он так же ненавидит меня, как я его. Так вот кто являлся ей из колдовского стеклышка. Я умираю от ревности. Ваше величество! Вы дали мне все – власть, богатство, вашу милость. Но все не в радость, все отравлено ревностью. Умоляю вас, запретите любовь. Я разлюблю ее и снова буду счастлив.

– Дорогой мой,– растроганно сказал король,– я повелю это сегодня же. Но я хочу посмотреть на твоего счастливого соперника. Может быть, я знаю его? Если он из моих подданных, ему несдобровать. Дай мне стеклышко, я погляжу, кто он.

– Вот оно, – сказал министр, вынул из кармана осколок зеркальца и протянул королю.

Король взял зеркальце и долго-долго смотрел в него. И вдруг расхохотался.

– Дурак ты, – сказал он, – хоть и первый министр. Расстраиваться из-за такого дряхлого урода!

Король был мудрым физиономистом, он обладал умением определить суть человека по чертам его лица. Он смотрел в зеркало и говорил:

– Это же свиное рыло. Он туп и зол на весь мир. Прикидывается добрячком, а на деле всех ненавидит.

Всех сделал несчастными, и оттого сам несчастен. Это конченый человек. Совершенно конченый. Он скоро умрет. Стоит ли из-за него расстраиваться?

Король был прав. Стоит ли расстраиваться?

3 апреля 1970г., Кисловодск

Перевод Греты Каграмановой

# Печальный фарс

В 1973 году я впервые отправился в Соединенные Штаты Америки. Позднее побывал в этой стране еще несколько раз, но впечатление от первой поездки неизгладимо. Наша группа состояла из киноработников. Побывали в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего. В Нью-Йорке поднялись на крышу самого высокого по тем временем здания в мире – Эмпайр-Стейт-Билдинг. Посетили Метрополитен-музей, музей Гугенгейма, музей Арт-модерн, наведались в Миурские леса, Голливуд, Диснейленд, Маринленд в Калифорнии; в Сан-Диего обозрели знаменитый зоопарк. Америка поразила меня, в первую очередь, своими масштабами и ритмами.

Здания, дороги, мосты, расстояния – во всем ощущались некая великанья соразмерность, размашистая масштабность. Поток движенья на улицах и автострадах, стремительный калейдоскоп телепрограмм, темп речи телеведущих и всех выступающих на экране – создавали представление об ускоренном ритме жизни вообще в стране. Казалось, страна куда-то спешила, бежала, мчалась. Если учесть масштабы, чудеса современной техники, то кажется, Америка все время стремится, рвется в завтра, в будущее, из года в год, изо дня в день наращивает скорость движения, как бы опасаясь, что кто-то ее обгонит. В то же время американская жизнь не свободна и от внутренних противоречий, столкновений. Дни нашего пребывания там совпали с разгаром уотергейтского скандала. В Вашингтоне нас вместе с другими туристами провели на экскурсию в Белый Дом. Как же удивительно было для советских людей, которых и близко не подпускали к Кремлю, прохаживаться по Белому Дому, даже пересечь знаменитый Овальный зал. Мало того, туристам, прошедшим через этот зал, раздавали листовки, направленные против тогдашнего хозяина Белого Дома, президента США Никсона. Хотя мы и наслышались об американской демократии, но лицезрение такого наглядного ее проявления повергло нас в шок. Люди, оказывается, могли свободно высказывать то, что хотели, поступать так, как считали нужным. Сколь бы прогрессивны и вольномыслящи ни были мозги советского человека, это трудно укладывалось в голове. Вспомним «бородатый» анекдот. В небе встречаются два воробья, один летит из Штатов в СССР, другой в противоположном направлении. Советский воробей спрашивает у американского: «Почему ты покинул Америку?» И слышит в ответ: «В Америке так прочно зашивают тюки с зерном, отправляемые в Союз, что ни зернышка не выпадет, ничего не выклюнешь. По слухам, когда разгружают эти тюки в Союзе, половина рассыпается на землю. Потому лечу туда – прокормиться. А ты откуда летишь?» «Из Союза в Штаты». «Зачем? Разве поживиться нечем? Или врут, что зерна от утруски навалом?» «Нет, не врут». «Тогда зачем тебе в Америку?» «Чирикать хочу».

Действительно, побывав в Америке, мы воочию увидели преимущества страны, обеспечивающей население продовольствием и всеми необходимыми для нормальной жизни благами. Здесь, выражаясь в духе воробья из анекдота, можно было и вволю «чирикать», то есть человек мог говорить и писать то, что думает. Но, наряду с этим, в заморской стране существуют и неписаные регулирующие законы относительно свободы слова и печати. В те же дни по одному из каналов американского ТВ я услышал очень мудрые слова религиозного деятеля: на атлантическом побережье Америки в нью-йоркской гавани возвышается гигантская статуя Свободы. А на западе, на тихоокеанском побережье, в Лос-Анджелесе ли, в Сан-Франциско ли, надо бы возвести еще одну статую – Ответственности, дабы общество уразумело, что наша страна может нормально жить только в сопряжении Свободы и Ответственности.

Наблюдая с белой завистью проявления свободы слова, убеждений, печати в Америке, мы вновь сокрушались о том, в сколь жалком состоянии находятся права человека в нашей стране, тогдашнем СССР.

Нашим гидом была пожилая женщина родом из Югославии, принявшая американское гражданство и свободно изъяснявшаяся по-русски. Мы с писателем Максудом Ибрагимбековым останавливались в отелях «тандемом» в двухместных номерах. Наша гидесса принесла массу книг, изданных на русском языке, и вручила их нам тайком. Разумеется, это была диссидентская литература. Выкраивая время, мы читали эти книги. Последнюю ночь провели в Нью-Йорке. Наутро вылетать в Москву. А мы успели прочесть только мизерную часть этих книг. Максуд сказал: «Не беда. Возьмем с собой и дочитаем дома». Я возразил: «Не получится. Нас могут прошмонать при переходе границы, если обнаружат в багаже эти книги, самое меньшее – не видать нам больше заграницы». «Ты как знаешь, – сказал он, – а я увезу». «Нет, – говорю, – и тебе не дам увезти. Лучше не поспим эту ночь, сколько успеем – столько и прочтем».

Всю ночь мы читали, передавая книги друг другу. Чего только не было в этих изданиях! Методы слежки, преследования, пыток в КГБ. Невыносимые условия содержания в советских тюрьмах, психушках, ссыльных местах, ужасы «ГУЛАГ»ского ада...

«Ты прав, – сказал под утро Максуд. – Если узнают, что мы провезли эти книги в СССР, нам дадут прикурить...»

Мы договорились взять с собой из непрочитанных книг только одну: роман Оруэлла «1984». Полагали, что это сугубо фантастическое произведение. Позже, по прочтении романа в Москве, мы поймем, что это произведение похлеще оставленных нами по антисоветской, антитоталитарной зараженности... Словом, все книги, кроме этой, мы решили оставить. Но где? В гостиничном номере – нельзя. Как бдительные советские граждане, мы понимали, что «разведка» моментально выявит принадлежность этой литературы. Возвращать их гидессе тоже негоже.

– Давай-ка оставим их здесь же в отеле, на другом этаже, – предложил я.

– На котором?

– Ну, скажем, на семнадцатом.

– Почему именно на семнадцатом?

– Потому, что в семнадцатом году свершилась Октябрьская революция...

Собрав книги, мы поднялись лифтом на семнадцатый этаж, «посеяли» их там и вернулись к себе в номер.

Однако история эта имела удивительную концовку. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Подойдя к контрольно-пропускному пункту, мы увидели встречающего нас Полада Бюльбюль оглу. Полад в те годы блистал в ряду популярнейших эстрадных звезд страны, большую часть времени проживал в Москве и часто летал в загранку. Потому у него было много приятелей и знакомцев в аэропортовских службах.

Увидев нас, он сказал пограничнику:

– Пропусти, Вася. Это мои друзья.

И пограничная, и таможенная служба пропустили нас обоих без проволочек, не задерживая ни на минуту.

Перейдя кордон, Максуд сразу накинулся на меня:

– Видишь? Никто нас не шмонал! Надо было мне не слушаться тебя и забрать книги.

– А не появись Полад...

Наш спор разрешило само время.

Спустя лет пятнадцать-шестнадцать после нашей первой поездки в Америку те запрещенные книги и еще более крутые антисоветские произведения получили зеленый свет, стали издаваться в самой России, все получили возможность читать их. И в газетах появились столь резкие, разоблачительные инвективы об ужасах советской эпохи, что читанное нами в ту нью-йоркскую ночь на ...энном этаже отеля «Командор» выглядело умеренными и безобидными текстами наподобие тургеневских лирических страниц.

Если же определенные события, отношения, понятия советских времен изобразить сугубо реалистическим пером, то все это покажется сценами из театра абсурда Беккета или Ионеско...

Например, в 1967 году в составе официальной делегации представителей культуры нашей республики мне довелось побывать в Польше. Перед поездкой нас пригласили в общество дружбы с зарубежными странами и некий ответственный чиновник начал учить нас уму-разуму; мол, вы будете под прицелом по меньшей десятка разведок мира (это в Польше-то!), за вами будут следить, пытаться обработать, завербовать, спровоцировать, и прочие предостережения в этом духе.

Самым поразительным было предложение чиновника: «Может статься, что там вам будут задавать вопросы. Было бы хорошо подготовить ответы заранее, показать их нам здесь, чтобы мы утвердили...»

Я спросил – не из храбрости, а по простоте душевной:

– Но ведь мы не знаем, какие вопросы нам будут задавать. Как же можем подготовить ответы заранее?

Чиновник оторопело уставился на меня. Похоже, этот вариант не приходил ему в голову.

Нашу делегацию сопровождал другой службист. В Польше ему предстояло прочесть длиннющий доклад, естественно, заранее подготовленный, утвержденный во всех инстанциях, конечно с учетом замечаний и предложений. Пафос этого сочинения заключался в том, что до советской власти в Азербайджане ничего путного не было, и все было создано в советский период. А самая смехотворная фраза гласила, что азербайджанские женщины до революции не могли выходить замуж...

И поляки диву давались: если уж до революции девушки в Азербайджане «не могли выходить замуж», то откуда и каким образом возникла эта нация? Неужто все сплошь незаконнорожденные?!

Как бы то ни было, польское турне шло своим чередом, и перед каждой встречей сей службист зачитывал свой получасовой опус. В том числе – в костеле, перед органным концертом, в яслях, во Дворце бракосочетаний и т.д. Наконец, мы прибыли в горный курорт Закопане. Люди отдыхают себе, развлекаются. Здесь был предусмотрен концерт нашего камерного оркестра на лужайке для отдыхающих. Руководитель оркестра, наш талантливый дирижер Назим Рзаев отвел меня в сторонку. «Мы хотим здесь исполнить старинные музыкальные произведения – Вивальди, Телеман, Корелли. Доклад совершенно не к месту. Боюсь, что наш оратор перед концертом начнет талдычить, и люди, собравшиеся послушать музыку, разбредутся. Прошу тебя, займи его разговором, а мы начнем концерт». «Хорошо», – сказал я и взяв нашего докладчика под руку, затеял с ним беседу о том, о сем, уводя его подальше от места предстоящего концерта. Ко мне он относился неплохо, и мы вели разговор в абсолютно человеческом тоне на человеческие темы. Вдруг, вижу, он навострил уши, совершенно изменился в лице, напрягся; оказывается, он уже издалека услышал звуки музыки. Отпрянув от меня, чуть ли не бегом устремился к месту, где играл оркестр и, когда настала пауза между исполняемыми произведениями, выскочил вперед и принялся читать свой доклад, доводя до сведения отдыхающих поляков и интуристов весьма важную информацию о том, как тяжко было азербайджанским женщинам до революции выходить замуж...

С тех пор много воды утекло, а после распада советской системы минуло семь лет. Но отрезок времени кажется столь протяженным, как если бы речь шла о незапамятной старине, точнее, о средневековье. Ибо по многим своим симптомам советская эпоха напоминала именно средневековые, а может, рабовладельческие формации. Но удивительно и то, что ныне, при воспоминании недавних времен, на ум приходят не только преступления рухнувшей системы, но и забавные эпизоды. Вспоминается и то, что трезвомыслящие советские сограждане могли выражать свои истинные мысли об обществе, строе, руководителях страны лишь посредством политических анекдотов, рассказываемых друг другу тет-а-тет, на ушко. Анекдот в советское время стал своего рода фольклорным жанром, причем самым демократичным и популярным. Знаю уйму анекдотов о коммунизме, советской системе, СССР и его вождях, однако один из них по емкости содержания наиболее характерен. В этом анекдоте, построенном в виде перечня парадоксальных пунктов, как бы пародирующих советский бюрократический менталитет, обнажается вся сущность той системы:

«1. В СССР нет безработицы, но никто не работает.

2. Никто не работает, но планы выполняются.

3. Планы выполняются, но в магазинах пусто.

4. В магазинах пусто, но у всех дома все есть.

4. Все у всех есть, но все недовольны.

5. Все недовольны, но все голосуют «за».

Больше всего анекдотов гуляло о советских вождях – Сталине, Хрущеве, Брежневе... Дело еще в том, что сама манера поведения, определенные высказывания, реплики, выражения этих лидеров давали пищу для анекдотов и пародирования. О Сталине рассказывали: вызывает он партфункционера Поликарпова к себе и отряжает его в секретари Союза писателей, дескать «инженеры человеческих душ» ведут себя плохо, идите, дайте им укорот, и со временем доложите.

Спустя некоторое время Поликарпов является к вождю: Иосиф Виссарионович, дело обстоит хуже, чем мы себе представляли. Фадеев пьет не просыхая, Эренбург только и знает, что расхваливает Францию, Симонов меняет жен, как перчатки, и прочее... Словом, «катит бочку» на писательскую братию почем зря. Сталин, попыхивая трубкой, некоторое время хранит молчание и говорит:

– Товарищ Поликарпов, ищите себе другую работу.

– Почему, товарищ Сталин?!

– У меня нет других писателей для вас.

Рассказывали и такое: во время войны служители муз без конца жаловались Сталину на начальника комитета по делам искусств Храпченко: вождь, которому надоели эти жалобы, умерил пыл плакальщиков: «Дайте мне сперва покончить с Гитлером, а уж потом я займусь Храпченко».

Забавный эпизод, связанный со Сталиным, поведал мне ныне покойный наш дирижер Ниязи.

В тридцатые годы, на декаде искусства Азербайджана в Москве в Большом театре показали оперу Узеира Гаджибекова «Кёроглу». После спектакля Сталин с другими членами политбюро встретился с композитором, режиссером и артистами. Когда Ворошилов обратился к Гаджибекову со словами: «Хорошо бы вам написать еще пару таких опер», – Сталин резко возразил: «Нет». Узеир-бек смешался! «Может, Сталину опера не понравилась?» Тогда как-то сложится участь произведения и автора?.. После долгой паузы последовало: «Не пару, а две пары таких опер».

Во время визита Хрущева в Баку на Нефтяных Камнях в честь высокого гостя устроили банкет. Один из местных руководителей, желая подольстить генсеку, сказал: «Мы вот здесь, руководя небольшим участком, испытываем трудности... А как трудно для вас, дорогой Никита Сергеевич, руководить такой огромной державой!» Хрущев, к тому времени изрядно выпивший, возразил: «Ничуть. Нашей страной может руководить всякий дурак!»

То, что это суждение было не столь далеким от истины, генсек вольно или невольно доказывал, брякнув встречавшим-привечавшим его в одной из среднеазиатских республик аксакалам: «Здравствуйте, уважаемые саксаулы!» или колотя снятой с ноги туфлей по столу на Генеральной Ассамблее ООН... Но, справедливости ради, нельзя забывать и о роли Хрущева в сокрушении ледяных торосов сталинизма и первых шагах на пути раскрепощения общества, в конечном счете приведшего к распаду СССР... И с учетом этой заслуги мы должны бы помолиться за упокой его души.

Невеселый казус, случившийся с Брежневым, я уже видел воочию. На церемонии вручения ордена Азербайджану во Дворце Республики, генсек перед вручением стал читать по бумажке приветственную речь. Но в ходе чтения я заметил, что сидевшие в президиуме Гейдар Алиев и прибывшие из Москвы гости обеспокоенно переглядываются и подают мимические знаки друг другу. Чуть погодя один из московских гостей приблизился к трибуне и что-то шепнул на ушко Леониду Ильичу. Брежнев хмыкнул и продолжил речь.

За столом президиума возобновился обмен жестами и началось перешептывание. Наконец, с места поднялся Гейдар Алиев, подошел к трибуне и, решительным движением переняв у Брежнева озвучиваемый текст, подал взамен другой. Брежнев принялся было зачитывать новый текст с той же роботоподобной интонацией, но, увидев повторение уже знакомых пассажей, обратился к залу: «Ну, это я уже, кажется, читал».

Оказалось, он перепутал два текста, – один предназначался для торжественного заседания, другой предстояло озвучить вечером на банкете. Хотя в обоих текстах содержались общие, совпадающие куски, но можно представить, какой был бы конфуз, заверши он церемониальную речь банкетным спичем: «А сейчас давайте поднимем этот тост...»

В те дни я увидел Брежнева совсем близко. Дышал он, как рыба, выброшенная на сушу, казалось, ему не хватало воздуха, и он задыхался. Взгляд застывший, какой-то стеклянный. При близком рассмотрении чудилось, что это не живой человек, а некий робот, облаченный в человеческую одежду и снабженный маской.

Брежнев умер, его сменил Андропов, вскоре и он скончался, на его пост был избран Черненко.

В один из дней мы по линии театрального общества отправились в Нахичевань. После проведения намеченных там мероприятий предстояло поехать в другой район Автономной Республики. Однако наутро мы услышали, что руководитель нашей делегации, председатель театрального Общества Шамси Бадалбейли занедужил: сердечный приступ. Он вызвал меня к себе: «Я поехать не смогу. Возглавь группу, едущую в тот район».

Он лежал в постели с бледным бескровным лицом. При нем был сын, наш знаменитый пианист Фархад Бадалбейли.

Мы с тревогой в душе расстались с Шамси-муаллимом и отправились в район. Руководитель района, встретивший нас, сообщил нам программу. Тут кто-то подошел к нему и что-то шепнул на ухо. Районный руководитель изменился в лице; переговорив с партийным секретарем – женщиной, прибывшей из Нахичевани, обратился ко мне: «Мероприятия придется отложить... Но, во всяком случае, давайте пообедаем, а после возвращайтесь в Нахичевань». «А что случилось?» «Киши1 скончался». «Что вы говорите?» – Я был потрясен. – Дайте мне машину, я должен незамедлительно ехать в Нахичевань! «Анар-муаллим, вы пообедайте, у нас небольшой банкет. Потом уж поедете». «Какой банкет! – воскликнул я. – Мы же близкие семьями люди. Сейчас там, при нем один только сын его... Я немедленно должен добраться туда!»

Говорю и замечаю на себе изумленные, даже несколько опасливые взгляды местного руководства и нахичеванского партсекретаря. Все прояснилось после долгих минут недоразумения. Оказалось, что скончался, слава Аллаху, не Шамси-муаллим, а руководитель страны Черненко... Потому все посвященные в новость люди были ошарашены моими столь серьезными переживаниями, «семейной дружбой» с опочившим генсеком и нетерпеливым стремлением разделить горе его осиротевшего сына... Кончина, смерть каждого человека – это утрата, и царствие небесное Черненко. Мы радовались не кончине Черненко, а тому, что Шамси-муаллим жив. Конечно, и обед состоялся, и тосты на банкете прозвучали. А женщина-партсекретарь из Нахичевани резонно заметила: «Что вы, Анар-муаллим, разве мы бы согласились устраивать банкет, если бы, не приведи Аллах, Шамси-муаллим скончался?! Разве мы не мусульмане?»

Эти слова в моем восприятии сообщали о начале нового периода – перестройки. Я думал: разве могли советские люди, в частности, партноменклатура, вот так реагировать на смерть Сталина, или пусть даже Брежнева? В психологии людей вообще, в климате общества, в существе строя обозначались некие перемены. Но, хотя мы были в состоянии уловить начало этих перемен, в ту пору никто из нас не мог и представить, к чему приведут они в течение короткого отрезка времени...

В связи с кончиной Черненко в Москве начались траурные дни, а мы в Нахичевани пребывали в добром расположении духа, шутили, смеялись. Очевидно, нам было суждено расставаться с нашими тяжелым, трудным прошлым вот так вот – смеясь. Близился к концу печальный фарс советской системы.

1 августа 1999г. Баку

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# Времена года, или что было сокрыто в папке

Документальная фантастика

От автора: Эту вещицу, написанную мною в марте 94-го года, никак не могу назвать рассказом. Ведь тогда наверняка скажут: «Не соответствует требованиям жанра». Как же мне определить ее жанр? Может, «документальная фантазия»? Знакомясь с поистине фантастическими документами, ничего не остается, как написать «документальную фантазию».

В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

от молодого прозаика

Марлена Имамгулу оглу Мамедова

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Союза писателей. Как известно, мой роман под названием «Солнечная весна», воспевающий колхозное строительство на селе, самоотверженный труд крестьян – строителей социализма, – получил высокую оценку со стороны партийного руководства. В настоящее время готовится к печати второй роман – «На гребне волн» – о беспримерном трудовом подвиге морских нефтяников. Кроме того, в стадии завершения находится роман «Когда побеждает дружба», который отражает наше славное революционное прошлое, борьбу интернационального бакинского пролетариата против продажного мусаватского правительства и его англо-турецких господ. Главные герои романа – воспитанники великого Сталина, представители славного поколения революционеров Кахраман Пехлеванов, Иван Дубов, Ашот Ялаян, Отар Абашидзе. В романе повествуется о том, как азербайджанский народ под руководством гениального Сталина смел с лица земли власть господ-помещиков, беков и ханов, как верные соратники товарища Сталина, – несгибаемые большевики Киров, Орджоникидзе, Микоян устанавливали в Азербайджане власть Советов.

На этом фоне разоблачается мелкобуржуазный национализм «деятелей» типа Наримана Нариманова,1 которые были тормозом на пути строительства социализма. Один из главных героев романа, старый рабочий Бахрам-киши говорит, отражая точку зрения всего бакинского пролетариата: «Нариман, не пошел тебе впрок народный хлеб». В моих творческих планах – работа, над романом «26 братьев», посвященным славной Бакинской коммуне.

В ряду советских писателей, под руководством гениального Сталина и руководителя азербайджанских большевиков Мир Джафара Багирова буду бороться за победу коммунизма во всем мире. Готов отдать этой борьбе все свои силы, талант, способности, а если понадобится – и саму жизнь.

К заявлению прилагаются: анкета, автобиография, 6 фотокарточек и прочие документы.

Марлен МАМЕДОВ

1 мая 1950-го года

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Мамедов Марлен Имамгулу оглу, родился 28 апреля2 -1930 года в деревне Энгельс района Маркс. Отец Имамгулу был одним из первых организаторов колхозного строя на селе. Он был зверски убит кулаками – приспешниками англо-американского империализма. Меня, моего старшего брата Комсомола, моего среднего брата Первомая, младшего брата Пионера, сестренку Закафедерацию (Зину) воспитала отеческая забота великого Сталина. В настоящее время я – студент высшей школы, секретарь бюро факультетского комитета комсомола. Самым счастливым днем в моей жизни считаю день, когда меня приняли кандидатом в члены партии Большевиков.

К литературе меня потянуло с самых детских лет. В пятилетнем возрасте я посвятил свое стихотворение первому появлению трактора на селе:

В нашей деревне и речка есть,

На небе и Луна, и звезды есть,

Если на той стороне мечети,

То на нашей – трактор есть.

Впоследствии я обратился к прозаическому жанру. Мой первый роман «Солнечная весна» получил высокую оценку у секретаря Центрального Комитета Азербайджанской Коммунистической партии (большевиков), который назвал его «Громким голосом молодого поколения». Роман был рекомендован к печати и после выхода в свет получил множество положительных отзывов и рецензий. (Статьи и рецензии прилагаются).

Готов пожертвовать талантом, творческим вдохновением, если понадобится – жизнью – ради дела нашего великого вождя и отца товарища Сталина.

Марлен Имамгулу оглу Мамедов.

1 мая 1950 года

СТЕНОГРАММА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

(9 мая 1950 года)

Председательствующий. Товарищи! В повестке дня – вопрос о приеме в члены Союза писателей. Мы должны обсудить заявление молодого талантливого прозаика Марлена Мамедова. Вы знаете, что двадцатилетний Марлен Мамедов является пока автором всего лишь одного романа: «Солнечная весна». Однако если мы назовем роман событием в нашей литературе, новой страницей в нашей прозе, – мы не ошибемся, товарищи. Оценка, данная роману на городском партактиве – «Громкий голос молодого поколения», – нас всех вдохновляет, зовет к покорению новых творческих вершин... (не слышно) Буду немногословным. Вопрос ясен. Какие будут предложения?

Голоса с мест: Принять.

Председатель: Прекрасно. Значит…

Шохрет Шанлы: Я хотел бы сказать несколько слов.

Председатель: Пожалуйста, товарищ Шанлы.

Шохрет Шанлы. Я считаю, товарищи, что одного слова «принять» будет недостаточно. Да будет вам известно, что мы, вернее, руководство Союза писателей, в данном вопросе проявили нерасторопность, я бы даже сказал, преступную медлительность. Как и всегда, мы не смогли дать верную, а главное, своевременную оценку истинному таланту. Именно партия привлекла наше внимание к этому ценному произведению. Хотя инициаторами должны были быть мы – Союз писателей.

Реплика. Не противопоставляйте друг другу партию и Союз писателей. Союз в каждом вопросе руководствуется указаниями Партии.

Мир Мюнеггид. Ты... (не слышно)

Шохрет Шанлы. Сам ты... (не слышно).

Председатель. Товарищи... товарищи... Успокойтесь. Не шумите. Выступайте по-одному. Товарищ Шохрет Шанлы, вы закончили свое выступление?

Шохрет Шанлы. Нет. Руководство Союза писателей опираясь на бесценные указания гениального вождя товарища Сталина, на исторические решения нашей партии о литературе, взяв за основу отеческую заботу товарища Багирова о писателях, должно было само отыскать этого верного сына народа, вышедшего из гущи народных масс, и открыть перед ним светлые горизонты.

Председатель. Секретарю Центрального Комитета, товарищу… (не слышно) рукопись этого романа представил я.

Реплика. Они из одного села.

Реплика. Кто?

Реплика. И секретарь, и наш председатель, и молодой автор.

Председатель. Прошу вас, товарищ Нэсир Насир.

Нэсир Насир. Весна... (умолкает)

Голоса с мест. Что? Что он сказал?

Нэсир Насир. Весна. Да, Весна. Весна – это прекрасно; Это превосходно. Это восхитительно. Я, конечно имею в виду роман нашего юного друга – товарища Марлена. Я бы даже сказал, что это весна нашей прозы, весна нашей литературы, весна нашей молодежи, благодарен судьбе и партии, что они подарили мне возможность на склоне лет увидеть приход в литературу этого блестящего дарования, этой солнечной весны (говорит тихо, его не слышно). В нашей литературе родилось солнце, пришла весна. Если так можно выразиться, солнечная весна пришла в нашу литературу.

Председатель. Товарищ Мир Мюнеггид, может, и вы выскажетесь?

Мювеггид. Я не возражаю, чтобы Карлена Мамедова...

Председатель. Марлена Мамедова.

Мир Мюнеггид. Извините. Я не возражаю против приема Марлена Мамедова в члены Союза. Однако бесконечным расхваливанием первого произведения молодого автора...

Голоса с мест. Что? Как? (шум в зале).

Председатель. Тише товарищи, тише. Пусть каждый говорит то, что он думает. Затем, если понадобится, ему ответят. Продолжайте, товарищ Мир Мюнеггид.

Мир Мюнеггид. Я хочу сказать, что неумеренные похвалы могут принести молодому дарованию больше вреда, нежели пользы. Да, партия дала произведению высокую оценку: «Громкий голос молодого поколения». Теперь мы должны оберегать этот голос, направить его на верный путь. А для этого он нуждается не в похвалах, а в серьезном анализе. Ведь произведение не лишено некоторых художественных недостатков. Направить его на верный путь... (шум в зале).

Шохрет Шанлы. Товарищ Мир Мюнеггид. Да будет вам известно, что у нас один-единственный путь – это тот, который указывает нам партия. И меня удивляет, что вы хотите сбить с этого пути юношу, который шагает по нему крепко и уверенно. На какие художественные недостатки вы намекаете? Или вы хотите вновь возродить гнилую мелкобуржуазную теорию «искусства для искусства»? Не пройдет, товарищ Мир Мюнеггид, искусство принадлежит не искусству, а народу. И если партия, выражая мнение народа, высоко оценила какое-то произведение, имеем ли мы право говорить о каких-то художественных недостатках? Я это расцениваю как провокацию по отношению к молодому художнику. Вы, вероятно, не читали доклад товарища Жданова.

Мир Мюнеггид. Я-то читал. А вот ты, наверное, нет. (Шум, возгласы в зале)

Председатель. Товарищи, товарищи, успокойтесь…

Шохрет Шанлы. Да будет вам известно, что доклад товарища Жданова я прочитал несколько раз. И всякий раз делал пометки. Если хотите знать, доклад товарища Жданова – моя настольная книга.

Мир Мюнеггид. Моими настольными книгами являются произведения товарища Сталина. Конечно, и доклад товарища Жданова всегда на моем столе.

Шохрет Шанлы. Да будет вам известно, что вы напрасно противопоставляете друг другу товарища Сталина и его верных соратников... (шум в зале).

Голоса с мест. А не ты разве в тот день... А ты...

Председатель. Товарищи, ну товарищи. Успокойтесь. Тише! Прошу вас вернуться к вопросу, вынесенному в повестку дня. По-моему, все предельно ясно. Мнение у всех однозначно. Мы принимаем Марлена Мамедова в члены Союза писателей.

Голоса с мест. Принять. Достоин... Давно достоин...

Председатель. Вы что-то хотите добавить?

Нэсир Насир. У меня есть предложение. Давайте примем товарища Марлена, Марлен-муаллима, нашего детку Марлена в Союз и одновременно выдвинем его роман «Солнечная весна» на Сталинскую премию. Потому что в нашей литературе родилось солнце, пришла весна.

Председатель. Гм... Извините, проклятый кашель замучил... Понимаете, товарищ Нэсир Насир, вопрос премии – это совсем другой вопрос. Его нельзя решать так сразу, наскоком. Мы должны согласовать с дистанциями (наверное, инстанциями – замечание стенографистки). Поговорим, посоветуемся. Если сочтут целесообразным, мы вернемся к этому вопросу на нашем следующем заседании. Итак, ставлю на голосование. Кто за то, что бы принять Марлена Мамедова в Союз писателей? Прекрасно. Против? Нет. Воздержавшихся? Нет. Занесите в протокол. Давайте от всего сердца поздравим товарища Марлена. Вы опять что-то хотите сказать, товарищ Нэсир Насир?

Нэсир Насир. Я только хотел добавить, что в Союзе писателей родилось солнце, пришла весна. Если можно выразиться, солнечная весна.

ХАРАКТЕРИСТИКА

(Молодой писатель лауреат Государственной премии, член КПСС с 1951 года Мардан Мамедзаде (Марлен Имамгулу оглу Мамедов) родился в конце апреля – начало мая 1930 года в семье учителя в селении Гарадере (бывшее Энгельс) района Маркс (бывший Аладаг). Отец – Имамгулу Мамедов – жертва периода культа личности. В результате беспощадного преследования и террора преступной банды Берия-Багирова пропал без вести. Мардан Мамедзаде, с юных лет проявлявший интерес к поэзии, к творчеству, своими первыми произведениями привлек внимание литературной общественности. Его романы издавались в Баку и Москве, переведены на языки Монгольской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики. Вдохновленный решениями XX съезда КПСС и историческим выступлением товарища Н. Хрущева, Мардан Мамедзаде написал роман «Безоблачное летнее небо». В романе художественно отражены нарушения социалистической законности периода культа личности, репрессии, которым подвергались честные сыны народа, подлинные коммунисты, преследуемые беспринципными и нечистоплотными карьеристами. Одна из жертв этих репрессий, старый бакинский рабочий уста-Бахрам, вернувшись из ссылки, говорит, словно отображая мысли всех несгибаемых коммунистов той эпохи: наши революционные убеждения не сломит никакая ссылка, никакая тюрьма. Старый рабочий и революционер уста-Бахрам говорит, обращаясь к молодому поколению: не забывайте верного соратника Ленина-Наримана. Я своими глазами видел, как он сгорел во имя счастья народа. «Да будет благословенен хлеб народный, который вкусил Наримаи», – сказал я ему. В романе немало подобных ярких, запоминающихся эпизодов. Наряду с плодотворной творческой, Мардан Мамедзаде занят и кипучей общественной деятельностью. Он является членом руководящих органов Союза писателей, заместителем председателя общества Азербайджан – Корейская Народно-Демократическая Республика, почетным пожарником. Женат, двое сыновей две дочери. В быту скромен, в моральном отношении устойчив. Постоянно работает над собой в целях повышения своего политического уровня. Руководство Союза, партийное и профсоюзное бюро рекомендуют Мардана Мамедзаде (Мамедова Марлена Имамгулу оглы) в составе делегации для поездки в Монгольскую Народную Республику.

Подписи. 7 ноября 1960 года.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В Центральный Комитет Коммунистической партии Азербайджана.

8 марта 1980 года.

Известный писатель, лауреат Государственной премии, член КПСС с 1951 года Мардан Аладаглы (Марлен Имамгулу оглу Мамедов) родился в апреле-мае 19З0 года в семье интеллигента в селении Гарадере (бывшее Энгельс) Аладагского района (бывший Маркс). С юных лет привлек внимание литературной общественности, его произведения имели широкий резонанс среди читателей. Мардан Аладаглы всегда держит руку на пульсе времени, создавая значительные произведения на самые актуальные темы. В его новом романе «Благодатная осень» отражена большая созидательная работа, проводимая в последние годы в нашей республике, возрождение земли на примере села Гарадере. С особой гордостью и вдохновением живописует автор награждение нашей республики красными знаменами. Эпиграфом к произведению послужили слова Генерального Секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума ВС СССР, большого друга нашего народа, дорогого Леонида Ильича Брежнева: «Широко шагает Азербайджан!».

В апреле-мае этого года Мардану Аладаглы исполняется 50 лет. В связи с этим, просим присвоить известному писателю почетное звание.

Подпись.

8 марта, 1980 год.

БЕСЕДА ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ МЕРД ОНДЕРА, ПИСАТЕЛЯ МЕРД ОНДЕРА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ

«БАЗАР» БАХАР ГЮНЕШЛИ[[10]](#footnote-10)

Мардан Мамедзаде, Мардан Аладаглы, Мардан Ондер и, наконец, Мерд Ондер… Я давно мечтала встретиться с этим замечательным, неповторимым мастером слова, чутким гражданином, прожившим блестящую жизнь в искусстве. Когда я произношу имя Мерд Ондера в моем воображении сразу же встает доблесть Атиллы, мудрость Зардушта, достоинство Бабека, мужество Шах Исмаила, щедрость Гаджи Зейналабдина, храбрость Мамед Эмина, поэзия Шахрияра. Наконец-то мне улыбнулось счастье: мой собеседник – звезда современной литературы Мерд Ондер. Прежде всего я поздравила мастера с литературной премией, которая носит имя самого Мерд Ондера. Сердце мое трепетало, как лист мяты, и это не укрылось от зорких глаз гениального писателя. Со свойственной ему заботливой чуткостью он просил у меня мое имя. – Бахар, – ответила я. – Это имя дали мне родители. Зато псевдоним я выбрала сама: Гюнешли. Да, Бахар Гюнешли. В честь вашего первого роман. Романа «Солнечная весна».

Удивительно, что великий мастер не вспомнил о существовании этого произведения. Поразительно скромен выдающийся художник, который не помнит ни названия, ни содержания большинства своих повестей и романов, кроме тех, что написаны в последние два-три года. Однако детские годы прекрасно живут в его памяти. И мостик к нашей беседе мы перекинули из далеких детских воспоминаний.

Дорогой мастер, вы появились на свет прекрасным осенним днем 28 мая. Почему же до сих пор это неизвестно вашим биографам?

– Доченька, да разве можно было упоминать эту дату? Ведь 28 мая – день рождения первой на Востоке исламско-тюркской республики – Азербайджанской Демократической республики. Я горд сознанием, что родился на свет именно в этот день, однако в те времена открыто говорить об этом было опасно. Да канут навечно в прошлое те проклятые времена! Собрались в нашем доме аксакалы и мудрые старухи и дали добрый совет моим родителям: запишите в документах, что он родился 28 апреля. То есть в самый отвратительный, в самый черный день нашей истории. А теперь представьте себе, какие нравственные мучения я испытывал, вынужденный жить с таким пятном. Однако, с другой стороны, дата «28 апреля» в моих документах была своего рода насмешкой, иронией, сарказмом. Если хотите, вызовом Советской власти...

– Мастер, многие поклонники вашего таланта дотошно изучили вашу биографию. Они знают, что пришли вы в литературу как поэт. Это стихотворение было первым нежным отростком, посаженным вами в цветнике современной литературы, первой ласточкой окрылившейся в небе творчества. Вы помните этот нежный отросток, эту изящную ласточку?

– Конечно, помню. Очень короткое, лаконичное стихотворение.

В нашей деревне и речка есть,

В небе и Луна, и звезды есть.

Долгие годы я мог прочесть эти строки только самым близким своим друзьям. Представьте себе – Луна, звезды – это же наши национальные символы! Да в то время за одно только упоминание об этих символах с человека могли заживо содрать кожу. Однако и в минуты самых страшных испытаний я не отказался бы от этих строк.

– Браво, мастер, тысячу раз браво! Однако в наших школьных учебниках было написано, что свое первое стихотворение вы создали под впечатлением появления в деревне трактора. Наверняка, это тенденциозное искажение вульгарных советских литературоведов.

– Знаете, Бахар-ханым, в том первом стихотворении действительно промелькнул образ трактора. Но что он символизировал? Я прочту вам стихотворение как есть, а вы сами сделаете вывод.

В нашей деревне и речка есть,

На небе и Луна, и звезды есть.

Если на той стороне мечеть,

То на нашей – трактор есть.

Почувствовали? А теперь давайте его проанализируем. Что же хотел отобразить в этих строках автор, то есть талантливый пятилетний ребенок? Какие затаенные чувства стремился выразить с детской непосредственностью? На той стороне – то есть за границей, есть мечеть, есть религия, вера, а на этой – лишь трактор. Бездушная, без веры, без религии техника – может ли она принести что-нибудь людям? Только безверие, опустошенность, безнравственность. Вот в чем заключался смысл вопроса... Разве могли постичь глубинный смысл четверостишия злополучные советские критики, подобно безвольным рабам исполнявшие указания, Коммунистической партии? Конечно, и я не мог об этом сказать с полной откровенностью. Поэтому сказал с намеком, иносказательно. Хочу еще раз обратить ваше внимание на первые строки. Относительно «луны и звезд» вы все поняли. А теперь рассмотрим строку «В нашей деревне речка есть». Вам, наверное, прекрасно известно, где находится родник, первоисточник реки, протекающей в нашем селе? Да, да, именно в Турции! А теперь скажите мне: мог ли я напечатать в то время это стихотворение? Сторожевые коммунистические псы немедленно обвинили бы меня не только в национализме, но и в пантюркизме. Однако сегодня мне нечего скрывать. Я был тюркистом со дня своего рождения, и горжусь этим. Конечно, я не могу считать эти четыре строки образцом совершенной поэзии. И впоследствии, как вы знаете, я отдалился от поэзии. Однако, согласитесь, что в этих четырех строках, рожденных в глубине сердца пятилетнего ребенка и отражающих самые глубинные чувства и помысли его души, его естества, сокрыты глубокий смысл и глубокие цели. Их надо увидеть, постичь, довести до сознания народа, нации. К сожалению, исследователи моего поколения не способны на такие тонкости. Эта задача падает на плечи таких, как вы – молодых, прекрасных, смелых, сформировавшихся в эпоху независимости. Я верю, что вы с честью справитесь с этой задачей.

– Спасибо, Мерд-бек. А теперь расскажите немного о своих родителях. Читателей, как правило, интересует судьба вашего отца.

– Мой отец – Мешади Сейид Имамгулу был сельским моллой. Естественно, бесчеловечный советский режим с особой жесткостью преследовал подобных людей, являвшихся маяками, нравственной опорой народа. Представляете, до чего дело дошло, если мой отец, чтобы пустить пыль в глаза коммунистам, был вынужден назвать своих детей «идейными» именами. Так вместо Гасымали появился на свет Комсомол мой старший брат, вместо Байрама – Бирмай[[11]](#footnote-11) (мой старший брат), вместо Парвиза – Пионер (младший брат), а вместо сестренки Зейнаб – Зина. Конечно, только по паспорту. В моем паспорте тоже стоит другое имя. Естественно, что мы все знали свои настоящие имена и никогда их не забывали.

– А что стало с вашим отцом? В учебниках написано, что он – жертва репрессий коммунистического режима.

– Они его доконали. Чтобы избежать страшного конца, отец был вынужден бежать в братскую Турцию. Он стал верным соратником Мамед Эмина[[12]](#footnote-12). Всю жизнь вел борьбу с кровавой Советской империей. В прошлом году нам довелось свидеться в городе Игдире. Он держит небольшую шашлычную. Знаете, какой вкусный шашлык там готовят... просто пальчики оближешь. В общем, живет неплохо. Построил новую семью. Вырастил троих сыновей – Аталая, Кубилая, Сабутая. Говорит, дай господь, закончится война в Карабахе, вернусь домой – помирать. Эх... жизнь! Верно подмечено: гулять хорошо на чужбине, а помирать – на родине.

– Мастер, еще несколько слов. О вашем новом романе. «Кровавая зима»...

– «Кровавая зима» – это символ семидесяти лет, которые мы прожили в советской империи. То есть, с одной стороны, смертельный холод, с другой – кровь, смерть, страдания. В своем произведении я разоблачаю жестоких врагов нашей нации – Ленина, Сталина, Кирова, Микояна, Горбачева. Я очень сожалею, что на заре перестройки, не вникнув в суть дела, немного поторопился. Написал статью, посвященную Горбачеву под названием «Наша опора и надежда». Я признаю, что это была моя ошибка. Однако кто не ошибается... Достойное место в произведении занимает борьба славных мусаватистов за независимость Азербайджана в 1919 году. В то же время раскрывается истинное лицо национальных предателей.

Вспоминаю я и о непростительных ошибках Нариманова. Поборник национальной чести, мудрый старец Бахрам-бек говорит ему – «Жаль, Нариман, не пошел тебе впрок хлеб народа».

– Мастер, мы знаем, что ваш юбилей должен был состояться два года назад. В 1990 году.

– Сам не захотел. Не захотел никаких почестей со стороны слуг тогдашнего московского режима. Правда, дали мне орден, поздравили, вышло множество статей в газетах и журналах, прошли передачи по радио и телевидению. Однако от торжественного вечера я отказался. Меня в то время и в Баку не было. По приглашению общества «Ирандуст»[[13]](#footnote-13) я читал в Тегеране лекции. На тему «Возвращение к арабскому алфавиту – это возвращение к нашей святой религии». Мои лекции, скажу без ложной скромности, имели большой успех.

– А в 91-м году ваш 61 год, конечно же, «не вспомнился» властям.

– Меня и в то время не было в Баку. Находился в Турции по приглашению общества «Тюрксевер оджагы»[[14]](#footnote-14). Читал лекции на тему «Будущее тюркских народов – латинский алфавит». Пользовались большой популярностью.

– Ну уж в этом-то году, хотя вам и 62 года, юбилей должен быть отмечен.

– Знаете, Бахар-ханым, не хочу я никаких торжеств в столь трудный для народа час. Мой юбилей хотели провести на площади Свободы. Я не согласился. «Можно провести и на республиканском стадионе» – сказал я. В эти тяжкие дни все наши помыслы должны быть в лагерях для беженцев, на фронте.

– Мастер, расскажите о своих творческих планах.

– При советском режиме меня подвергали преследованиям, давлению. Но отвратить меня от моих убеждений было невозможно. Представляете, меня, без моего ведома, приняли в партию коммунистов. Я даже не знал об этом. Причем, чтобы я не догадался, вместо моей фотографии вклеили в партбилет фотокарточку двоюродного брата. Вот такие дела... Не приведи господи вернуться тем мрачным дням. Если выражаться образно, «весенние проливные дожди мочили нас, жаркие лучи солнца испепеляли нас, холодный осенний ветер проникал до костей, от сурового холода зимы стыли жилы». Видите, на старости лет ударился в поэзию.

Печальная улыбка освещает лицо мастера. Сколько света, сколько страсти в этих пламенных взорах, господи. Отпив глоток чая, он продолжает:

– Роман, над которым я сейчас работаю, называется «Времена года».

– И, наконец, последний вопрос. Вы знаете, что наша газета – независимый орган печати, мы не принадлежим ни к какой партии и в политику не вмешиваемся. Газета называется «Базар», что свидетельствует о нашей приверженности рыночной экономике. Ваше мнение на этот счет.

– Будущее нашей нации – это рыночная экономика. Только рыночная экономика может вывести и страну, в том числе и мое родное село Гарадере из нищеты и отсталости. Я желаю вам и всему молодому, доблестному коллективу газеты «Рынок» творческих успехов. Мы должны, если надо, сгореть как кябаб на избранном пути. Назим Хикмет, хотя и был коммунистом, хорошо сказал: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, как же зажарится шашлык?..». Конечно, это шутка.

Мастер смеется. Господи, сколько жизни в этих горящих глазах. Мудрый, оптимистичный, простой, принципиальный в убеждениях, несгибаемый в своих позициях, то гневно клокочущий как вулкан, то нежно-печальный как струна саза... И хотя мастер шутит, мы прекрасно понимаем одну истину: «Из любви к народу Мерд горит как шашлык – донер».[[15]](#footnote-15)

Газета «Базар», 5 мая 1992 г.

ИНФОРМАЦИЯ «АЗЕРТАДЖА»

(1 апреля 1994 года)

Известный писатель лауреат премии имени Мерд Ондера Мерд Ондер, вернувшись из поездка в Китайскую Народную Республику, как и в юности, обратился к поэзии. Он обрадовал любителей поэтического слова поэмой «Весна на китайской стене».

(Продолжение, по-видимому, следует).

Март 1994г. Баку

Перевод Эльмиры Ахундовой

# Обязательно встретимся!..

*Рассказ*

*Ильденизу Куртулану[[16]](#footnote-16)*

– Алло! Джейлан-ханым, мерхаба[[17]](#footnote-17)!.. Я хотел бы...

– Мерхаба, эфенди... Как вы?

– Спасибо, хорошо. А как вы?

– Прекрасно.

– Могу ли я поговорить с господином ректором?

– Сожалею, но ректор на совещании...

– Как и вчера... Вы предложили позвонить сегодня…

– Да, верно.

– Вы передали господину ректору мою просьбу о встрече?

– Разумеется, эфенди! Как я могла не сообщить?

– И что он сказал?

– Передавал вам большой привет. Обещал: «Обязательно встретимся».

– Когда же?

– Позвоните завтра после перерыва. Я вас обязательно состыкую.

– Премного благодарен...

– Не стоит благодарности. Я передам ему. Всего хорошего.

– Хошча галын[[18]](#footnote-18).

– Гюле-гюле[[19]](#footnote-19).

В этот осенний день Стамбул был столь же прекрасен, как весной, может быть, и еще прекрасней. Макушки деревьев оставались зелеными, но листву уже тронула желтизна. Казалось, деревья облачились в желтые блузы и зеленые юбки. С ветвей, кружась и рея по-птичьи, слетали золотые листья. Босфор был битком набит проходящими судами. Вдоль береговой кромки испытывали счастье «рыбаки», закинувшие сети в воду.

Рядом со скрежетом лихо тормознул белый «Мерседес».

– Мерхаба, дружище! – окликнул меня человек, сидевший за рулем. – Рад встрече.

– Мерхаба, Горхмаз бей! Какая приятная неожиданность!

– Куда путь держишь?

– В отель «Конрад».

– Вот и отлично. И мне в ту сторону. Садись. Поговорим по дороге.

Я сел в машину рядом с ним. Привязал предохранительный ремень.

– Как ты, друг мои? Очень рад встрече с тобой... События в Азербайджане весьма, печалят меня. Как-то там сейчас ситуация?

– Ситуация...

– Да, знаю, эфенди, прекрасно знаю. Вся это заваруха козни американского империализма. Понимаешь ли, супермагнаты хотят заграбастать под себя весь мир. Вот и теперь янки норовят прибрать к рукам азербайджанскую нефть, заполучить новые рынки. Так-то мой эфенди. Как нынче наш красавец Баку?

– Видишь ли...

– Да, да, мой эфенди, любезный сердцу моему Баку – уже не тот, не прежний. Помнишь, как мы вкушали осетрину в ресторанчике на Приморском бульваре? И водки пропустили изрядно... Сколько лет минуло с тех пор, уже не знаю...

– Десять лет. Знаешь, сейчас в Карабахе...

– Разумеется, друг мой, напереживался я из-за карабахских событий!.. Дядюшка Сэм перелопачивает мир. Жаль, что и Турция – в его упряжке... Но, поверь, друг мой, любой камушек по Азербайджану ранит меня в самое сердце?

– Спасибо за сочувствие. Это армянская агрессия…

– Знаю, все знаю. Но за армянами вины нет... Их науськивает американский империализм… Ради собственных барышей они готовы потопить в крови весь мир. Не так ли было в Корее? И во Вьетнаме, и в Афганистане…

– В Афганистане первыми начали Советы...

– Нет, мой эфенди. Все это – дело рук империалистов. Они-то и подхлестнули Россию. Цель – доконать Советы и сделать Америку единственной суперсилой, повелевающей миром. И у вас, у азери, вина немалая. Вам бы опираться не на национализм, тюркизм, а на пролетарский интернационализм. Мао говорил, что...

– Мы семьдесят лет опирались на пролетарский интернационализм. В итоге оккупировали двадцать процентов наших земель. И мы оказались в одиночестве.

– Нет, друг мой, не так. Пролетарии всех стран должны поддерживать друг друга. Ким Ир Сен говорил, что…

– Когда ты обзавелся этим «Мерседесом»? У тебя, кажется, прежняя была иной марки?

– Купил в нынешнем году, прежняя была «Рено». Разве же эта не лучше?

– Классная машина.

– Да, у капитализма много таких ослепительных штучек. Шикарные автомобили, люксозные отели, супермаркеты, ломящиеся от товаров, и прочее, но все – мишура. Все, чтобы обмишурить народ. Замаскированная эксплуатация, закон джунглей... Жаль, что и вы избрали этот путь…

– Мы пока ничего не успели избрать. Некогда. Война...

– Разумеется. Очень хорошо понимаю, в каком положении Азербайджан. А где расположен Карабах – на юге или севере Армении?

– Карабах находится не в Армении, а в Азербайджане.

– Ах, да, да, естественно, естественно... Но, в конце концов, знаешь, когда в мире полностью восторжествуют коммунизм, границы отпадут. Азербайджан, Армения и тот же Карабах сольются воедино, различия между странами исчезнут. Капитализм будет выкорчеван с корнем. Не помнишь, что сказал Маркс в марте 1848 года?

– Не помню, что Маркс изрек в марте того года, а вот в марте нынешнего года тысячи турок-азери были изгнаны из своих очагов, родных земель, позамерзали-поумирали в заснеженных горах... А вы, «левые», «внуки» Маркса, и бровью не повели...

– Ты прав, брат мой, прав. Но, видишь ли, какое дело... Люди ежедневно гибнут тысячами и в Африке, и в Южной Америке. И если мы станем выпячивать азербайджанские события, или вмешаемся еще активнее, то это может быть воспринято как расовая солидарность, туранизм, фашизм...

– Странное дело! Губить беззащитных, безвинных людей, женщин, детей – не фашизм, а протестовать против душегубства – фашизм?..

– Ты прав, прав, не сердись! Естественно, в этом вопросе и мы должны сказать свое слово. Но, пожалуй, самое лучшее, предоставить слово тебе. Давай-ка договоримся: пиши в нашу газету «Ишык» – в ежедневную колонку. Как ты на это смотришь?

– Ежедневно – не успею. А вот раз в неделю – смогу.

– Ну, нет, куда же это годится – раз в неделю? Нужно писать каждый день, каждый! Начни немедленно. Напиши сегодня же вечерком. Наутро заберу у тебя. Через день – опубликуем. Еще и телепрограмму специальную организуем! На четырех-пяти каналах.

– Многовато. Хватит и одного.

– Нет, нет. Хорошо бы тебе выступить по пяти-шести каналам. Ты ничуть не беспокойся. Я сам все проверну. Во всех каналах у меня старые приятели. Ну, по рукам?

– Ладно. Так много вещей, которые надо разъяснить... Надо с чего-то начинать...

– Верно! Надо! Завтра же приступим! Но, постой-ка... О Аллах, да мне же завтра в Америку лететь! На конференцию во Флориде, в Майами-Бич, тема: «Крах империализма и торжество коммунизма». Оттуда полечу в Швейцарию – на женевский симпозиум, посвященный теме: «Капитализм при смерти». Затем предстоит форум на Багамских островах: «Капитализм дышит на ладан». Оттуда вернусь домой. В среду свяжусь с тобой. Договорились? Дай-ка мне твой телефонный номер. Ну, вот и ладно… А какие дела у тебя в «Конраде»?

– Встреча. С Гаджи Закир-беем...

– Что? С этим мракобесом? Душа моя, о чем тебе толковать с этим захудалым моллой? Да он же религиозный фанатик. Ретроград, консерватор, поддерживаемый ЦРУ. Издает газетенку «Ана топрак» на деньги арабских шейхов. К тому же – махровый капиталист, производитель мыла «Гаджи Закир». Мало того, что помыкает тысячами бедных рабочих на фабриках, еще и мозги им пудрит своей галиматьей. Откуда ты его знаешь?

– Познакомились в Баку. Он предложил снять совместный фильм.

– Теперь этот прохиндей и за фильм взялся? Учти: все, что ни говорит, ни делает этот тип – фальшь! Когда ни встретишь, спохватится: «Аман, пора мне совершить намаз!» – и был таков. Я не к тому, чтоб ты не встречался, с ним. Но не надейся на него, ни в коем случае! Ну, вот и доехали до твоего отеля. До встречи.

– Итак, до среды?

– Что? До среды? Ах, да, разумеется... Обязательно встретимся! Привет! Удачи!

– Гюле-гюле.

Я вышел из машины. «Мерседес» рванул с места и исчез из виду. Я подумал, что совсем неплохо быть коммунистом и жить как капиталист.

Гаджи Закир, стоявший у входа, махал мне рукой. В отеле было людно. Мужчины во фраках, женщины в пикантных платьях, с весьма смелыми декольте. От перстней, браслетов, колье, подвесок рябило в глазах. В вестибюле витал тонкий аромат духов. Все мужчины, кроме Гаджи Закира, были в галстуках.

– Добро пожаловать, милости прошу, – приветил меня он. – Как ваши дела?

Подошел официант с напитками.

– Что будете пить? – спросил Гаджи Закир. – Я то, вы знаете, не пью. Да, а кто вас подвез сюда на «Мерседесе» – не Коркмаз Деврим ли?

– Он самый.

– Голубчик, а что вам за дело до этого московского выкормыша? Это же агент КГБ! Издает газетенку «Ишыг» на русские деньги. Все, что он ни пишет – ложь, брехня... Ладно уж... Как там дела в Азербайджане, душа моя?

– В Азербайджане...

– Знаю, душа моя... сердце кровью обливается, как подумаешь о вас... Не помните ли, год назад во время приезда в Баку мы с тогдашними властями наметили проект одного контракта. Я бы смог вымостить мылом все бакинские улицы...

– Стоит ли? Случится дождь – люди попадают, ушибов не оберешься...

– Да вы, душа моя, шутник!.. Но что ни говори, а не худо бы там мыловаренный завод построить. Жаль, что власть сменилась, дело наше не выгорело. Хорошо ли вы знаете нынешнего министра торговли?

– Нет.

– Как жаль! Я подумал, что вы могли бы посодействовать в этом деле. Не обижайтесь, но положение в Азербайджане произвело на, меня, удручающее впечатление. Что это за мусульмане, душа моя? Намаза не совершают, оруджа не соблюдают. Женщины ходят с открытым лицом, без чадры.

Я обвел взглядом окружающих.

– Но и здешние дамы не выглядят слишком укутанными…

– Да уж, эфенди, нашу страну сбили с пути истинного. Аллах да покарает эту секуляризацию! Вот вам и плоды – полуобнаженные женщины. Замечаете, как плотоядно пялятся на них мужчины? Это и есть самый пущий грех: зариться на чужую благоверную. Я ведь тоже мужчина, а хоть краешком глаза глянул на них? Нет. И куда нам торопиться? Что за суетные вожделения? Ведь в раю к нашим услугам будут гурии любого рода-племени, любого пошиба и прелестей, не так ли? Что горячку пороть? Что в этом бренном мире? Реальность – по ту сторону, благо – в Исламе. Разве не так?

– Так, мой эфенди.

– По-моему, есть два пути. Либо ты принимаешь все условия Ислама, намаз, орудж, хадж, тасаттюр[[20]](#footnote-20), либо отвергаешь их, но открыто заявляешь: я – не мусульманин, я – русский, грек или армянин. Кстати, сюда приезжал министр торговли Армении, мы заключили хорошую сделку. Построим в Ереване большой мыловаренный завод. Пусть у них мозги встанут на место, пусть узрят своими глазами, что опять же без нас, мусульман, им не обойтись. Отмоются как следует... Впрочем, все равно останутся погаными... Мусульманину одного куска мыла на месяц хватает, а кяфирам десять кусков надобно. На кяфирах грязи много... Потому завод, который отгрохаем в Ереване, должен быть гигантом мыловарения. Как жаль, что в Баку нам ничего не удалось построить. Как вы думаете, долго ли продержится нынешняя власть?

– Не знаю, я ничего не смыслю в мыловарении и в бизнесе. Если вы помните, в Баку у нас был разговор о съемках совместного фильма...

– Как же, как же! Могу ли я забыть? Горю желанием! Уже обдумал и практическую сторону. Есть такой японский режиссер, Акиро Куросава. Может, слышали?

– Слышал.

– Хочу пригласить его. Сценарий, естественно, напишите вы, финансирование – за мной. У вас не будет никаких проблем со средствами. Но я мечтаю о фильме мирового уровня. Что вы на это скажите? Сможем?

– Попытаемся.

– Я и название придумал: «Очищение». Интригующее, неординарное. Не правда ли?

– А тема?

– Объясню. В село приходит молла, довольно молодой, но толковый, с чистыми помыслами, праведной душой. Село – дыра, глушь, люди прозябают в грязи, напастей по горло. Никто не совершает намаз, не держит поста. Молодой молла совершает два благодеяния: наставляет людей на путь истинный, собирает приход, побуждает молиться и поститься. И, второе, заваливает село мылом.

– Конечно, фирмы «Гаджи Закир»...

– Разумеется. Это самое подходящее для крестьян мыло. Вот тут кроется тонкий момент. Обращая сельчан в правую веру, молла очищает их духовно. А физическую чистоту они обретают, отмываясь с помощью мыла. Ну как?

– Не знаю... Надо подумать.

– Вот и подумайте. И Куросава пораскинет умом, для финала фильма я нашел такую концовку, что ахнете. И вы, и Куросава...

– И что за концовка?

– У молодого моллы в селе, естественно появляются враги. Один из них стреляет в него и ранит. Мать молиться за его жизнь, и сын спасен. В финале он говорит сестре милосердия: «Я хочу, чтоб мои раны промывали, только с мылом Гаджи Закира!» Каково?

– Бесподобно! Грандиозно! Но, увы, я не ощущаю в себе сил написать сценарий такого фильма.

– Почему же?

– Причин много. У меня другое предложение: дайте снимем музыкальный фильм. О Сефиаддине Урмави.

– Сефиаддин? Кто это?

– Творец, устад...

– Сефиаддин... Прекрасное имя... Со смыслом: «Чистота веры». Улавливаете, опять напрашивается ассоциация с мылом. Не так ли?

– Есть небольшая разница. Сефиаддин был музыкантом, композитором. Отцом азербайджанской музыки.

– О, я без ума от вашей музыки! Обожаю! «Даглар гызы Рейхан, Рейхан...» Чудесно! Азербайджанские мелодии – прелесть, не так ли?

– Да, наша музыка прекрасна.

– Но... знаете ли, за счет чего!

– Полагаю, за счет таланта народа.

– Нет, суть совершенно в другом! Это русские заморочили вам голову! Они устроили так, чтобы вы посвятили все помыслы музыке и не помышляли об армии, о воинстве. Вот в чем причина ваших сегодняшних поражений.

Помилуйте, разве наличие отменных музыкантов мешает иметь отменных солдат?

– А как же!

– Тогда каким образом, скажем, у немцев есть и сильная армия, и превосходная музыка? Бах, Бетховен, Моцарт…

– Нет же, нет! Это все слова! Все это – русские козни. Уж мы-то хорошо знаем их лукавство. Они умышленно поощряли вас в служенье муз, чтобы легче было разделаться с вами на поле брани. Уж вы извините, но я не могу вложить деньги в фильм, потворствующий русским интригам.

– Сефиаддин жил в XIII веке. В эпоху монгольских завоеваний…

– Вот как? Значит, вы еще в XIII веке предпочитали музицировать, потому монголы и взяли верх над вами. Ну да ладно. Не беспокойтесь. Что-нибудь придумаем. У меня масса связей в мире кино. Есть у меня компаньон – владелец бельевой фабрики. Если подойти к производству исподнего белья с точки зрения религии – мог бы получиться интересный фильм, не правда ли?

– Может быть...

– Не беспокойтесь. Я вам позвоню в среду. Телефон ваш у меня есть. Извините, но вынужден расстаться с вами: подоспело время намаза. Обязательно встретимся!

\* \* \*

– Алло. Мерхаба, Джейлан-ханым! Я бы...

– Узнала вас. Мерхаба! Как вы?

– Спасибо, в порядке. Могу ли я встретиться с господином ректором?

– Увы... его нет.

– Где же он?

– Уехал за город, на отдых.

– А когда вернется?

– После праздников. Дней через десять...

\* \* \*

Я направился к пристани Гаракёй. Вдоль нее выстроились торговцы всевозможной рыбой, зазывавшие покупателей. На противоположном тротуаре приморской улицы также шла торговля.

Русские женщины, обложившись мешками больше самих себя, бойко продавали приобретенные здесь же, в Стамбуле, вещи – часы, украшения, дребедень. Выкатывали глаза на покупателей, еще не усвоивших великий могучий язык: «Ты че это, чудак-человек, русского языка, что ли, не понимаешь? Сказала: три тысячи, и все, «Уч бин лира». Понял?»

На стене вывеска кириллицей:

Русский дом. Ресторан «Миша».

Из мощных динамиков исторгался хриплый голос Высоцкого:

Нет, ребята, все не так,

Все не так, как надо...

С другой стороны доносилась новоиспеченная турецкая песня:

Ах, Наташа, Наташа,

Якдын-бени аташа[[21]](#footnote-21).

Я сел на теплоход, следовавший от Гаракёя до Гадыкея, поднялся на палубу, по обыкновению, так и делал, когда случалось переправляться через Босфор. На палубе можно и покурить (в салонах не положено), и налюбоваться босфорским простором, чарующей панорамой стамбульской бухты. Смотришь – не насмотришься. Прохлада, исходящая от голубых вод, вселяет в душу умиротворение и покой. Но, увы, на сей раз на палубе не обрести ни умиротворения, ни покоя. Молодые болельщики футбольной команды «Бешик-даш», увившие лбы черно-белыми лентами клуба, дули в трубы, били в барабаны, горланили, прыгали, приплясывали, ликуя по поводу удачи любимой команды, сыгравшей вничью с голландским «Аяксом».

Как ни хорошо дышалось на палубе, сколь ни чарующи были открывавшиеся виды, я не выдержал этой какофонии и ретировался в салон, взял чашку чая и примостился в углу.

Вдруг кто-то взял меня за плечо.

– Мерхаба, брат мой, мерхаба! Какими судьбами?

– Ого! Мете бей, рад встрече!

– Здравствуй, душа моя! Когда ты приехал?

– Месяц с лишним тому назад.

– Что же не искал меня?

– Но и вы, находясь в Баку, не изволили...

– Эх, разве в Баку удается выкроить время... Как ты, как твои дела? Как положение в милом сердцу моему Азербайджане?

– Неважное. Знаете ли, новые нападения...

– Знаю, знаю. Душа моя, почему вы так упорствуете, упираетесь?..

– Не понял, мой эфенди.

– Отчего, говорю, вы так упрямитесь? На что вам эти самые три буковки?

– Какие-такие буковки? О чем вы? Вчера армяне напали на семь наших населенных пунктов...

– Знаю, в курсе. Но, неужели вы полагаете, что, сохранив в вашем алфавите букву «X», тем самым осадите армян? На кой черт вам далась эта буква «X», 6удь она неладна?

– Мете бей, в тюркско-азерийском буква «X» необходима. Когда человек смеется, говорят: «Hırıldayır»[[22]](#footnote-22), а когда испускает дух: «Хırıldayır»[[23]](#footnote-23).

– Брось, дружище. И что значит «тюркско-азерийский»? Это же просто диалект, как арзрумский, сивасский или еще какой. Есть единый турецкий, эфенди. У единой нации – единый язык, единое государство, единое знамя, единая столица. Разве не так? Языковые различия – выдумки русских, американцев, – чтобы разобщить нас. Это же уловка. Жаль, что и вы клюнули на эту удочку. Убежден, что это окаянное «X» вам подсунуло КГБ. Мы – братья, мы должны быть одним целым. Оторвите взоры от Запада. Что за душой у Запада? Ничего.

– Во всяком случае, и там появлялись великие личности.

– Кто они? Назови, к примеру.

– Мало ли. Скажем, Шекспир!

– Шекспир? Вот и ладно. А знаешь ли ты, кто он, Шекспир? Турок. Даже из имени явствует. Он в те времена был первым человеком, первой личностью в театре, потому, по-староосмански его называли «Шахси-бир»[[24]](#footnote-24) Понимаешь? Человек, которого англичане считают своим величайшим писателем – турок. Англичане, стало быть произошли от турок.

– И немцы?

– Разумеется. Вслушайся в звучание: «Алмания!» Когда одному германскому королю преподнесли яблоко, он спросил: «Алманийе?»[[25]](#footnote-25) Отсюда и пошло название страны. Вес европейские народы – тюркского происхождения. Прискорбно, что с принятием христианства они пришли в упадок.

– А Восток?

– Точно так же. Как называется столица Японии?

– Токио...

– Нет. «Догу кёй»[[26]](#footnote-26). Вот какие дела, любезный мой братец. И Запад, и Восток все отхватили у нас. Но это так не останется. В скором будущем мы все вернем назад. И наше знамя возреет от Атлантики до Тихого океана.

– По мне, будет лучше, прежде всего, водрузить наше знамя в Шуше и Лачине.

– Это потому, что вы мыслите малыми масштабами. У вас узкий кругозор. К этому вас русские приучили. Ваша культура, искусство сплошь русской и европейской закваски...

– Это не так. У нас есть такой композитор мирового уровня, как Узеир Гаджибейли. Вы хоть его слушали?

– Слушал, разумеется. Узеир Гаджибейли – всецело итальянский композитор.

– Что вы, душа моя! У него отец турок, и мать турчанка. Родом из Карабаха. Опера «Кёроглу»...

– ...совершенно итальянское произведение. Какой же турецкий композитор стал бы использовать европейские музыкальные инструменты – фортепиано, скрипку?

– Это вопрос спорный, дискуссионный.

– Ну, вот и подискутируем. Будет очень полезно. Я организую. Устроим прием в крупном отеле, пригласим прессу, телевидение. Проведем дискуссию при публике. Твое пребывание здесь – хороший шанс. Вот мы и воспользуемся им. Извини, я засиделся тут, спешу на встречу.

– Мы не обменялись телефонными номерами.

– Пустяки. Я тебя разыщу. Где ты остановился?

– В Ускюдаре.

– Отлично. У меня там в муниципалитете много знакомцев. Адрес и телефон твой найду. Обязательно встретимся. Но пора вам отрешиться от западного гипноза. Помните: мы – турки. Турецкая нация необорима. А если не угодно быть турками – пожалуйста. (Он произнес последнее слово по-русски).

– Мерси, Мете бей. Пардон, не опоздайте на ваше рандеву.

Я вернулся домой. Спрашиваю у жены:

– Не звонил ли Горхмаз-бей?

– Нет.

– А Гаджи Закир?

– Никто не звонил.

– Ни Омюр-бей, ни Мехмет-бей, ни Доган-бей, ни Осман-бей?

– Говорю же: никто. Только один бакалейщик. Он ошибся в расчетах. Мы ему, оказывается, задолжали десять тысяч лир.

Включаю телевизор.

По первому каналу рыжеволосый мужчина рекламирует:

– Самые совершенные холодильники производит фирма Акай. Акай. Разумеется, только Акай.

Нажимаю вторую кнопку:

– Минувшей ночью на юго-востоке страны террористы убили семь женщин, пять детей, пятнадцать мужчин. Канцлер Коль осудил террористическую акцию...

Третья кнопка: На весь экран – алые губы. Голос диктора:

– Чьи эти губы? Зеки Мурена? Булент Эрсой? Афшар? Ваши ответы сообщите по телефону 000999. сообщившие верные ответы получат в награду шестьдесят миллионов лир и классный спортивный автомобиль. Спешите, не упустите свой шанс...

Переключаю на четвертый канал:

– В результате ударов с воздуха боснийские села обращены в руины, число погибших и раненых достигает десятков тысяч...

Нажимаю пятую кнопку:

– Уважаемый министр, ваше мнение о проблемах Азербайджана.

– Мы окажем всемерную помощь братскому Азербайджану. Но будем действовать в рамках мирового сообщества.

Шестой канал:

– Стой, не двигайся! Я – из полиции. Шевельнешься – разнесу тебе башку!

Седьмой канал:

– И первый, кому была вверена душа, был благословенный Адам... Первым из могилы восстанет посланец Аллаха на земле... И предстанет он в райских одеждах… И люди, явившиеся на место Страшного суда, будут ждать суда Всевышнего тысячу лет...

Восьмой канал:

– Ты не женишься на мне? Хочешь – женись, не хочешь – воля твоя. Только звони мне. В Америке я познала многих мужчин: китайца, маори, эскимоса, зулуса… желтокожих, цветных, чернокожих… Самых разных… Даже с инопланетянином имела дело… Звони мне по телефону 999000, и я поделюсь с тобой моими грезами…

Девятый канал:

– Многие азери, пытавшиеся спастись, на иранском берегу пустившиеся вплавь по Араксу, утонули… Каким мылом ты пользуешься? Я моюсь мылом «Гаджи Закир». Рекомендую и тебе «Гаджи Закир» – гроза грязи, краса туалета!..

\* \* \*

– Алло. Мерхаба, Джейлан ханым...

– Здравствуйте. Узнала. Как ваши дела?

– Вернулся ли ректор из каникулярного отдыха?

– Да.

– Могу ли я увидеться с ним?

– Увы, он на весьма конфиденциальном заседании. Завтра я вас обязательно свяжу с ним.

\* \* \*

Иду домой. Спрашиваю у жены:

– Звонил ли Горхмаз-бей?

– Нет, ни Горхмаз-бей, ни Горхан-бей, ни Орхан-бей, ни Омюр-бей, ни Кёмюр-бей... Никто. Даже бакалейщик не звонил. Я ему еще утром уплатила долг, и не десять, а пятнадцать тысяч лир. Опять он ошибся в расчетах.

\* \* \*

Подняв телефонную трубку, набираю номер.

– Салам. Могу ли я встретиться с Горхмаз-беем?

– Коркмаз[[27]](#footnote-27) бей за границей, эфенди.

– Разве он не вернулся из поездки?

– Вернулся, но вновь уехал.

– Куда же?

– В Париж. Там состоится демонстрация протеста против недопущения баскетбольной команды пигмеев на турнир в Америке.

\* \* \*

– Алло. Мерхаба! Могу ли я увидеться с Мете-беем?

– Нет, мой эфенди. Он отбыл на Алтай. Археологи обнаружили челюсть Бозгурда[[28]](#footnote-28). Мете бей в связи с этим проведет там семинар.

\* \* \*

– Алло. Салам-алейкум. Можно ли попросить к телефону Гаджи Закир бея?

– Гаджи отправился в хадж[[29]](#footnote-29).

\* \* \*

Ночью я не смог уснуть. Стоило закрыть глаза, как мне мерещились то губы Булент Эрсой, то пигмеи, играющие в баскетбол, то челюсть Бозгурда. Я поднялся с постели и засел переводить на азербайджанский книгу Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов».

Наутро, как было условлено, я позвонил в приемную ректора.

– Алло. Мерхаба, Джейлан ханым!

– Мерхаба! Я не Джейлан, а Марал.

– Мы вчера условились... Где же она?

– В отпуску.

– И когда вернется?

– Кто знает... Она на сносях. После родов, месяца через три-четыре, иншаллах, вернется.

– Марал-ханым, я уж сколько дней, недель, месяцев пытаюсь увидеться с господином ректором. Нельзя ли наконец...

– Весьма сожалею, но он уехал в Анкару. Женится.

– Да благословит Аллах, да будут счастливы все. Пусть женятся, народят детишек, живут в мире и согласии.

– А кто будете вы, эфенди?

– Я из Азербайджана.

– Боже! Очень я переживаю за Азербайджан. Хотите, запишу вашу просьбу. Ваше имя?

– Имя? – я на миг помедлил. – Джельсомино.

– Джельсомино? Экзотично... Похоже на итальянское. А что, в Азербайджане это распространенное имя?

– Очень, – отозвался я. – Чао, чао, бамбино! Ариведерче Рома!

– Ой... да у вас, никак, по-итальянски разговаривают?

– Ну да. Мужчины – по-итальянски, а женщины – по-пигмейски.

– Неужели? Как интересно! Могу ли я задать вам вопрос, бей эфенди?

– Конечно.

– А на каком языке тогда общаются между собой мужчины и женщины?

– На японском.

– На японском?! Поразительно!

– Да, да, Акаи-даи! Фудзияма! Акиро Куросава! Харакири!

– Премного благодарна. Вы очень любезны. Надеюсь увидимся.

– Обязательно встретимся – сказал я.

\* \* \*

На Босфор, со стороны Мраморного моря волнами наплывала влажная пелена. Было холодно. Постепенно появляющиеся минареты на противоположном берегу, окутанные туманом, казались сказочным видением. Пассажиры, в погожие дни высыпавшие на палубу, сейчас попрятались по салонам. Я стоял на палубе в одиночестве. На миг мне показалось, что я один-одинешенек не только на этой палубе, но и вообще на этом теплоходе, по несколько раз на дню переплывающем из Европы в Азию и из Азии в Европу... одинок и в Европе, и в Азии...

Глядя на мартынов, выстроившихся в ряд на приближающемся моле, я подумал: о чем, интересно, думают эти птицы, созерцающие людей, которые ежедневно переправляются на судах с берега на берег?

Мне казалось, что теплоход идет слишком медленно. Мне надо было поспеть домой к шести. Было полшестого. Едва теплоход пристал к причалу, я соскочил на берег и подбежав, вскочил в маршрутное такси. Без десяти шесть сошел с машины у дома, кинулся вверх по лестнице и без пяти шесть вошел в квартиру. Ровно в шесть, минута в минуту раздался телефонный звонок, которого я ждал. Поднял трубку, зная наверняка, кто звонит, и сказал:

– Мерхаба, Ильдениз-бей.

– Мерхаба... В минувшую неделю мы условились, что я позвоню вам сегодня в шесть.

*5 ноября 1993 г*.

Седьмого ноября гигантский город обезлюдел. На улицах, проспектах, площадях, бульварах, парках – ни души. Машины, маршрутки, такси, автобусы, трамваи застыли без движения. Суда замерли, притулившись к причалам.

Птицы недоумевали: что сталось с этим огромным человеческим гнездовьем? Куда подевались люди? Будто разом улетучились. Отчего замерло движение? Почему не трогаются с места грузовики и поезда?

Где было знать птицам, что в этот день запретили выходить из дому, – в канун выборов счетчики обходили квартиры, занося избирателей в списки. Не усидевшему дома, отлучившемуся грозил штраф. С улиц, площадей из парков, бульваров время от времени доносились только звонкие, веселые голоса резвящихся ребятишек. Их-то не брали в расчет, не включали в списки, – еще не доросли до избирательских прав. Они еще не могли избирать.

Но они еще могли выбирать – как жить, как вести себя, как выражаться.

Птицы пребывали в полной растерянности. Удивлялись обезлюдевшим улицам, проспектам, площадям.

Изумлялись, отчего дети такие веселые и счастливые.

Но больше всего птицы поражались тому, что дети нисколечко не лгали.

7 ноября 1993г. Стамбул

Перевод Сиявуша Мамедзаде

***ЧИНГИЗУ АБДУЛЛАЕВУ с любовью и дружбой***

Дорогой Чингиз! В трудную пору моей жизни твои книги буквально спасали меня. Запоем читал твои вещи, хотя темпы моего читательского потребления явно уступали темпам твоей писательской плодовитости.

В дни и часы, когда не мог не только писать, сосредоточиться, но и думать о чем-либо без мучительных выводов, твои романы своими острыми сюжетами, динамизмом, обилием неизвестной мне ранее интересной информации отвлекали от горестных дум и мрачных предчувствий, за что очень благодарен тебе. И вот парадокс человеческой или, может быть, писательской психологии, – чтение подряд нескольких твоих книг побудили меня написать нечто забавное, так не соответствующее моему душевному состоянию. Возможно, это тоже один из способов отвлечься и забыться. Нет, это совсем не пародия на твои романы, боже упаси, это некая имитация твоей стилистики, твоих приемов, доведенных мной до абсурда, некая литературная шутка. Впрочем, может, эта невинная шутка имеет и определенный практический смысл – уберечь тебя в дальнейшей творческой работе от некоторых штампов и повторов, неизбежных при скорописи. Во всяком случае, полагаясь на твое чувство юмора, искренне надеюсь, что ты не обидишься на маленькую литературную шалость старшего друга, который высоко ценит твой несомненный талант, твою работоспособность, наблюдательность, эрудицию и уважает твои убеждения, хотя и не разделяет их.

АНАР

4 августа 1966г. Загульба

# ПРИКАЗЫ ПРИЗРАКОВ В ПОГОНАХ

Роман-рапсодия с увертюрой, кодой и с дивертисментами

Все суета сует...

Царь Соломон[[30]](#footnote-30)

О темрего, о моге[[31]](#footnote-31)

Цицерон…

Париж стоит мессы

Москва слезам не верит

Все дороги ведут в Рим

Путеводитель КГБ по

городам мира

«Альма-матер» – пожалуй, называть так это монументальное здание на бывшей Лубянке (ныне вновь площадь Дзержинского), внушающее одновременно страх и восхищение всей планете, было бы не совсем благоразумно, но то, что многие, причем лучшие годы своей жизни он провел под сенью этого Дома с большой буквы, было неопровержимой истиной. Именно здесь он, 17-летний каратист, самбист, дзюдоист, парашютист, свободно читавший, писавший, шифровавший, говоривший, а порой, правда, довольно редко, и молчавший на семидесяти двух языках земного шара, включая санскрит, иврит, папуасский, древнеэскимосский, ритуально-тибетский и все без исключения диалекты и наречия гренландского, осваивал сложнейшую и благороднейшую профессию рыцаря плаща и шпаги, сочетая ее с профессией автора романов о Рыцарях Печального Образа.

Именно здесь Дронго прошел курс обучения сначала в ОРУ[[32]](#footnote-32), затем в ПРУ[[33]](#footnote-33), а в конце и во ВРУ[[34]](#footnote-34).

И вот вновь он в этом здании, прилетев из своего южного города по шифрованному вызову (официально это оформлялось как командировка на презентацию книги «Дядя Степа»). В этот раз он приехал по шифрограмме одного из «призраков» (так на сленге старых кадровых чекистов назывались кадры, официально почившие, но на самом деле существующие и действующие под другими именами и фамилиями).

Итак, он в кабинете с дубовыми стенами, отделанными под орех и обитыми кожей. Под этой «декорацией» – он это знал, было еще несколько слоев из красного дерева, цемента, кирпича, железобетона, оклеенного обыкновенными обоями для полной гарантии; если кто-то когда-либо (хотя практически это исключалось) смог бы снять слой за слоем стены в поисках тайника, найти который надеялся предполагаемый «искатель», он, в конце концов, наткнулся бы на обыкновенные обои, такие же, которыми оклеена любая коммунальная квартира в Москве и во всех больших и малых городах и весях огромной страны, бывшей когда-то его Родиной. Теперь на крохотной территории, неожиданно ставшей нынешней Родиной Дронго, не было ни таких обоев, ни таких коммунальных квартир, ни подобных «призраков» в погонах – с внезапной тоской подумал он. Ностальгия по прошлому, по «чувству семьи единой», по державе, растянувшейся от Карельских озер до Курильских островов – были в последние годы не утихающей болью его души. Вспомнив о Курильских островах, Дронго подумал, что обнаглевшие японцы имеют еще нахальство претендовать на когда-то им принадлежавшие острова, точно так как зарится на Карелию Финляндия, с дерзостью Давида, пользующегося летаргическим бессилием некогда грозного соседа-Голиафа.

В назначенный час Дронго сидел в массивном кожаном кресле с двойным дном, под которым (Дронго это знал) находилось специальное записывающее устройство израильского производства, способное по урчанию желудка определить колебания сердцебиения сидящего в кресле человека, и, следовательно, его душевное состояние. Взглянув на электронные часы, вмонтированные в третью пуговицу жилета (дабы иметь возможность узнавать время незаметно для окружающих), Дронго удивился непунктуальности шефа ВРУ – прошло уже сорок секунд после установленного для встречи времени. Он, как и генерал ВРУ, впрочем, как и другие офицеры ОРУ и ПРУ, был высоким профессионалом, а для истинного профессионала опоздание на сорок секунд порой могло обернуться потерей целой страны, если не континента. Дронго вспомнил, как телефонный звонок из Москвы на остров Фиджи, опоздавший на тридцать секунд в 1964-ом году, стоил нам потери континентального Китая с его миллиардным населением, а затем и Северной Кореи, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, а в самое последнее время Монголии и Анголы. Но Дронго все же недооценил степень профессионализма генерала ВРУ, который уже 50 секунд наблюдал за своим гостем из щели, специально сделанной в морозильной секции огромного холодильника, стоящего в углу комнаты. Да и холодильник только снаружи казался таковым, на самом же деле так маскировалась потайная дверь, через которую по персональному эскалатору можно было спуститься на неотмеченную на карте станцию Метрополитена и по закрытым для обычных поездов рельсам добраться до окраин Урюпинска, где у ВРУ был собственный космодром с готовыми в любую секунду взлететь в любую точку Солнечной системы космическими кораблями. О существовании этого космодрома, который, несмотря на все усилия и триллионы затраченных долларов, никак не могли засечь все службы ЦРУ, ФБР, МОССАД, ИНТИЛИЖЕНС СЕРВИС, знали на земле всего три человека – генерал ВРУ, Главный Конструктор, имени которого никто не знал, в том числе и сам Главный Конструктор, и сторож – дядя Вася.

Дронго же узнал об этом сверхсекретном объекте лишь при помощи своего аналитического ума, который всегда путал карты всех разведок и контрразведок всех ведущих и ведомых стран мира. Дело в том, что случайно узнав про тайную страсть генерала выпивать обязательно на троих, Дронго догадался, что вторым мог быть только Главный Конструктор, а, пропустив биографию Главного Конструктора через компьютер новейшего поколения японской фирмы «АУМ СЕНРИКЕ», Дронго без труда обнаружил имя его друга детства, Василия Ивановича. Остальное, так сказать, было делом техники, и для профессионала уровня Дронго не составляло никакого труда. Через «Интернет» он определил местонахождение Василия Ивановича – Дяди Васи – в сорока двух километрах, семидесяти метрах и двадцати сантиметрах от Урюпинска – здесь находился эпицентр сверхсекретного космодрома – с точностью до миллиметра вычислил Дронго.

Сейчас, внезапно почувствовав запах легкого винного перегара портвейна «Агдам» со стороны холодильника, Дронго сразу насторожился. Он попытался трезво разобраться в сложном клубке чувств и мыслей – сугубо личных, сокровенных с одной стороны, и рационального, аналитического умозаключения с другой. Личные чувства были, как всегда, остро ностальгическими. Перегар от портвейна «Агдам» напоминал ему то великое и прекрасное время, когда большая страна – как бы ее ни называли – Первой Страной Трудящихся, родиной Пролетариата или Империей Зла – составляла одну шестую часть суши, и на ее бескрайних просторах от Таймыра до Памира люди упивались одним и тем же «Агдамом». И разве все эти виски, шерри-бренди, джинны, вермуты и ликеры, наводившие огромную территорию, ныне обозначаемую СНГ (буква Г. не случайно венчает эту убогую аббревиатуру с горьким сарказмом подумал Дронго) – служат лишь разъединению людей. Теперь каждый умирает и пьет в одиночку. И куда делось это чувство здорового коллективизма, воплощенное даже в комбинации из трех (не пальцев, разумеется) соратников-единомышленников, бражничающих братьев.

Дронго задумался о сакральном смысле цифры «Три». И Бог, как говорится, любит троицу, и три богатыря, три мушкетера, три толстяка, Третий Интернационал, и Москва – Третий Рим, и трое мишек в сосновом бору Шишкина, и три поросенка, и три источника – три составные части марксизма, и, наконец, многократно оклеветанные, опороченные, оболганные, опозоренные разного рода «демократами» – дерьмократами Тройки НКВД... Все это будило в душе Дронго острые ностальгические чувства по ушедшему Прошлому, которое, конечно же, в это он свято верил, еще возвратится в Будущем, но, увы, еще не стало полностью Настоящим. Эх, Тройка, Тройка, куда же ты мчишься? Хорошо, что есть еще заставка программы «Вестей», и горе-демократы не догадались отменить мужские костюмы-тройки – подумал Дронго, поглаживая пуговицы своего бронежилета.

Сомнений не было: запах шел со стороны холодильника и, быстро просчитав все возможные альтернативные варианты, Дронго шагнул к холодильнику, нащупав одновременно парабеллум подмышкой. Генерал ВРУ тоже умел быстро считать, оба они были высокими профессионалами, но на какую-то долю секунды Дронго вычислил раньше и, быстрым шагом преодолев расстояние, резко распахнул двери холодильника.

– Здравствуйте, генерал – сказал Дронго.

– Мне много рассказывали о ваших феноменальных аналитических способностях, – сказал генерал, – но такой быстрой реакции, признаться, даже я не ожидал. Что же, давайте знакомиться, Дронго, – сказал генерал, протягивая руку – Ежов.

– Что же будем считать, что так и есть – с явным подтекстом ответил Дронго, давая понять, что прекрасно осведомлен. Перед ним стоял не «Ежов», а «Ягода». Как бы то ни было, это его не касалось. Дронго теперь был гражданином совсем другого государства, непонятно каким образом ставшего его Родиной, хотя время от времени, примерно два раза в неделю получал вызовы из Москвы от «Берии», «Менжинского», «Вышинского», «Андропова» или «Крючкова». Разумеется, Дронго отлично знал, что все эти фамилии не настоящие, и генерал ОРУ по фамилии «Менжинский», на самом деле полковник ПРУ «Вышинский», «Берия» это «Микоян», а «Микоян» – «Примаков».

Порой офицеры ПРУ, ОРУ и ВРУ в целях конспирации выдавали себя за интендантов ЖРУ[[35]](#footnote-35), МРУ[[36]](#footnote-36), ТРУ[[37]](#footnote-37) и Секретного Разведывательного Управления (последние называли себя полностью, а не аббревиатурно из-за естественной скромности и стыдливости).

– Итак, я слышал, вы не хотите соглашаться на наше предложение, – сказал «Ягода», выдававший себя за «Ежова».

– Нет, – твердо сказал Дронго, – в эти игры я уже не играю. И потом учтите, я теперь гражданин другого государства.

– Ну, это мы легко утрясем, – усмехнулся «Ягода-Ежов», – как раз таки, если вы согласитесь на осуществление нашего плана в скором времени, ни вы, ни ваше государство не станете для нас иностранными. «Кто же он на самом деле и откуда? Из ВРУ, ПРУ, МРУ, ТРУ или Секретного Разведывательного Управления? – думал Дронго. – Какова его настоящая фамилия?» Конечно, при некоторых усилиях Дронго смог бы вычислить подлинную фамилию своего собеседника, ведь, он, Дронго, был одним из трех (Три! Опять эта сакраментальная цифра) специалистов в мире по разгадыванию фамилий. Это только простодушные люди думают, что настоящая фамилия Сталина Джугашвили, а Ленин, Ульянов и Бланк – одно и то же лицо. А еще более наивные люди до сих пор уверены, что в Мавзолее на Красной Площади выставлена на всеобщее обозрение пожелтевшая мумия именно этого человека, у которого до сих пор растут ногти на пальцах рук и ног. От того, что об этом знал Дронго, перевернулся бы в гробу, вернее в саркофаге Ленин, если бы на самом деле там лежал он.

Впрочем, только ли эту тайну сильных мира сего знал Дронго, профессионал высокого класса, когда он верой и правдой служил великой державе, которую так бесславно уничтожили трое (опять трое – о Господи!) в Беловежской пуще. Один из них впоследствии прославился как дирижер, под руководством которого позорно выводили из Германии – исконно советских земель – бывшие советские же дивизии. Впрочем, и музыка звучала фальшиво, то ли музыканты не допили, то ли дирижер перепил. Но все началось гораздо раньше, когда ихнее ЦРУ переиграло все наши РУ, всюду внедрило своих агентов влияния, и одним из них – первым среди равных – стал человек с меткой дьявола.

В это время Дронго лечился от подагры в Гималаях, иначе он ни за что бы не допустил развала Великой державы. Дронго до сих пор не мог простить своей собственной вины за развал огромной страны, которая когда-то была его единой, могучей Родиной и которую, как крупную купюру разменяли на мелкие и раздали каждому по мелочишке-медяку так называемой независимости. Прослушав по «Маяку» в Гималаях где под крышей лечения он вел наблюдения за непальскими монахами-резидентами ЦРУ, трансляцию Съезда Народных Депутатов, Дронго по накалу аплодисментов и шороху покашливаний определил, специальным голландским прибором, соотношения агентов влияния к общему числу делегатов. Ничего хорошего оно не предвещало. Связав непальских монахов-резидентов по рукам и ногам и заперев их в подвале буддистской пагоды, Дронго не любивший всякое насилие, обеспечил их необходимым количеством еды и питья на ближайшие пять лет; кормить и поить их должен был специально пойманный и обученный Дронго Снежный человек.

Первым же самолетом Дронго решил вылететь в Москву, чтобы постараться спасти то, что еще можно было спасти. Конечно, лететь прямым рейсом из Катманду в Москву было рискованно – его могли вычислить агенты армянской диаспоры, которые уже во всю разыгрывали гарабахскую карту. Дронго решил перехитрить всех. Меняя самолеты и рейсы, он с паспортом на имя Джеймса Бонда вылетел через Сингапур, Сидней, Мадагаскар, Гонолулу, Кейптаун, Неаполь, Амстердам и Стокгольм в Рио-де-Жанейро. Здесь специально предупрежденный по каналам космической связи резидент переправил Дронго на борт болгарской атомной подводной лодки, плывущей под либерийским флагом. Подводная лодка, минуя Панамский канал, дабы не дать противнику вычислить очевидный маршрут, прошел под Суэцким каналом, затем через Индийский, Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны, доставил Дронго в Перу, где вождь местного индейского племени чероки Ката-Пульта (на самом деле майор Штази Владимир Вольф) выдал ему паспорт на имя Олдриджа Эймса и переправил на дирижабле в Аляску. Там за проливом была территория его страны, но он не мог доставить себе такого удовольствия пересечь границу – это было бы слишком легко и слишком удобно. Противник сразу вычислил бы Дронго. И ему пришлось менять свой имидж в третий раз за последние три дня. Эскимосские рыбаки – на самом деле ветераны эскимосского рабочего и коммунистического движения, они же секретное подразделение КГБ, чьи отцы были завербованы еще Царской охранкой, в компенсацию за слишком низкую цену при продаже Аляски, помогли создать Дронго новый образ и новую легенду: при помощи несложной операции он приобрел женский облик. Косметическая операция была проведена только на лице, на остальное Дронго не согласился бы ни при каких условиях. Таким образом он превратился в известную политическую деятельницу Баронессу Кокс, и он (она) был (была) за баснословную цену продан (продана) в гарем одного арабского шейха. Шейх прислал из Дубая в Аляску специальный аэробус с эскортом шести истребителей, и через 12 часов Дронго оказался в роскошном гареме с позолоченными дверьми, мраморными лестницами, нефритовым бассейном и с фонтанами из шербета. Ему пришлось прибегнуть ко всему изощренному опыту своего аналитического ума и ко всем ухищрениям высококвалифицированного профессионала во всех смыслах, чтобы избегнуть домогательств нетерпеливого и не в меру прыткого шейха, который, узнав, что его приобретение – совсем другого пола, воспламенился еще более пылкой страстью. Ловко одурачив шейха самыми фантастическими обещаниями неслыханных наслаждений, Дронго ушел через гарем. Правда, для этого пришлось ублажить 35 из сорока жен шейха всего за несколько часов, и уже на рассвете, почувствовав легкую усталость, но осознавая всю всемирную ответственность стоящей перед ним задачи, успешно довел свое многотрудное дело до конца. Рано утром, укутанный с головы до ног паранджой, Дронго с паспортом Г.Нововойтовой пересек воздушную границу страны, которая когда-то называлась СССР и выкрашивалась в единый красный цвет на тогдашних картах, а не выглядело лоскутным одеялом не первой свежести на картах нынешних.

Казалось, все шло нормально, он успевал и еще смог бы предотвратить развал державы. Быстро сбросив паранджу в женском туалете аэропорта «Шереметьево-2», он через форточку перебрался в мужской туалет и, быстро сняв свой роскошный парик с сорока косичками, соорудил из него длинную бороду и пышные усы а ля Руцкой. Как обычно, он остановился в своей любимой гостинице «Пекин». Принял душ, побрился, надушился и заказал обед.

Дронго включил телевизор и одновременно скэллер и скемблер1 в кармане; наверняка номер прослушивается, и Дронго не хотел, чтобы предполагаемый противник располагал лишней информацией, какую из телевизионных программ он предпочитает.

Через двадцать минут в дверь номера постучали.

– Войдите, – сказал Дронго, и еще через двадцать секунд решилась не только судьба самого Дронго, но и судьба огромной сверхдержавы. В дверях стояла официантка, перед неземной красотой которой блекли прелести всех сорока обитательниц шейхова гарема. Нетрудно было догадаться, что, это чудо природы не официантка, а по крайней мере полковник одной, а возможно и нескольких отечественных и зарубежных специальных служб. И одета она была соответственно – блузка от Сен-Лорана, юбка от Кардена, украшения от Тиффани, туфли от Валентино, легкий запах Шанели номер пять сочетался с запахом Шанели номер шесть (с добавлением нескольких капель Кристиана Диора). Шиньон был от фирмы Кляйн, ресницы от Макса Фактора, зубы от дантиста из Беверли-Хилз. Опытным глазом профессионала Дронго определил, что бюст по необъятным габаритам – явное творение не природы, а силиконовой фирмы.

Улучив момент, когда официантка – Мата Хари – расставляла посуду, Дронго незаметно вытащил из ее кармана миниатюрную сумочку и удалился с ней (пока с сумочкой, а не с официанткой, разумеется) в ванную комнату под предлогом принять душ. В сумке, как он и предполагал, находился пистолет с глушителем, два флакончика, один с противозачаточными пилюлями, другой с цианистым калием, карта Москвы, Монте Карло и почему-то Улан-Уде с особенно секретными объектами, рация, телефон космической связи, небольшой аппарат, фиксирующий любой разговор с расстояния 50 километров, прибор ночного видения, два билета на концерт Маши Распутиной, три билета в казино, библиотеку и Сандуновские бани, и конечно, скэллер и скремблер[[38]](#footnote-38).

Кроме того, было несколько паспортов на разные имена и фамилии, удостоверение для входа в детские ясли в Пскове (Дронго знал, что это одна из крыш КГБ), и в клуб феминисток в Сан-Франциско (под этой крышей работало ЦРУ). Впрочем, все это не было неожиданностью для Дронго, он так и предполагал, перебирая содержимое маленькой, с ладонь сумки. Удивил его лишь страховой полис компании по увеличению объема груди. Полис этот гарантировал, что если в разгаре любовной страсти партнер укусит обладательницу роскошного бюста за грудь, компания возмещает обладательнице этого богатства моральный и физический ущерб в соответствующей сумме. Особо оговаривалось, что специальная экспертная комиссия определяет, на самом ли деле это укус мужских зубов. Собачьи укусы, укусы со стороны женщин и укусы со вставными зубами компания не компенсировала.

Аналитический ум Дронго стал соображать со скоростью ЭВМ. Все остальное содержание сумки можно было бы предположить. Но причем эта гарантия от укусов? И, в очередной раз, обрызгивая себя дезодорантом, Дронго внезапно догадался. Ах, вот в чем дело! Как же он не смог сразу вычислить? Явно рассчитывая, что Дронго так или иначе ознакомится с ее сумочкой, она нарочно подбросила туда эту страховку. Цель? Чтобы Дронго поверил бы, что бюст у нее на самом деле силиконовый и никаких иных тайн под ее бюстгальтером нет. «Вот тут ты и попалась», – подумал Дронго. Теперь он точно знал, как вести себя с официанткой-разведчиком и каким образом можно предотвратить развал страны.

Спустив воду в бочке, Дронго прошел в комнату. Несколько нежных слов, легких ласковых прикосновений, вкрадчивый голос, томный взгляд и к тому же, какая удача, по телевизору звучал дуэт Пугачевой и Киркорова, и все пошло как по нотам. Сначала было снято все от Валентино, потом от Тиффани, потом от Сен-Лорана, и, в конце концов, и от Кардена. Дронго не ошибся, – под двумя чашечками бюстгальтера оказалось не силиконовое производство, а два полушария земли с указанием ядерных объектов всех пяти ядерных держав мира. А под трусами была удобно размещена и искусно припрятана подзорная труба. Дронго заметил, что она с любопытством разглядывает нижнее белье Дронго, явно ожидая обнаружить под ним нечто сверхнеобычное и сверхсекретное. Вот тут-то я тебя и надую, – подумал Дронго. К глубокому разочарованию Мата-Хара, под трусами Дронго ничего особого и необыкновенного не оказалось.

Но тут вступили в силу уже другие законы природы, против которых не способна устоять ни одна разведка или контрразведка мира, никакие политические или идеологические установки. Ведь оба – и Дронго, и его партнерша были истинными профессионалами не только в секретах, но и в сексе. И вот время исчезло, слилось в единое – Вечность и Миг, – столетия вместились в минуты, а мгновение длилось дольше века. Состоялась извечная встреча Неба и Земли, Вулкана и Океана. Мужчина проникал в самые глубины Мироздания, женщина принимала все кометы, метеориты, астероиды Вселенной.

И когда, через неизвестно какое время, опустошенные, утомленные небывалой, ангельской и дьявольской одновременно страстью, познав все блаженство рая и всю бездну ада, они спокойно лежали рядом друг с другом, каждый со своим включенным скэллером, Дронго с ужасом осознал, что впервые в жизни пожертвовал своей основной задачей во имя любовных утех. Ибо пока они с официанткой издавали вопли в любовном экстазе (заглушаемые, разумеется, скремблерами и скэллерами), Дронго упустил момент – не успел на заседание Съезда, на котором в его отсутствие агентам влияния удалось отменить шестую статью Конституции – о руководящем положении Коммунистической партии, и таким образом отдали одну шестую часть суши на растерзание остальным пяти.

И вот теперь, годы спустя, горько сожалея об упущенных возможностях, Дронго сидел в кабинете генерала ВРУ-ПРУ-ОРУ и размышлял над своим окончательным ответом на вопрос: согласен ли он выполнить ответственное задание в пойме реки Амазонки, конечным результатом которого станет восстановление шестой статьи Конституции и, соответственно, советской власти на одной шестой части суши, а затем и на остальных пяти. Цель была слишком высокой и важной, но и ставкой за такую высокую цель могла быть жизнь.

На раздумье не оставалось времени, и Дронго решился.

– Согласен, – сказал он по-офицерски четко и затем спросил, – Когда могу приступить к выполнению задачи?

Ни один мускул не дрогнул на лице генерала. Он был профессионалом.

– Через тридцать секунд – сказал «Ежов-Ягода».

– Уже через двадцать пять – уточнил Дронго... Он был еще более высоким профессионалом и быстро высчитал секунды, в течение которых были произнесены две последние фразы.

Генерал снял трубку одного из пятидесяти пяти телефонов и произнес:

– Он согласен, – затем, выслушав слова человека на другом конце провода, твердо отрапортовал;

– Слушаюсь, Феликс Эдмундович!

4 августа 1996г. Загульба

Тексты, в которых не указан переводчик,

написаны автором на русском языке

# Чистосердечное признание

Â последнее время в газете «Азадлыг» объявилась компания «анароведов», которые подчас балагурства ради пытаются выдать себя и за «рзаевоведов». Что тут скажешь, пусть будут рзаевоведами, нет возражений. Чем бы дитя ни тешилось... Но эти «ведуны» пришпандоривают к моей биографии такие дополнения, что, думаю, да я же, оказывается, сам о себе до сих пор не ведаю. Они, видишь ли, знают мою биографию, что, где и когда говорил, лучше меня самого. Ну, спасибочки, что собрали по крохам то, что я говорил и даже никогда не говорил, тем самым, так сказать, обогатив мое устное творчество. Потому им моя самая искренняя благодарность. В связи с этим хочу выразить особую признательность авторам публикаций, вышедших в номере газеты «Азадлыг» от 25-27 ноября. Ибо, в самом деле, есть такие моменты в моей жизни, которые до сих пор я держал в тайне и считал, что о них никто не ведает. Оказалось, что шила в мешке не утаишь...

Короче, в упомянутом номере сей достопочтенной газеты возвещается, что Анар, то бишь, ваш покорный слуга, написав «Сказку о добром падишахе», задавался целью свалить с поста Брежнева и привести на его место Андропова и получил на этот счет особую санкцию. Ну, что тут скажешь? Истинная правда. Поскольку тайна раскрыта, хочу сделать чистосердечное признание и довести до сведения новых поколений, нынешних газетчиков и будущих историков, что это суждение соответствует действительности. Расскажу все, как было, дабы тайна, которая долгие годы камнем лежала на сердце, стала, наконец, достоянием гласности.

Как-то сидел я, попивая чай и почитывая роман Достоевского и Толстого «Идиоты». Вдруг – телефонный звонок; это был Андропов; после привета-ответа он мне говорит, ай Анар, незадача у меня, никак не могу свалить Брежнева и занять его место. Одна надежда на тебя, может, накатаешь рассказ какой или что, доконаешь этого старого бровеносца... Я поначалу замялся, но, в конце концов, он смог уломать меня. Засел я за писание, за ночь накатал «Сказку о добром падишахе» и отослал прямиком Андропову, без перевода. Позже узнал, что Юрий Владимирович сразу по получении рассказа помчался в Кремль, зачитал Брежневу и в ту же ночь бедного генсека кондрашка хватила. И Юрий Владимирович чинно-благородно воссел на троне. Я подумал: ну и ладно, теперь-то от меня отстанут. Но, говорят, человек полагает, а Бог располагает. Минуло несколько месяцев, наконец, я дочитал роман «Идиоты», и мне пришла в голову мысль, что в самый раз перевести этот роман на наш язык.

Я был занят этой задумкой, попивая огнецветный чай, когда из Москвы вновь раздался телефонный звонок. На сей раз звонил Черненко. Сказал, что в курсе истории с Брежневым, теперь ты должен подсобить мне, и никаких гвоздей. Прошу, мол, сработай что-нибудь, чтобы я ниспроверг Андропова и занял его кресло. Долго мы с ним пререкались, пока я дал согласие. Написал сценарий про «Праотца Горгуда», бедный Андропов, едва просмотрев этот фильм, отправился к праотцам.

Я уже взялся было переводить «Идиотов» Толстого с Достоевским, как водится попивая чай, когда вновь заверещал телефон. Да, вы угадали, это был Горбачев. Он говорит: послушай, до каких пор мы будем валандаться-мыкаться с этими стариками, ну, умерли, ну, ушли, теперь дело за нами, молодыми. Кляче – край, псине – рай, слыхал? Будет и на нашей улице праздник.

Я с полуслова усек, куда «меченый» клонит. Нет, говорю, я – пас, увольте, занят, творю. Уже сколько лет как трачу время на «Идиотов». Он не отстает; ну, велика важность, «Идиоты» никуда не убегут, успеется... Ты давай займись путным делом, надо бы нам с Черненко разделаться. Словом, в конце концов, уговорил-таки меня. Сел я за стол и написал телепьесу «Дом у милой впоперек...» Едва друг мой Рамиз Гасаноглу подготовил спектакль и показал на экране, как наутро пришла весть, что Черненко, просмотрев пьесу, приказал долго жить. Потому, любезные читатели, все, что написали в «Азадлыг», – сущая правда, разве что в чуть усеченном виде, может, газетной площади не хватило.

Впрочем, есть еще один момент, не знаю, информированы ли газетчики или нет. Дайте-ка и о нем расскажу для очистки совести. Да, что уж скрывать, в один из дней мне позвонил также и Буденный. Я ахнул, неужто, думаю, и этот усач, орел степной, казак лихой загорелся жаждой власти? А нет, другая у него забота. Плохи дела, говорит, выручай, брат. Видишь ли, со времен Гражданской войны я обожаю довгу[[39]](#footnote-39). Да вот моя половина при готовке все забывает помешивать варево на огне; спрашиваю, в чем дело? Читаю, говорит, всякую ахинею в газетах, уши вянут, руки опускаются. Довга потому сворачивается к чертовой матери... Так вот, накатай что-нибудь этакое, роман, что ли, напечатай, чтобы жену взбодрить, вдохновить, мобилизовать...

Я подумал, надо уважить старика на закате дней, грех отказывать. Написал «Шестой этаж пятиэтажного дома». После до меня дошла весть, что жена лихого рубаки, дочитав мой роман, потеряла сознание, слегла, а маршал на несколько дней остался без горячей пищи и умер от истощения.

Вот тут, как в сказке сказывается, «Гариб зашелся плачем».

Сказал – «плачем» – и вспомнился мне светлой памяти Мирза Джалил: «Почему я плачу? Потому, что приходится жить среди таких людей, и нет никакого спасу».

28 ноября 2000г.

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# Кто дали? Или да здравствует свобода слова!

*Рассказ*

Жаль, что советские времена пошли к чертям. Не было ни богатых, ни бедных. То есть, по правде говоря, были и те, и другие, да только богатый не тыкал в глаза своим богатством, сидел себе в укромном уголочке, кейфовал, и никто со стороны не зарился на его добро, не сгорал от зависти. Не то, что теперь, когда сытый с голодным смертные враги. Нынешние крезы хапают – не нахапаются, хавают – не нахаваются. И бедняки тогдашние худо-бедно, но перебивались. А когда жрать было нечего, дома хоть шаром покати, переключали холодильник в радиосеть, и из эфира сыпались все блага, как из рога изобилия, – план по заготовке мяса выполнили на сто пятьдесят процентов, по яйцам – на все двести, масло, мед, сливки... словом, благодать.

Или, глядишь, стол вместо скатерти газетами накроют и любуются на портреты передовиков, героев труда – колхозников, чабанов, доярок. На первой полосе – крупный рогатый скот, на второй – мелкий, на третьей – куры, цыплята. Ешь глазами досыта.

Тогдашние газеты – особый разговор. Выходило их десяток-полтора, и все писали одно и то же. Прочел одну – считай, все прочитал. Не то, что сейчас, попробуй полтыщи прочесть – изведешься. Еще одно прекрасное достоинство тогдашней прессы: пробежишь заголовок – и сразу ясно, о чем речь, и нет нужды тратить время, просиживая над текстом: «От победы к победе», «За вершиной вершина», «Ленинизм – наш стяг», «Москва – коммунизма маяк», «СССР – оплот мира», «Счастливое детство», «Молодым везде у нас дорога», «Обеспеченная старость», «Золотые руки», «Белое золото», «Черное золото», «Золотоискатели» (судебный очерк), «Мечты сбываются», «Изобилье», «Благодать»...

Прежде мы имели исчерпывающую информацию не только о стране, но и обо всем мире. Печатали сообщения – одно интереснее другого: «Голод в Америке», «Мор в Англии», «Безработица во Франции», «Наркомания в ФРГ», «Коррупция в Италии», «Донжуанство в Испании», «Местничество в Голландии».

Или – «Африка пробуждается», «Азия расправляет плечи», «Заря Востока», «Закат Запада»... – словом, мы имели прочное представление обо всей планете.

Но, сказать по совести, в те времена было и ведомство, именуемое «Главлит», которое никому спуску не давало. Все надлежало завизировать, утвердить в нем, чуть ли не температуру воздуха или привидевшиеся тебе сны...

О 1937-м годе – ни гу-гу, даже пикнуть не смей. А если, положим, ты родился в тридцать седьмом, то во избежание, пиши: мол, родился годом позже...

Короче, будь они неладны, те времена. Нынче, слава Богу, пиши, что хочешь, говори, что заблагорассудится. Хочешь, скандируй: «Да здравствует свобода слова!» А хочешь, кричи: «До-лой!» Никто не прицепится. И журналов, газет хоть пруд пруди. Подходишь к киоску – в глазах рябит. Впрочем, народ подобрал хлесткую рифму к слову «чохлуг» («множество»). Переводить не будем.

Одни названия изданий чего стоят. Крыльев не хватает – воспарить хочется. Одно прикольнее другого: «Домкрат», «Офсайд», «Перпендикуляр», «Перитонит», «Монтер», «Миксер», «Акробат», «Одеколон», «Гянджа-пост», «Нахичевань-тайме», «Газах-пресс», «Гейчай-экспресс», «Имишли-ньюс». «Ленкорань-плюс», «Губа-шлеп», «Шеки-шоп», «Шемаха-хилтон», «Мерезе-мэгэзин»... Ну, и тому подобное. Я еще не говорю о радио и телеканалах: «Рентген-ТВ», «Европа-флюс». Да еще ПОП-ТРЁП (то бишь, Постоянно Охмуряющая Программа плюс Творчески-Развлекательная Ерничающая Программа).

Словом, от радости слезы наворачиваются на глаза, плакать хочется от счастья.

Претензия только к тому, что эти шустрые зеленые теле-радиомальчики и девочки и газетно-журнальные папарацци берут за глотку, пока не выудят из тебя желаемое.

Вчера вот, после участия в энном количестве заседаний, отделавшись от интервью шараге корреспондентов, взяв в кабинете причиндалы свои, собрался умотать домой, как вдруг телефон: «дзинь-дзинь!»:

– Алло, здравствуйте. Вас беспокоит корреспондент из «Радио-кульбита» Вопрошайка Задавалкина. Хотели бы взять у вас интервью. Нельзя ли к вам приехать вот сейчас?

– Нет, – ответил я. – Собираюсь домой.

– А завтра?

– И завтра у меня нет возможности.

– Наши слушатели интересуются вашими суждениями о Джалиле Мамедкулизаде...

– Доченька, – говорю, – я и писал, и высказывался о Мирзе Джалиле неоднократно. Обратитесь на сей раз к другому человеку.

– Но ведь мне поручили взять интервью именно у вас, – девичий голос в трубке задрожал.

– Очень сожалею. Но в ближайшее время у меня нет никакой возможности.

Прихватив целую кучу газет, журналов, пришел домой. Прочитать их раньше не удосужился. Расположившись поудобнее, принялся читать. Развернул газету «Абадлыг». Задержал взгляд на заголовке статьи: «Чем мы кончим?», а тут – «дзинь»!

– Я слушаю.

– Еще раз здравствуйте. Это опять Вопрошайка... Извините, ради Аллаха, но нам обязательно надо встретиться и провести беседу о Мирзе Джалиле. Разрешите мне...

– Милая, хорошая, я же сказал вам – у меня нет возможности. Обратитесь к другому...

Отбой. И снова «дзинь!»

– Добрый вечер... Вам звонят из газеты «Семь пятниц на неделе». Недавно мы прочли ваше превосходное лирическое стихотворение. Мы в восторге. Не могли бы вы сказать... кто та прекрасная дама, которая вдохновила вас на создание...

– Голубчик, не ломайте голову. Это лирический образ, художественное обобщение...

– Нет уж, извините. Наши читатели уже не верят таким сказкам. Убедительно просим сообщить имя, фамилию... если можно, адрес, телефон, номер мобильника этой вдохновительницы... Факс у нее есть?

– Валлах, не знаю, биллах, не знаю. Потому как это не конкретный человек, а… плод воображения...

– Ладно, не буду настаивать. Тогда не можете ли вкратце просветить меня о тематике... содержании ваших других творений? Мне поручили статью о вашем творчестве, но, увы, каюсь, не удосужился прочитать ни одной вашей вещи... Можете ли вы рассказать об их содержании? Минуточку. Включу диктофон. Итак, пожалуйста.

– В некотором царстве, некотором государстве жили-были...

– Ага, ясно. Значит, вы сказки пишете. Теперь другой вопрос, интересующий наших читателей: над чем вы сейчас работаете?

– Пишите, – сказал я после минутного раздумья. – Завершил работу над пьесой «Борода Кащея». Заканчиваю поэму «С милым рай и в шалаше». Близится к концу работа над философским трактатом «Убогий умом уродлив мурлом». Сдал в издательство роман «Тычка, вздрючка, нахлобучка». Параллельно зреет задумка: повесть «Между делом и бездельем».

– Спасибочки! Статью о вас можете прочитать в завтрашнем номере. – Короткие гудки.

«Отделался», подумал я, принимаясь за чтение статьи в «Абадлыг». Едва дочитал первую фразу – «Чем закончатся эти дела?» – как снова затрезвонил телефон.

– Алло!

– Добрый вечер. Вас беспокоит корреспондент журнала «Зыррама»[[40]](#footnote-40) Буян Бедламлы. Хотелось бы взять у вас интервью. У меня несколько вопросов.

– На вопросы отвечать не буду.

– Почему?

– Если отвечу хотя бы на этот вопрос, уже, считайте, интервью получится.

– Но почему вы не хотите давать интервью?

– Потому, – я чувствую, что он не отстанет, – что вы искаженно печатаете мои ответы. Я вам говорил, что в юности увлекался прозой Саган, а вы печатаете «Сагсаган»[[41]](#footnote-41). И с другими высказываниями напортачили. Сожалею, что давал вам интервью. Все. Баста.

Голос в трубке взвился:

– Даете – давайте, не хотите – не надо.

Ду-ду-ду.

Опустив трубку, прочел вторую фразу статьи: «Чем закончатся эти дела? Да ведь уже конец... кранты... С одной стороны...»

«Дзинь!»

– Алло, это из радиостанции «Радио-кульбит».

Я дал отбой.

Перевел взгляд на статью. «С одной стороны...» нет, это, кажется, я уже прочел. «С другой стороны...»

«Дзи-и-инь!»

– Вас беспокоят из «Рентген» ТВ Финтифлюш-ханым. Добрый вечер.

– Вернее, добрая ночь.

– Прежде чем пожелать вам спокойной ночи, должна сообщить, что ждем вас в шесть часов утра на телевидении.

– Ханым, в шесть утра только петухи просыпаются.

– Это говорит о вашей тонкой наблюдательности. В шесть тридцать нам надо выйти в эфир. Потому вам надо быть в студии к шести.

– Видите ли, я по ночам работаю. Ложусь поздно. Боюсь, подведу вас. Мало ли охотников показаться на экране, вы кому-нибудь из них только дайте знать, прибегут ни свет ни заря.

– Нации нужно ваше слово. Вам трудно вставать рано? А разве народу легко? Как же он носит все тяготы? Разве мы все не должны гореть во имя народа... как свеча... Терпеть все лишения... Как говорится в палас обернись – с народом влачись... глас народа – глаз народа... народ отличает зерно от половы... Кто косо смотрит на народ, у того и глаз косой... Представьте себе, если бы народ призвал выступить на телевидении, скажем, Низами Гянджеви. Он бы стал отнекиваться? Взял бы такси и примчался на студию...

– Во времена Низами, по счастью, не было ни такси, ни телевидения.

– Значит, вы должны от имени всех наших классиков, лишенных этих благ цивилизации... высказать наболевшее на сердце и за них... наш народ всегда нуждается в мудром слове интеллигенции. Наш народ испокон веков...

– Ладно, ладно, успокойтесь. Завтра к шести я к вашим услугам.

В ту ночь я не уснул. Боялся проспать и обидеть дух Низами. Встал в пять, побрился, одел костюм, чистую сорочку, нацепил желтый галстук и явился на ТВ «Рентген». Финтифлюш-ханым встретила-приветила и повела в студию.

– Благодарим за то, что пришли. Сейчас дадут толику рекламы, а потом мы в эфире.

– Приготовьтесь, – предупредила меня Финтифлюш-ханым. – Выходим в эфир. Готовы говорить?

– А что я должен говорить?

– Одну только фразу: «Доброе утро, дорогие телезрители!»

Оператор у камеры подал мне знак, ткнув в бок Финтифлюш-ханым.

И я, протирая глаза, выдавил из себя требуемую фразу.

В этот момент погас глазок камеры. Ведущая с чувством пожала мне руку:

– Спасибо, что уважили нашу просьбу!

– Это все?

– Да. Вы не представляете, как наш народ нуждается в мудром слове интеллигенции.

– Я могу идти?

– Минуточку. Сейчас выходить из студии нельзя, начинается другой номер. – И она повернулась лицом к камере.

– А теперь, дорогие телезрители, предлагаем вам послушать чудесную песню, написанную прекрасным нашим композитором Тафаккюром Тамтарамлы на слова замечательного нашего поэта Бабах Бубух Бабата в исполнении несравненной пиромидонны нашего эфира Весьма-ханым.

Самой «пиромидонны» в студии не было. Запустили ленту. Я стал внимать песне. Мне послышалась «сандыг»[[42]](#footnote-42).

– Причем здесь «сандыг»? – шепотом спросил я у ведущей. – Разве песня посвящена сундуку?

– Да вы что! – удивилась ведущая. – Там поется: «Mənim gözəl sandığım»[[43]](#footnote-43). – Она смерила меня укоризненным взглядом. – Речь идет не о сундуке, чемодане, прочем, а о чистой возвышенной любви.

– А-а, вот оно что. Теперь дошло. Значит, песня о любви. Тогда к чему в текст приплетен «айы»[[44]](#footnote-44)? Ведь как-то негоже избранника или избранницу сердца сравнивать с косолапым...

– «Медведь»? С чего вы взяли?

– Она поет: “Mənim ayım, ulduzum”.

Ведущая пронзила меня испепеляющим взглядом.

«Пиромидонна» продолжала с ленты:

– «Sevgilim can, yarım can».

«Ярымджан, – подумал я. – Полуживой. Наверное, старею, отстал от жизни. Нынче изменился и амурный лексикон. Должно быть, модно уподоблять предмет любви мишке косолапому, да еще «полуживому» или «сундуком» обзывать...»

Короче, я тихонько ретировался из студии и добрался до своего учреждения, в вестибюле передо мной выросла девица с микрофоном. И – нежнейшим голоском:

– Здрассь... Я – Вопрошайка Задавалкина. Из «Радио-кульбита». Насчет Мирзы Джалила...

– Девочка, милая, я же вам уже говорил, что... – Она поникла, как фиалка в восточной лирике. В голосе слезы:

– Хотите, чтоб меня прогнали с работы?

– Нет, Аллах упаси.

– Наш редактор сказал: не возьмешь интервью – распрощаемся.

– Ладно, – вздохнул я, – пойдем.

Прошли в мой кабинет. Она воодушевленно включила диктофон.

– Можем начинать, – сказала она. – Джалил Мамедкулизаде великий писатель сатирик, классик нашей литературы, прозаик, драматург. Не так ли?

– Совершенно верно.

– Благодарю вас. Второй вопрос: Джалил Мамедкулизаде – основатель журнала «Молла Насреддин», ставшего популярным на всем Востоке и эпохой в истории нашей печати. Вы разделяете это мнение?

– Полностью.

– Спасибо. Третий вопрос: Джалил Мамедкулизаде и Мирза Алекпер Сабир были сподвижниками и близкими друзьями. Сабир опубликовал в «Молле Насреддине» многие свои сатирические стихи.

– Верно. Опубликовал.

– Выражаем вам глубокую признательность за интересную беседу и ценные суждения о нашем классике от имени всех наших радиослушателей, – выпалила она одним духом и, положив диктофон в сумку, выпорхнула из кабинета.

Только она вышла, как дверь распахнулась настежь, в кабинет вломился усатый детина и с бухты-барахты представился:

– Орлан Тарзан оглу.

– Что-что?

– Зовут меня Орлан. Фамилия Тарзан оглу.

– Звучит...

– Давай подеремся, – неожиданно сказал он.

У меня, по правде говоря, мурашки по коже пробежали.

– Зачем же нам драться? Что мы не поделили?

– «Давай подеремся» – название нашей газеты, – невозмутимо произнес он. – Пришел взять у вас...

– Интервью? – Я немного успокоился. – Я человек не драчливый. Не любитель. Если не трогают, камушки в мой огород не кидают, ни с кем не связываюсь.

– Вы не судите по названию газеты. Мы тоже не драчуны. Так назвали, чтобы читателей заинтриговать. Ведь кто станет читать газету без жареных фактов, разборок, ругни, скандалов? А по сути, мы – газета «гаймага».

– «Маймага»?[[45]](#footnote-45)

– Да нет, гаймага. Сливок общества. Элиты, то есть. «Элита» – иностранное слово, лучше своим пользоваться. И название нашей газеты, в отличие от других, на самом что ни на есть родном тюркском: «Гял далашаг»[[46]](#footnote-46).

– Хорошо, – хоть при драке вспоминаем родимую речь... Что касается интервью, то мои высказывания столько перевирали в печати, что, по правде, нет никакой охоты давать интервью.

– Нет, мы не чета бульварным газетам. Мы, повторяю, газета сливок. Так сказать, сливочная газета. Знаете, кто входит в состав нашей редколлегии? Знаменитейшие люди мира, даже нобелевский лауреат...

– А сами-то они знают об этом?

– Это не имеет значения. Главное – их имена ежедневно украшают наши страницы... побуждают нас держать марку... поднимают нашу планку... хотите, перечислю.

– Ну?

Японский физик, нобелевский лауреат Токанава Тояма, южнокорейская топ-модель мадам Фу, северокорейские лидеры Сен Ким Сен[[47]](#footnote-47), Ким Джим Ир, лаосский принц Ну И Ну, вьетнамский революционер Нам Нум, китайский писатель Хай-Хай (после смерти – Вай-Вай)... Голливудская кинозвезда Кис-Кис, нобелевский лауреат, негритянский пастор Грем Грех, английский общественный деятель лорд Джан-атан

Грипп, пианист Фа Соль, генерал-пацифист Удериан, итальянский тенор Джузеппе Перепелли и живописец Джованни Акварелли. Из России – редактор газеты КПРФ «Завтра будет вчера» и редактор думской фракции «Авось да возвратят»[[48]](#footnote-48) Михаил Хныкин, депутат Думы от аграрной партии Борис Засухин, из Армении известный гинеколог А.Облизьян, из Израиля – лидер партии Исхаг-Мусаг Нохуд Батман, из Египта – профессор Ибн-аль-Бинос, из Ирана – Аятолла Фисинджани, из Турции – бизнесмен Кейфеддин Быглы и политический деятель Ак-чурек Бозбаш, из Западного Туркестана – олимпийский чемпион Тахта-гылынч Хорузбаши, из Восточного – поэт Амандурды Ямандурдыев... продолжать?

– Нет, нет, достаточно. Действительно, «сливки» у вас знатные. Что же вам угодно от меня?

– Хотя бы, чтобы вы ответили на наши вопросы.

– Пожалуйста.

– «Почему ты молчишь»?

– Я? Разве я молчу?

– Нет, вы не так поняли. Каково ваше мнение о фильме «Почему ты молчишь?

– Хорошее.

– А что вы думаете о крепости Эрк?

– Не понял.

– Говорят, эту древнюю твердыню хотят снести. Почему вы не поднимаете голос протеста?

– Не я ли первым забил тревогу?

– Забили?

– Забил.

– Прекрасно. Вы тревожитесь об участи тебризской достопримечательности. Но на глазах у вас губят Ичери-шехар[[49]](#footnote-49), а вы храните молчание.

– Ошибаетесь. Я не раз говорил, писал о недопустимом перелопачивании Ичери-шехар...

– Подняли голос?

– Поднял.

– А как насчет апострофа?

– Чего-чего?

– Как быть с апострофом? Нужен или не нужен он? Почему не выскажете свою позицию? Чего опасаетесь? Интеллигент должен быть бесстрашным. Почему вы не поднимете голос?

– Видите ли, столько проблем на свете, если по каждому поводу драть глотку, можно сорвать голос.

– Что вы думаете о независимости Тибета?

Я уже привык к неожиданным зигзагам интервьюера. Хотел было обмозговать ответ, как Орлан Тарзан оглу перескочил на литературу.

– Что вы можете сказать о поэме Ифтихар-ханым «Старый пес», изданный в Китае? – Я не читал поэмы Уфтихарь... или, простите, Ифтихар-ханым. Китайского не знаю...

– Скоро Мамедгасану ами[[50]](#footnote-50) стукнет 99. Будете отмечать? Какие мероприятия наметили?

– Ждем, пока дотянет до ста, тогда и проведем юбилей.

– А может, он и не доживет до столетия?

– Иншаллах, дотянет...

– Молодые служители муз сетуют, что по вашей милости им уже перестала сниться Нобелевская премия... Что вы намерены предпринять в этом отношении?

– Зондируем почву. Согласовываем. Готовим предложения...

– Еще пять тысячелетий тому назад вещий Горгуд завещал: возделывай и защищай землю свою.

– Светлая ему память. Мудрый завет.

– Но в фильме Эльдара Кулиева «Деде Горгуд»...

– «Деде Горгуд» снял не Эльдар Кулиев, а покойный Тофик Тагизаде...

– Это не столь важно... Английский писатель Джек Лондон в «Десяти днях, потрясших мир «...

– Не приписывайте Джеку Лондону авторство Джона Рида. И не стоит менять его гражданство...

– Ну, это детали. Художник Ривера, убивший Троцкого...

– Ривера был его другом. К покушению причастен Сикейрос.

Мой интервьюер чуть смешался, но продолжал фонтанировать вопросами:

– Первый президент Соединенных Штатов Джефферсон...

– Вашингтон, – поправил я.

– Неважно. Дочь королевы Великобритании Диана...

– Не дочь, а невестка...

– Какая разница.

(Замечу, «информация», которую я выделил курсивом, не выдумка, – все это читано в печати и услышано по телеканалам).

– Ладно, любезный Орлан Тарзан оглу. Все эти «перлы», по-вашему, пустяки. Что же для вас не пустяк?

– Вы пишете о нашем языке. Нет ли у вас намерения написать исследование о частице «ки»?

– Нет, не собираюсь. К тому же о частице «ки» в свое время написал смелый трактат наш выдающийся ученый Кикиев, невзирая на все непотребства окаянного советского режима, и стал еще более выдающимся советским ученым...

Дальше пошли вопросы от водоснабжения бань до нехватки ударных инструментов и самоопределения косовских албанцев...

– Сынок, – сказал я, – повторяю, я не могу ломать голову над всеми проблемами страны и планеты. У меня одна голова, и в сутках 24 часа.

– А как насчет...

Он уже не слышал моих слов, продолжая сыпать вопросами, претензиями, инвективами.

– Баста! – сказал я, потеряв терпение.

– Кстати... почему забыта Басти Багирова?[[51]](#footnote-51)

– Это несправедливость. Она, насколько я знаю, была достойным человеком, настоящей труженицей.

– Что же вы не скажете об этом во всеуслышание?

– Скажу. В ближайшее время. Вопросы исчерпаны?

– Вас часто виноватят, обвиняют... бывает, не без оснований. Ваше отношение к этим обвинениям?

– Такое же, как отношение покойного Алиаги Вахида ко взятию японцами Шанхая.

Кажется, он не врубился. И хрен с ним.

– Еще один вопрос. Ваше отношение к сказке о Красной Шапочке.

– Прекрасное. Чудесная детская сказка.

Его как кипятком ошпарили. Я никак не ожидал такой реакции. Глаза его загорелись, как у кошки, загнавшей мышь в угол.

– Вот в том-то и дело, – он с горечью вздохнул. – В этом-то и наша беда. Если уж наши горе-интеллигенты восторгаются «Красной Шапочкой», то чего еще нам ждать.

– Да ты растолкуй, чем эта сказка тебе не угодила?

– Как это чем? Еще спрашиваете. Кто положительный герой этой сказки, а?

– Как сказать... Наверно, сама Красная Шапочка.

– Ну да, – он иронически воззрился на меня. – А кто отрицательный?

– Отрицательный? – Я чуть растерялся.

– Конечно, для вас это несущественно. Смею вам доложить, что отрицательный персонаж этой сказки – ВОЛК. Да, да. Боз Гурд. Серый Волк. Наш тюркский символ доблести, благородства, достоинства, отваги. Эта сказка – завуалированный пасквиль, выпад против тюркства. И вы не только не осуждаете, не клеймите позором этот опус, а даже превозносите. Это ли не ренегатство?

– Молодой человек, ты же говорил, что мы не будем драться. А понавешал на меня столько собак... ладно, даю слово, – где ни увижу сказку про Красную Шапочку, изорву в клочья, сожгу, затопчу...

Орлан чуть смягчился:

– Вы не обижайтесь. Я верил, что вы из ревнителей нашей нации. На кого уповают – с того и спрос. Можно, я задам последний вопрос?

– Валяй уж.

– Как вы расцениваете Тахмасиба?

– Тахмасиба? – Я не сразу усек, о ком именно речь. – Рза Тахмасиб был одним из ярких мастеров нашей сцены. Как актер, как режиссер...

– А что вы можете сказать о любви Тахмасиба и Заура?

– Какого еще Заура?

– Вашего героя из «Шестого этажа пятиэтажного дома»...

– А-а. Не Тахмасиба, а Тахмины и Заура.

– Ну, пусть не Тахмасиба, а Тахмины. Не суть важно.

– Ладно. Об этом позже. Но ты задал мне кучу вопросов, позволь и мне спросить у тебя. Ты читал «Сборище сумасшедших» Мирзы Джалила?

– Мирзы Джалила Ахундова?

– Нет, Мамедкулизаде.

– Не читал. А что?

– В этой пьесе есть образ американского врача Лалбюза. Он психиатр. Как, скажем, наш Агабек Султанов. Прибыл в наши края из Америки, чтобы лечить наших душевнобольных. Но здесь он становится свидетелем таких закидонов и выходок со стороны людей, слывущих за нормальных и умных-разумных, что не может никак определить, кто умный, а кто псих. В конце концов, отупело блуждая в толпе, выспрашивает: «КИМ ДАЛИ?!» То есть, кто сумасшедший...

Мой собеседник примолк. Впервые я заметил на его лице слабый проблеск мыслительной работы. Затем он, словно спохватившись, напустил на себя важный вид и строго изрек:

– Можете сказать свое последнее слово.

– Похоже, мы на суде. И беседа наша смахивает больше на расследование. Ты – судья. Я – обвиняемый. Теперь ты милостиво предоставляешь мне последнее слово.

– Извольте. Я вас слушаю.

– Последнее мое слово... последнее… такое: да здравствует свобода слова! Урра!!!

28 апреля 2001г. Баку

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# Что отведал? – Крепкого леща!

Потеха

Джанбала был Джан-бала, душевный малый. Звали его, собственно, Джаван, но такой уж был душка, такой паинька, что все звали его Джанбала. С уст его не сходило: «джаник мой», «пряник мой», «лапочка», «папочка». А при встрече с иностранцами прямо соловьем заливался, то и дело сдабривая речь ласково-свойским «джан-джияр»[[52]](#footnote-52); один француз его за это прозвал Жан-Жаном, а заезжий англичанин переиначил в «Джанатан»а. Сослуживцы, когда речь заходила о нем, говорили «Джан-алан», парень – другим не чета. Словом, все были им довольны. Кроме одного – шефа, главреда газеты «Джамашир»[[53]](#footnote-53) Мисгяра Мараглы.

Мисгяр Мараглы иногда подписывал свои статьи как М.Мараг, а на сайте значился как Мис Мар, из-за чего иные несведущие иностранцы принимали обладателя сайта за «Мисс Мар». Но он не обижался: «Журналист не имеет пола».

М.Мараглы слыл акулой пера, трудягой, прекрасным семьянином. Была у него одна-единственная дочь и череда зятьев. Люди души не чаяли в нем. Конечно, были и недоброхоты. Из-за щербатых зубов за глаза его звали не «Мараг», а «Мырыг»[[54]](#footnote-54). А за то, что неусыпно следил за работниками, он схлопотал от недоброжелателей прозвище «Марыг»[[55]](#footnote-55). Но попробуй ему в глаза об этом сказать! Один его грозный вид заставлял поджать хвост. Была и другая причина, но об этом позже.

Сотрудники подразделялись на две масти; одни говорили: «да, да...» другие: «нет, нет».

Стоило шефу огласить некую мысль, как первая масть поддакивала: «да, да, совершенно верно, разумеется». Но если шеф, скажем, в сердцах вздыхал: «однажды и я отойду в мир иной...», тут моментально реагировала вторая группа: «нет, нет, не приведи Аллах!..» Порой поддакиватели и нет-неткиватели терялись: допустим, главред, раздосадованный кем-то, пригрозит: «Вы извели меня вконец, если так дело пойдет, уйду отсюда к чертовой матери!» Поддакиватели прикусывали язык, а нет-неткиватели в один голос выражали бурный протест. Короче, Мисгяр Мараглы был интересной такой персоной. Я упомянул, что страх подопечных перед ним имел еще одну подоплеку. Сейчас самый раз объяснить. Мисгяр-муаллим был ходячий кладезь. Кладезь народной мудрости. Что ни скажешь, о чем ни заведешь речь, он тут же выдаст пословицу, поговорку по случаю. Например, придут к нему сотрудники с жалобой, что зарплату уже восемь месяцев не выдают, Мисгяр Мараглы их сразу утихомирит: «Не умирай, ослик мой, трын-трава взойдет весной...» Усмиренные жалобщики тихо покидали кабинет и ждали еще восемь месяцев.

Приходил новоиспеченный журналист на предмет трудо-устройства и получал от ворот поворот: «Мало было мне шпаны, пришли драные штаны...»

Бывало, сообщали, что в газете, положим, «Нафталан» прошлись по адресу «Джамашира». Он не медлил с ответом: «На других собаки лают, а на нас шакал скулит...»

Услышав о кончине какого-либо раба Божьего, многозначительно изрекал: «Осел откинет копыта, было бы исчадье сыто...» А если велел долго жить кто-то из родных и близких сослуживцев, он извлекал из запасов иную пословицу: «Что плач, что той[[56]](#footnote-56), курица, вой». Или выражал соболезнование таким образом: «С вас покойник, с нас лопата». Мог и философски утешить: «Мертвые мнят, что живые халву едят».

Глядя на оплакивающих покойника, говорил одобрительно: «Плачь, детка, плачь, поминки красны слезами...»

У себя в кабинете над головой он вывесил несколько начертанных изречений: «Купил пшат, продал пшат, достался пшик». «Голодной курице просо снится». «Пара фундуков орех размозжат». «От свиньи и клок пригодится впрок».

Самую излюбленную пословицу он велел выписать большими буквами и напоследок показывал посетителям: «В Исфагани мул взобрался на стремянку, вот стремянка, вот ты сам».

Мисгяр Мараглы гордился и собственно изобретенным афоризмом: «Горячи коня, калачи гоня». О чем бы он ни говорил – о политике, культуре, футболе, разведении гусениц шелкопряда или акушерстве, неизменно завершал словами: «Горячи коня, калачи гоня».

Так вот, больше всего вгоняло в страх коллектив редакции это фольклорное словоизвержение. Стоило шефу открыть «кратер», то, считай, что все надолго окажутся под неудержимым потоком...

Однажды вызывают Джанбалу «на ковер» к главреду.

– Слышал я, что ты холост, – сказал шеф. – Почему ты не женишься? Разве не знаешь: холостяка изъест блоха, и псу под хвост пойдет деньга... Джанбала взмолился:

– Паду к ногам, Мисгяр-муаллим. Мы целый год не получаем зарплату. О каких деньгах вы говорите?

– А что ты написал, чтоб заработать? Или хочешь без труда вынуть рыбку из пруда? Ты хоть что-нибудь сваргань, а потом со мной базлань! Бей гусей, клади в казан... Горячи коня, калачи гоня... Короче, недоволен я тобой. Черт с тем, что ты холостой. Говорят, что холостьба – султанство. Дело, конечно, твое. Но все-таки, сколько в нашей газете корпишь, небо коптишь, ни кола, ни двора, ни жены, ни невесты, ни даже сайта в Интернете...

В этот момент в кабинет вошла расстроенная переводчица Лиза Блюд.

– Мисгяр Мисгярович, – сказала она, – Манзил Мескенли принес мемуары о своем отце, чтоб я перевела на русский. Название: «Мяним дядям нярдир». Я и перевела: «Мой отец – верблюд». А он закатил мне сцену. Вы, мол, оскорбляете моего папу. А чем я провинилась? Я и в словарь заглянула. «Нар» – это верблюд. Как он написал, так я и перевела.

Главред надолго задумался. Затем сказал:

– Передай ему: «дявядян бюйк фил вар»[[57]](#footnote-57).

Переводчица хотела было уйти, как шеф остановил ее жестом.

– Какие пословицы ты знаешь о холостяцкой жизни?

– О холостяцкой жизни? Ну, например... «Холостому – хоть удавиться...»

– Вот видишь, – главред торжествующе уставился на Джанбалу.

– Я не договорила, – дальше: «...а женатому – утопиться...»

Шеф поморщился:

– Это уже лишнее. Можете идти, – повернулся к Джанбале. – Так на чем остановился?

– Интернет, сайт...

– Да, вот видишь, у всех наших работников есть сайты, ноутбуки и выбрали себе имейлы звучные, запоминающиеся: Лиза Блюдкина – «Лиза Блюд», Торагай Гашимов – «Тор.Гаш», Таваккюль Буньятов – «Та.Бун». Вот и ты придумай себе что-нибудь путное. А то Джанбала ли, Ханбала ли, Яхбала ли, куда это годится? Короче, тебе нужен сайт. Чтоб вышел, так сказать, на мировую орбиту. Но для этого перво-наперво тебе надо написать ударный материал. Что написано пером, как говорится, не вырубишь топором. – Шеф извлек из ящика стола пухлый том. – Вот, бери. Пословицы и поговорки. Я сам читаю-перечитываю эту книгу, нахожу темы для себя. Когда дело не клеится, работа не спорится, загляни в пословицы, выищи ответ. Что ни пословица – клад. А? Хорошо сказал? Дай-ка запишу. А то забуду. – Записав, раскрыл наугад книгу. – Вот, например: «Воробей в беях»[[58]](#footnote-58). А? Чем не тема? Причем, актуальная. Или... – он открыл другую страничку. – «Шакал башмаков понатаскал, а ходит бос». Великолепно! «Глухой сказал: слышны шаги, слепой

сказал: идут враги, хромой сказал: давай, беги...» Да это же целая тема... романа, поэмы, комедии... диссертации!.. только бы руку приложить. Или, вот, послушай: «О чем мечтает слепой? О паре глаз, пусть бы один зряч, и крив другой» Кстати, запомни: «Глаз у народа – верные весы»

– Даже если косит? «Один глядит на алычу, другой срывает сливу», – Джанбала решил блеснуть своим фольклорным запасом. Главред сокрушенно вздохнул.

– Вот поэтому ты и не можешь продвинуться вперед! Слышал звон, а не знаешь, где он. Ты не можешь уразуметь, что это совершенно разные поговорки. Не путай одно с другим. – Он снова полистал книгу. – Вот, вот... «Взятка – дорога в ад». Сегодня как раз международная конференция в Хурале. Будут обсуждаться вопросы о коррупции. Беги туда. Может, пофартит тебе, выдашь «фитиль». Не ленись. Кстати, о лени: «Ленивцу говорят: закрой дверь, а он: ветер подует, закроет». Хватит бока отлеживать. Ну, марш, за дело. Впрочем, погоди, я тебе зачитаю свою пробу пера тридцатилетней давности. В молодости, знаешь, и я грешил стихами. Да ничего путного не вышло, подался в журналисты. А вот эти мои вирши можно считать манифестом борзописцев:

Ищи, хватай, тащи пиши,

На нитку факты нанижи,

Лови, газетчик, на лету,

Любую весть, бурду, туфту.

Неважно, правда иль вранье.

Не трусь, не бойся, плюнь на все.

Бегом, бегом, скачи, собрат.

И писанину сдай в печать.

Понял? Усек? Теперь – ноги в руки и вперед!

Джанбала знал: это означало, что аудиенция окончена. Он поднялся. Но он помнил и то, что напоследок шеф непременно изречет: «Горячи коня, калачи гоня». И изрек.

Вернулся Джанбала к себе.

Три дня запоем читал сборник пословиц и поговорок. От начала до конца, от конца до начала. Собрал свои причиндалы, магнитофон, фотоаппарат, камеру и помчался прямиком в Хурал.

Сюда он пришел впервые. Его не впустили.

– Душа моя, я же корреспондент, вот удостоверение, – пытался он втолковать полицейскому.

– Репортерами занимается господин Орудж Оруджев.

– А где он?

– Во-он, в конце коридора. На дверях инициалы. Увидишь.

Джанбала двинулся туда, в самый конец. Видит на дверях: «ОО». Подумал, ага, нашел. Деликатно постучался. Нет ответа. Осторожно приоткрыл дверь, переступил порог. Едва шагнул, как кто-то хлоп его по голове. Откуда ни возьмись, дамы, подбирая подолы, накинулись на него: «Ах ты, бесстыдник, хам, такой-сякой, какого черта ты суешься в женский туалет?»

Да, как говорится, задали ему крепкого леща.

– Я...я... мне сказали... тут кабинет Оруджа Оруджева... – выдавил он из себя заплетающимся языком. – Ведь на дверях написано: «О-О». Тут разъяренные мегеры захохотали, загоготали.

– Вымахал такой, а не знаешь, что «ОО» – означает «пи-пи...».

Короче, кое-как отделавшись от прекрасного пола, он ретировался в коридор, но то ли с перепугу, то ли от волнения, очень ему захотелось пи-пи. Огляделся, видит на одной из дверей надпись: «П.П.» обрадовался: это и есть место, куда короли пешком ходят. Открыл дверь, вошел, хотел было расстегнуть ширинку, как перед ним вырос грозный дядя.

– Куда прешь, охломон? Чего штаны расстегиваешь?

– Я...я... думал, здесь... туалет...

– Туалет – твой отчий дом! Здесь кабинет Паши Пашаева!

На шум собрались и другие работники. П.П. все еще кипел от негодования:

– Гляди на этого наглеца! Вздумал со мной шутки шутить! Изгаляться! Я-то знаю, кто тебя подослал! Мало того, что в газете своей меня облили грязью, теперь и в кабинете моем хотите напакостить?

Тут негодующие помощники П.П. намяли бока бедному Джанбале.

Насилу вырвавшись, он добрался до медпункта. Там промыли рану на голове, наложили мазь, забинтовали.

Едва Джанбала, поблагодарив, вышел из медпункта, как его засекли журналисты и взяли в кольцо. Шустрая девчушка от «НАЗ» ТВ (новое азербайджанское телевидение) уткнула микрофон чуть ли не в губы потерпевшему коллеге:

– Представьтесь. Кто вы? Кто так изукрасил вас?

– Джаник, я корреспондент... репортер...

Девчушка не дала договорить:

– Вот вам и демократия! Вот вам свобода слова. Свобода печати! Глядите, как отмутузили бедного журналиста!

Вперед хотел было протиснуться другой папарацци, но теледевчушка не дала ему и рта раскрыть.

– Какой канал вы представляете, какую партию поддерживаете – «ГАП» (то есть Государственную Азербайджанскую партию), Моллократию», «Охлократию», «Авось-да-возвратят»? Что вы можете сказать о выборах в Мозамбике?

Джанбала, вспомнив о наставлениях главреда, пытался отделаться подходящей случаю пословицей, но репортерка, не дожидаясь ответа, донимала вопросами:

– Холосты? Женаты? Ваши вкусы, пристрастия? Что вы предпочитаете – хаш или кялла-пачу[[59]](#footnote-59)? Что вы думаете об этногенезе? От кого мы произошли – от обезьяны или Боз-гурда?..

– Ай Чик-Чирик-ханым, останови фонтан! – пытался охладить ее пыл коллега из другого канала.

Но она была неистощима:

– В чем вы видите выход из политического кризиса?

Не успела она это выговорить, как сквозь кольцо прорвался лысый верзила и ринулся на Джанбалу:

– Меня задеваешь? – рявкнул он так, что у Джанбалы поджилки затряслись.

Джанбала учуял, что весь этот сыр-бор кончится разборкой, потому кое-как вырвался из окружения и проник в зал заседания.

Конференция только что началась. Председательствующий:

– Уважаемые дамы и господа! В сегодняшнем форуме участвуют многие зарубежные гости. Ибо вопрос, вынесенный на обсуждение, имеет актуальнейшее значение во всем мире. Вопрос о коррупции – одна из глобальных проблем в эпоху глобализации. Наши гости ознакомят с положением дел в своих странах, мы обменяемся полезным опытом в этой области. Позвольте мне представить наших уважаемых гостей. Американский писатель Ганд Болл, господин Фисинджани из Ирана, немецкий композитор Вир Бах, член ирландского парламента О'Кэй, корейский дипломат Ким Сим Там, тибетский монах Адда-Будда, негритянский пастор Грем Грех, вьетнамский партизан Ням-Нум, российский экономист Шапкин, израильский юрист А.Либи, вождь индейского племени Чак-Чук. Давайте поприветствуем наших друзей. (Бурные аплодисменты).

Уважаемые дамы и господа! Как я уже сказал, коррупция – актуальнейшая задача наших дней. Нельзя закрывать глаза на это. Дескать, такой проблемы нет и не существует. Коррупция была, есть и будет. Она имеет место и в нашей стране, как во всем мире. Мы должны подходить к этому с реалистической и прагматической позиции. Пресечь коррупцию и мздоимство невозможно. Если это так, и весь мир воспринимает это таким образом, то мы должны, как весь цивилизованный мир, рассматривать вопрос с правовой точки зрения, в рамках закона. Хотел бы затронуть еще одно обстоятельство. Я решительно против увольнения чиновников, берущих в лапу. Отстраненные хапуги пойдут и сколотят себе некую новую партию и станут нашими политическими оппонентами.

Коллеги! Хочу я спросить у вас: что лучше – иметь коррупционеров в собственных рядах или в стане противников? Позвольте предоставить слово для выступления видному специалисту по этому вопросу уважаемому Первому оратору.

Первый оратор рассказал об исторических корнях, социальных, экономических предпосылках мздоимства, привел уйму примеров из практики взяточничества в разных царствах-государствах; подчеркнул необходимость государственного контроля за этой областью. Надо вести строгий учет, кто, сколько, в каком виде и при каких обстоятельствах хапнул, чтобы своевременно содрать проценты в бюджет. По разработанной нами концепции, продолжал оратор, сумма взятки не должна превышать пятикратный размер жалованья взяткополучателя... Конечно, возможны и исключения. Однако, после долгих дебатов мы пришли к выводу, что эта пропорция оптимальна и справедлива. Проект концепции роздан вам; можете ознакомиться и высказать свои замечания и предложения...

Слово взял Второй оратор, посетовавший, что, хотя во многих передовых странах Европы приняты законы даже о проституции, у нас еще нет веских правовых документов о взятке. Нынче все твердят, что борются с коррупцией. Я не понимаю, если все борются против взяточничества, кто же тогда берет взятку?

По-моему, единственный путь борьбы со взяточничеством – легализация. Нам не грех опереться на опыт советского периода. В советские времена само государство преподносило взятки чиновникам в специальных конвертах. Чем это плохо? Хочу с этой высокой трибуны заявить оборотням, теперь шпыняющим развитой социализм: пусть вам боком выйдет дармовой халявный советский хлеб! (Жидкие хлопки).

На трибуну взошел Третий оратор:

– На днях мне стал известен такой факт: в одном из вузов, не называю, каком, но при надобности могу и назвать, – студенты, не являясь ни на зачет, ни на экзамен, вкладывают зачетку в конверт вкупе с сотней-двумястами баксов и посылают экзаменатору. Это ли не позор?!

– Позорище! – подал кто-то реплику из зала. – Надо же, сто-двести долларов, какой мизер! Была бы хоть сумма приличная. Стыд и срам!

– Да, стыд и срам, – подтвердил оратор, – потому что у нас нет нормативных актов на этот счет. Будь они – можно было бы посылать эти жалкие двести, триста, пятьсот, тыщу баксов не в запечатанных, а открытых конвертах, даже почтовым переводом. Сколько бы времени сэкономили и студентам, и преподавателям! (Топот. Аплодисменты).

Затем выступил Четвертый оратор:

– Надо пересмотреть и школьные программы, – сказал он. – Чему мы учим наших детей? Вспомним «Жалобу» Физули: «Я послал «салам», не приняли, ибо не было взяткой...» Куда мы дойдем, следуя этим путем? Разве человек может прожить одним лишь голословным «саламом»? Одним лишь «перейму печали твои», «паду за тебя»?.. Надо бы, самое меньшее, запретить это произведение Физули, или же сослаться на его собственное признанье: «Поэта речь, конечно, измышленье...»

Пятый оратор вступил в полемику с Четвертым:

– Если бы уважаемый коллега, выступавший до меня, знал, что скажет выступающий после него, он бы, наверно, выступать не стал. Достопочтенный коллега неверно трактует нашего классика. Ведь что внушает Физули? Физули хочет сказать: «Не подмажешь – не поедешь». Хочешь дело провернуть, взяткой ты проложишь путь, не в саламе, значит, суть... Это ли не реалистический, практический, прагматический подход к вопросу?..

Шестой оратор поддержал концепцию, но предложил заменить в тексте «жалованье» на «довольствие»...

Седьмой оратор, представительница прекрасного пола, настаивала, чтобы в этом вопросе женщинам были обеспечены равные права с мужчинами.

Председательствующий поставил проект концепции на голосование с учетом высказанных предложений.

– Кому вверить подсчет голосов? – обратился он к залу.

– Хаглы Хесаблы!

– Кто за? Кто против? Единогласно.

Джанбале запоздало пришло в голову, что и он должен подать голос, так сказать, проявить себя. Он поднял руку.

– Молодой человек с забинтованной головой! Представьтесь!

– Я – Джанбала, – отозвался он, но напрочь забыл, о чем собирался сказать. Напряг память, пытаясь извлечь из ее недр спасительную (совет шефа!) пословицу, но пока он извлекал, председательствующий произнес: «Если вам нечего сказать, пусть счетчики приступят к делу». Джанбала лихорадочно соображал: «Деньги счет любят... Свои люди – сочтемся... Нет. Не подходит. Ага! Осенило!..»

– Я считателю – слуга, несчитателю – ага[[60]](#footnote-60). Поднялся возмущенный шум.

– Что ты мелешь? Если мы не «считатели», выходит, мы тебе слуги, что ли?

– Откуда взялся этот отморозок?

– Ну, мы сейчас рассчитаемся!

– Какая наглость!

– При иностранных гостях...

– Ату его!

Пошли в ход пинки, тумаки, кто огрел стаканом, кто кулаком.

Джанбала, еле-еле увернувшись, нырнул под кресло.

– За что, люди добрые? За что пересчитываете мне ребра?

– Сводим счеты, – съязвил счетчик Хаглы Хесаблы. – Ты свое считай, погляди, что рок сочтет...

Джанбала выкарабкался из зала и рванул к выходу. В голове засело: «...что рок сочтет...»

Он похолодел при мысли, что теперь и от шефа получит нагоняй: «вернулся с пустыми руками».

Проходя мимо здания Совета мудрецов, на фасаде он увидел объявление «... состоится защита диссертации Ахмеда Эндерабади... на тему: «Влияние абракадабры на современный азербайджанский язык».

Джанбала воспрянул:

– Эврика! Это мне Аллах ниспослал!

И проник в здание Совета мудрецов.

Эндерабади на впечатляющих примерах из радио-телепередач убедительно доказывал животворное влияние абракадабры на наш современный язык. Выступавшие вслед за ним подчеркивали особую значимость диссертации. Академик Сократ Сократлы отметил, что эта работа – ценный вклад не только в отечественную, и в мировую науку. Я знаю Эндерабади с его молодых лет, он был моим самым любимым студентом, он вполне заслуживает звания кандидата наук, и я от души проголосую за него и уверен, что все члены совета последуют примеру аксакала.

Профессор Талет Талетов отметил, что дружит с соискателем со студенческих лет, и еще в те годы его друг интересовался этими вопросами. Теперь труд многолетних изысканий принес свои плоды – появилась диссертация, имеющая историческое значение, убежден, что каждый добросовестный ученый оценит этот труд по достоинству.

Доцент Гудрат Гудратов сообщил, что диссертант был его любимым учителем в школе и всеми своими успехами в жизни он обязан Эндерабади.

В заключение выступил сам соискатель, поблагодарив всех выступавших, оповестил, что после защиты приглашает их в ресторан «Фламинго».

Раздались дружные аплодисменты.

Академик Сократ Сократлы сказал, что обсуждение можно завершить и пора приступить к тайному голосованию.

В урну посыпались бюллетени. Академик С.С. обратился к доценту ГГ.

– Снеси урну, приведи в порядок и доложи.

Все подряд, подходя к соискателю, стали поздравлять его.

Погодя появился Гудрат Гудратов. Смотрел тучей.

– Увы! Все проголосовали против.

– Как так? – Эндерабади побелел. – Неужели ни одного «за»?

– Сожалею, что нет.

Эндерабади обвел коллег испепеляющим взглядом.

И заметив незнакомого Джанбалу, решил посетовать ему:

– Видишь, какие вероломцы... Я-то считал...

– Ты свое считай, а гляди, что рок сочтет... – невпопад брякнул Джанбала. У Эндерабади глаза налились кровью.

– И ты туда же?! Моська лает на слона?.. Ну, ничего... Справедливость восторжествует. Отольются коту мышкины слезки!

Джанбала не мог удержаться от смеха. Это еще больше взъярило неудачливого диссертанта: «Что ты скалишь зубы?»

И двинул Джанбале раз-другой. Наш многострадальный труженик пера попятился к дверям и столкнулся с профессором Талятом Талятовым. Тот с горечью вздохнул: «Жаль, накрылся «Фламинго»! Где было знать мне, что все против проголосуют! Верно, Эндерабади сдул диссертацию из книги Сократа Сократлы... Но дело в том, что и тот списал книгу из монографии Гудрата Гудратова... Прощай, «Фламинго»!.. Мне бы, недотепе, «за» проголосовать... Тем более, вору вора обокрасть – не грех...»

Джанбала вышел на улицу, бормоча под нос: «Вору вора обокрасть – не грех». Вдруг услышал крики:

– Мустафа! Мустафа!

Голоса доносились с площади Площадников. Оказалось, толпа скандирует не «Мустафа!», а «Истефа!»[[61]](#footnote-61)

Кто-то, взойдя на табуретку, толкал «пламенную» речь. Джанбала разинул рот: Мисгяр Мараглы! Оратор витийствовал:

– Они стригут шерсть с куриного яйца! У кого вожак вахлак, тому на голову – прах!

Толпа загорланила:

– Истефа! Истефа!

Мараглы продолжал:

– Гёзал-ага был хорош да покрылся язвой сплошь... надо вывести их на чистую воду! Гнать до самого конца прохиндея и лжеца! Нас ведет дух Кёроглу... Выведем народ из мглы!

– Истефа! Истефа!

Джанбала заметил, что в отличие от всех крикунов, стоящий рядом с ним старик хранит молчание.

– Аксакал, почему же ты не кричишь?

– Накричался я... многих в отставку отправил... да проку не увидел. Каждый, кто приходит на смену, перемывает косточки предшественнику.

Джанбала увидел поодаль двух кувыркающихся людей.

– Что за сальто-мортале? – поинтересовался он.

– Эти перешли из одной партии в другую. Наглядно демонстрируют, что позицию свою в корне изменили.

– Вот оно как...

– Истефа! Истефа!

– Папаша, растолкуй мне, чего эти люди хотят?

– А чего им хотеть? Говорят, хватит вам хапать, дайте и нам попробовать.

– А что отвечают те?

– Не спешите, говорят. Сегодня пироги нам, завтра – вам...

– Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня! – слова Мисгяра Мараглы как бы стали контраргументом на объяснение старика.

– А ты сам-то из каких? – поинтересовался старик. – За кого дерешься? Тоже рвешься к раздаче слонов? Хочешь урвать кусок?

– Вору вора обокрасть – не грех, – выпалил Джанбала. Мараглы услышал голос подопечного.

– Джанбала, и ты здесь? Что ты сказал?

– Вору вора обокрасть не грех. То есть экспроприаторов экспроприируют...

Мараглы вскипел:

– На что ты намекаешь? И это мой кадр! Я давно чуял, что ты оппортунист! Собака разлеглась в тени дерева, и мнит за свою тень... Сам я виноват, что такого оболтуса терпел! Вон отсюда! Чтоб глаза мои тебя не видели! – Мараглы никак не мог успокоиться. – Гоните его в шею!

Толпа надвинулась на бедного Джанбалу...

Мараглы, увидев его расквашенный нос, проявил гуманизм:

– Ладно, хватит! Проучили – будет знать. А то, чего доброго, концы отдаст, потом отдувайся. Наши враги не преминут воспользоваться. Перейдем к сегодняшнему положению. Живут по понятиям: есть деньги – милости просим, нет – катись.

– Истефа! Истефа!

Старик, достав платок, участливо утер побитому Джанбале лицо. Нос у него посинел, как баклажан.

– Эх, сынок, охота тебе было дразнить гусей... не твоя это кампания... У них одно на уме... Медведь тысячи штучек выкидывает, а все из-за одной груши. Смотай удочки отсюда, пока цел.

Джанбала кое-как прошмыгнул сквозь толпу и, понурив голову, побрел по тихой улице. Мучила жажда. Огляделся, нет ли чайханы поблизости. Увидел вывеску: «ЧИТА», и ниже, буквами помельче: «Чайхана Исключительных талантов». Устремился к двери. Главный чайханщик – Чайчибаши преградил ему путь.

– Удостоверение есть?

– Какое еще удостоверение?

– Тогда чего пришел? Может, числишься в молодых талантах?

– В молодых – да. Насчет таланта – не знаю.

– Без удостоверения не могу впустить. Без таланта – тем более.

– А кто выдает его?

– Кто-кто? Сам, конечно. Покупаешь книжку, приклеиваешь. Подписываешь: такой-то таковский, молодой талант. Подпись, печать и вся недолга.

Из помещения донесся голос:

– Чайбаши, с кем ты там лясы точишь? Чай наш остыл. Повтори.

– Тут парень явился, а удостоверения нет. И талант под вопросом.

– Впусти. Может, и есть искра Божья.

Джанбала вошел.

За столом чаевничали четверо. Один окликнул:

– Поди сюда, поглядим, кто ты таков, какого поля ягода.

– Я – корреспондент. Зовут меня Джаван. Но чаще – Джанбалой.

– Ну-ну. А кто тебя так разукрасил? Может «обработали» в Объединении «О-Пис»?

– Долой «О-Пис»! – завопили чаевничающие таланты.

– Нет, я с митинга, – сказал Джанбала. – А до того в Хурале меня покалечили… В туалете...

– А, вот как. Опять молодых бьют! Ну, крепись. Будет и на нашей улице праздник! За все расквитаемся. Да здравствует наш пострадавший собрат! Прости, кореш, как говоришь, зовут тебя?

– Джаван. Можно и Джанбала.

– Ладно, братец. Что ты пишешь, что творишь?

– Пока похвастаться нечем...

– Ну и ладно. Ну и отлично. Наш человек, вижу. Нас мало, но мы в тельняшках! Было пятеро, станет шестеро. Долой «О-Пис»! Давай знакомиться. Я – Аруз Хоруз. Поэт. Разумеется, талантливый. Этот немножко угрюмый малый – драматург Гара Донмез. Мы его в шутку называем Гара Динмез[[62]](#footnote-62). Наш Мольер. А это – наш даровитый критик – Ярлыклы. Есть у нас и талантливый специалист доносительского жанра – Уксус Баклажан. Самые крутые бочки на шестидесятников катит. И никакая лячарка по непотребной брани с ним не сравнится. Ты не смотри, что с виду такой тихий – ему палец в рот не клади.

Критик Ярлыклы подначил коллегу:

– Уксус – от слова «кукситься».

– Ты смотри у меня! – огрызнулся Уксус. – А то схлопочешь.

– Я-то что могу поделать. Сам выбрал себе такой кислый псевдоним. Не поймешь, винный уксус или пивной. К тому же, аромат – не очень...

Уксус, схватив чайник, вскочил. Неизвестно, чем бы все обернулось, если бы Аруз Хоруз не встал между ними.

– Бросьте, друзья! Чего нам делить? У нас одна мишень: «О-Пис».

– Чтоб он провалился! – солидарно зашумели таланты. Аруз Хоруз решил занять друзей байкой:

– У меня с моим дядей случился разлад. Крепко обиделся на меня. Я соображал, как загладить вину, помириться. Зашел к нему домой. Вижу, ноги моет в тазу. Я выждал. Он помыл ноги, я – возьми таз с мыльной водой и выпей... Дядя разрыдался. Обнял, расцеловал. Мир был восстановлен.

Ярлыклы прокомментировал:

– Вот это настоящая поэзия!

Уксус Бадымжан, наклонившись к Джанбале, шепнул на ушко:

– Знаю его дядю. Раз в полгода ноги моет.

Аруз Хоруз:

– Чайбаши, еще чаю.

Джанбала полюбопытствовал: – Вы говорили, что вас пятеро, а тут четверо.

– Пятый должен прийти. Не знаю, где он застрял... Мы в его честь и собрались. Сегодня нашему молодому талантливому прозаику Тайфуну Туфану стукнуло пятьдесят шесть лет и шесть месяцев... А, легок на помине!

К ним подошла лохматая личность и поздоровалась со всеми за руку.

– Салют, именинник! – сказал Аруз Хоруз. – Поздравляем. Несомненно, это дата историческая. А что ты так задержался?

Тайфун извлек из-за пазухи пухлую тетрадь.

– Не хотел с пустыми руками являться. Вот, поставил последнюю точку в романе.

– Не сомневаюсь, что родился шедевр, – отозвался Уксус. – А как его название?

– Ничего.

– То есть?

– Ничего. Так и назвал: «Ничего». Можете поглядеть.

Романист раскрыл тетрадь: «Тайфун Туфан. Ничего. (Роман)» Перелистал. Страницы были девственно чисты. На последней – жирная точка... Таланты остолбенело уставились друг на друга.

– Ты шутишь? – нарушил молчание Аруз Хоруз.

– Какие шутки! Это выражение моей выстраданной литературной позиции. Если хотите, мое литературное открытие. «Ничего» – символ пустоты бренного мира. Никчемности земного бытия. Артюр Рембо стал поэтом, когда бросил писать. Маларме воспевал чистый лист бумаги. А чем мы хуже?

Уксус:

– Мне представляется, что здесь, действительно, скрыт глубокий смысл.

Аруз:

– Мне думается, это – метафизическая метафора метаболической метаморфозы.

Уксус:

– Нет, по-моему, это экстраполяция нового мышления в бесконечность пространства. Разве не так?

Тайфун скромно отозвался:

– Можно трактовать и так, и этак. Наше писательское дело – писать, ваше дело – истолковывать написанное и ненаписанное нами.

Уксус:

– Вот это и есть истинная литература! Только такими смелыми экспериментами мы выйдем на мировой уровень, глядишь, удостоимся Нобелевской премии! И не одной! Надо положить конец балалаечному словоблудию! Бренчанию на сазе! Долой «О-Пис»!

– Долой! – поддержали все, кроме Гара Донмеза. – Ликвидировать! Власть – молодым талантам! Капут шестидесятникам! Заговорили наперебой:

– Сорокин говорит: сортир – художественный плацдарм истинной литературы.

– Умберто Эко сказал, что экология ума – эхо «эго».

– Дерида заметил, что если ты не лезешь из кожи вон, с тебя ее сдерут.

Тайфун Туфан:

– Конечно, старым пням, торчащим на пути молодых талантов, не понять нас. Да еще тащат на горбу весь классический скарб. С такой обузой нам не продвинуться вперед. Не выйти на европейский уровень. Праотца Горгуда – к праотцам! Мирзу Джалила – в архив! Литература начинается с нас! А что в «О-Пис»е? Косность, рутина, местничество.

– Ну, насчет местничества ты перегнул, – возразил Аруз Хоруз. – У них верхушка – из разных регионов. Надо говорить по совести.

Тайфун Туфан:

– Наивный ты человек! Вспомни, в каком месяце все трое родились – и председатель, и замы. Все родились под знаком созвездия Рыбы. А где же другие созвездия – Льва, Рака, Скорпиона, Быка? Наконец, нашей Малой и Большой Медведицы? Мы все из созвездия Косолапых. Почему мы не представлены в руководстве? В «О-Пис»е царит не географическое, а астрономическое местничество. Понял? К черту такой «О-Пис»! Дорогу к креслам – молодым талантам! Друзья мои, я старше вас на пару-другую байрамов. Боюсь, когда встанет вопрос о председательстве, между нами начнется драчка. Потому предлагаю председательствовать посменно – по паре месяцев в течение года.

Уксус Бадымджан:

– Но ведь нас пять человек!

Аруз Хоруз:

– А шестым пусть будет Джанбала. Полный расклад.

Все в один голос одобрили:

– Отличная идея! А с кого начнем?

– С Джанбалы и начнем. Никто не будет в обиде. Джанбала, ты кто по гороскопу?

– Насколько знаю, Медведь. Из созвездия Большой Медведицы...

– Ура! – зашумели таланты. – Ты – истинно нашенский! Покупали патоку, оказалось – мед. И ты мишка, и мы косолапые. Ну, теперь скажи, как ты на это дело смотришь?

Джанбале вдруг вспомнилась пословица, услышанная от старика на митинге:

– Тыщи вывертов медведя – а все из-за одной груши…

Будто в болото лягушачье камень бухнули...

– Мы, по-твоему, медведи? – взъелся Уксус.

– Сами же говорили.

– Ах, так тебя, разэтак...

– Мы-то его сочли человеком.

– Поделом, что отмутузили.

Гара Донмез («Динмез»), сидевший тихо-смирно, вдруг возьми и выплесни чай на голову Джанбале. Потом принялся грызть грушевидный стакан – «армуды». Подбежал чайханщик:

– Ах ты такой-сякой, опять стакан грызешь! Всю посуду мне перегрыз! В прошлый раз перемолол три стакана, два блюдца, мало тебе? Чаи гоняете на халяву, да еще утварь мою гробите!

Джанбала почуял, что опять делом пахнет «лещом», и дал деру под шумок.

Чайбаши бросил вдогонку:

– Верно говорят: обоз назад повернет – хромой козел впереди окажется.

Джанбала намотал себе на ус.

Думал, куда теперь преклонить свою забинтованную голову. Теперь ему не вернуться в газету «Джамашир». Потом ему на ум пришла идея: эти талантливые чаехлебы что-то говорили про «О-пис», переворот в руководстве, даже прочили мою кандидатуру на председательство, может, попытать счастья? Пан или пропал. Была – не была. Может, царь-птица опустится на мою битую башку?..

Да, направился в «О-пис», объединение, значит, писателей.

Члены «О-писа» собрались в кабинете у председателя Ибиша Ибишли. Справа от него сидел первый зам Финт Фарадж, слева – второй зам – Фифа Фонтан.

Выступала Фурия-ханым:

– Как же так получается? В год Собаки по китайскому календарю в Китае выходит моя книга. Ихний писатель Сон Ят Сон мне говорит: вы – живая энциклопедия, вы – толковый словарь, вы – телефонный справочник... А у себя на родине меня не признают. Я никогда не видела никакой заботы со стороны «О-писа». Никакой! Я не жажду лавров...

«Черта с два», – буркнул под нос поэт Ахмед Беспечальный.

– ...Но до сих пор меня не удостоили ни одним паршивым званием… Да мне, по сути, и не нужно титулов, регалий. Но ведь все мы смертные люди. Сегодня мы есть, а завтра нас нет. Когда умру – меня даже на третьей аллее почетного захоронения не предадут земле. Скажут: нет звания.

– Там и без тебя давка! – подал реплику Ахмед Беспечальный. – Четвертое кладбище подойдет. Там и воздух посвежее.

– Но ведь и там спросят: «А звание»?

– Да кто спросит? Духи, что ли?

Тут с места встал Ходжа Брюзга.

– А как же будет с моим юбилеем? Ведь в этом году мне исполняется... сейчас вспомню... восемьдесят восемь лет. Уж сколько служу-служу народу! Всю душу отдал, выслужился, наслужился, заслужился... неужели нельзя справить скромненький юбилей?

Ибиш Ибишли вскинул брови.

– Что ты, запамятовал, ай киши? Ведь в прошлом месяце отметили. Еще самовар, швейную машинку презентовали.

– Ах да... – смутился Ходжа Брюзга. – Совсем выпало из памяти...

В разговор вступил Мизан Тропов:

– Я тоже очень недоволен работой нашего Объединения. Мы совсем не вспоминаем Низами. Прежде мне каждую ночь снился мудрец из Гянджи. А теперь – перестал. Это тревожный знак для Объединения. Почему «О-пис» так прохладно относится к нашему гениальному поэту? Мне, знаете ли, стыдно, что состою членом нашей организации.

Фифа Фонтан попеняла Сейфу Мелику:

– Что ты там ерзаешь, Мелик?

– Ковыряюсь в зубах. Мне Ибиш-муаллим разрешил.

В хор недовольных включилась Хабарчи[[63]](#footnote-63) Хадиджа, тыча рукой в сторону правления:

– Мы ради них горим на работе. А что взамен получаем? Вчера вот я индийским фильмом (обожаю индийское кино! – море слез) пожертвовала, чтобы по другому каналу Фифу-ханым послушать, полюбоваться на нее, а они на нас – ноль внимания, фунт презрения! Мы в них души не чаем, а мне несчастную трехкомнатную квартиру не могут выбить! На открытие общественной бани прислали пригласительные билеты – сами пошли, а нам не досталось. Ну и пошли они в баню!

Аль-Таир подлил масла в огонь:

– Вот и по лотерейным билетам только сами выигрывают.

Бой-Бала-ханым:

– Верно, Таирчик, говоришь. Нас для них не существует. Недавно некролог вышел в газете, а моей подписи нет. Даже в некролог, видишь ли, попасть не дают.

Финт Фарадж заверил ее:

– Будь спокойна, Бала-ханым. Даю слово мужчины: иншаллах, как только появится очередной покойник, обязательно увидишь свою фамилию в некрологе. Тут ни с того ни с сего с места вскочил Тарик Тарлан и выдал стихи:

Заварилась душпара,[[64]](#footnote-64)

Подкрепиться уж пора,

Ухватились все за ложки,

Испарилась душпара...

– Сынок, что ты там декламируешь? – спросил Ибиш Ибишли, попыхивая трубкой.

– Напоминаю образец из сокровищницы нашего фольклора, Ибиш-муаллим.

– Ну, тогда валяй дальше, – поощрил председатель, сделав затяжку. Тарик Тарлан продолжал:

И Гасан дымит кальяном,

И Гусейн дымит кальяном,

Если вдосталь табаку,

И косой дымит кальяном.

Ибишли взвился:

– Что? Ты намекаешь на мой кальян-трубку? И ты смеешь язвить меня?! Мальчишка! От горшка два вершка, а все же. Нет, хватит с меня. Я больше не могу оставаться ни минуты! Собираю манатки, папаху, расческу, трубку и ухожу... вы все жаждете командовать! Командуйте!

Джанбала, с трудом хранивший молчание, решил блеснуть красным словцом:

– Когда обоз поворачивает назад, хромой козел впереди оказывается...

Все вскочили, как ужаленные.

– Кто этот тип?

– Козлами нас обзывает!

– Причем хромыми, – заметил Ахмед Беспечальный.

Да, тут и началась катавасия. Ни в сказке рассказать, ни пером описать. Взяли Джанбалу за уши и вышвырнули вон.

\* \* \*

Бедный-бедный Джанбала, что же еще мне сказать, чтоб не дать маху, не напортачить, чтоб не истолковали вкривь и вкось, и меня самого не постигла та же участь?

Вспомнились мне слова покойного Гоголя: «Скучно на свете, господа».

И еще – слова Сабира, мир праху его: «Твердят, уймись и вздора не мели, да боль невмоготу, уняться не могу...»

Да упокоит Аллах души обоих.

20-26 сентября 2003г. Загульба

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# ТЬМА

*Радиопьеса*

Приводя в порядок свой архив, я обнаружил совершенно забытую мной старую рукопись. Хотя дата не указана, могу точно сказать, что она написана в начале 60-х годов. В ту пору я интересовался театром абсурда, пьесами Беккета, Ионеско. В 62-64 годы, когда я учился на Высших сценарных курсах в Москве, эти пьесы еще не были опубликованы на русском языке, но машинописные тексты ходили по рукам. Мне тоже удалось найти их и прочесть.

Перечитывая радиопьесу, я сразу вспомнил и то, что ее название, сюжет, персонажи, даже некоторые диалоги и реплики привиделись и «услышались» мне во сне. Позже, естественно, проведя определенную обработку, я перенес ее на бумагу.

Пьеса написана где-то под влиянием театра абсурда, точнее, «литературное» сновидение, случившееся ранее, питалось этим влиянием. Вообще, как это ни покажется странным, сюжеты некоторых своих вещей я видел во сне, причем, очень четко и рельефно. Например, повесть «Контакт», рассказ «Красный лимузин», финал повести «Комната в отеле» и эту радиопьесу, о которой идет речь. Наверное, найдутся охотники поиронизировать: «Пишет то, что приснилось». Что ж, не беда. Мне ведь снится не то, что я занял чью-то должность, высокое кресло, – иногда, время от времени вижу сюжеты, достойные пера.

Конечно, в пору написания эта пьеса не могла ни прозвучать по радио, ни быть опубликована. Потому, написав, положил ее «в стол», да и забыл. Как бы то ни было, хочу представить вниманию читателей эту радиопьесу сорокалетней давности.

Автор

20 августа 2003г.

УЧАСТНИКИ (ГОЛОСА)

Женщина

Мужчина

Хозяйка квартиры

*Стучат в дверь. Вначале тихо и размеренно, затем все нетерпеливее. Звуки шагов.*

МУЖЧИНА: Что вы так колотите? Может, их нет дома.

ЖЕНЩИНА: Они дома.

МУЖЧИНА: Вы – женщина?

ЖЕНЩИНА: Не видите?

МУЖЧИНА: Как разглядеть в такой темноте! Не видите, что ни зги не видать.

ЖЕНЩИНА: Интересно выражаетесь. (Копируя его интонацию) «Не видите, ни зги не видать».

МУЖЧИНА: Простите... Я вовсе не хотел вас задеть. Но, может, в доме действительно никого нет.

ЖЕНЩИНА: Есть.

МУЖЧИНА: Откуда вы знаете?

ЖЕНЩИНА: Они сами пригласили меня в гости.

МУЖЧИНА: Тогда, может, позвонить?

ЖЕНЩИНА: Скажете тоже... как же сработает звонок, если свет отключен?!

МУЖЧИНА: Что верно – то верно. Не сообразил. Я ведь с десятого этажа пешком тащусь... жал-жал на кнопку вызова лифта, пока не дошло до меня (смеется), что без электричества лифт не ходит...

ЖЕНЩИНА: Вы живете в этом доме?

МУЖЧИНА: Нет.

ЖЕНЩИНА: Тогда в гости, что ли, пришли?

МУЖЧИНА: И да, и нет...

ЖЕНЩИНА: Как это понять?

МУЖЧИНА: Меня никто никогда не приглашает в гости. Сам наведываюсь.

ЖЕНЩИНА: И к кому ходите в гости?

МУЖЧИНА: К кому попало. В основном в многоэтажки. Поднимаюсь на десятый этаж. Когда лифт работает – это нетрудно. А затем стучусь в двери. Подряд. Спрашивают, кто там? Отвечаю: «Килимчи»[[65]](#footnote-65).

ЖЕНЩИНА: Ну и?.. Открывают и приглашают войти?

МУЖЧИНА: Редко когда... Можно сказать, никогда... Вернее, до сих пор ни разу...

ЖЕНЩИНА: Вы – нищий?

МУЖЧИНА (всполошенно): Нет, нет, ни в коем случае! Не думайте так обо мне, прошу вас. Я не нищий.

ЖЕНЩИНА: А кто же вы?

МУЖЧИНА: Килимчи.

ЖЕНЩИНА: То есть, килимы – паласы продаете?

МУЖЧИНА: Опять не угадали.

ЖЕНЩИНА: Тогда я ничего не понимаю.

МУЖЧИНА: Да я и сам не понимаю.

*(Женщина вновь колотит в дверь)*

МУЖЧИНА: Поверьте мне, там никого нет.

ЖЕНЩИНА: Да откуда вы знаете?

МУЖЧИНА: Потому что в этом здании никто не живет.

ЖЕНЩИНА: С чего вы взяли?

МУЖЧИНА: Я же сказал, что спускаюсь с десятого этажа. Сначала был свет, лифтом спокойненько поднялся на десятый. На каждом этаже, знаю, по две квартиры. Обстучал все двери – никто не отозвался. Вот так и дошел досюда. Это какой будет этаж?

ЖЕНЩИНА: Шестой.

МУЖЧИНА: Вот видите. Еще пять этажей внизу. Уверен, что и там никого нет.

*(Она колотит в дверь)*

МУЖЧИНА: Колотите, сколько угодно, но и на этом этаже – ни души.

ЖЕНЩИНА (упрямо): Есть, есть! (Стучит в дверь еще ожесточеннее. И двери доносится дребезжащий голос хозяйки квартиры).

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Кто там?

ЖЕНЩИНА: Это я.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Что тебе угодно?

ЖЕНЩИНА: Пришла в гости.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: К кому? К нам?

ЖЕНЩИНА: Да, к вам.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: А кто тебя приглашал-то?

ЖЕНЩИНА: Вы сами.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ (недоуменно): Я?

ЖЕНЩИНА (с некоторым колебанием): Вероятно, вы.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Тогда погоди, достираю белье, а после открою.

*(Удаляющиеся шаги)*

МУЖЧИНА: Видите? Вышло по-моему.

ЖЕНЩИНА (несколько раздраженно): Вы твердили – в квартире никого нет. Оказалось – есть.

МУЖЧИНА: Что с того. Ведь не открыла же дверь.

ЖЕНЩИНА: Ну, стирку закончит и откроет.

МУЖЧИНА: Она никогда не закончит стирать...

ЖЕНЩИНА: Откуда вам это известно?

МУЖЧИНА: Я – стреляный воробей. Сколько лет, как обхожу дом за домом. Стучусь в двери, в надежде на то, чтоб хоть одна живая душа впустила меня за порог, усадила, расспросила про житье-бытье... каждый под каким-то предлогом отваживает, отшивает. Один говорит: не мешай мне, пишу роман, другой – «я сплю», третий – «играю в шахматы», четвертый – «по телефону говорю», «смотрю телевизор», «кроссворд разгадываю...» А вот еще, как сейчас: белье, видишь ли, стираю.

ЖЕНЩИНА: Но ведь они меня сами пригласили в гости.

МУЖЧИНА: Кто – «сами»?

ЖЕНЩИНА: Уж не знаю. Во всяком случае, пригласили. А не пригласили бы, не пришла бы. Может, ошиблась адресом.

МУЖЧИНА: Нет разницы. Пойдете в другой дом – будет тот же от ворот поворот. К тому же свет отключили. Какой же нормальный человек откроет дверь незнакомцу при такой темноте? Ладно еще, что с вами повстречался. Давайте уйдем отсюда, поговорим, отведем душу...

ЖЕНЩИНА: Я никуда не уйду. Хотите, заключим пари: рано или поздно она откроет дверь. (Стучит в дверь).

МУЖЧИНА: Ладно, давайте поспорим, что не откроет. На что спорим?

*(Дверь открывается)*

ЖЕНЩИНА (торжествующе): Вот видите? Жаль, что не успели заключить пари. Выигрыш был бы за мной.

МУЖЧИНА (сконфуженно): Что тут скажешь... Везет вам. А мне – увы...

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Здесь, кажись, и мужчина?

ЖЕНЩИНА: Не видите, что ли?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: А что разглядишь в такой тьме тьмущей?

ЖЕНЩИНА: Управились со стиркой?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Исподнее стирала... (Внезапно) Вы тоже... домушники?

ЖЕНЩИНА: Да что вы? Мы порядочные люди.

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Простите, Бога ради. К нам зачастили воры, вот я грешным делом и подумала...

ЖЕНЩИНА: Вы одна живете?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Ну да.

МУЖЧИНА: Вот – живете одна, говорите, что воры зачастили, а дверь не убоялись открыть. А окажись мы и впрямь грабителями?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ (вздыхает с горечью): Эх... да чего грабителю у меня грабить-то? Дома ничего, кроме пары исподнего белья... Одно – на мне, другое – только выстирала. На кой черт вору мокрая ночнушка.

ЖЕНЩИНА: Так-таки больше ничего и нет?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ (с некоторым подозрением): Ничегошеньки. А что?

МУЖЧИНА: Да ничего, не бойтесь, мы не какие-то ворюги. Куда же девались ваши прочие вещи?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Все воры обчистили. Сперва одна шайка нагрянула, отхапала. Потом другие – остальное...

ЖЕНЩИНА: В милицию сообщали?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Ну да, а как же.

МУЖЧИНА: И что они сказали?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Что им сказать? Говорят: ты дай знать, когда воры у тебя, чтобы поймать их с поличным. А если уж дело сделано – где нам их искать?

МУЖЧИНА: Ну и как? Вы последовали их совету?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Да... Вот сейчас... сообщила... Думала, и вы... Простите... Милиция вот-вот подоспеет. Не беспокойтесь. Коли вы – не криминальный элемент, сдерут с вас небольшую сумму и отпустят. Они при каждой явке и с меня берут.

ЖЕНЩИНА: С вас? За что же?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Ну как «за что»? За труд, говорят. Хотя бы за бензин оплати.

ЖЕНЩИНА: Ух, попадись такие менты мне в руки! Хотела бы поглядеть на их рожи! Хоть разок!

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ (расчувствовавшись): Ах, милая моя, свет очей моих. Где же ты там, дай-ка обниму тебя!

ЖЕНЩИНА: С чего вдруг прилив нежности? Не из-за ментов ли?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Нет, нет, что ты говоришь! Я ждала тебя, знала, что придешь... Дорогая моя, хорошая моя, ты, часом, не слепая?

ЖЕНЩИНА (печально): Как вы узнали?

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ: Ты сказала, что такой милиции не видала, Только слепые могут такое сказать.

ЖЕНЩИНА (с горечью): Вы иронизируете... В переносном смысле говорите… Но я на самом деле слепая. От рождения...

ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ (растроганно): Деточка моя, я это знала, по голосу почувствовала. Свет очей моих! Ведь и я вот уже тридцать лет, как незрячая...

*(Доносится звонок)*

МУЖЧИНА: Похоже, дали свет! Ну-ка нажмите на звонок. ЖЕНЩИНА: Сейчас.

*(Пронзительный звонок)*

ЖЕНЩИНА: Вот видите. Включили электричество. Ладно, мы-то слепые. А вы разве не видели, что дали свет?

МУЖЧИНА (со вздохом): Да как мне увидеть было? Я ведь тоже слепой...

*(Доносятся звонки с разных направлений)*

ЖЕНЩИНА: Значит, везде горит свет.

МУЖЧИНА (печально): Да. Одни только мы в темноте.

*(Слышатся звуки сирены милицейской машины, затем зловещий топот кованых сапог).*

Начало 60-х годов. Москва

Перевод Сиявуша Мамедзаде

# КОНТАКТ

*Повесть*

Â это лето стояла какая-то особая жара. Обычно даже в самые раскаленные летние месяцы после трех-четырех дней невыносимой духоты, когда воздух казался липким, как клей, и вязким, как мед из улья, с неизбежностью, хотя, и всегда внезапно, налетал на город освежающий морской ветер, ломал стекла в оставленных открытыми настежь окнах, и – будто с хрустом ломалась сама жара – в какой-то промежуток, день-два, до наступления следующего цикла зноя город дышал обманчивой прохладой временного оазиса.

Но этот август был особым – четвертую неделю на шкале термометра фиксировалась тридцативосьми-сорокаградусная жара... Воздух превратился в некую прозрачную желеобразную жижу, из которой невидимый стеклодув-гигант создавал несуразные формы – улиц, площадей, всего незаполненного пространства между домами, деревьями, машинами, людьми.

Была в свое время такая игрушка: небольшой стеклянный шар, а внутри какие-то листики, какие-то разноцветные камешки, уподобленные доисторическому листу, замурованному в янтарь.

Город, изнывающий от жары, словно засунули под колпак; крыши, башни, шпили казались замурованными в вязкую и плотную материю воздуха, и дым над трубами фабрик не улетал, а стелился, подобно войлоку. Кроме этой серо-бурой полоски дыма на небе не было ничего, ни единого облачка; над головой недвижимо стояла выгоревшая запыленная сфера и на ней раскаленный диск солнца.

Ночью же купол неба казался смоляным. Он напоминал перевернутый котел с киром, в который набросали тлеющие папиросные окурки – огни города. Свет звезд, идущий из бездны, будто проходил не воздушное и безвоздушное пространство, а пробивался сквозь нечто твердое.

Тридцать дней не было спасительного ветра. Листья деревьев застыли, приклеенные к тверди воздуха, и такими же приклеенными, скорее даже пригвожденными, казались обрывки бумаг на городской свалке, на пустыре. Брошенная сигарета падала на мостовую, как железный гвоздь, и неподвижно оставалась там, пока кто-нибудь не растаптывал, не припечатывал ее к асфальту, и плоские прожилки табака бессильно распластывались под взглядами.

У студента – уже неделю он имел право именоваться так (всего неделю назад с таким сердцебиением, что казалось, оно слышно не только в нем, но и вне его, он прочел свое имя в числе принятых в институт), – как и у других прохожих, было ощущение, что все они, жители этого города, медленно, но неотвратимо расплавляются, исходя потом, еще несколько таких дней, часов, и их тела, подобно тающему мороженому, растекутся по улицам.

Это было не только физическое ощущение, но и какое-то рассудочное, мозговое. По крайней мере, так чувствовал студент: нечто материальное, что он привык ощущать в своем черепе и с чем связывал свою разумную деятельность, переходило во что-то иное – жидкость, пар? – и его внутреннее «я» под влиянием чудовищной жары превращалось в некую абстракцию, лишь до поры до времени сохраняющую зыбкую связь с его персоной, с его, студента, паспортными данными. Только ли жара была причиной этого состояния? Надо же придумать, чтобы одно из самых важных жизненных испытаний – пора вступительных экзаменов – приходилось на самый жаркий месяц года!

Все вместе – малознакомый южный город, в который он приехал месяц назад, и в котором отныне ему предстояло жить, по меньшей мере, пять лет, изнурительное напряжение минувших экзаменов, жара и, наконец, удача, оказавшаяся более сильным раздражителем, чем представлялось: хоть он и верил в свою звезду, был достаточно подготовлен, да еще надеялся на везучесть, – все это вместе погрузило студента в какое-то непонятное, неконтролируемое четко, нереальное и аморфное состояние, и теперь, когда треволнения были позади и у него образовался недолгий досуг – целая неделя до начала занятий, – он не знал, с чего начать новую жизнь.

Ясно было одно – из общежития он уйдет непременно. Он обрел полное право обосноваться там надолго, но ни при каких обстоятельствах не воспользуется этим правом. Вынужденное пребывание в общежитии в период вступительных экзаменов, сосуществование в комнате с тремя абитуриентами, которым так и не суждено было стать студентами, окончательно убедило его в том, что разделить быт, ужиться с другими, тем более с совершенно чужими людьми, – для него, человека от природы нелюдимого и замкнутого, невыносимая пытка. Он удивлялся тому, как его соседи по комнате, прежде незнакомые, сумели в первые же часы настолько сблизиться, что уже к вечеру вели себя как закадычные друзья, знали друг о друге почти все и – это озадачило студента едва ли не больше всего – отнюдь не видели друг в друге соперников, хотя двое из тех троих поступали на один и тот же факультет одного и того же института, кстати того самого института и факультета, куда поступал и студент. Он один и стал студентом, те двое и их третий товарищ, поступавший на другой факультет, так никуда и не попали. И еще удивляло студента то, что неудача первого абитуриента, срезавшегося на первом же экзамене, искренне огорчила его соседей по комнате, в том числе и соперника, которого, однако, очень скоро постигла такая же участь. И наконец, на последнем экзамене срезался третий, а через день стало известно, что студент поступил, но никто из двух соседей (первый уехал сразу же после провала) не выказал ни – малейшей зависти пли недоброжелательства по отношению к студенту, наоборот, они предложили ему вместе отметить радостное событие. Студент под каким-то предлогом отказался: ему не хотелось общаться с этими людьми, которые хотя и не высказывались, но, конечно, могли думать о нем как об удачливом сопернике, занявшем именно их место, по крайней мере место одного из них, и потому, естественно, им не было никакого резона любить его, точно так же как у него не было особых оснований для симпатии к ним. Более того, их бравада после поражения, легкость, с которой они отнеслись к своей, в общем-то, весьма существенной для дальнейшей судьбы неудаче, их шутки, прибаутки, тот согласный язык, который они так легко нашли друг с другом, да и с остальными ребятами и девушками из общежития, поступившими и не поступившими, раздражали студента, подчеркивая (чисто подсознательно для него самого) роковую черту его характера – неконтактность с другими.

С ранней поры своей жизни он знал, что самое трудное для него – общение с людьми. Когда-то он страдал от этого, но с годами привык. Это стало как бы его хронической болезнью, хоть не смертельно опасной, но неизлечимой. И он вроде бы даже лелеял и холил ее – свою отчужденность, необщительность, одиночество. Лучшим и единственным собеседником он считал самого себя. И теперь, когда он взял барьер, победил и перед ним встала необходимость надолго поселиться в этом чужом городе, где у него не было ни единой знакомой души, он первым делом подумал о жилье. Заранее готовясь к студенческой жизни, он собрал небольшую, но достаточную сумму для того, чтобы снять отдельную комнату. Поисками ее он и занялся сразу же, как узнал о своем поступлении. И поскольку знакомств и связей у него не было, он начал изучать объявления.

Ежедневно он ходил в центр города, где в определенном месте собирались разные люди – сдающие, снимающие, меняющие дома, квартиры, комнаты, углы, койки; маклеры и просто зеваки толпились у большой доски, к которой были приклеены или же прикреплены кнопками объявления, написанные от руки и на машинке.

\* \* \*

Шестой день безрезультатно ходил он к этой доске. В тот раз народу было поменьше, и студент, простояв перед ней с полчаса, прочел буквально все объявления от точки до точки и, вновь не обнаружив ничего подходящего, повернулся, чтобы уйти. Но, сделав шаг, он остановился. Ему показалось, что его окликнули. Показалось, потому что никто в этом городе не мог знать его имени, кроме тех троих, с которыми он жил в комнате и которые, как ему было хорошо известно, уже разъехались. Однако он не только услышал зов, но и спиной почувствовал направленный на него пристальный взгляд. Студент резко повернулся. Улица была пустынна, и шесть человек перед доской – студент их быстро пересчитал – сосредоточенно изучали объявления. Двое переписывали их в свои блокноты, никто на студента не смотрел и тем более не думал его окликать.

Студент медленно обвел глазами улицу, затем осмотрел дома, в основном одно и двухэтажные здания по обе стороны мостовой. Вернее, он осмотрел окна: взгляд, который он почувствовал, мог быть и оттуда – из какого-нибудь дома. Но все окна, все до единого, несмотря на нестерпимую жару, а может быть, именно поэтому, были наглухо закрыты. Никого. Двое перед доской, переписав все нужное в свои блокноты, пошли прочь по солнечной стороне улицы, трое других отошли от доски и завернули за угол. Это была узкая малопроезжая улочка, но почему-то в нее свернула, заняв ее почти всю, огромная, неестественно длинная машина-рефрижератор, чем-то напоминающая гигантского древнего ящера. Гибко изогнувшись, она заслонила собою доску, и студент стоял, ожидая, когда она проедет. Машина проползла за угол и исчезла, будто ее и не было. И тут только студент обратил внимание на высокого парня в синей рубашке, стоящего у доски. Это был один из абитуриентов, тот самый, который срезался на первом экзамене, – их кровати стояли рядом. Сосед имел привычку громко спорить с кем-то во сне по поводу спортивных прогнозов. Сразу же после экзамена он попрощался со всеми и ушел из общежития. Студент думал, что он вообще уехал из города. Как бы то ни было, студент не имел ни малейшего желания встречаться и разговаривать с ним, но парень повернулся и пошел навстречу к нему. И, странное дело, когда улыбающийся парень – студенту показалось, что тот улыбается ему, – подошел ближе, он с удивлением обнаружил, что обознался; это был совсем другой человек, хотя чем-то действительно напоминал соседа по комнате. И, естественно, он вовсе не улыбался студенту, а прошел мимо него, как и полагается незнакомому человеку.

Этот момент, как оказалось впоследствии, сыграл весьма важную роль в дальнейшей истории. Знакомый, оказавшийся незнакомым, прошел, и какой-то необъяснимый порыв заставил студента вновь подойти к доске, от которой он только что отошел и которую изучил вдоль и поперек. И тот же необъяснимый порыв заставил его вновь одно за другим перечитать объявления. Он читал с совершенно необъяснимой дотошностью, хотя и знал, что ничего существенного упустить не мог. Вдруг он снова почувствовал чей-то пристальный взгляд и тут же услышал голос, бодрый, уверенный и на этот раз знакомый:

– Привет студенту. Ну, как жизнь?

Студент повернулся и обомлел. За его спиной стоял парень, тот самый абитуриент, сосед по комнате, в зеленой рубашке и улыбался ему.

«Телепатия», – подумал студент. С ним и раньше случалось такое: стоило подумать о ком-либо, как через несколько минут в совершенно неожиданном месте и совершенно неожиданным образом он встречал именно того самого человека. Бывали и такие, как это, совпадения. Он ошибался, принимая прохожего за знакомого, и через две-три минуты сталкивался с этим знакомым. Телепатия – раз и навсегда определил для себя это явление студент, и оно потеряло для него всякую загадочность, так же как и другое обстоятельство, вначале мучавшее его своей необъяснимостью: порой, попадая в незнакомое место, где – он знал наверняка – ранее никогда не бывал, или съев какую-либо диковинку, которую – наверняка – ранее ни разу не пробовал, или впервые делая что-нибудь, он чувствовал, что уже когда-то испытывал этот вкус, это ощущение, и что улица нового для него города ему чем-то знакома, и этот пейзаж, и этот вкус знакомы ему чем-то. Чем – определить он не мог и оттого мучился, но не столько невозможностью понять, сколько пугающей тайной самого явления, пока наконец не вычитал где-то, что есть память генов, передающаяся через поколения, и даже не всегда прямо, а, так сказать, по диагонали – от каких-нибудь пратетушки и прадядюшки. И он успокоился. Тайна почти нереальных и невозможных совпадений как будто перестала быть тайной.

Улица вновь была безлюдной. Бывший сосед по комнате ушел. Он хотел было задержаться, но, очевидно вспомнив необщительный нрав студента, отправился своим путем.

Студент повернулся к доске и в самой нижней части ее обнаружил объявление, которого почему-то до сих пор не заметил. «Удивительно, – подумал студент, – как это я не заметил его?» Главное – в том объявлении была особенность, которая заставила бы обратить на него внимание и запомнить, даже и не читая. Оно было напечатано на машинке, но почему-то на нотной бумаге, с написанными от руки скрипичными и басовыми ключами. Пять, линеек, а на них буквы.

Объявление было именно о том, чего упорно искал студент: сдастся однокомнатная квартира на двадцатом этаже. «Разве в этом городе есть двадцатиэтажное здание?» – удивился студент и тут же вспомнил, что плохо знает город, и, очевидно, есть, если сдается квартира. Однокомнатная. Со всеми удобствами. С видом на море. Телефон. Лифт, разумеется. Балкон. Студент не верил своим глазам. Как он мог проглядеть такое объявление. А главное, цена была мизерной, ну просто неправдоподобно низкой. Но как раз это настораживало. Впрочем, столь немыслимая удача всегда вызывает некоторое опасение. Возможно ли? Если бы он опоздал и выяснилось, что кто-то за день или за час до него перехватил такой идеальный вариант, тогда все его невообразимые достоинства стали бы, увы, потерянной реальностью. Во всяком случае, надо действовать, не теряя ни минуты. Он записал адрес.

\* \* \*

Улица, указанная в объявлении, находилась в старой части города с одноэтажными домами, обреченными на снос, с кривыми улочками, по которым стекали воды неопределенного происхождения, и с дворами, переполненными событиями – драками, свадьбами, поминками, порой одновременными.

«Зачем так зло шутить, – думал студент, – разве объявления не контролируются, какой-нибудь инстанцией? Вот тебе и двадцатый этаж, – грустно усмехался студент, рассматривая убогие хибарки. – Если все эти домишки поставить один на другой, тогда действительно получится даже не двадцать, а сто этажей». И все же глаза его искали цифру семнадцать – номер дома, указанного в объявлении. Он увидел ее, и почему-то, как только он ее увидел – она значилась отнюдь не на небоскребе, а на старом двухэтажном доме, – ему поверилось, что объявление не розыгрыш. Дом находился на противоположной стороне улицы. Студент сошел с тротуара, пересек узкую улочку и стал у дверей дома номер семнадцать. На дверях висел большой замок. Второй этаж располагал небольшим балконом, и дверь, выходящая на него, была чуть-чуть приоткрыта, в щель виднелся край тюлевой занавески. На балконе в глиняных горшочках были какие-то вялые растения неопределенного цвета, их, видно, давно не поливали. Чувствуя бессмысленность своих действий, студент постучал в дверь, повернулся и хотел уйти. Но в этот момент из соседней калитки выглянула женщина средних лет, недобро посмотрела на студента и спросила:

– Вам кого?

– Я пришел по объявлению, – с некоторой растерянностью сказал он и назвал улицу и номер дома.

Ему показалось, что женщина рассердилась еще больше.

– Здесь давно никто не живет, – буркнула она и прикрыла калитку. Но студенту почему-то показалось, что она не ушла, а стоит за калиткой и наблюдает за ним в щель.

Потом его окликнули. Он ясно слышал, что окликнули именно его, но назвали ли его по имени или как-то иначе, он не мог определить. Во всяком случае, обращались к нему, и он, отвечая на зов, обернулся и увидел старую женщину, вернее, ее еле уловимый, скорее угадываемый силуэт из-за полуоткрытых дверей балкона. Того самого дома номер семнадцать, на дверях которого висел замок. Студенту даже показалось, что старуха поманила его, и, хотя он не мог с уверенностью сказать, действительно ли его поманили, он все же подошел к самым дверям и стал под балконом. Нет, видимо, его действительно позвали – где-то совсем поблизости раздались оживленные голоса, которые о чем-то спорили шепотом, но яростно, студент не мог разобрать ни одного слова. Потом соседняя калитка открылась, и та же самая женщина средних лет, на этот раз с ней была косоглазая девочка, молча, подошла к дверям дома номер семнадцать и, вынув из кармана халата связку ключей, так же молча отперла дверь. Она была все так же сердита, нет, скорее крайне недовольна, и очень нелюбезным тоном сказала студенту;

– Она там, поднимитесь по лестнице.

Потом грубо схватила девочку, дала ей подзатыльник, от чего девочка истошно заревела, схватила ее в охапку и исчезла за своей калиткой.

Студент поднялся по узкой темной лестнице, пахнущей сыростью и кошками, на второй этаж и постучал в единственную дверь, которая вся была в фиолетовых чернильных брызгах.

– Войдите, – раздался глухой голос изнутри, несомненно, он принадлежал той самой старухе, которая смотрела с балкона.

Студент вошел. Комната была запущенной, беспорядочно обставленной неимоверным количеством всякой рухляди, и в нем чувствовался особый запах старости и немощи. Рваные диваны с торчащими пружинами, кресла с высокими спинками, причудливо изогнутыми ножками и облезлой обивкой, старые громоздкие шкафы, потемневшие от собственной старости, большой и пыльный абажур с явственно видными паутинками и множество гвоздей в стенах на разных уровнях – очень высоко и, что удивительно, очень низко, почти у пола, что исключало предположение, что на них могло когда-то что-либо висеть, – они производили странное впечатление, как, впрочем, и вся комната. Но кроме странности комната несла на себе и еще какую-то необъяснимую, но ощутимую печать трагизма. С первого же взгляда на комнату единственным чувством, которое овладело студентом, было желание немедленно, не теряя ни секунды, уйти отсюда. Из этой комнаты. Из этого дома. С этой улицы,

Раздался голос:

– Что вам здесь надо?

И только теперь он заметил старуху, сидящую в глубоком кресле в самом углу. Несмотря на жару, окна в комнате были наглухо закрыты и зашторены, свет падал лишь из чуть приоткрытых дверей на балкон, сама старуха была в наглухо застегнутом черном длинном платье, поверх которого была накинута довольно-таки плотная шаль. Старуха почему-то показалась студенту парализованной. В ее облике чувствовалась порода, и, обладая некоторой фантазией, можно было представить ее привлекательной в далекой молодости. Теперь следы былой красоты, безжалостно изгнанные из всех уголков ее тела и лица, притаились лишь а бездонно глубокой и какой-то зловещей печали иссиня-черных глаз.

– Я пришел по объявлению о квартире. Но, кажется, ошибся.

– Ошиблись? – переспросила она, – Нет. Это мое объявление. Вам нужна квартира?

– Да, – сказал студент. – Но там говорится о двадцатом этаже... – Он замолчал, не докончив фразы: было бы глупо пересказывать объявление, ведь если его писала она...

– Да, – сказала она и начала кашлять. Это был долгий сухой кашель курильщицы, студент уже заметил пепельницы в разных местах комнаты со множеством окурков и пустые коробки из-под папирос. – Да, – повторила она, – квартира на двадцатом этаже... – И замолчала, погрузившись в свои мысли.

Студент обвел взглядом комнату и только теперь осознал, что именно вызывало ощущение трагизма. Стеклянный шкаф, экран телевизора, большое зеркало и даже старые массивные напольные часы были занавешены простынями – так обычно делается в случае траура, если в доме покойник, вес сорок дней после похорон. По старому обычаю, занавешиваются зеркала, стеклянные шкафы, в последние же годы и экраны телевизоров, но часы? Занавешенные часы он видел впервые. Правда, иногда часы останавливают на той самой минуте, когда наступила чья-то смерть, но эти-то занавешенные часы как раз ходили, он догадался об этом и по движению тени маятника под простыней, и по их еле слышному тиканью. И тут же раздался бой, мелодичный перезвон, двенадцать долгих ударов – был полдень.

На стенах висело много фотографий. Большинство из них было, видимо, тридцати-сорокалетней давности, но все строго одинакового размера. Студент почему-то подумал, что никого из людей на фотографиях нет в живых. (Порой фотографии – и это относится не только к старым, пожелтевшим карточкам – несут на себе невидимую, но точную информацию о смерти модели.) Лишь один из снимков был другого, нестандартного размера. Он был гораздо больше других, и на нем красовался человек средних лет с усами, сросшимися бровями, при галстуке, в черном костюме с широкими бортами. По-видимому, это была паспортная карточка, очень сильно увеличенная. Фотография была в темной раме. Возможно, цвет рамы был случайным, но вместе с тем его можно было принять и за траурную кайму.

Студент почему-то особенно долго разглядывал эту фотографию и чувствовал, что так же пытливо и внимательно его самого рассматривает старуха. Почему-то он уже не ждал, что она когда-нибудь заговорит с ним снова, и ее голос как бы вновь застал его врасплох:

– Та квартира находится в противоположном конце города, у моря. Там есть двадцатиэтажный дом. Квартира там... на последнем этаже. Это квартира моего сына, – она глубоко вздохнула. – Теперь она нам ни к чему. Я хочу сдать ее, разумеется, за определенную сумму. – Она опять замолчала, потом так же неожиданно продолжила: – Вернее, за сумму, необходимую для ее содержания: квартплата, электричество, лифт... и все. Лишнего нам не надо. Это и его пожелание, – сказала она и уставилась своим нестерпимо печальным взглядом на фотографию усатого мужчины.

Нетрудно было догадаться, что именно это и был ее сын, и в сопоставлении с ее словами, печальным вздохом, с опустевшей, теперь не нужной и потому сдаваемой квартирой на двадцатом этаже траурная кайма фотографии приобрела вполне определенный и единственный смысл. Расспрашивать было бы бестактностью, тем более что рана была, видимо, свежей, утрата недавней, иначе, зачем же занавешивать зеркала, и студент сказал лишь, что ему все же хотелось бы посмотреть квартиру.

– Разумеется, – быстро сказала старуха и неожиданно проворно встала с кресла.

Студент подумал, что она встала, чтобы сейчас же ехать с ним. Но он, ошибочно приняв ее за парализованную, ошибся вторично. Старуха, будто забыв о его существовании, торопливо подошла к часам, откинула простыню и, посмотрев на циферблат, так же аккуратно завесила их вновь, теперь уже не спеша вернулась на свое место, села и закрыла глаза.

Сколько времени прошло? Минута, полчаса, час? Хотя позже, уже выйдя от старухи, студент не мог определить, сколько времени прошло между вояжем старухи к часам и ее погружением в дремоту в своем кресле. Он отчетливо помнил полдневный бой часов незадолго до этого и зафиксировал время, когда вышел от старухи, – четверть второго. Но промежуток между этими двумя временными точками – один час и пятнадцать минут – никак не укладывался в его сознании. Что же было в течение всего этого времени? Две-три реплики, проход старухи к часам и обратно, потом дремота. Неужели она дремала целый час? Собственно, ничего странного в этом нет, старуха могла спать и целый день. Странно было другое. Что же делал все это время сам студент – стоял и стерег ее сон, рассматривал комнату, фотографии, дожидался ее пробуждения? Да, так было, но в его представлении все это длилось крайне недолго, уж во всяком случае, не целый час. Старуха действительно задремала, но потом сразу же, как ему показалось, проснулась – теперь же выясняется, что прошел минимум час, – проснулась и сказала спокойно:

– Запишите адрес. Двадцатиэтажный дом. Там он единственный. На первом этаже булочная. Ровно в шесть приходите туда. Я покажу вам комнату.

Она продиктовала адрес и, пока студент записывал, снова задремала.

Студент ушел не прощаясь. Только на улице он посмотрел на свои наручные часы. Оказалось, что в доме у старухи он провел почти полтора часа.

\* \* \*

Двадцатиэтажный дом оказался на окраине, там, где, собственно говоря, город кончался и начинался пустырь. Дом торчал как-то странно одиноко и выглядел несуразно, как слово с опечаткой: пустырь – с одной стороны и морской берег – с другой. Рядом было несколько холмиков и трех-четырехэтажных зданий на них, но в соседстве с небоскребом они казались совсем маленькими.

Таксист долго не соглашался ехать по этому адресу.

– Мне в парк... Смена кончилась... Не по пути... Далеко... – приводил он разные причины и в числе прочих указал и такую: – И вообще этот район...

– Что этот район? – попытался уяснить студент.

– Да вообще, – неопределенно промямлил таксист и неожиданно согласился: – Хорошо, поехали.

По дороге никто из них – ни студент, ни шофер – не произнес ни слова.

– Вот он, твой дом, – сказал таксист, когда они подъехали к новому, видимо совсем недавно сданному в эксплуатацию, дому, и затормозил у самых дверей булочной.

Студент заплатил и вышел. Таксист, как показалось студенту, слишком торопливо развернулся и уехал. Вокруг не было ни души, но вдоль тротуара стояла целая вереница машин, и все они до единой были под чехлами. Булочная оказалась закрытой. Студент был почти уверен, что старуха конечно же, не явится; трудно было представить ее – больную, дряхлую – способной на преодоление такого расстояния, и вообще эта затея представлялась студенту порядком нереальной. Но ведь дом-то был, стоял, на самом деле двадцатиэтажный. Студент начал считать этажи, когда внезапно услышал голос:

– Мы же договорились на шесть часов.

Откуда она появилась, старуха? Он не слышал ни звука мотора, ни шагов, и ее не было, когда он подъехал, но вот стоит же здесь, прямо у входа в булочную, в своем черном платье с накинутой черной шалью.

– Извините, – сказал студент. – Это все такси. Сюда почему-то никто не соглашался ехать. Я опоздал на три минуты.

Старуха ничего не сказала и, повернувшись к дому, бросила:

– Войдем.

Она зашагала к подъезду. Студент последовал за ней.

Они вошли в помещение, и старуха нажала на кнопку вызова лифта. Лифт шел откуда-то очень уж издалека, шел долго и, видимо, медленно.

Наконец он прибыл, остановился, и двери его раскрылись. Они вошли в кабину. Она сразу показалась студенту странной. Но чем? Старуха нажала кнопку двадцатого этажа. Лифт неторопливо пополз вверх, и где-то на середине пути студент вновь ощутил некую странность в этой кабине, но в чем именно она заключалась, не мог определить. Мысль его переключилась на старуху, и он нечаянно подумал: а улыбалась ли она хоть раз в жизни? Ну что за бред, наверное, улыбалась. Ну, а теперь, понятно, у нее трагедия – как-никак сын, взрослый сын, такая потеря, ей, как говорится, не до смеха. Но дело в том, что сами черты лица старухи как бы исключали всякую возможность улыбки; никак нельзя было представить ее смеющейся ни при каких обстоятельствах. В один миг, в один-единственный миг у него мелькнуло что-то, какая-то мысль и тотчас исчезла бесследно, но ему почему-то показалось, что это была догадка о причине ощущения чего-то странного в этой кабине, но тут лифт с некоторым сотрясением остановился, двери его открылись и они вышли.

На лестничной клетке была только одна-единственная дверь, и на ней был указан номер квартиры. И еще осталось стекло над дощечкой, но самой дощечки с фамилией не было. Дверь была массивная, новая, металлическая, цинкового цвета. Старуха подошла к ней и нажала кнопку звонка. Потом она вынула из кармана ключ и вставила его в дверной замок. «Она чокнутая, – внезапно осенило студента, – тронулась от горя. Иначе, зачем же звонить в пустую квартиру? А может, там кто-то есть или мог бы быть?»

– Всегда нажимайте звонок перед входом в квартиру, – сказала старуха, повернувшись к нему и как бы отвечая его невысказанным мыслям. – Это предосторожность, на всякий случай. В квартире может накопиться газ, и тогда от замыкания она может взорваться.

– Но...

– Лучше взорваться квартире, чем самому, – опять как бы отвечая на его мысли, сказала старуха и вошла в квартиру. – Входите.

Это была обычная стандартная квартира в новом доме, не в пример комнате старухи, опрятная и чистенькая. Причем со всеми удобствами: уютная кухня, сверкающая белизной кафеля ванная. И комната была аккуратной, светлой и просторной. Она казалась просторной и потому, что в ней было очень мало мебели – тахта, стол, книжный шкаф и два стула, и потому, что имела большое окно с великолепным видом на море. И студента уже не удивило то, что стеклянный книжный шкаф и зеркало в передней были завешены простынями, так же как и нечто, висящее на стене и еще плотнее, чем у старухи, укутанное белым покрывалом. Это были часы, он уже догадался по легкому тиканью. И еще на стенах висели фотографии. Были ли это фотографии тех самых людей, что в доме у старухи, он не мог бы определить с точностью; к тем, видимо, недостаточно внимательно присмотрелся, хотя и разглядывал их довольно долго. Во всяком случае, эти были гораздо новее – похоже, они были сняты ну от силы два-три года назад. Это можно было определить и по их сохранности и по одежде запечатленных на них людей. Но все они опять-таки были единого размера, за исключением одной большой в центре: улыбающийся молодой человек в рубашке с открытым воротом. Был ли это тот самый молодой человек – умерший (умерший ли?) сын (сын ли?) старухи, что и на той фотографии с черной каймой? Тот был старше, с усами, и, главное, выражение лица было совсем другим – напряженным, настороженным, даже испуганным. Здесь же не только выражение, характер был другим – открытый, добрый нрав. Хотя, конечно, чем-то они очень схожи. Сросшиеся брови?.. Но, может быть, это фотография одного и того же человека в разные годы, при разных обстоятельствах, в разных настроениях?

Голос старухи отвлек его:

– Ну что, устраивает вас?

– Да, конечно, – машинально сказал он, мысленно сравнивая написанное в объявлении с действительностью. Действительность превосходит скупые сведения в объявлении, ну просто чудесная квартира, лифт, телефон. Кстати, а где он?

– А телефон? – спросил студент.

Старуха выдвинула один из стульев из-под стола, па нем стоял серый телефонный аппарат, но со срезанным шнуром.

– Он сдал телефон, – сказала старуха, – теперь ведь ему телефон не нужен. Но аппарат был наш, и мы его оставили. Если вам телефон необходим, вы можете похлопотать, чтобы номер вернули вам, я могу назвать вам его.

Это, кажется, была самая длинная фраза, которую студент услышал от старухи. «А зачем мне, собственно, телефон, – подумал он, – зачем мне хлопотать за него?»

– Да нет, – сказал он, – у меня острой необходимости нет. Но в объявлении было указано, я поэтому. – Он еще раз мысленно перечитывал объявление. – Да, кстати, еще и балкон...

– Балкона нет, – сказала старуха сухо и резко повернулась к правой стенке. Студент проследил за ее взглядом и только сейчас заметил дверь в стенке, грубо заколоченную досками крест-накрест. Он сделал невольный шаг в сторону двери, даже не шаг, а какое-то движение в том направлении, но старуха неожиданно быстро преградила ему дорогу. – Нет, – решительно сказала она, – если вы снимаете эту квартиру, у меня помимо указанных в объявлении еще два условия. Обязательных условия, – добавила она. – Первое: никогда не подходите к этой двери и не трогайте ее. И второе: не тушите по ночам свет в ванной комнате. Он виден с моря.

Студент кивнул, хотя ничего не понял.

– А деньги? – робко вставил он. – Когда лучше мне?..

– Можете прямо сейчас, – сказала старуха. – Значит, я так понимаю, вы снимаете эту квартиру.

– Да, – студент прошел в переднюю, там стоял его чемодан, открыл его, взял деньги и вернулся. Все это заняло минуты две.

– Через месяц принесете деньги за следующий срок, – сказала старуха, приняв и быстро пересчитав деньги. – До свидания, – она протянула ему ключи от квартиры. – Можете пользоваться посудой – она на кухне, и постельным бельем – оно на тахте.

Студент проводил ее до лифта, и, когда вернулся в комнату, ему показалось, что в ней что-то изменилось. Но что? Он внимательно оглядел комнату и, кажется, догадался – фотографий стало меньше. На их месте торчали гвозди. «Когда же старуха успела снять их? – удивился студент. – Неужели когда я выходил в переднюю за деньгами? Ну и проворная, однако».

Его изумило, что фотографий стало не только меньше, но они как будто переменились, то есть стали другими. «Ну и дела, – подумал он, – и когда это она успела заменить фотографии другими? И зачем? Вообще-то она явно чокнутая. И что за странные условия она поставила? Оставляйте на ночь свет в ванной. Видно с моря. При чем здесь море? А, ерунда какая-то». Студент рассмеялся беспечно и радостно впервые не только за этот день, но, может быть, за весь этот немыслимо напряженный жаркий месяц. Наконец-то все у него получилось именно так, как он замышлял. Попал в институт. Это ли не чудо? И еще одно чудо – квартира, да за такую смехотворно ничтожную сумму. Столько удобств! Комфорт! Главное – полное уединение. Теперь, пожалуй, можно наконец-то и отдохнуть по-настоящему. Сесть и отдохнуть. Закурить не спеша и любоваться видом на море. А, черт, ведь у него кончились сигареты. Эта проклятая старуха так его запутала, что он в спешке забыл купить сигареты. Ну, ничего страшного, можно спуститься и купить. И вообще теперь, когда у него свой дом, куда он может приходить когда вздумается, в любой час дня и ночи, и никто не остановит его расспросами, неплохо было бы выйти и прогуляться по городу, просто пройтись по улицам, скверам.

«Сейчас я это и сделаю, – решил студент, – заодно и сигареты куплю. Но сперва побреюсь, приму душ, раз в моем распоряжении целая ванная комната, надену свежую рубашку и пойду гулять».

Он зажег фитиль газовой колонки, разделся и почувствовал, как упруго бьют по телу теплые струи воды, снимая с него напряжение последних дней, усталость, тревоги и опасения минувших суток. Слава богу, вес так прекрасно устроилось...

Студент чисто выбрился, прошел в переднюю, раскрыл чемодан, взял свежую кремовую рубашку, надел ее, сдернул простыню с зеркала, причесался и вошел в комнату. Приблизился к окну. Вечерело, море и небо меняли свои цвета. Очевидно, из-за этого морс показалось ему ниже, чем оно было, когда он впервые вошел в комнату. «Какой изумительный вид!» – подумал студент и машинально потянулся к пепельнице на столе, откуда поднимался легкий дымок и на краю которой тлела сигарета. Студент глубоко затянулся, вглядываясь в необъятный простор за окном, и внезапно вздрогнул. Ведь у пего же не было сигарет! Откуда она взялась и, главное, когда он успел ее закурить? Не сейчас же... Да и осталась от нее только половина, значит, тлеет здесь давно. А с каких пор? Не могла же ее оставить старуха. Так долго она, сигарета, не дотянула бы... Значит, ее закурил и оставил в пепельнице, перед тем как принять душ, он сам. Но, убей бог, студент не помнил, как, когда, каким образом он ее нашел и закурил. «Рановато начинается у меня склероз, – усмехнулся студент, – в конце концов, кто же, как не я, мог ее закурить?» Он поймал себя на том, что как бы успокаивает себя, и это ему вовсе не понравилось. Вообще, несмотря на прелесть столь удачного варианта, что-то ему не нравилось, что-то его тревожило, но что именно, понять он не мог. Он снова обвел взглядом фотографии. Удивительные лица, они не запоминаются, сколько в них не вглядывайся. Даже этот, предполагаемый сын старухи. Студенту почему-то показалось, что он здесь, на этой фотографии, улыбается, а сейчас, внимательно всматриваясь, он никакой улыбки не заметил, скорее даже хмурое, недовольное лицо, какие-то печальные, затравленные, как и у его матери, глаза, конечно, если она в самом деле ему мать. Студент отвернул край простыни на стенных часах: было двадцать пять минут шестого. «Ну вот, – сказал студент, – и часы у них безбожно отстают. Сейчас, наверное, уже половина восьмого». Он принес свои наручные часы из ванной – снимал их перед душем. «Да, конечно, двадцать пять минут восьмого».

Весело насвистывая, студент покинул квартиру, запер дверь, вызвал лифт, вошел в него и нажал на кнопку первого этажа.

Студент вышел из подъезда на пустырь и, пройдя несколько шагов, оглянулся на свой дом. Удивительно, но дом производил впечатление нежилого – будто его отстроили, сдали, но еще не заселили. Все окна, двери на балконы были наглухо закрыты. Нигде ни веревки, ни антенны, ни зелени, ни занавески, ни света. Был тот час предвечернего безвременья, когда зажигать уличные фонари рановато, но вместе с тем без их света уже довольно сумеречно. Студент прошелся немного по пустырю и еще раз оглянулся на дом, пытаясь определить окно своей комнаты. Это было несложно – последний этаж и крайняя, угловая квартира слева. Вон то самое окно, его окно с видом на море. А это что такое – два выступа слева? Студент пригляделся и догадался, что это опорные балки балкона, которого не было, и заколоченная дверь в его комнате вела именно сюда, на несуществующий балкон. Несуществующий? Но почему? Его забыли достроить? Или он обвалился? Может, торчащие балки, наглухо заколоченная дверь в его комнате таят в себе какую-то мрачную тайну?

Он дал волю своей фантазии: может, с этого балкона свалился сын старухи, недаром она так себя повела, когда студент хотел подойти к двери. Впрочем, какое ему до всего этого дело? Главное, у него есть крыша над головой. И своя комната. Свое окно. Вот оно. Господи, что такое? В окне – в его окне, именно в его окне и только в его окне – вспыхнул свет. Кто-то включил свет. Кто-то в его отсутствие находится сейчас там, в его комнате. Студент почувствовал, как по спине поползли мурашки. Неподвластное разуму, первобытное чувство страха толкало его к действию – кричать, бежать, прятаться, что-то сделать. Сгущающиеся сумерки подхлестывали это желание и в то же время как-то парализовывали, тормозили его волю, как бывает в кошмарном сне: хочется кричать – и не можешь, хочется бежать – и ноги не идут. Но в этот самый миг тротуар перед домом озарился ярким светом, вспыхнули уличные фонари, и студента вдруг осенило. Почему ему раньше в голову не пришло такое простое и элементарное объяснение... Возможно, когда он находился там, в квартире, электричества не было во всем доме. Он, сам того не ведая, оставил свет включенным, и вот, когда подали энергию, комната его осветилась. До чего же все просто объяснялось. Студент улыбнулся и зашагал по направлению к тому месту, где предположительно должна была быть остановка рейсового автобуса. Но, пройдя немного, он по какому-то внутреннему побуждению еще раз оглянулся на дом, вернее, на свою квартиру, а еще точнее, на те две балки, которые предположительно были опорами несуществующего балкона. И в какую-то долго секунды, в самую малую долго секунды, студенту почудилось, что открылась заколоченная дверь в его комнате, и что-то выбросилось в проем. Вроде какая-то тень. Но эта доля секунды была столь немыслимо короткой, что, сколько ни всматривался похолодевший студент, дверь казалась недвижной, и балки торчали по-прежнему.

Он побежал прочь. А возвращаясь, заблудился. Улица, на которую он попал, не освещалась, и ему трудно было среди одинаковых стандартных домов найти какой-либо ориентир. «Но ведь дома трехэтажные, и я сейчас обязательно обнаружу свой небоскреб». И в самом деле, примерно через час, около девяти, студент после долгих блужданий увидел возвышающийся на фоне потемневшего неба неосвещенный силуэт какой-то громады. Несомненно, это был его дом, хотя теперь он казался не таким уж высоким, явно не двадцатиэтажным, если сопоставить его с другими, трехэтажными. Студент пошел к этой громаде, но почему-то приближение его не радовало, он как бы предчувствовал некое неожиданное несоответствие, которое подстерегало его там. И действительно: вышел на знакомый пустырь и остановился как вкопанный. Перед ним высилась многоэтажная громада полуразрушенного, похоже, сгоревшего дотла, дома с дырами-глазницами окон. По его пустым этажам, в проемах несуществующих дверей, между полуобвалившимися стенами разрушенных комнат с глухим воем бродил ветер, а на первом этаже грызлись собаки.

Студент не мог поверить, что это тот самый дом, из которого час с лишним назад он ушел. Но то, что это был тот самый пустырь, сомнений не было. Странно, что перед обгоревшим домом почти в полной сохранности тянулся тротуар, а у тротуара на мостовой в длинный ряд выстроились машины. Тридцать – тридцать пять наглухо зачехленных легковых машин стояли тут, судя по всему, очень давно. Могло ли быть такое – одна из машин в чехле, из тех, что стояла ближе к тому концу, где стоял студент, бесшумно тронулась с места и поехала по направлению к нему. Было полное ощущение, что машина едет сама, без водителя, – какой водитель стал бы ездить в зачехленной машине? Машина подъехала ближе, студент увидел, что чехол держится только на крыше, а за рулем сидит молодой человек. Подъехав к студенту, он резко затормозил и окликнул его:

– Вы не знаете, где тут двадцатиэтажный дом?

– Двадцатиэтажный? – глухо переспросил студент.

– Мне сказали, что он находится на пустыре за сгоревшим пятиэтажным домом.

– За этим? – студент показал на мрачную громаду обгоревшего дома.

– Точно, – радостно ответил водитель, как бы впервые увидев этот дом. – Так мне и объяснили. Значит, надо объехать его справа и выйти к морю. Если и вам туда, садитесь, подвезу.

Студент открыл переднюю дверцу и опешил: в машине было два руля, два тормоза, два сцепления, два акселератора – все попарно.

– Не удивляйтесь, – сказал водитель с улыбкой, – это учебная машина. А сам я инструктор по вождению. Обычно сюда садится обучающийся, а я со своего водительского места контролирую его. Потому все и сдублировано – руль, сцепление, тормоз, газ... Да вы садитесь, садитесь, сейчас все, что на вашей стороне, отключено, не действует, так что сидите спокойно.

Студент сел. Водитель включил портативный магнитофон, полилась музыка, чуть меланхоличная. Поролоновые чехлы сиденья, мягкие рессоры, тихая музыка создавали удивительное ощущение уюта и удобства. Так, может быть, люди чувствовали себя только в материнском лоне – первой вселенной человека.

Они завернули направо, обогнули сгоревший дом, и студент сразу увидел свой небоскреб, теперь он светился всеми цветами вечерней радуги. Разноцветные занавески, абажуры, неоновые и обычные лампочки, светильники раскрасили окна, и многие жильцы – оказалось, что они давно и прочно обосновались здесь, – были на балконах: ели, пили, болтали, смеялись, переговаривались через этажи, слушали музыку, радио, смотрели телевизор. Дом жил нормальной вечерней жизнью. Студент понял, что они подъезжают с тыльной стороны дома. Он же до сих пор видел только его фасад – вот, оказывается, в чем дело. Машина объехала дом и остановилась у булочной. Фасад был также ярко освещен, не было ни одного темного окна. Студент поднял голову – светилось и его окно.

– Большое спасибо, – с признательностью сказал он водителю, вылезая из машины. Перед самим собой ему стало неловко за недавние страхи. Взрослый мужчина, материалист и рационалист, студент – и такие первобытные, атавистические страхи. Стыдно!

Выходя из машины, он впервые внимательно взглянул на водителя, и его лицо показалось студенту знакомым. Водитель также вышел из машины и закрыл дверцу на ключ. Они вошли в разные подъезды. Где же он видел это лицо? Причем как будто совсем недавно. На лицо водителя, отпечатавшееся в сознании студента, накладывались размытые, расплывчатые черты какого-то другого лица, которое невозможно было зафиксировать.

В подъезде студента ждала кромешная тьма. Он зажег спичку, нашел кнопку лифта, нажал. Лифт опять ехал с какого-то очень высокого этажа. Двери его раскрылись, студент вошел в кабину, двери сомкнулись, и свет внутри потух. Студент опять чиркнул спичкой, нашел и нажал кнопку двадцатого этажа и с недоумением почувствовал, что лифт идет не вверх, а вниз, хотя он находился на первом этаже – на уровне земли. Страх, что лифт неисправен, что он проваливается в глубину шахты, в подвальный этаж, перешел в настоящую панику, когда студент понял, ощутил, что он спускается все ниже и ниже, все глубже и глубже. По элементарным временным расчетам, он спустился, по меньшей мере, на восемь этажей, нет, на двенадцать – четырнадцать, нет, чуть ли не на все двадцать этажей под землю. Он слышал, что в городах в некоторых больших домах в стратегических целях строятся подземные этажи, но сейчас в этом нескончаемом провале лифта в глубины земли он почему-то ощутил запах могилы, хотя и знал, что таких глубоких могил не бывает. Студент подумал, что наступил его последний час, какой-то совершенно нелепый, непонятный и необъяснимый конец. Внезапно в лифте ярко вспыхнул свет, и он тотчас понял, почему кабина с самого первого раза показалась ему странной: в ней было зеркало – прямо против дверей, и оно отражало дверь, но не эту, а другую, хоть и похожую, но все же не эту. Дверь, не существующую в кабине. Лифт остановился, и дверь – не та дверь, в которую он вошел, и не та, что отражалась в зеркале, а дверь в боковой правой стене, оказывается, там тоже была дверь, – открылась. Студент, подобно слепцу, ощупывающему ногами опору, осторожно ступая, вышел из кабины и увидел дверь своей квартиры. Вне всяких сомнений, это была именно она, дверь снятой им сегодня квартиры на двадцатом этаже с номером и с дощечкой без фамилии. «Очевидно, это какая-то болезнь – потеря чувства ориентации, направления в темноте, – подумал студент. – Лифт, конечно же, шел вверх, а мне показалось, что он идет вниз, точно так же и с дверью лифта. Как называется эта болезнь? Нарушение ориентировки, потеря чувства правой и левой стороны, ощущения правой ноги мне кажутся ощущениями левой, и наоборот. Точно, у меня вот эта самая болезнь. Завтра надо зайти к врачу». Он нажал звонок и улыбнулся: слава богу, квартира не взорвалась.

Мгновенной вспышкой в сознании студента осветилось лицо водителя-инструктора и тотчас же совпало – с точностью слепка – с лицом бывшего соседа по комнате, абитуриента, с которым он, студент, сегодня встретился у доски объявлений. Это было непостижимо! Не могли два человека быть разительно похожи. И в то же время, если это был он, его сосед по комнате, почему студент сразу не узнал его? И почему, наконец, сам сосед никак не реагировал на студента, будто они вовсе не знакомы?

Студент повернул в замке ключ и вошел. Комната была ярко освещена. В передней свет не горел. Его чемодан стоял на прежнем месте. Студент вошел в комнату и оглядел ее с некоторым суеверным страхом. Все было на своих местах, так, как он оставил, – да и как могло быть иначе? Тахта, шкаф, стол, стулья, телефон с оторванным шнуром, настенные часы с накинутой простыней... А разве он не сорвал ее перед уходом? Очевидно, нет. Или сорвал, а потом снова набросил. Пепельница с единственным окурком, – кстати, он так и не купил сигарет. Фотографии...

Да, фотографии... Он стал тщательно разглядывать их, и ему самому показалось удивительным его особое внимание к фотографиям, будто он допускал, что в них что-то изменится. Но в них, естественно, ничего не изменилось, они висели в таком же количестве – перед уходом по какой-то необъяснимой прихоти он дважды сосчитал их, – было восемь, и сейчас их восемь. Так что, если старуха даже и приходила в его отсутствие – у нее наверняка свой ключ от квартиры, – она их не трогала. Впрочем, трогала ли она их в первый раз? Скорее, ему показалось. Вот и портрет ее сына.

«Что за бредовые мысли?» – подумал студент с иронией, усмехнулся и, насвистывая, прошел в кухню. Жаль, что он так нелепо заблудился, надо было купить чего-нибудь перекусить, он изрядно проголодался. Что делать, придется ложиться спать голодным. Кстати, не забыть оставить свет в ванной, раз уж эта ненормальная старуха считает его маяком. Он включил свет в ванной и открыл кран, вода полилась с каким-то озорным и успокоительным журчанием. Студент улыбнулся радостно и беспечно, посмотрел на зеркало и вдруг в зеркале же увидел, как его собственные глаза расширяются от ужаса. Это пришло одновременно – леденящее чувство ужаса внутри и его отражение в глазах. Пуговицы! Точно. Пуговицы. Это он помнил совершенно точно, за это он мог поручиться головой. На фотографии сын – или кто он там – был в расстегнутой рубашке, студент помнил точно, он обратил на это внимание. Сейчас же рубашка была застегнута на все пуговицы. Хотя во всем остальном ни малейших изменений на фотографии не было. «Этого не может быть», – подумал студент, продолжая неподвижно стоять перед зеркалом. Страх, настоящий, леденящий страх сковал его ноги, и он не мог заставить себя пройти в комнату и взглянуть на фотографию – он почти боялся, что увидит на ней другого человека, может быть уже в костюме или пальто. Или...

«Я схожу с ума!»

«А может быть, – пришла внезапная мысль, – может быть, кто-то пытается свести меня с ума?» Эта мысль, как ни парадоксально, немного успокоила его. Если определить врага, с ним можно бороться. Но кто – враг? Конечно же, старуха. Если она даже не зачинщик, то, несомненно, исполнитель какого-то очень сложного плана. Но кто его начертил, этот план, кто заинтересован в его осуществлении? А мало ли кто? Мало ли у нас врагов, о которых мы даже не подозреваем и которым, в сущности, мы ничего плохого не сделали. Ведь вражда возникает порой не из-за личных взаимоотношений. Вот он, студент, например, сам того не желая, сделал кому-то очень плохо – выдержал экзамены и занял чье-то место в институте. Взять хотя бы тех двоих, его соседей по комнате.

Не случайно он встретил одного из тех парней у доски объявлений. Может, все это его затея?

Бог ты мой, конечно же... Ведь это же он, бывший сосед по комнате, подвез его сейчас на машине. Теперь студент нисколько не сомневался, что это был он. И он просто-напросто выслеживал студента. Зачехленный автомобиль с двумя рулями, объявление, старуха, все эти фокусы с фотографиями. Целый заговор.

Но неужели они способны на такую изощренную месть? Если они способны додуматься до такого, то за одну только фантазию их следовало бы зачислить в институт без экзаменов. Ведь они, несомненно, знали, что он ищет жилье. Найти старуху, квартиру, все так искусно подстроить! Студент уже почти не сомневался, что это чья-то дьявольская игра и старуха в его отсутствие заходила и меняла фотографии. Остановившись на этой мысли, он как-то даже успокоился.

Вернулся в комнату, зная, что за время его пребывания в кухне и ванной в фотографиях никаких изменений не могло произойти. Правда, уже в комнате он испытал некую робость, но, собрав всю свою волю, в упор посмотрел на фотографию молодого человека. Ну конечно, что за чепуха, ничего в ней не изменилось, разумеется, за это короткое время – рубашка застегнута на все пуговицы, лицо сосредоточенное, печальное. Студент стал рассматривать другие фотографии – поменяла ли их старуха? Вроде бы нет, хотя вот эта пара, очевидно жених и невеста, разве они не стояли? Теперь сидят, а впрочем, может, и сидели, он не помнит. «Мне надо точно запомнить все фотографии, когда я ухожу из квартиры, и, если подобное повторится, спросить у старухи о причинах ее столь странных поступков».

Итак, вот отец, мать и дочь, видимо. Вот супружеская пара, она явно беременна. Два юнца, очевидно братья, очень похожи... Мужчина в военной форме. Девушка у фонтана. Дети – три девочки, два мальчика. Старик с тростью. Все. Понятно. Значит, отец, мать и дочь. Так. Супружеская пара. Жена беременна, муж... А разве он был в очках? Наверное, да, если он в очках. Что за чушь? Два юноши, да, они действительно похожи, братья. Мужчина в военной форме. Девушка у фонтана. Бог мой, так у нее же была сумка?! Куда она делась? Или не было? Тогда с кем же я ее путаю? Три девочки, один мальчик. Один мальчик? Видимо, так, да. Что-то было у этого старика, что-то... Что? Может быть, мне записать подробности?

Да нет, так с ума можно сойти. А я не сойду с ума назло всем моим завистникам и этой старой ведьме. Который час, кстати?

Двадцать пять минут одиннадцатого показывали его наручные часы. Почему-то студент подошел к стенным часам и сорвал простыню. На стенных часах было двадцать пять минут третьего. Они тикали, и маятник равномерно двигался. Студент впился глазами в длинную стрелку и, не отрываясь, смотрел на нее. Но, хотя он и смотрел на часы, он не мог сказать, сколько времени прошло, пока не увидел еле уловимое движение минутной стрелки в обратном направлении. Студент быстро подсчитал в уме. Так, точно. В последний раз, когда, собираясь выйти из квартиры, он фиксировал время, было двадцать пять восьмого на его наручных часах и двадцать пять шестого на стенных. Сейчас двадцать пять минут одиннадцатого на наручных и двадцать пять минут третьего на стенных. Выходит, часы шли с одинаковой скоростью – прошло ровно три часа, – но в обратном направлении на тех часах и в правильном на этих. Эти часы шли назад. Часы могут стоять, отставать, спешить. Но чтобы они с такой точностью шли назад – с этим студент сталкивался впервые. «Ничего себе выдумка у моих врагов, – подумал студент, – с такой изобретательностью им бы в Ньютоны, Эйнштейны податься, а они тратят пыл на какого-то студента, вся вина которого в том, что он лучше отвечал на экзаменах, потому что серьезно готовился к ним, а не занимался изобретением ловушек. Интересно, какой еще сюрприз они приготовили мне в этой заколдованной комнате?»

Слово «заколдованной» он мысленно произнес с оттенком иронической снисходительности. Студент был уверен, что все эти «невинные фокусы» построены по четко продуманному плану. Скорее, он пытался уверить себя в этом, что его несколько успокаивало, хотя и не совсем. Конечно, если бы ему было куда пойти, он ни минуты не остался бы в проклятой квартире. Можно поехать в общежитие, кстати, он еще не выписался оттуда, но у студента пропала всякая охота к передвижению, стоило представить себе, что ему придется спускаться на этом зловещем лифте, может быть, впотьмах, что надо будет выйти на мрачный пустырь, пройти мимо сгоревшего дома с огромными тенями от лунного света и что вряд ли в такую пору он сможет найти автобус или такси, и тогда придется ему возвращаться в эту комнату, в которой старуха за время его отсутствия наверняка побывает еще раз и расставит новые ловушки.

Студент не сомневался, что она притаилась где-то здесь, совсем поблизости, скорее всего в том же доме. Теперь он был почти уверен, что именно она в его отсутствие зажгла здесь свет, открыла загадочную дверь на несуществующий балкон и что-то выбросила оттуда, что она или кто-то другой все время неустанно наблюдает за ним. «Нет, – сказал себе студент, – я останусь здесь, и ничто меня не сможет напугать, даже если все эти ее проклятые фотографии оживут и выйдут из своих рамок». Он представил себе, как люди на фотографиях оживают, и ему от этого стало не боязно, а даже как-то весело. «Собственно говоря, я, кажется, порядочный трус. Чего я боюсь? Часы идут в обратном направлении? Ну и пусть идут себе на здоровье, если это кому-то нравится. Мне показалось, что у девушки на фотографии сумка, и, выходит, я ошибся. Элементарный обман зрения. Да, еще эта заколоченная несуразная дверь, ну и что? Что в ней страшного? Что во всем этом жуткого? Что зловещего?

Ерунда какая-то... О боже, – он оцепенел, – что же это такое?»

Студент вдруг увидел, что освещение комнаты меняется: обычная голая лампочка, свисающая с потолка, постепенно становилась синей, как в медицинском приборе «синий свет».

Студент сидел без движения, и комната, подобно стакану воды, в который бросили зерна марганца, постепенно становилась темно-лиловой. Он не знал, сколько все это длилось. Сидел не шевелясь, весь во власти расслабляющего волю страха.

Потом свет лампочки снова стал меняться – медленно и долго, пока, наконец, не стал обычным.

«Что же, – подумал студент, – если это испытание моей воли и мужества, я выйду из него спокойным и, несмотря ни на что, спокойно лягу спать».

Уверенными шагами прошел он в кухню, потушил там свет, оставил его в ванной, умылся, почистил зубы, вернулся в комнату, не взглянул на фотографии, расстелил постель, щелкнул и здесь выключателем и лег. Сама темнота не пугала его, он вообще-то не боялся темноты как таковой, а обо всех сегодняшних фокусах он заставил себя не думать. Он подумал лишь о том, что не может быть ничего такого, что, в конце концов, нельзя было бы разумно объяснить. С этой мысли он переключился на мысль о загадках космоса, о контактах с инопланетянами, о формах разумной жизни во вселенной. Это всегда его интересовало. Затем он стал думать о своей будущей студенческой жизни и через некоторое время спокойно заснул...

Человек шел по пустырю под неверным светом лиловой луны. Его лицо было сплошь забинтовано, оставались лишь узкие щели для глаз. Он был в черном трико, в черной водолазке, в тапочках и весь перепоясан множеством разных ремней. Шаги его были бесшумны, как у кошки. Человек шел к большому сгоревшему дому. В лунном свете полуразрушенные стены и оконные рамы отбрасывали длинные причудливые тени. Тени падали и от колоннады, которая подпирала теперь пустоту. При страшном пожаре, постигшем дом несколько лет назад, большинство жильцов не смогло спастись, многие сгорели в квартирах или задохнулись, замурованные обвалившимися стенами. Остались их голоса, каким-то образом записанные на стены, и при луне, когда дул ветер и метались тени, их голоса начинали звучать – слышались крики, стоны, плач. Человек с забинтованным лицом шел к своей квартире, в которой погибли его близкие, зашел в дом, по лестнице без перил поднялся на второй этаж, подошел к обвалившемуся подоконнику и поднял валявшуюся там трубку телефона с оторванным шнуром. Стал набирать свой собственный номер...

Звонок раздался в комнате. Студент услышал его сквозь сон и попытался проснуться. Но его душило наваждение непроницаемой тьмы, которую он хотел прогнать, зажигая свет, однако выяснилось, что выключатели не работают. Студент явственно ощущал приближение чего-то ужасного, присутствие в темной комнате какого-то существа, которое стояло над ним и с точностью метронома отсчитывало цифры: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

Он вскрикнул и проснулся, весь в холодном поту, но страх не покинул его, а, наоборот, усилился, потому что действительно звонил телефон. В темноте, не соображая, что делает, он бросился к столу, ощупью нашел телефонную трубку и поднял ее, но трубка была полна неживого молчания, как и полагается не включенному в сеть телефону. Студент нашел выключатель, Свет загорелся. Студент стоял босой посредине комнаты с трубкой неработающего телефона в руке. Медленно и трудно он приходил в себя после только что пережитого кошмара.

Потом он положил трубку на место и сел на стул. Ну, конечно же, звонок он слышал во сне, но ведь, когда он проснулся и потянулся к телефону – то есть уже наяву, – звонок продолжал звучать. Конечно, ему показалось. Естественно, никакого звонка не было, ведь не может же звонить телефон с отрезанным шнуром. Это все переутомление, напряжение и волнения последнего месяца. Спать, спать, спать. Уже успокоившись, он протянул руку к выключателю, но, прежде чем щелкнуть им, повинуясь какой-то неодолимой властной силе, повернулся и еще раз посмотрел на фотографии. Сомнений быть не могло – на них были совершенно другие люди... И молодой человек, тот, который был... в рубашке. Теперь это был не он... вернее, он... но другой... тот, который висел у старухи... с галстуком... в костюме с широкими бортами... усатый... Плохо соображая от ужаса, студент подошел вплотную к фотографии и впился глазами в лицо этого человека. Нельзя же сойти с ума, если я все так ясно себе представляю? Или они уже добились своего, мой рассудок помутился, но можно ли так ясно и четко фиксировать помутнение собственного рассудка, если он действительно мутится?!»

Студент смотрел в лицо человека на фотографии с расстояния в два шага и явственно увидел, как на щеках у того начала проступать и расти щетина...

Студент потерял сознание. Комната погрузилась во мрак. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем он пришел в себя и попытался определить свое состояние – сон или явь, продолжающийся обморок или окончательное безумие? Он попробовал сосредоточиться. Вспомнил, что в глазах потемнело, следовательно, он упал в обморок, когда ему показалось, что на фотографии что-то меняется, – разумеется, ему это только показалось. Итак, он упал на пол и сейчас лежит на том самом месте, где упал, то есть перед фотографиями. В комнате почему-то темно. Что же, очевидно, где-то произошло замыкание, и свет погас. А перед этим он видел кошмарный сон. Может, сон все еще продолжается? Да нет, он сейчас не спит. Он может точно определить свое состояние. Итак, под влиянием кошмарного сна, ему что-то показалось, и он смалодушничал, потерял сознание, но теперь он в своем уме, лежит на полу в своей комнате, в квартире, которую он накануне снял. Надо взять себя в руки, встать и зажечь свет.

Но почему у него ощущение чьего-то присутствия в этой темной комнате? И какие-то голоса. Причем они где-то совсем близко. Даже не за стеной, а совсем рядом, как бы за неплотно прикрытой дверью. Кто-то тихо стонет. Наложение, сгущение голосов – кто-то шепчет, спорит шепотом. Откуда эти голоса? Ведь слева нет никаких соседей, там только дверь на несуществующий балкон. Неужели он опять потерял ориентировку, не разбирает, где левая, где правая сторона? Студент медленно повернул голову по направлению к доносящимся голосам и в непроницаемом мраке своей комнаты увидел узкую полоску света из-под заколоченной двери. Свет был каким-то уютным, комнатным, будто не пустое пространство неба было за дверью. Студент подполз к ней и услышал голоса, приглушенные, мужской и женский, причем, два раза ему почудилось, что назвали его имя, потом тихий смех и какой-то сдавленный стон, и чья-то явное сдерживаемая ярость. Кто-то монотонно продолжал считать: раз, два, три, четыре, пять, шесть... Потом кто-то постучал в дверь, именно в эту дверь, с той стороны, то есть с той, где, кроме двух торчащих балок балкона, кроме зияющей бездны двадцатиэтажной высоты, ничего не было. Стук раздался всего два раза, и очень тихо, и больше не повторился. А голоса продолжали звучать...

Студент решился; он встал, включил свет в комнате – (когда он успел его выключить?), подошел к заколоченной двери и сильным движением оторвал одну, затем другую доску. Потом он дернул дверь, но она открылась легко и мягко. За ней был коридор – точно такая же передняя, как и в его, студента, квартире. Это даже не удивило его. Он шагнул в этот коридор, полуосвещенный падающим из открытой двери комнаты светом, видимо, торшера или настольной лампы. Из комнаты доносилась тихая музыка. Радио, наверно. Студент подошел к дверям, заглянул. Комната была почти такой, как и его, но обставлена несколько иначе. Свет падал от настольной лампы под зеленым абажуром. Она освещала стол, за которым спиной к двери сидел человек точно в таком же синем джинсовом костюме, какой был и на студенте. Фигура, рост, каштановые волосы – все было точно как у студента. «Вот теперь я окончательно сошел с ума, – подумал он, – мне видится мой двойник».

Но человек за столом поднял голову и посмотрел на студента с некоторым удивлением. Это был сын старухи, тот, который был на фотографии в ее развалюхе и на фотографии в этом доме, его живой облик как бы объединил черты обеих фотографий. Правда, человек был без усов. «Вы разве не умерли, не упали с балкона, не покончили самоубийством?» – хотел спросить студент, но ничего не мог сказать, у него будто отнялся язык. Как бы догадываясь о его состоянии, человек широко и по-доброму улыбнулся ему, точно так, как на той фотографии, которую студент увидел в первый раз, когда вошел в квартиру.

– Вы, очевидно, мой сосед и пришли через заколоченную дверь, – как-то очень мягко сказал хозяин этой комнаты, – заглянули, так сказать, на огонек. Я рад, что вы решились, вы ведь по натуре нелюдимый и подозрительный человек.

«Откуда вы знаете?» – хотел сказать студент, но опять не мог выговорить ни слова.

– Не удивляйтесь, – улыбнулся человек в джинсовом костюме. – Я психиатр по своей специальности, а по роду своей работы – физиономист, так что мне достаточно было взглянуть на вас, чтобы определить основные черты вашего характера. Разве я не угадал? Я могу даже проанализировать все поподробнее. Самое трудное для вас – контакт, общение с другими людьми. Вы постоянно опасаетесь, что ход ваших мыслей, строй ваших ощущении никогда не смогут быть доступны другим, и потому видите во всех если и не врагов, то, во всяком случае, чужих и чуждых... И от этого вы крайне подозрительны. Везде вам чудятся козни, ловушки, злые умыслы... Верно?

Студент опять не сказал ни слова, но как-то не очень определенно кивнул.

– А разве моя мама не сказала вам, чтобы вы не подходили к этой двери? – не с укором, а с каким-то скорее любопытством спросил психиатр.

– Это ваша мать? – наконец-то выговорил студент. Он хотел спросить: «Это ваша квартира?»

– Разумеется, – сказал психиатр. – И квартира, которую она сдала вам сегодня, моя. Она мне сказала об этом. – Но...

– Понимаю, – сказал психиатр. – У вас тысяча вопросов ко мне. Ну, например, почему я сдаю квартиру и, если уж сдаю, почему этим занимается старая больная женщина, а не я, здоровый хлыщ? Так ведь? Это вас интересует? Да вы садитесь, пожалуйста. Радио вам не мешает?

– Нет, но...

– Все просто и все удивительно сложно. Дело в том, что мне с моим положением – вы, разумеется, понимаете, о чем я говорю?.. – Студент, конечно, ничего не понимал, но психиатр продолжал так, будто все было предельно ясно и не требовало никаких объяснений: – ...мне неудобно заниматься такими вопросами. Мать оказала мне любезность, дала объявление, ну и все прочее. Не хотите ли выпить коньячку?

Он достал из шкафа дорогой марочный коньяк и рюмку, только одну рюмку.

– Я сам не пью, но всегда держу для гостей. Ведь вы знаете, всегда можно найти выпивку в доме у непьющих людей. Пьющие дома выпивку не держат, – он опять улыбнулся широко и ласково, – вы пейте. Вот вам, пожалуйста, шоколад.

Студент выпил залпом и откусил край шоколадной плитки.

– У меня вообще получилась странная история, – продолжал психиатр. – Квартиру, которую вы теперь снимаете, получил я, а вот эта квартира, в которой мы с вами сейчас сидим, слушаем радио – кстати, оно вам не мешает? – пьем коньяк и так мило беседуем, это квартира моей жены. Бывшей жены, – добавил он с легким вздохом. – Две соседние квартиры оказались у мужа и жены. Разумеется, когда мы получали их, мы еще не были мужем и женой. – Он встал, подошел к окну, задумчиво и долго вглядывался в далекое море, а потом неожиданно продолжил так, как будто студент его о чем-то спросил: – Но это длинная и даже по-своему романтическая история. Ну что же, я могу поделиться с вами. Итак, я получил как ведущий специалист квартиру, ту самую, в которой вы живете. До этого я жил у мамы, вы у нее были, сами видели, какие там условия. И можете себе представить, как я обрадовался, когда вселился в этот дом. Кстати, вы, наверное, уже заметили, что квартира, в которой мы с вами сейчас беседуем, хотя и соседствует с той, но находится не в том доме, а в другом, старом. То есть я хочу сказать, что в этой комнате давно жила моя жена, то есть моя будущая жена, то есть бывшая, то есть, – он улыбнулся, – я совсем запутался, я лишь хотел сказать, что моя жена жила здесь, когда мы еще и не были знакомы. Эти дома имеют разные входы, и, возможно, мы никогда так и не встретились бы, если бы не случай. А случай действительно уникальный. Надо сказать, я тогда сильно увлекался азбукой Морзе. И вот как-то лежу я себе в своей комнате, тренируюсь, выстукивают на стенке. Какие-то стихи. Просто так. И вдруг ясно слышу, что из-за стенки мне отвечают, – можете представить себе такое? Причем следующие строки этого же стихотворения. Я чуть с ума не сошел. И что оказалось? Что за стенкой, в этой вот комнате, живет девушка, работающая радисткой на корабле. Неделю она в морс, неделю дома. И я, оказывается, стучал, когда она только что вернулась с моря и отдыхала на своей кровати, расположенной у этой стены. Но все это, разумеется, мы узнали позже, когда таким вот образом познакомились, а потом и поженились. Ну мы, конечно, объединили квартиры, и, когда она уходила в море, я всегда оставлял свет в ванной комнате. Его видно далеко с моря. И она так радовалась этому свету. – Он помолчал, а потом сказал с легким вздохом: – Как все нелепо в этой жизни. Никогда ничего не поймешь. Зачем, как, отчего?

– А что?

– Да вот я думаю: зачем судьба подкидывает нам такие сюрпризы – общая стена, увлечение азбукой Морзе, одинокий мужчина и одинокая женщина? Словом, все как нарочно придумано, чтобы нас соединить, а потом она же, я имею в виду судьбу, придумывает нечто гораздо менее изощренное, гораздо более примитивное и... разъединяет нас.

– Вы развелись?..

– Это нельзя назвать разводом, так как официально мы не были женаты, я хочу сказать, что мы не успели зарегистрироваться. Так что мы не развелись, а просто... разошлись. Вас интересуют причины? А я их не знаю. Просто, она исчезла, и все...

– Как исчезла?

– Очень просто. Я же говорю, исчезла.

– То есть как?..

– Видимо, влюбилась в кого-то... Или что-то в этом роде. За ней иногда приезжали на шикарных машинах. И она не говорила, куда ездит на этих самых машинах. Я пытался искать ее... Но вскоре получил письмо, причем оно было отправлено не по почте и не имело никаких адресов – ни обратного, ни адресата, просто кто-то, видимо, принес и бросил его в мой почтовый ящик. Но письмо, несомненно, писала она сама, я же знаю ее почерк. Она писала, что не надо ее искать, она вполне счастлива и свою квартиру оставляет мне, я могу распорядиться ею, как мне хочется. И тогда я решил одну из квартир сдать – зачем мне две квартиры? Но решил поселиться в этой и сдать ту, свою. Из-за этажа. Вы знаете, хоть я и психиатр, но у меня фобия – боязнь высоты. Я всегда плохо чувствовал себя на двадцатом этаже, А здесь, на третьем, мне удобно и покойно.

– Как на третьем? – удивился студент. – Разве мы не на двадцатом этаже?

– Ошибаетесь, – вновь ласково улыбнулся психиатр. – Мы сейчас находимся на третьем этаже старого дома. Это вы находились на двадцатом этаже нового, перед тем, как войти сюда...

– Но ведь...

– Вас смущают уровни... Как может третий этаж соседствовать с двадцатым? Не смотрите на потолок, – сказал психиатр, перехватив взгляд студента, – дело отнюдь не в высоте потолка. Это стандартные дома, и высота их одинакова. Вообще они во всем одинаковы. Разница лишь в том, что там двадцать этажей, а здесь три. Да, и еще там есть мусоропровод и воду не отключают, как у нас, в полночь. Ах да, вас, конечно, не это интересует. Я чувствую по вашему взгляду, что вы думаете совершенно о другом... Об уровне, так сказать, нашего соседства. Я прав? Ну, вот видите! Дело в том, что эти дома построены на разных уровнях по ландшафту. Этот вот старый дом построен на возвышенности, и потому его третий этаж соответствует двадцатому нового дома. Вы, наверное, обратили внимание, что лифт иногда не поднимается, а опускается. Это зависит от того, с какой двери в него войти. У него две двери, и он очень хитро устроен – постоянно поворачивается по оси. Он обслуживает два дома – и старый и новый. Если вы вошли в первую дверь, он будет спускаться, и вы окажетесь на... двадцатом этаже. Многих это удивляет и даже, более того, – пугает. Скажу вам по секрету, были даже случаи психического расстройства. Я сам лечил. Правда, вылечил, все прошло бесследно, болезнь была в самой начальной стадии, ничего страшного. Не хотите ли выпить еще?

Студент выпил и почувствовал, что ему становится удивительно легко и спокойно с этим человеком. От общения ли с ним, от коньячных ли паров, которые уже начали действовать, или оттого, что так просто объяснялась одна из загадок дома, ему стало хорошо и покойно. Он чувствовал, как снимается напряжение, которое, как ему сейчас казалось, бесконечно долго сковывало его мозг! Теперь он был уверен, что совсем несложно найти отгадки всем сегодняшним загадкам.

– А вы не путешествовали по своей квартире? – неожиданно спросил психиатр.

– В каком смысле?

– Разве мама вас не предупредила? Дом-то ведь экспериментальный, со всякими такими фокусами. Некоторые квартиры, в том числе и моя, вернее, теперь уже ваша, двигаются по вертикали, подобно кабине лифта. Представляете, додумались, целая квартира – лифт. Опускается и поднимается, причем когда это заблагорассудится косому и вечно пьяному лифтеру. – Психиатр опять замолчал, потом продолжил: – Так что если вы вдруг проснетесь и увидите, что уровень моря за окном стал ниже или выше, чем обычно, не пугайтесь – это просто лифтер решил вас прокатить. Потому и предупреждала вас мама: когда квартира поднимается – мы уже не соседи. И та заколоченная дверь тогда открывается в пустое пространство, – вечером, кажется, так и было. Вы не заметили торчащих блоков соединения? Это буфера между домами. Иногда дверь сама открывается, и от тяги что-нибудь вылетает из комнаты. Потому мы ее и заколотили. И вообще, с кем не бывает, выпьешь и решишь, что, открыв дверь, входишь к соседям, а тут – бац и вывалишься с двадцатого этажа. Опасно. Потому мама и наказывала вам... Кстати, говорила она вам, чтобы вы оставляли свет в ванной? Бедная-бедная моя мама, она так сентиментальна! Все еще думает, что моя жена смотрит на этот свет с моря и когда-нибудь вернется... Я не верю в это, а она верит и ждет... Я уже почти забыл ее, а мама вот никак забыть не может... А, будь что будет, давайте-ка и я выпью с вами. Взгрустнулось что-то... Вообще-то я не пью. Хорошо, что вы зашли... Вы просто молодец. Знаете, работа работой – я очень много работаю, – но порой такое чувство одиночества... Иногда я пугаюсь его. В отличие от вас, я не жажду одиночества, я с трудом примиряюсь с ним. Вот только радио... и еще магнитофон... Да… голоса людей, смех, стон, плач, разговоры, шепоты, споры, счет. Это в основном голоса моих пациентов. Я записываю их для моей научной работы. Но порой, верите, просто так, для себя, без всякой цели, просто для себя. Чтобы не быть одному... квартира будто сразу заселяется. Вот и сейчас, незадолго до вашего прихода, я включал... – Я слышал, – сказал студент, – слышал голоса...

– Ради бога, извините, – торопливо сказал психиатр, – я не думал, что так громко, что это вам могло мешать. Ведь у нас правило: как только цвет лампочек становится синим, значит, наступил тихий час, радио, телевизор надо сделать потише, чтобы не мешать соседям. Ну, как в поездах ночной свет. Правда, у нас свет потом снова становится обычным, но шуметь уже... нельзя...

– А часы?

– Что часы? – сказал психиатр.

Студент чувствовал, что его разум постепенно проясняется и освобождается от кошмара нелепых загадок. И он испытывал неодолимое желание объяснить до мелочей все несуразности, не оставить ни одной тайны. Сейчас он, несомненно, близок к этому, в то время как всего несколько часов назад был в какой-то чудовищной паутине алогичности.

– Что часы? – переспросил психиатр.

– Почему ваши часы идут в обратном направлении?

Ясные лучистые глаза психиатра подернулись дымкой печали, и он стал похож на свою мать.

– Это мой брат, старший брат, – сказал он грустно, – он был часовщиком. Завтра будет ровно месяц, как мы его потеряли. Вы знаете, он тоже был экспериментатором, – психиатр мечтательно улыбнулся, – как-то раз решил сделать часы и сделал для мамы и для меня – с обратным ходом. Знаете, это была для него не только техническая задача, не только хобби, так сказать. Он вкладывал в свою затею и некий философский смысл, хотел заставить время течь в обратном направлении. Впрочем, тоже своего рода хобби. И мы с мамой решили уважать эту его причуду. Аккуратно заводим часы, и они идут, идут в обратном направлении.

Студент уже ничего не боялся. Он понимал: все, что с ним приключилось – а с ним действительно что-то приключилось, – имеет точное рациональное объяснение, и даже фотографии, которые меняются, тоже имеют, очевидно, какое-то разумное объяснение, что-то, видимо, заложено в их химическом составе, который придает им свойства замедленной проявки или накладки одного изображения на другое, а может, это еще неизвестный ему способ стереоскопии, – словом, и это вполне научно объяснимо. Просто он чего-то не знает и обескуражен так же, как будет обескуражен непосвященный, неожиданно увидевший себя на экране телевизора разговаривающим, улыбающимся, движущимся. Все дело, значит, в каком-то, тоже, очевидно, экспериментальном, качестве фотографий. Конечно же, ничего сложного и тем более страшного.

– Скажите и про фотографии, – попросил студент.

– Про фотографии? А что именно?

– Про фотографии, которые висят в моей, то есть в вашей бывшей комнате. В чем их тайна? – Слово «тайна» он уже произносил с легкой иронией.

– Тайна? Какая тайна? Вы знаете, большинства из изображенных на этих фотографиях людей я даже не знаю. Это родственники и друзья моей жены, моей бывшей жены.

– Но там есть и ваша фотография?

– Да, есть. Ну и что? – сказал он почему-то с вызовом, но потом необычайно мягко спросил: – Не хотите ли выпить?

Студент кивнул. Психиатр неторопливо и как-то очень бережно наполнил рюмки, причем себе налил половину, а студенту до краев. Они выпили. Студент понял, что, кажется, задал загадку, которая не столь просто объясняется или, во всяком случае, ее отгадка неизвестна, может быть, даже психиатру. Последняя порция коньяка как-то особенно подхлестнула его, и он решил идти до конца.

– Вы знаете, – сказал он и в упор посмотрел на психиатра, – они меняются.

– Как меняются? – не понял психиатр.

– А так. Вот я, скажем, выхожу из комнаты в кухню, через минуту возвращаюсь, и там на фотографиях уже другие люди. А если те же, то в другом виде или костюме. Скажем, был в очках, а теперь снял их, улыбался, а теперь хмурится, застегнул ворот рубашки, обзавелся сумкой... А если побыть на кухне подольше, то безусый отращивает усы и тому подобное.

Психиатр смотрел на студента с явным любопытством. Он долго рассматривал его глаза, руки, а потом заботливо сказал:

– Может, нам больше не стоит пить?

– Да нет, я не пьян, – слегка запинаясь, ответил студент. – Вот даже на вашей фотографии. Когда я вошел, вы там были в рубашке с открытым воротом и без усов. А потом рубашка была наглухо застегнута и у вас появились усы.

– Господь с вами, – улыбнулся психиатр, – да я никогда не носил усов, это у моего брата были усы. Вы видели его фотографию у мамы?

– В пиджаке с широкими бортами, при галстуке?

– Да.

– Теперь она висит в вашей... в нашей комнате. На месте вашей фотографии.

– И что это маме вздумалось перенести ее сюда. Но, может быть, ей тяжело каждый день видеть его фотографию и потому она...

– Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать не то, что портрет вашего брата – кстати, вы очень похожи – висит на месте вашего портрета. Я хотел сказать, что ваш портрет стал портретом вашего брата. То есть он стал таким, каким вы станете через несколько лет и когда, наверное, отрастите усы. Он не меняется, он постарел, ваш портрет.

Студент почувствовал, как психиатр взял его руку за запястье, неназойливо стал щупать пульс, заглядывая при этом в самые зрачки его глаз. Студент понял, что психиатр пытается определить его состояние. Да и кто бы, собственно, не засомневался в нем, его нормальности после таких рассуждений? Надежда на разгадку была так сильна, что он решился и на последнее, что бы о нем ни подумал психиатр.

– Дело в том, – сказал студент, – что я сел у вашей фотографии, ну прямо перед ней, и стал смотреть на нее в упор. И на моих глазах... – Студент сделал паузу, затем выпалил одним дыханием: – ...у вас на щеках – на фотографии, разумеется, – стала пробиваться щетина и расти борода. Так что, пока я здесь, вы там, очевидно, – если, конечно, не успели за это время побриться – с длинной бородой.

Психиатр отпустил его руку, продолжая пристально смотреть на студента, и ничего не сказал. Он встал и медленно прошелся по комнате, остановился у книжной полки, взял какую-то книгу, раскрыл ее на странице с закладкой, что-то прочел и поставил ее обратно. Затем он подошел к студенту, встал позади него, повернул его голову к себе и улыбнулся.

– Мама говорила мне, что вы выдержали трудные вступительные экзамены. Это действительно непросто в такую адскую жару. Ни в коем случае не пугайтесь и не расстраивайтесь. Это утомление, стресс. Но... вы не обидитесь на меня, если я вам задам несколько вопросов? Скажите, пожалуйста, вы не злоупотребляете алкоголем? Я-то вижу, вы человек явно непьющий, но, может быть, когда-то... вы никогда не лечились от... – Он чуть замялся и добавил: – ... от алкоголизма?

– Нет, – сказал студент твердо.

– Вы знаете, на почве хронического алкоголизма иногда могут появляться видения: порой, кажется какое-то движение на портретах, фотографиях, или обои на стенах оживают. На нашем языке это называется делириум тременс. Вы никогда не лечились? В смысле...

– Да бросьте, – сказал студент, – никакой я не алкоголик и никакой не псих, вполне нормальный человек, только вот...

– Разумеется, разумеется, – быстро сказал психиатр. – Я и не сомневаюсь в этом. Ни о каком психозе речи не может быть. Речь может идти только об определенных явлениях, связанных, несомненно, с утомлением, да и с жарой, будь она проклята, какие-то формы легкого расстройства восприятия. И ничего больше. Ведь вот, скажем, электричество – короткое замыкание, и связь прерывается, перегорает лампочка. Так и в нашем мозгу. Ничего страшного. Мне хотелось бы только уточнить. Бывают ли у вас, например, слуховые галлюцинации?

– Что?

– Ну, простые слуховые обманы. Скажем, вам кажется, что кто-то вас окликает по имени.

Студент вздрогнул.

– Да, действительно, сегодня дважды мне показалось, что меня позвали, но на самом деле...

– Никого не было, никто вас не звал, – сказал психиатр радостно, – превосходно, превосходно. А случается ли вам слышать какие-то голоса, поющие, шепчущие, иной раз даже металлические, особенно когда вы спите, вы чувствуете какое-то сгущение голосов – кто-то вас обвиняет, кто-то защищает, кто-то объясняет, а кто-то над вашей головой стоит и считает? – Психиатр с жадностью впился глазами в лицо студента.

– Да, – сказал студент, – как раз сегодня ночью, перед моим приходом к вам, когда я спал, я слышал подобные голоса. Но ведь вы сказали мне, что это были голоса ваших пациентов, записанные на магнитофон. Их я и слышал, не так разве?

– Ну конечно, конечно.

Через некоторое время психиатр вновь обратился к студенту:

– Скажите, пожалуйста, а чувство знакомости, ну, скажем, попадаете вы в непривычную обстановку, а вами она воспринимается как пережитая, знакомая, бывает такое?

– Бывает, – сказал студент с некоторым удивлением.

– Deca vu, – удовлетворенно сказал психиатр.

– Что вы сказали? – переспросил студент.

– Да ничего, голубчик, это я сам себе. Еще один вопрос... – Психиатр как-то суетился, казалось, он боится, что неожиданно может упустить добычу, которую так давно искал. – Скажите, а наоборот: что-то такое, что явно вам знакомо, или, скажем, вы что-то куда-то положили сами только что, а через какое-то время это кажется вам чем-то новым, чего вы никогда не видели или как будто не вы это положили?

– Да, – сказал студент, вспомнив про сигарету, которую он оставил перед уходом в ванную, а потом никак не мог вспомнить, когда же он ее оставил, – бывает и такое.

– Camais vu, – решительно сказал психиатр. – Второе нарушение.

– Что?

– Это тема моей кандидатской диссертации. Вторая форма дереализации.

Глаза психиатра лихорадочно блестели, он возбуждался все больше и больше.

– А подозрительность? Не кажется ли вам порой, что кто-то вас преследует, что кто-то строит вам козни?

– Иногда, – сказал студент.

– Я так и предполагал, – сказал психиатр. – Типичный синдром Кандинского – Клерамбо. А нарушение ориентировки – не путаете ли вы порой левую и правую стороны, верх и низ?

– Кажется, да, – сказал студент неуверенно.

– Психосенсорное расстройство, – сказал психиатр. – Вы на пороге делирозного состояния.

– Чего? – испуганно спросил студент.

– Ничего страшного, – сказал психиатр. – Два-три сеанса, и все будет в порядке. Хорошо, что вы наткнулись именно на меня. Никому другому ничего не говорите, это моя тема. Но вы должны быть со мной полностью откровенны. В сексуальном плане у вас никаких отклонений?

– Нет, – сказал студент, сперва не поняв, а поняв, покраснел – сама эта мысль показалась ему крайне непристойной.

– Так, – сказал психиатр. – Не ощущали ли вы, сами того не понимая, непонятное физическое, психическое воздействие, ну, скажем, что-то вроде космических лучей?

– Вроде бы нет...

– А такое вот ощущение, будто ваши мысли – это не ваши мысли, они внушены вам кем-то или чем-то, будто их вложили в вас, или что ваши мысли читаются кем-то на расстоянии...

– Вы думаете, что я болен? – сказал студент глухо.

– Да что вы? Вовсе нет. Утомление, стресс, и больше ничего. Ничего опасного. Надо провести два-три сеанса, не больше. Можно начать сразу. Но вы должны меня извинить, я человек строгого режима и точно в это время обычно принимаю душ. Это займет совсем немного времени, вы не уходите, подождите меня, пожалуйста. Посидите здесь, вот вам газета, журналы, я приду буквально через несколько минут, и мы продолжим нашу беседу. Я быстро, – суетливо говорил психиатр. Взяв что-то из ящика письменного стола, он вышел из комнаты. Студент услышал звуки открываемого крана, льющейся воды, а затем веселый свист психиатра.

Студент испытывал странное двойственное чувство; с одной стороны, ему, конечно, было очень неприятно, что он, по-видимому, действительно заболел какой-то психической болезнью, причем это гораздо серьезнее, чем пытается внушить ему психиатр в стремлении успокоить пациента. Он не хуже психиатра знает, как реально виделись ему все эти несуразности, и, следовательно, его болезнь значительно серьезнее, чем предполагает или делает вид, что предполагает, врач. Но с другой стороны, это как-то успокаивало студента – больше всего на свете он не любил неопределенности. Теперь же, когда все, даже легкое помутнение рассудка, так разумно объяснялось, он мог думать об этом трезво, значит, все было в порядке. Он мог думать об этом трезво, несмотря на то что выпил почти полбутылки коньяка. Он мог думать обо всем этом настолько трезво, что опять какой-то внутренний голос подсказывал ему коварную мысль: что, если все это дьявольская игра его недругов, бывших соседей по общежитию, абитуриента-инструктора, игра, в которую вовлечена не только старуха, но и этот ее сын – сын ли? – и все они вместе решили методично и планомерно, различными средствами свести его с ума? Но если это так, то...

Прошло очень много времени. Тревожные ли мысли, выпитый ли коньяк, усталость и напряжение или все вместе подействовало – студент впал в какое-то состояние полудремоты, сна с открытыми глазами, сна сидя. Но потом он стряхнул сон, и ему показалось, что прошло не десять минут, а чуть ли не два часа. Из ванной доносилось веселое посвистывание психиатра и звуки льющейся воды. Студент подождал еще немного, затем встал, подошел к двери ванной комнаты и постучал.

– Я сейчас, – бодро ответил оттуда психиатр, продолжая насвистывать. – Мигом, – еще раз прервал он свой свист.

Прошло еще довольно много времени, и опять после непонятного полудремотного состояния, неизвестно сколько продлившегося, студент встал, подошел к ванной комнате. Теперь, дверь была полуоткрыта, звуки льющейся воды прекратились, но психиатр все так же беспечно насвистывал. Студент робко постучал.

– Я уже одет и причесываюсь, – ответил психиатр, продолжая свистеть.

Студент вернулся в комнату.

Прошло еще немного времени. Из ванной продолжал доноситься свист психиатра. Студент не выдержал, вновь прошел к ванной. Дверь туда была открыта. Студент заглянул внутрь: на табурете стоял портативный магнитофон, из него доносился свист психиатра. Студент отпрянул.

– Где вы? – закричал он и влетел в кухню. Потом в туалет, в комнату, наклонился, посмотрел под кроватью, открыл шкаф, вновь побежал в кухню, открыл холодильник. Психиатра нигде не было. Студент помчался в комнату, подбежал к единственному окну, но оно было наглухо закрыто. Студент бросился в переднюю. Наружная дверь была закрыта также изнутри, помимо замка еще и на цепочку и на крючок. «Он прошел в мою комнату», – осенило студента, и почти в то же самое мгновение он увидел в конце передней дверь. Дверь, в которую он сюда вошел и которую оставил открытой. Теперь она была закрыта наглухо, причем заколочена двумя точно такими же, если не теми же самыми досками крест-накрест. Но с этой стороны.

Дикая ярость – его опять одурачили! – овладела студентом, он разбежался, сорвал доску, толкнул дверь и в последний миг подумал о том, что квартира-лифт могла опуститься, и тогда он полетит в пропасть. Но под ногами он почувствовал пол, и оказался... в своей комнате... Теперь он ожидал всего – его не удивило бы, если бы фотографии пели, беседовали, если бы зеркало показывало фильм, подобно экрану телевизора, если бы душ заговорил, как телефонная трубка. Но все было обычно. Даже постель его была смята по-прежнему. В кухне и туалете также было тихо. Студент осторожно открыл дверь ванной комнаты и увидел психиатра, который причесывался у зеркала.

– Каким образом вы оказались здесь? – спросил студент.

Психиатр обернулся. Он был в костюме с широкими бортами, при галстуке. У него были длинные усы, и он был гораздо старше самого себя.

– Здравствуйте, – сказал психиатр, сдержанно улыбаясь. – Что с вами? – вдруг спросил он тревожно. – На вас лица нет. Вы как будто чего-то испугались?

– У вас... у вас... – залепетал студент, – не было усов.

– У меня – усов? – спросил психиатр. – Но я их ношу добрых двадцать лет. Вы меня, очевидно, с кем-то путаете. Ведь мы, в сущности, незнакомы. Простите, пожалуйста, вы, видимо, тот самый жилец, которому моя мать сдала квартиру. Я приношу тысячу извинений, что вторгся в чужую квартиру в неурочный час, хотя, правда, она моя, но теперь-то в ней живете вы. Дело в том, что я думал, вы еще не поселились тут, и действительно, когда я, воспользовавшись своим ключом, зашел, вас в квартире не было. Просто мне необходимо было побриться, и я...

– Да, – сказал студент зло, – меня не было, и вы превосходно знаете, где я был!

– Я? – удивился психиатр. – Но я вижу вас в первый раз.

– Послушайте, – сказал студент, – кто из нас шизофреник, мы еще выясним. Но вы прекрасно знаете, что сколько-то времени назад – я не знаю, сколько, у вас ведь часы тоже сумасшедшие, как и вы сами, – мы сидели с вами и беседовали, и вы прекрасно знаете, о чем мы беседовали. Но вы напрасно думаете, что сведете меня с ума, я сейчас сорву эти ваши приклеенные усы и сотру весь ваш грим, – он протянул руку к усам психиатра. Тот отшатнулся.

– Что с вами, молодой человек? – строго сказал психиатр, принюхиваясь. – Фу... Вы, разумеется, можете напиться, но это еще не повод для того, чтобы оскорблять людей, которые старше вас по возрасту. Вы думаете, если вы снимаете у нас комнату, это дает вам право грубо разговаривать со мной? Если бы я знал, что вы уже поселились, я бы не пришел. Конечно, с моей стороны тоже несколько бестактно врываться в квартиру к чужому человеку в три часа ночи – вы могли быть и не один. Но все дело в том, что я думал, вы еще не поселились, – еще раз повторил психиатр, – я прилетел час тому назад и через два часа опять улетаю за границу. В это время все парикмахерские закрыты, и я решил побриться у себя в доме. – Разговаривая, он прошел в комнату, студент последовал за ним. – Вот и вся моя вина, за которую я еще раз искренне приношу свои извинения. Если бы парикмахерские...

– Послушайте, – студент задыхался от злости, – при чем здесь парикмахерская, что вы мне зубы заговариваете? Если вы психиатр, то значит...

– Я? – удивленно переспросил психиатр. – Я психиатр? Кто это вам сказал? Я астрофизик, дорогой мой. И только что прилетел с международного астрофизического конгресса. Тема конгресса была очень интересной – контакты с внеземными цивилизациями.

– Послушайте, – процедил сквозь зубы студент, – не морочьте мне голову. Что все это значит?

– Что именно – это? – спросил астрофизик.

– Все это, – бессмысленно повторил студент и обвел взглядом комнату. Обыкновенная комната, стенные часы, на часах половина седьмого, – наверное, сейчас уже и было это время, половина седьмого утра, рассветало, – стол, стулья, кровать, фотографии, в том числе фотография с психиатром-астрофизиком в том самом костюме с усами. Все нормально, обычно. О чем он мог спросить?

– Это вы? – тупо сказал студент, показывая на фотографию.

– Я, а что?

– А не ваш старший брат? Или младший?

– У меня братьев нет, ни старшего, ни младшего.

– Нет или не было?

– Нет и никогда не было.

– А как же часовщик?

– Какой часовщик?

– Тот, который умер месяц назад, тот, который делал часы с обратным ходом, тот, по которому носит траур ваша мать, тот, чью фотографию она переносит из одной квартиры в другую. И абитуриент, он же инструктор по вождению автомобиля?

– Вы бредите?

– Нет, это вам хочется, чтобы я бредил, чтобы я сошел с ума. Но фокусник вы ловкий, надо отдать вам должное, великий иллюзионист. Давеча там, в той квартире, вы мне задавали много вопросов, теперь и я хочу задать вам всего один – из любопытства. Нет, не бойтесь, я не буду спрашивать, зачем вы все это проделываете со мной. Это ваше дело. Я хочу спросить только, как вы это все проделываете? Ну, хотя бы с той дверью. Как вы могли перейти из той квартиры в эту, когда дверь была заколоченной с той стороны, изнутри?

– Какая дверь, какая квартира, о чем вы говорите? – сказал психиатр-астрофизик, бледнея.

– А вот эта самая дверь, – сказал студент и показал на нее. – Ой! Еще один фокус. Вы просто гений. Я только что прошел через нее в комнату и оставил ее открытой, и вот тебе, она снова заколочена теми же самыми досками крест-накрест. Нет, вы потрясающий фокусник, ничего тут не скажешь.

– Послушайте, – спокойно сказал хозяин квартиры, все еще бледный, но, видимо, твердо держащий себя в руках. – Я не знаю, что означают ваши слова, и не хочу думать, что моя мать, воспользовавшись моим долгим отсутствием, сдала квартиру умалишенному. Я просто думаю, что вам не следует пить.

– Ну, хорошо, – сказал студент, пытаясь сохранить спокойствие. – Посмотрим, кто кого сведет с ума. Сейчас я еще раз при вас открою эту дверь.

– Нет, нет, – сказал хозяин квартиры, бледнея еще больше.

– Боитесь раскрытия своих шаманских тайн? Я сейчас открою эту дверь и проведу вас в ту самую квартиру, где вы были безусым психиатром. Или ваш двойник, брат! Кто бы он ни был, я выведу на чистую воду всю вашу шарлатанскую семейку. Я не понимаю, зачем вы затеяли со мной, такую подлую игру, – он говорил, как в бреду.

Психиатр-астрофизик скорее удивлялся, чем возмущался, и его наивный, ошеломленный, ничего не понимающий вид бесил студента еще больше. В отчаянном порыве студент отодрал доски от двери, открыл ее и шагнул, но в тот миг, когда он увидел бездну двадцатиэтажной высоты и готов был провалиться в нее, железные пальцы схватили его за шиворот и остановили – это были пальцы хозяина квартиры... психиатра-астрофизика.

– Вы с ума сошли, – сказал он, – здесь у нас был балкон, и он рухнул. С тех пор мы заколотили эту дверь, чтобы ненароком никто не вывалился. Садитесь.

Хозяин квартиры усадил студента и, с беспокойством косясь на него и на открытую дверь несуществующего балкона, вышел из комнаты, принес ему стакан воды.

– Выпейте.

Студент выпил и как-то успокоился. Он чувствовал себя разбитым и опустошенным, полная апатия охватила его.

– Вы плохо себя чувствуете? – спросил хозяин квартиры.

– Не знаю, – безразлично ответил студент.

– Отдохните. И все пройдет. Очевидно, на вас плохо действует выпивка. И потом я... своим неурочным вторжением выбил вас из колеи, но вы меня должны понять... я не знал...

– Ничего, – сказал студент равнодушно.

– Я прямо с корабля на бал, – все пытался объясниться и оправдаться хозяин. – Я только что прилетел из-за рубежа и опять улетаю, теперь уже на другой конгресс, посвященный проблеме времени, разумеется, времени как философской и физической категории. Вы разрешите закурить?

Студент вяло кивнул головой в знак согласия, потом еще раз в знак отказа – он не взял предложенной ему сигареты. Хозяин чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся, у его сигарет был какой-то очень приятный ментоловый аромат.

– Вы знаете, – сказал хозяин после второй затяжки, – от всех этих конгрессов толку мало. Вот, например, только что я присутствовал на грандиозном конгрессе, я уже пытался говорить вам о нем, конгрессе, посвященном контактам с внеземными цивилизациями. Были ученые из многих стран, делались доклады, сообщения, демонстрировались фильмы, фотосъемки, записи, но ведь проблема поставлена неправильно. На мой взгляд, по крайней мере. Я не утомляю вас? Дело в том, что я заказал такси на семь тридцать. Так что еще полчаса я буду докучать вам... Вот... Дело в том, что, на мой взгляд, к проблеме космических контактов надо подходить с совершенно иными принципами. Ведь о чем говорилось на этом самом конгрессе? С помощью гигантского радиотелескопа в Аресибо в глубины космоса послано сообщение о том, что мы, земляне, пользуемся десятеричной системой исчисления, пять элементов считаем наиболее важными, что у нас две ноги и одна голова, что нас четыре миллиарда и так далее. Извините меня, но так можно сватать невесту – у жениха столько-то родственников, столько-то денег, такой-то характер, – но не космические контакты устанавливать. Вот, скажем, выступал Дрейк из Чикагского университета, Мукарджи из Бомбейского университета, еще один ученый, забыл его фамилию, из Японии. Все они уже много лет при помощи мощных радиотелескопов прощупывают ближайшие галактики, записывают радиосигналы, и у всех одинаковый результат – звезды молчат. И вот они ломают себе головы: если внеземные цивилизации все же существуют, то почему они, черт возьми, молчат? Ведь если они ловят наши радио и телесигналы, так почему не поднимают, так сказать, трубку, – он усмехнулся и показал на трубку телефона с оторванным шнуром. – Кстати, это удачное сравнение, хоть и случайное. Мы пытаемся говорить с космосом именно по такому телефону – с оторванным шнуром. Вы представляете, до какого абсурда иногда доходит? Несколько лет назад послали в эфир записи рок-н-ролла и теперь гадают, почему нет никакого отклика: может быть, наша программа не понравилась или показалась неинтересной? Ну, что-то вроде концерта по заявкам радиослушателей. Один из докладчиков договорился до того, что из космоса якобы посылают нам сигналы, но через каждые сто лет, а сто лет назад у нас ведь не было радио, как и тысячи, десятки тысяч лет до его изобретения. Не волнуйтесь, мол, в ближайшее время – в следующий назначенный сеанс – мы их получим. Были, конечно, и выступления другого характера, кто-то робко пытался обратить внимание на то, что, возможно, галактическая система коммуникаций строится на каких-то иных, не известных нам принципах связи, но тут же бодро заканчивал, что рано или поздно мы эти новейшие средства коммуникации непременно откроем. Ну, что сказать на все это... Наш мозг принципиально не допускает совершенно иного понимания, обратите внимание, я подчеркиваю, иного понимания, контактов. И вот сидим мы и еще много просидим у гигантских телескопов, сидим, ждем каких-то сигналов. Как будто контакт с внеземными цивилизациями – ну, это нечто вроде рыбалки, сидишь на берегу, закинул удочку и ждешь, когда клюнет. Ну, хорошо, допустим, я утрирую, если хотите, мы посылаем универсальные шифросигналы, метафоры и иероглифы, так сказать. И все-таки что означает сия самодеятельность? Как будто контакт с внеземными цивилизациями – это нечто вроде радиолюбительства, можно случайно наткнуться в эфире на ультракороткие волны другого такого же радиолюбителя. А ведь – и в этом суть моей мысли – контакты могут быть самыми разными, невероятными и необъяснимыми с нашей, человеческой, точки зрения. Мы вот ждем, чтобы с нами говорили, а может быть, с нами говорят уже давно и не через какие-то сверхсовременные приборы, а просто вот здесь, в этой комнате. – Он сделал длинную затяжку, это была первая пауза с начала его сбивчивого монолога. – Ведь какие-то цивилизации, – продолжил он, – могут пытаться вступить с нами в контакт по совершенно другим каналам, при помощи совсем других форм коммуникации. Они могут обладать непонятными нам средствами воздействия на наш мозг, на нашу психику и проверять нас, так сказать, наши потенциальные возможности по-другому, алогично воспринимать мир. Я говорю не очень сложно, вам понятна моя мысль?

– Приблизительно, – тихо сказал студент.

– Так вот они, эти другие формы цивилизации, не обязательно должны посылать нам радио, теле или любые другие, доступные нашему пониманию сигналы. Далее, если произойдет очная встреча, то совсем не обязательно появление инопланетян на земле в больших космических кораблях. Прежде всего, кто сказал, что они должны быть – я имею в виду обитателей других миров – большими по своим габаритам или даже такими, как мы, люди. Они ведь могут быть и микроскопических размеров и вообще без всякой плоти, – скажем, иметь формы луча, газа, звука. Представьте себе планету, заселенную только звуками! Какая поэзия! А собственно, почему звук не может быть мыслящим существом, в принципе, а? И если уж они, инопланетяне, вздумали посетить нашу землю или уже давно находятся здесь, среди нас, то плацдармом для их пребывания в нашем мире могут быть ведь и просто клеточки нашего мозга. – Он говорил так, будто читал доклад, а может, это и был его произнесенный или непроизнесенный доклад на конгрессе. – Можно ведь допустить, – говорил он, – что у иных цивилизаций в их понимании вселенной действуют совершенно другие законы, принципиально иная причинно-следственная связь. И их контакт с нами возможен только в том случае, если они убедятся и в наших возможностях переступить в познании мира привычную причинно-следственную связь. Может, они еще зондируют, проверяют готовность нашего мозга допускать невозможное. Или готовят его, я имею в виду наш мозг, к этому – к иной логической структуре. И, может, не каждый мозг способен воспринять ее и послужить «посадочной площадкой» для неких «мини-пришельцев». Им нужен мозг особый, мозг как бы изолированный, обособленный, отчужденный, сосредоточенный на самом себе. Некий укромный и потайной уголочек, наглухо отгороженный от соприкосновения с окружающим... Ведь даже в популярных банальных предположениях о посещении Земли инопланетянами мы, люди, в своих наивных догадках отводим их космическим кораблям самые недоступные места на нашей земле – то в Гималаях, то в джунглях Амазонки, то в загадочных глубинах Атлантического океана. А может, изолированный, не контактный с другими людьми мозг и есть тот самый укромный уголок, который пришельцы искали, нашли и облюбовали. Все их потуги к контактам – это попытки разрушить в нашем мозгу причинно-следственные связи, на чем, собственно, держатся все принципы нашей земной цивилизации, в том числе и наши попытки космических контактов. Боже мой, как мы категоричны, когда утверждаем, что только наша логика – единственно возможная для вселенной, что «дважды два – четыре» обязательно, всенепременно и для всех обитателей вселенной! Как мы когда-то твердо и бесповоротно верили, что Земля стоит, а Солнце движется вокруг нее, и вешали, жгли тех, кто думал иначе! Причем я говорю не о религиозных фанатиках инквизиции. Не кто-нибудь верил в это, а Птолемей, заметьте, величайший ум своего времени, – он подчеркнуто повторил: – ...своего времени. А разве мы, хоть и гораздо более скромные умы своего времени, с той же категоричностью не верим в другое: Земля вертится вокруг Солнца. Мы в этом нисколечко не сомневаемся, как, впрочем, не сомневался и Птолемей в своем убеждении. А что, если завтра каким-то совершенно необъяснимым образом вдруг выяснится, что нет, все-таки это Солнце вертится вокруг Земли? Ну, вы понимаете, разумеется, что в данном случае я шучу.

Он засмеялся, перевел дыхание и закашлялся. Он кашлял точно так же, как и его мать, долгим сухим кашлем курильщика. Чуть успокоившись, взял стакан, прошел в кухню.

Студент плохо соображал. Он толком не понимал, что же такое пытается объяснить ему этот человек явно холерического темперамента. Студент подумал: если только что беседовавший с ним человек больше никогда не вернется из кухни, исчезнув самым непостижимым образом из квартиры, или же вернется, но совсем другим человеком, то ли седым, то ли лысым, или точно таким же, но не узнающим его, не помнящим только что состоявшегося разговора, то это уже не удивит его. Единственное, что он ощущал в себе, – полную невозможность всяких мыслительных усилий, ему ни о чем не хотелось думать, ничего не хотелось понимать и объяснять.

Хозяин квартиры вернулся в комнату. Усы его были мокрыми – они свидетельствовали о том, что он пил воду.

– Ну, мне осталось совсем уж недолго мучить вас, – сказал он, взглянув на стенные часы, – такси будет минут через десять. Кстати, о времени. Как определить его? Что нам доказывает, что оно идет вперед, а не назад? Что его определяет – этот примитивный фиксатор? – он ткнул пальцем в стенные часы. – Вы скажете, солнечный цикл, чередование дня и ночи, зимы и лета, но ведь, в конце концов, и Солнце, и природный круговорот – элементарные ориентиры времени, пригодные лишь для нашей системы – песчинки во вселенной. Кстати, на самом Солнце – какое время существует там?

– Не знаю, – сказал студент.

– А ведь существует и совсем другое понятие времени, – пропустив слова студента мимо ушей, продолжал хозяин. – Думали ли вы когда-нибудь об относительности времени в плане бытовых, обыденных примеров?

– …

– А я вот думал. Представьте, что вы спите. В это время наяву раздается стук в дверь или телефонный звонок. На самом деле, то есть по временным меркам бодрствующего состояния, проходят секунды. Но во сне за то реальное время – впрочем, какое из них более реально, неизвестно, – так вот, во сне в это время вы успеваете пережить целые истории, которые завершаются этим самым стуком или звонком. Они, эти истории, связаны со звуком, то есть зарождаются в вашем мозгу в тот самый миг, когда раздается стук или звонок, но во сне вы переживаете как бы предысторию, которая и завершается этими звуками. Из этого следует, что длинная история, которую мы видим во сне, существует одновременно и параллельно с мгновенным звуковым импульсом, но в разных временных измерениях. Сечете мою мысль?

– Плохо, – сказал студент, – я очень устал.

– Извините, я вас утомил. Но мне так хотелось поделиться с кем-то своими заветными мыслями. Однако мне пора.

Он поднялся, надел шляпу, взял клетчатый чемодан с наклейками разных отелей, городов, стран и, попрощавшись со студентом, пошел к дверям, открыл дверь, но потом почему-то вновь вернулся в комнату и сказал:

– Вот в чем проблема контактов. Согласимся ли мы на нарушение наших незыблемых логических законов разума, на нарушение причинно-следственной связи явлений, допустим ли саму возможность иной мыслительной системы – от этого зависит, быть или не быть контактам. А если всему необычному, непонятному, необъяснимому, не вмещающемуся в наше сознание мы будем пытаться искать четкое рациональное объяснение, привычные нам аналоги, если не освоимся с мыслью, что вселенная живет не только законами, но и их отсутствием, а отсутствие законов – это не бытовые козни наших недругов, если все будем сводить к правилам нашего столь несовершенного разума, то никакой контакт ни с кем тогда не возможен. – Он как-то грустно улыбнулся и этим снова напомнил свою мать. – Поверьте моим словам. И будьте здоровы.

Он захлопнул дверь, и вскоре студент услышал звук спускающегося лифта.

За окном уже стояло ясное солнечное утро. Звезды давно погасли, вернее, выцвели на фоне освещенного рассветными красками неба.

В усталом мозгу студента мелькнула догадка, что он все-таки не поддался слабости, и ни старуха, ни ее многоученые сыновья – или все же один-единственный сын в двух лицах? – как бы то ни было, ни вдвоем, ни втроем, ни вкупе с абитуриен-том-инструктором они не смогли свести его с ума.

Студент разделся и лег в постель...

«Надо завтра же обязательно зайти в публичную библиотеку и взять новейшую литературу по космическим контактам, вдруг я что-то пропустил, пока сдавал экзамены», – подумал он, засыпая.

Перевод автора

1976г.

# Красный лимузин

*Рассказ*

В семихолмном городе дальнем

Я простился с милой моей

Не стыдно бояться смерти

И не стыдно думать о ней.

Назым Хикмет

(Перевод М.Павловой)

О. остановился, внезапно охваченный смутными предчувствиями, огляделся. Это место казалось знакомым, но в то же время было такое ощущение, что он здесь впервые. Одно и двухэтажные дома, смешанные, сложные запахи из грязных двориков, глухой, бессмысленный тупичок, упершийся в глухую стену, – все это напоминало О. нереальный мир его сумбурных снов, процеженные сквозь время и душу его, далекие истлевшие воспоминания. Но что, что это были за воспоминания? Из детства? Нет, детство О. проходило не в таких кварталах. Может, когда – то, много лет назад он приходил сюда в гости к своим родственникам, друзьям, или знакомым? Трудно сказать... Ежедневный его маршрут: дом – работа, работа – дом, тоже не проходил отсюда, через эти узкие улицы. И ни разу не возникало в нем соблазна, бесцельно гуляя по городу, очутиться вдруг в неизвестной доселе стороне, как в чужом городе. Так почему же здесь все столь знакомо, будто он изучил каждую пядь этой местности? И откуда взялась эта внезапная беспричинная тревога, странное беспокойство в душе его? Было такое ощущение, что он очутился не в незнакомом квартале родного города, а на улицах чужого города, почему – то казавшихся ему отдаленно знакомыми.

Он взглянул на часы. До полуночи, до комендантского часа оставалось совсем немного. Надо было выбираться отсюда, поскорее выбираться из лабиринта этих не понятных, нелепых улочек, выйти на центральную улицу, на ближайший проспект и – домой, сейчас же домой, пока не пробило двенадцать, не то есть опасность нарваться на патруль и провести ночь в ближайшей комендатуре.

А может, это лунный свет всему причиной, неяркий, словно из другого мира, серебристо – пепельный свет луны, царствующий здесь над домами, делая их похожими на развалины, над улочками, делая их похожими на запутанные нити клубка, над всей этой странноватой местностью, где уши закладывало от пронзительной тишины? Ведь не лунатик же он, в конце концов, нелепо – торжественно шагающий по серебристой дорожке, вперив, бессмысленный, остановившийся взгляд в лунный луч. Он в здравом уме и твердой памяти, знает точное время, контролирует свои поступки. Тем не менее, он попробовал, словно во сне, оттолкнуться, чтобы ощутить много раз испытанное, сердце сжимающее, состояние невесомости, предвещавшее дальнейший фантастический полет. Ничего, разумеется, не вышло. Нет, он был не во сне, ни это состояние полета, ни противоположное ему, когда охваченный парализующим ужасом, не можешь сделать ни шагу на ватных ногах, он не испытывал.

Но в таком случае, что он делает тут в столь поздний час? Зачем он здесь, как попал сюда, как долго он бродит по этим незнакомым улочкам? Ни на один из этих вопросов О., как он ни старался сосредоточиться, ответить не мог. Если б еще он был пьющим, все можно было бы объяснить этим: выпил, мол, человек, с кем не бывает, занесло его, сам не знает куда, зачем... И эта непонятная тревога, закравшаяся в сердце, грозящая перерасти в кошмар, в панику, – откуда она? – переходящая в неуловимое предчувствие беды, чего – то ужасающего, что должно было случиться вот – вот, с минуты на минуту...

Вдруг он поймал себя на том, что уже давно стоит, уставившись в тупичок. О. резко повернулся и зашагал по улочке, завернул за угол, но опять обнаружил перед собой глухую стену. Мелькнула мысль о ловушке. Но тут взгляд его упал на узкую дверь в заборе, он поспешил к ней, толкнул ее и вышел, но не во двор, как следовала бы ожидать, а на другую улицу, столь же узкую, как и предыдущая. И в тот же миг причина страха, обуявшего его сердце, стала проясняться. О. понял – причиной его испуга были звуки, еле различимые, далёкие звуки, которые он принял за неясные рыдания. Теперь, выйдя на другую улицу, он более явственно услышал и понял, что это был всего лишь шум мотора. Включенный мотор машины. Скоро мотор разогреется, и машина отъедет. Но... машина в столь поздний час, на таких узеньких, не приспособленных для езды, улочках? Машина, которую О. еще не видел, стала тревожить, беспокоить его. Еще не сознавая причины, он уже ясно понимал, что надо избежать встречи с этим автомобилем во что бы то ни стало, надо спастись от него.

О. прибавил шагу и тут же услышал, как приблизилось урчание мотора. Охваченный паникой, О. почти побежал, хватаясь за соломинку мысли, что машине не проехать по такой узкой улочке, да еще и на скорости. Рычание мотора слышалось совсем близко, за спиной. О. усилием воли заставил себя обернуться. Метров в двадцати от него, заняв собою всю улицу, надвигался прямо на О. большой красный лимузин. О., пытаясь спастись, толкнул первую попавшуюся дверь, возле которой очутился, и влетел в темный подъезд, где, затаив дыхание, вжался в стенку, будто стремясь раствориться в ней. Тут же урчание мотора сделалось гораздо тише, можно было предположить, что автомобиль остановился, красный лимузин и не думал останавливаться, только значительно сбавил ход. Он приближался к двери, за которой спрятался О.

...и, подъехав, стал прямо напротив этой двери, так что О. мог видеть салон автомобиля. Салон был пуст. Абсолютно пуст. На месте водителя, как и во всем салоне, никого не было. Никого.

\* \* \*

Он проснулся до звонка будильника, заведенного, как раз на семь часов. Озноб от жутковатого сна еще не полностью прошел, но уже через несколько мгновений вполне оправился, ясно сознав, что он в своей постели, в своей квартире, и все, что ему привиделось, всего лишь дурной сон. Усмехнулся, головой покачал. Начинался новый день. Надо было вставать, умываться, бриться, завтракать, отправляться на работу. Он помнил о предстоящих на сегодня делах, об их изнурительной, монотонной схожести со вчерашними, завтрашними, год назад, десять лет, через год... Он закрыл глаза, словно собираясь поспать еще, будто желая обмануть себя и заранее зная, что это невозможно: многолетняя привычка сделала свое дело и сегодня – он тут же вскочил с кровати, чтобы и теперь, как обычно, соответствовать раз и навсегда установленному расписанию своего существования.

Через полчаса. О., заперев дверь своей холостяцкой квартиры, спускался по лестнице, а еще через несколько минут должен был сесть на автобус и доехать до станции метро, проехать на метро четыре остановки, потом, выйти из метро, пройти шагов сто, чтобы очутиться на работе, на своем, так сказать, рабочем месте. Восемнадцать лет все это повторялось с завидным постоянством – в одно и то же время, на одном и том же транспорте, одним и тем же маршрутом. Восемнадцать лет, если не учитывать выходные, отпуска, дни болезней...

Он закурил и уже выходил из своего подъезда, когда прямо перед собой увидел припаркованный у тротуара красный лимузин. Он вздрогнул, придержал шаг. О. мог поклясться, что это был тот самый лимузин, который он видел во сне. В подтверждение тому, как и во сне О., в машине никого не было. Но в отличие от серебристо – лунного сна, сейчас на улице вовсю свирепствовало яркое утреннее солнце, вследствие чего никакой такой таинственности, а тем паче тревожной опасности от красного лимузина, конечно же; не исходило. Машина, как машина, ничего в ней особенного, стоит, как любая другая машина могла бы стоять на ее месте. Правда, до сих пор О. ни разу не замечал ее у своего подъезда, эту кроваво-красную машину, и окраску такую насыщенно – кровавую О., пожалуй, тоже впервые видит. Впрочем, подумал О., может, и видел ее, но не обращал внимания – он ведь такой рассеянный – и независимо от него, эта однажды виденная им машина, затаившись в подсознании, ждала момента, чтобы въехать в его сон. Что и сделала сегодня ночью.Завидев приближающийся, пыхтевший от натуги, престарелый автобус, О. поспешил на остановку и кое – как втиснулся через заднюю дверь в привычно – переполненное чрево этого монстра. Машинально он бросил взгляд через окно в сторону своего дома. Красный лимузин стоял там.

Через две остановки многие из пассажиров вышли, и О. сел на одно из освободившихся мест. Он рассеянно смотрел в окно на прохожих, снующих взад и вперед, на обгонявшие его и встречные автомобили, на дома, мимо которых в тысячный раз проезжал, и старался собраться с мыслями. Теперь он внимательнее обычного следил за слева и справа обгонявшими автобус машинами, будто искал или ждал чего – то. Когда мысль четко сформулировалась в голове, перестав быть смутным ощущением, он невольно усмехнулся: уж не красный ли лимузин высматриваю? Что – то давненько я его не видел, соскучился.

Он вышел из автобуса, но не успел пройти и десятка шагов, как возле входа в метро увидел красный лимузин, аккуратно припаркованный у самого края тротуара. И опять в машине никого не было.

Спускаясь на эскалаторе в метро, О. подумал, что, может в город прибыла партия красных лимузинов, вот он и встречает их на каждом шагу. Мало того, еще и в сны лезут. Он усмехнулся, отметив про себя натянутость и неестественность своей усмешки. Легкий озноб пробежал по спине. А если это одна и та же машина? Если она преследует меня? И тут же другая, более трезвая мысль: «Еще чего! Преследует! Кому ты нужен?!» Но в то же время О. подумал, что, если еще раз увидит на своем пути красный лимузин, обязательно посмотрит номерной знак. Ах, значит, ты все – таки думаешь, что это одна и та же?.. Посмотрим, посмотрим...

Подобные разбросанные мысли так занимали его, что он в рассеянности проехал свою остановку, чего с ним никогда раньше не бывало. Пришлось пересесть на встречный поезд, вернуться на нужную станцию. Выходя из метро, О. вновь увидел красный лимузин. На этот раз не удивился, будто и не сомневался, что увидит этот автомобиль. Он кинул взгляд на номер машины, в которой опять было пусто. 19 – 91. Номерок – то блатной, зеркальный и как раз совпадает с годом, подумал он, идет 1991-й... И что с того? Он чуть пожал плечами. Простое совпадение.

Шагая на работу по последнему отрезку ежедневного маршрута, он подумал: неужели возле редакции тоже будет стоять красный лимузин? Ну, уж нет. Это было бы невероятно. Единственный путь от метро к редакции – тот, по которому он шагает, а, следовательно, красный лимузин должен был бы обогнать его. И тогда он увидит водителя. Это же не сон, в конце концов, чтобы машины разъезжали сами себе...

Он напряженно смотрел по сторонам, на машины, обгонявшие его, но красного лимузина среди них не было, не было его и среди припаркованных возле здания редакции машин.

О. поднялся на лифте на восьмой этаж, прошел в свой кабинет. Окна кабинета выходили во двор. До сих пор ему было наплевать на это, но теперь он впервые подосадовал: мог бы наблюдать за улицей, и когда красный… Нет, я, кажется, свихнулся, сердито подумал О., какого черта я зациклился на этой идиотской машине?!

Целый день он был занят редакционными делами: вычитывал корректуру завтрашней газеты, редактировал материалы для послезавтрашнего номера, знакомился с письмами и за всеми этими делами забыл пойти перекусить, так что к четырем часам сильно проголодался. Он спустился в буфет на шестом этаже. Окна буфета выходили на улицу и, расплачиваясь за обед, О. невольно глянул в окно. Он мельком заметил, что одна из машин внизу была красная. Не та ли самая?

С любопытством, которое самому О. казалось довольно – таки странным, он решил проверить свое предположение и спустился на лифте на первый этаж, вышел на улицу, подошел к машине, бросил взгляд на номер. 19 – 91.

О. застыл на месте, вперив взгляд в красный лимузин, будто ждал, что что-то сейчас произойдет. Может, ждал, что, в конце концов, кто – то подойдет к автомобилю, сядет в него и покончит с этой тягостной мистикой красного лимузина. Но никто не появлялся.

Время близилось к концу рабочего дня, и к машинам, припаркованным возле здания редакций, подходили, садились в них, заводили и укатывали. Постепенно машин здесь оставалось все меньше, и среди нескольких оставшихся был и красный лимузин. О. вдруг сообразил, что уже давно стоит на тротуаре, возле машин, непонятно кого или чего ожидая. Хоть и чувствовал бесполезность этого ожидания. Можно было торчать тут до утра, результат был бы тот же – никто бы не пришел за красным лимузином. Он почему – то был уверен в этом. И еще был уверен в том, что, отправившись сейчас домой, он увидит у своего подъезда – как утром было – это машину. Почему эта странная уверенность так крепко засела в голове, он не мог объяснить, тем не менее, это было так.

Он направился домой. Видимо, ему надоело следить за машинами, и теперь на улицах он больше обращал внимание на прохожих, хотя заранее был уверен – ничего хорошего из этого не выйдет. Он будто очутился в незнакомом городе. Это ощущение, разумеется, не было новым в О., последние несколько лет он не узнавал свой город – да и трудно было узнать – его огрубевшие черты, словно былое население этого города полностью заменилось другим. Впрочем, почти так оно и было. Все меньше оставалось в городе друзей, приятелей, да просто знакомых О. Казалось, даже здания в городе, давно знакомые, многие – с уникальным архитектурным решением – даже они утратили свой облик, потускнели, помрачнели, огрубели, стали совсем другими и чужими. Раньше бывало, не успев выйти из дома и пройти шагов сто, О. неизменно видел двух-трех знакомых, сейчас он мог часами ходить по городу и не встретить ни одного привычного лица.

Подходя с этими невеселыми мыслями к станции метро, О. увидел у тротуара красный лимузин 19 – 91. Когда и каким образом он успел очутиться тут? Ведь сюда от редакции только один путь, и его О. только что прошел, не увидев при этом никакого красного лимузина. Может, он по всегдашней рассеянности не обратил внимания? Как бы там ни было, машина всей своей сущностью пребывала здесь, и опять в ней – ни души.

Слишком противоречивы были чувства в душе у О., чтобы их можно было конкретно назвать, но определенно было одно: к этим смешанным чувствам прибавился отчетливый страх. Кто – то затеял с ним непонятную игру, лично с ним, потому что игра шла по его маршруту. Что ж, отлично. Он не станет избегать навязанной ему игры, с закипавшим раздражением подумал О., он готов сыграть с кем угодно, он принимает вызов, но он должен знать правила игры, знать своих соперников – игроков, по крайней мере, видеть их. Он думал об этом в вагоне метро, когда вдруг мысли его неожиданно сошлись в единой точке. Если с ним и в самом деле затеяли эту игру с какой-то целью – цель еще не установлена – значит, они в точности знают маршрут его... Выследили, что тут трудного? Следовательно, это козырь в их руках. Чьих их? Если б он знал! Может, тогда игра пошла бы совсем иначе, по его правилам. Ну, ничего, козырь в их руках, а испортить им игру – в моих. Если я сейчас выйду из метро, как всегда, на своей остановке, то наверняка, увижу красный лимузин. А я вот возьму и выйду не на четвертой – своей – станции, а... на второй. Почему именно на второй, О. осознал, только выйдя из метро на улицу. Когда – то он чуть ли не ежедневно выходил на этой станции метро, но вот уже два года, как он сюда носу не кажет. В двух шагах отсюда жила секретарша. Вот в чем дело. Сек. Рет. Ар. Ша.

\* \* \*

Секретарша работала у них в редакции. В один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, случилось так, что секретарша и О. оказались дежурными по номеру. К полуночи они сдали номер и вместе вышли из редакции. О., естественно, проводил ее до дому. Говорили о том, о сем, о работе, о сотрудниках, о погоде, о своих проблемах. Вот уже год, как они работали вместе, но еще ни разу не были в подобной, располагающей к интиму, ситуации. И теперь, болтая дорогой о всякой всячине, оба почему – то были уверены, что сегодня, точнее, в эту ночь не расстанутся. Нет, только не сегодня, только не в эту ночь.

Была она молода, привлекательна, более того красива. Более того – жила одна. О. же был холост. Как и теперь. Как и всегда. Случилось это пять лет назад и, следовательно, – О. был на пять лет моложе.

Полунамеки, напоминающие полупредложения, полутона полуприглашений с ее стороны, которые, сделав скидку на ее скромность, можно было принять за приглашение зайти на минуту на чашку чаю. О. же в свою очередь сделал маневренный, но более решительный шаг с досадой похлопав себя по карманам, попросил у нее спички, прекрасно зная, что спички у нее могут быть только дома. Впрочем, все это не главное, а главное, что в эту прекрасную ночь все, что ни было сказано ими, слова и жесты – все было естественно, и когда вдруг оба вспомнили, что уже очень поздно, оказалось, что метро давно не работает, и О. остался у нее на ночь, и это тоже произошло вполне естественно.

Три года длились их любовные отношения, уже были пресыщены друг другом, немного устали друг от друга, живая, с нервом ниточка, связывавшая обоих, чуточку подгнила и грозила разорваться безболезненно.

Короче все имеет свой конец. И, может, именно по этой причине, не желая выглядеть покинутой, она ушла из редакции. Прошел месяц со дня ухода Секретарши, и О. внезапно навестил ее.

У нее были гости, подруги по новой работе. Она встретила О. довольно прохладно, так что, посидев немного для приличия, он откланялся. А через неделю пришел опять. На этот раз он не застал ее дома. Потом как – то заходил еще и – вновь – осечка. А дальше, как обычно, закрутилась старая карусель, навалились дела, и он позабыл о ней.

Это расставание не причинило ему ни неудобств, ни боли. Ничто не шевельнулось в душе его, он даже почти не скучал по ней. Он привык жить один, одиночество было естественным состоянием и вовсе не угнетало его.

Иногда он знакомился с женщинами, встречался с ними, приводил домой, или ходил к ним в гости. По натуре он был молчун, и людям, не знавшим его достаточно хорошо, было скучно в его обществе. Потому общение длилось час – два, потом они расходились, и О. мог месяцами и не вспоминать о своей знакомой.

Он вышел на второй остановке из поезда, вышел из метро и никакого красного лимузина на улице не увидел. Да и не мог увидеть. Кто знал, что он выйдет здесь, если ему самому эта мысль пришла в голову неожиданно?

Ноги сами – по старой привычке – привели его к дому Секретарши. Знакомая лестница, на втором этаже должна быть сломанная ступенька – так и есть – и следовало быть осторожным, если не хочешь грохнуться и свернуть себе шею. Он поднялся на третий и, как ни в чем не бывало, будто только вчера ушел отсюда и не было двух лет разлуки, нажал на кнопку звонка у ее дверей.

Послушались шаги за дверью и короткий вопрос:

– Кто?

Он ответил.

Дверь открылась. Секретарша удивленно воззрилась на О.

– Ты? Какими судьбами?

Он пробормотал, что оказался по делам недалеко и вот решил проведать. Они все еще стояли на пороге. Наконец, она пригласила его войти.

– Проходи, – сказала она. – Только извини – в квартире такой бардак. Я не ждала гостей.

Комната выглядела странно. Пустая, без мебели. Лишь зеркало на стене. Гвоздики от рамок с фотографиями, темные квадраты на выцветших обоях – следы этих фотографий, висевших здесь годами. В углу комнаты – книги в картонных больших коробках, те, что не вместились в коробки, валялись как попало на полу, на подоконнике. Зеркало на стене оживило в памяти О. сцены любви, и она, заметив взгляд, брошенный им на зеркало, кажется, угадала его мысли, поняла, что именно разбудило в памяти О. это зеркало. Порой они любили смотреть в зеркало в минуты любовных игр. Паркет в углу комнаты тоже отличался своим цветом от всей остальной части пола. Темный прямоугольник приходился как раз под кровать, которая тут находилась, их кровать, разделявшую с ними недолгую радость любви. О. послышался даже скрип пружин, стонущих под их крупными телами, сплетенными в любовном экстазе.

– Пришел попрощаться? – спросила она, нарушая затянувшуюся тягостную паузу.

– Попрощаться? – не понял он. – Ты переезжаешь? – Она кивнула в ответ.

– Обменяла квартиру?

– Нет, страну.

О. помолчал немного, потом произнес:

– Что ж, это сейчас актуально... И куда, если не секрет?

– Далеко, – она чуть улыбнулась. – На другой материк. Через океан. О. вспомнил, что ее мать была еврейкой, и в Америке у нее есть родня – она как – то рассказывала ему – не то тетя, не то дядя.

– Когда уезжаешь?

– Послезавтра, – сказала она. – Уже все продала. Сегодня кровать увезли. Так что придется мне эту ночь спать на полу.

– А эти книги?

– За ними придут завтра, – вдруг она вспомнила, – Да. На кухне еще найдется пара стаканов. Сейчас тебя чаем угощу.

– Не беспокойся, – сказал О., но она уже ушла на кухню.

Он подошел к окну; выходящему на станцию метро, посмотрел на улицу. Потом бросил взгляд на себя в зеркало: усталое лицо, круги под глазами, морщины, голова седая, но такое впечатление, что не поседела, а как-то заплесневела, что это грязно – белый налет плесени на волосах.

Он брал книги, оказавшиеся под рукой, рассеянно, бесцельно листал их, клал на место. Старые энциклопедии, многотомники, словари, справочники, были среди книг и настоящие раритеты, бесценные для знатоков. На их страницах поля были испещрены карандашными пометками, – в самом тексте много подчеркнутых мест – словом, было видно, что эти книги не просто читали.

Она вернулась из кухни с двумя табуретками, одну протянула О.

– Садись.

Снова вышла и принесла стакан чаю, сахарницу, поставила это на вторую табуретку.

– У тебя, оказывается, такая богатая библиотека, – сказал он. – Я и не знал.

– Что ты, вообще, знал, – она шутливо махнула рукой. – От родителей осталось... Потом кое – что и я прикупила.

– А я не обращал внимания, – О. покачал головой.

– Еще бы! Тебе не до этого было. Здесь ты занимался одним, а потом – каждый раз – старался поскорее смыться, на часы поглядывал то и дело. Приходилось выручать тебя: Ах, у тебя, наверное, срочные дела, ты торопишься? Да, да, очень срочное дело, надо бежать. Ну и бежал, – ни нотки укора в голосе, она просто вспоминала.

И он вспомнил, что так оно и было. В то время, впрочем, немало об этом было переговорено, но, разумеется, не так равнодушно, как теперь, разговоры эти делались все более утомительными, раздражающими, и, видимо, это тоже послужило причиной того, что они постепенно охладели друг к другу. И сейчас ему не хотелось возвращаться к тем давним, совершенно никчемным разговорам. Он поменял тему.

– Замечания на полях твой отец оставил? – он показал на карандашные пометки.

– Где отец оставил, где мама... – сказала она, улыбаясь. – Во всяком случае, не я.

– Твой отец знал английский?

– Да. И немецкий тоже. И персидский.

– Кому же ты оставляешь эти книги?

– Я их продала.

– Продала? Кому?

– Разным людям. Одних интересуют одни книги, других – другие.

– И не жалко? Здесь же мысли, замечания твоих родителей...

– Что поделать? Мыслями сыт не будешь. Они умерли, и родители, и их книги. А мне дальше жить надо.

– Ты считаешь, книги тоже умерли? Как это?

– Очень просто. Когда умирают люди, читавшие эти книги, собиравшие их, думавшие о них, люди, для которых они стали частью жизни, эти книги уходят вместе с ними. То есть, книги тоже умирают. А у новых хозяев они уже не те, что были. Они уже изменились, хотя и те самые. Некоторые без книг жить не могут. Но я к ним не отношусь, – шутливо закончила она. – Как видишь, я могу без них жить. Я вообще, много без чего могу жить.

– Без родины, например, – сказал он чуть более язвительно, чем ему хотелось.

– Без любви, например, – добавила она грустно.

Он с некоторым любопытством посмотрел на нее – такую он ее не знал.

– Впрочем, – продолжила она, помолчав. – Я люблю книги. Читать, думать о них... Не о содержании, а вообще – о них... Вот погляди: многие из этих книг пятьдесят лет живут вместе, стояли по соседству на книжных полках, притерлись, привыкли друг к другу, мне даже кажется порой, что они передавали друг другу свои мысли, что их персонажи по ночам, когда все спят, ходили в гости друг к другу, беседовали, спорили, ссорились. Ведь все они очень разные. Прямо как ты и я.

– Мы не ссорились.

– Да, это верно. Теперь уже не важно... Во всяком случае, эти книги были – одна семья. А сейчас он расстаются; семья распадается. Завтра они будут далеко друг от друга, в разных концах города, в разных домах, у разных людей. И никогда больше не свидятся. – Она помолчала, – Как мы с тобой, – прибавила она после паузы.

– Ты жалеешь об этом? – спросил он, имея в виду книги.

– Нет, теперь уже нет, – ответила она, имея в виду себя и его.

– Так вот ты какая, – проговорил он задумчиво. Почему ты раньше не говорила... со мной так?

– Ты не разговаривать, сюда приходил, вспомни...

– Не заводись.

– А разве не так? На работе – строго служебные отношения, непонятно, кого ты боялся скомпрометировать, себя или меня: а дома... сделаешь свое дело – и все зеваешь, на часы поглядываешь... Ты не думай, теперь я просто, как говорится, констатирую... Никаких, претензий… Было бы смешно... Все давным-давно уплыло...

Когда О. шел сюда, он был далек от подобных мыслей, но теперь невольно разбуженные воспоминания возбуждали его, и он вдруг подумал, что еще ни разу они не любили друг друга вот так, среди голых стен, на голом полу... тесно сплетенные, голые тела... среди разбросанных книг, газет и журналов. Он, охваченный желанием, подошел к ней, хотел обнять, однако она мягко, но решительно воспротивилась.

– Не надо, – сказала она. – Ничего нельзя вернуть. Раньше я вспоминала тебя, но в последнее время – нет, даже не снился. Но в сердце засело желание: неплохо было бы перед отъездом попрощаться с тобой. Много раз так бывало так со мной: что западет в сердце – обязательно исполняется. Вот и теперь – сам явился! Ты и в самом деле не слышал, что я уезжаю?

– На самом деле. Я случайно зашел. Дело тут одно...

– Какое дело?

Он чуть не сказал ей о красном лимузине, но вовремя спохватился: что тут расскажешь? Что за сегодняшний день он несколько раз встречал одну и ту же машину? Ну и что? Встречал и встречал.

Да и потом, она уже не была здесь, в этой квартире; в этом городе. Она будто из другого мира говорила с О. Физически, телом она была тут рядом с О., однако душой, мыслями находилась очень – очень далеко. Но именно о теле ее думал О., о теле, которое дарило ему наслаждение, о теле, каждый сантиметр которого, с подъемами и спусками, выпуклостями и впадинами, был ему досконально известен. И он подумал, что насколько хорошо знакомо ему тело ее, настолько же неизвестна ее душа.

Необузданное желание разбить вдребезги равнодушно глядящее на него зеркало вдруг возникло в О., но он вовремя вспомнил: разбить зеркало – к несчастью. Не мог он согласиться ни на ее несчастье, ни на свое. Наверное; она и его продала, это зеркало их любви, в котором еще теплятся для него отражения двух любовников; и за ним придут, увезут в чужой дом, повесят на чужую стену, и там оно, холодной поверхностью своей, возможно, будет отражать чужую любовь.

Теперь оставалось только попрощаться, ничто больше не связывало О., с этой опустевшей комнатой, с умершими в ней звуками, голосами. Надо было уходить. Что ж счастливо, желаю тебе удачи на новом месте. Может когда-нибудь, где-нибудь еще увидимся. Хотя прекрасно знал – нигде и никогда.

На пороге он поцеловал ее в лоб и стал спускаться по лестнице. На втором этаже, забыв о разбитой ступени, он споткнулся и чуть не упал. Поднял голову. Она стояла на лестничной площадке. Когда он посмотрел наверх, она помахала ему рукой. Кажется, улыбалась. Он последовал дальше и услышал сверху скрип закрываемой двери. Скрип напомнил ему стонущие пружины кровати, и тут только он ясно и до глубины души осознал, что простился с ней навсегда. И еще он вдруг понял, что если даже они годами не виделись, может, теперь в этом городе она была по – настоящему единственным близким ему человеком. И про красный лимузин он, мог бы рассказать разве что ей.

Мелькнула мысль вернуться, попросить ее: «Не уезжай, – сказал бы он ей, – давай поженимся, – сказал бы он, – будем жить вместе, и книги не будем продавать никому», – сказал бы он. Или... или хотя бы только эту ночь побудем вместе, постелем на пол книги, накроемся старыми газетами, прижмемся друг к другу, спрячемся от всего мира.

Но это было невозможно: он прекрасно, знал, что все было решено и ничего нельзя было повернуть вспять, изменить. От судьбы не уйти.

Когда он вышел на улицу, красный лимузин был уже там, стоял прямо перед подъездом, незыблемый, как скала. О. нисколько не удивился, будто так и должно быть, словно то, что красный лимузин выследил О. даже здесь было самым естественным и обычным делом. Никакого страха он не испытывал. Спокойно зашагал в сторону метро. Сеялся мелкий дождик. Казалось, только этот дождик был знаком О. в этом ставшем чужим городе. Все, все здесь было чужим, все изменилось, утратило родные, привычные очертания. Он посмотрел на небо – мрачное, затянутое тучами небо было знакомо, и из знакомого неба шел знакомый дождик. И дождик этот – показалось ему – шел из прошлого, из навсегда утраченных дней.

Выйдя из метро, он не стал ждать автобуса, направился домой пешком. По-прежнему шел дождик. Вот он пройдет еще немного и увидит возле своего подъезда красный лимузин. Обязательно увидит.

Но когда он вышел к своему дому, перед ним не было никакой машины – ни красной, ни черной – совершенно пустое пространство. Что ж, подумал О., значит, он увидел эту машину во сне.

\* \* \*

В половине пятого утра он внезапно проснулся. Будильник терпеливо отстукивал время, в ожидании семи часов, когда мог бы разродиться звонком. Однако, глянув на часы О. уже знал, что именно сейчас, сию минуту должен подняться с постели. Он встал, подошел к окну. Предчувствие не обмануло его: на пустынной предутренней улице, прямо возле его подъезда стояла красная машина. Красный лимузин.

Теперь О. точно знал, что будет делать. Он принял душ, тщательно, не спеша побрился, надел чистую белую рубашку, выглаженный выходной костюм, повязал свой лучший галстук, почистил туфли.

Прежде чем выйти, он окинул взглядом комнату. Возникло желание остановить часы, чтобы не трезвонили зря в пустой комнате, но раздумал. Какое это теперь имело значение?

Курить не очень хотелось, и он воздержался, тем более, вспомнил всю эту сентиментальную ахинею: «последняя сигарета» и прочее – попахивало романтической белибердой. О. неторопливо спустился по лестнице, вышел на улицу.

Улица была пустынна и мрачна. Местами на асфальте чернели пятна сырости от вчерашнего дождя.

Подошел к красному лимузину. Он знал, что дверца не заперта.

Дверца была не заперта. Он открыл ее. Уселся за руль.

Он знал, что ключ зажигания должен быть на месте.

Ключ был на месте.

Он бросил взгляд на незнакомую улицу, на незнакомые дома, знакомое небо.

Небо было чистым – предвещало ясный день.

Он повернул ключ.

\* \* \*

Сообщение телеграфного агентства:

«Сегодня около пяти часов утра на улице N. взорвался автомобиль. Предполагают, в автомобиль было заложено взрывное устройство, реагирующее на включение зажигания. Кто подложил взрыватель, кому принадлежит машина, чей до неузнаваемости изуродованный, обгорелый труп за рулем – пока не установлено. Ведется следствие».

26-27 августа 1991г.

Перевод Натика Расулзаде

# Наваждение

*Рассказ*

Первый крик,

Возможно, то плач

перед наваждением

дней грядущих.

Последняя тишь –

покой от усталости жизни,

прохладная тень

Расул Рза

Доктор Орудж был доволен жизнью, на здоровье никогда не жаловался. Ему было под сорок пять, но до сих пор даже гриппом не болел, и заботы семьи его не очень обременяли. Жена его – Пакиза, на шесть лет старше его, была домовитой хозяйкой. Дом содержала в чистоте и в порядке, готовила вкусно. Сама же была не требовательна, без претензий, словно ягненок. Никогда не допекала мужа вопросами – куда и зачем пошел и зачем так поздно явился... Орудж по утрам пил на кухне свой хорошо заваренный чай, ел яичко всмятку или яичницу, хлеб с маслом и сыром.

И одежду его Пакиза содержала в порядке. Рубашка, костюм и галстук всегда свежевыглажены, туфли протерты, а если пуговицы на плаще были вечером расшатаны, утром уже он находил их крепко закрепленными.

И сыном был доволен. Окончил среднюю школу на золотую медаль. И в вуз поступил, можно сказать, своими силами. Хотя, конечно, и Орудж не дремал, слегка, как говорится, подсобил. Со второго курса вновь Орудж немножко помог и перевел сына во второй медицинский институт в Москве. Каждую неделю теперь звонит сын родителям, по праздникам шлет им поздравительные открытки. Но и Орудж не забывает о сыне, в начале каждого месяца высылает ему определенную сумму денег.

Орудж был известным в городе психиатром. Он любил свою профессию. К странностям пациентов относился снисходительно, с пониманием, не сторонился своих больных, а если ему удавалось кому-то помочь, был рад. Ну а если больной был совсем безнадежен, старался не принимать близко к сердцу, ведь их излечение не зависит от него, доктора Оруджа... Конечно, у этого вопроса была и материальная сторона, и доктор Орудж не обязан терпеть угрызения совести от того, что его благополучие зиждилось на несчастье других – это его профессия. Он был специалистом высокого класса, прекрасно владеющим своим ремеслом. И это нормально, если он облегчает чью-то участь, кого-то излечивает, кого-то обследует или даже подтверждает чью-то безнадежность и затем со спокойной совестью берет свою законную плату. И если его, так называемая, «законная плата» оказывается несоизмеримо выше его собственной зарплаты, ну ж... Значит, это обусловлено его заслугами, именем, знаниями. Ведь и то правда, что больные, вернее их родственники, ищут не других, а именно доктора Оруджа, они хотят попасть именно к нему на прием, готовые заплатить за услуги любую сумму. Помимо, больницы, доктор Орудж два дня в неделю принимал больных у себя дома. Одним словом, в течение последних десяти-пятнадцати лет у доктора не было никаких материальных проблем. Получив четырехкомнатную квартиру в кооперативном доме, выходящую окнами на море, заново ее отремонтировал, пол устлал дорогим паркетом, сделал арочные проходы между комнатами, потолок и стены разукрасил лепными узорами. Комнаты, кухню, прихожую обставил импортной мебелью. Шкафы заполнил хрустальными вазами, всевозможной посудой из дорогого стекла, источавшей ослепительный блеск. Орудж имел три телевизор, два видео, проигрыватели с обычными и лазерными дисками. В зарубежные поездки отправлялся с видеокамерой. У него была автомашина «Волга» со стереомагнитофоном и дача в Мардакянах. Как раз все его беды впоследствии и начались с дачи. Поначалу все шло хорошо. Вот уже пять лет как Орудж пользовался этой дачей. До известных событий восемьдесят восьмого года этот участок принадлежал одному армянскому врачу, переехавшему затем в Москву. Позднее Орудж достроил второй этаж, переоборудовал баню в сауну, обставил дом новой мебелью. Вместе с Пакизой он проводил на даче июль и август. И сын отдыхал там, недели две, приезжая на каникулы из Москвы. Остальные месяцы в году Орудж наведывался на дачу один. То есть не то чтобы совсем один... В пятницу, после работы, проводив последних пациентов, Орудж ехал домой, переодевался, садился в «Волгу» и отправлялся на дачу. С тех пор как начались его отношения с Офелией, она каждую субботу приходила к нему на дачу, и они весь день проводили вместе. То есть не только день. Офелия заранее предупреждала родителей о своем якобы дежурстве и оставалась с Оруджем на всю ночь. Правда, поначалу Оруджа мучили некоторые угрызения совести, особенно когда он вместе с Офелией с аппетитом поедал вкусные завтраки Пакизы, аккуратно сложенные в целлофановые мешочки – жареное мясо, долму, курицу, зелень, помидоры, фрукты, запивая все это вином. Но постепенно это вошло в привычку, и угрызений совести уже не бывало. В воскресенье Офелия просыпалась первой. Вставала, заваривала чай. Затем они вместе завтракали, и Офелия уходила. А Орудж, взяв лопату, разрыхлял почву у корней фруктовых деревьев, поливал из шланга сад. Часов в двенадцать приезжали друзья. С вечера Мехти приготавливал бастырму. Пока нанизывали мясо на шомпола, водили костёр, Орудж с друзьями отдыхал в сауне, попивая пиво, играя в нарды. Затем они выходили и принимались за шашлык из ребер барашка. Произносили друг о друге нескончаемые цветастые тосты. Ближе к вечеру тосты истощались, друзья уставали и, сев в машины уезжали в город. Орудж же, включив видео, садился смотреть американский детектив. Свою коллекцию порнографических фильмов он также хранил на даче. Только этого не хватало, чтоб Пакиза подобные фильмы смотрела. Однако, что касается Офелии, с ней он смотрел с удовольствием. Сексуальные сцены на экране еще больше возбуждали их прыть.

Возвратившись в понедельник утром в город, Орудж чувствовал в своем теле легкость, освобождение от стрессов и был в готовности начать новую трудовую неделю. Дома он сменял одежду и отправлялся на работу. Итак, днем – работа, понедельник и вторник – прием больных на дому, в среду вечером – преферанс у Мехти. И выигрывал, и проигрывал. Впрочем, и играли-то не на какие-то там высокие ставки, а просто так, ради развлечения и удовольствия. Ну а по четвергам ходил помянуть усопших. Иногда даже в два-три места. Родных и знакомых было немало. И надо делить с ними горе и радость. С двумя-тремя близкими друзьями порой говорили о политике. Впрочем, она их интересовала в той мере, насколько влияла на благополучие их семей. Они были молоды и любили жизнь. И, конечно, женщин... Стремились урвать у жизни как можно больше удовольствия. И если то было возможно, старались держаться подальше от политики. Не верили ни в одного лидера, молниеносно сменяющих друг друга... Действительно ли те лидеры были заинтересованы в окончании войны или, просто заигрывая с народом, думали прежде всего о своих интересах. Стоило кому-то из них прийти к власти, как тут же стремился урвать кусок пожирнее, прибрать к рукам все, что можно прибрать.

Оруджу на жизнь хватало с лихвой. Ну а излишка он не хотел, понимал, излишние запросы опасны, за них, чего доброго, и головой поплатиться можно. Ну а он, чтоб почувствовать вкус жизни, имеет все, что человеку надо. И даже двадцатилетнюю Офелию, похожую на русалку. Офелия работала медсестрой в их клинике, была молодая женщина, разведенная с мужем. Как говорится, не сошлись характерами. Их брак не протянул и года. Орудж давно приметил Офелию, хотя у него были все возможности выбрать себе девушку и покрасивей ее. У него было все, что может привлечь женщину – рост, обаяние, со вкусом подобранная одежда, бойкое остроумие, напористость, деньги, дача, машина. Однако выбор его пал именно на Офелию. Возможно, по той простой причине, что молодая женщина жила в Шувелянах, недалеко от дачи Оруджа. Об этом он узнал случайно. Как-то, возвращаясь в город, на станции увидел ее, спешащую на электричку. Орудж остановил машину и предложил подвезти. Так он узнал, что Офелия живет чуть ли не по соседству. Дача Оруджа находилась как раз недалеко от станции – между базаром и магазином – в конце укромного переулка, и потому появление молодой женщины в этих местах ни у кого бы не вызвало подозрений. Сворачивая в переулок и выходя из него, можно было быть совершенно спокойным, что тебя никто не увидит. Одним словом, полная конспирация. Орудж хоть и не желал себе в этом признаваться, однако знал, что в зарождении отношений его с Офелией это обстоятельство имело немаловажное значение. Во всяком случае, их связь длилась вот уже три года. И поскольку они виделись не так часто – два-три раза в месяц, друг другу еще не приелись. Конечно, вначале Орудж, был несколько обеспокоен, как бы это приятное времяпрепровождение не обернулось для Офелии в нечто большее... Однако вскоре успокоился, убедившись, что Офелия – благоразумная девушка и правильно понимает их отношения, довольствуясь тем, что есть – приятными мгновениями встреч, дорогими подарками. Как видно, ничего другого она и не желала и не ждала.

И все это – его работа – пациенты, лечение, материальное благосостояние, покой в семье, мысли о будущем сына, свежий воздух дачи, работа в саду, субботы, веденные с Офелией, дружеские пирушки, преферанс, нарды, видеофильмы... ограждали Оруджа от всех волнений жизни. И ему, собственно, не было дела, что там, за стеной ограды – как течет, вскипает, вспенивается жизнь, льется ли кровь, текут ли слезы... Возможно, где-то даже неосознанно срабатывал инстинкт самосохранения. Таким способом Орудж как бы предохранял себя от превратностей судьбы, несовершенства мира, которое еще никому не удавалось исправить, Оруджу тем более. Это была своеобразная форма спасения, желание жить беспечно и весело в этом недолговечном мире, куда мы заброшены не по своей воле.

Орудж не жаловался ни на здоровье, ни на сон. Обычно ложился в одиннадцать, полдвенадцатого, вставал в семь, самое позднее, в половине восьмого – делал зарядку, умывался холодным душем – летом и зимой, в любую погоду. Но в последнее время что-то напала на него бессонница. В полночь вдруг проснется и не спит до утра, ворочается с боку на бок. В голову лезет всякая чертовщина. Накатывает вдруг ужас от того, что жизнь неуклонно движется к закату – до пятидесяти рукой подать… а после – болезни, старость, ледяное дыхание небытия. Сколько там впереди осталось? Всего лишь чуток. Что будет после? Ничего... Орудж был по воспитанию атеистом и в тот свет, можно сказать, не верил – ни в рай, ни в преисподнюю. Как врач знал, из какого состава веществ состоит человек и в какой последовательности идет разрушение. Что же касается так называемого духа, он связан с активностью правого и левого полушария головного мозга, который – действует согласно своим биологическим функциям. А от мозга также ничего не остается, все подвержено тлению. Все разговоры о потусторонней жизни, даже те, которые одеты в научные одеяния, – химера, сказка. Все это миф, пустые мечты, суеверие и только. Есть только этот мир, который мы видим, слышим, чувствуем. И мир этот длится, сказано, «всего лишь пять дней». Так отчего эти дни должны быть черными? Если ты сильный и волевой человек, сумей скрасить их в тот цвет, который тебе больше по душе. И живи себе на здоровье в этом цвете до самой старости. Оруджу казалось, что это ему удается! Но теперь эта ограда, эта стена, которую он сам же возвел, грозила обвалиться и разнести вал, за которым бурлило море жизни. И она как Хазар, чей уровень воды неожиданно вдруг стал расти, вздыбливаясь, грозил снести дамбу... потопить бульвар, деревья, дома... Общественная жизнь – митинги, забастовки, война в Гарабахе, грызня за власть, смена государственного строя, оказывали свое влияние и на профессию Оруджа. Увеличилось число душевно больных, появились новые виды различных маний и нервных отклонений. Родственники под благовидным предлогом приводили больного члена своей семьи к Оруджу на прием. Пятьдесят процентов этих пациентов были больны карабахской проблемой. «Дайте мне возможность, и я за два часа разрешу карабахский узел», – так примерно говорили многие из них. Были и такие, которые собирались все разрешить за двадцать дней или, скажем, за двадцать минут. Новый психоз охватил многих. Во всех отношениях здоровые люди, заболевали ложной иллюзией – верой в свои возможности разрешить карабахскую проблему. Им казалось, что из-за того, что они обладают этим секретом они преследуются со стороны Москвы, КГБ. Один даже настойчиво уверял, что у Старовойтовой связь с инопланетянами, которых ей удалось перетянуть на сторону армян, и что теперь, поскольку пациент об этом знает, за ним следят из космоса. Немало было и тех, в ком развилась болезнь под воздействием страха. Однажды привели к нему пациента, который вбил себе в голову, что Мингечаурская плотина вскоре взорвется, вода затопит пол Азербайджана и от нашего народа ничего не останется. Другой узнал откуда-то, что дача Оруджа раньше принадлежала армянину и пришел предупредить что тот, уезжая, якобы опрыскал специальным ядовитым химическим препаратом стены дома, кору деревьев. Этого нельзя, мол, почувствовать сразу – этот яд без цвета, без запаха. Надышавшись им, человек умирает в течение двух-трех месяцев. Тогда Орудж напомнил этому человеку, что он там живет уже пять лет. – «Ну и что?» – ответил тот. – «В зависимости от особенностей организма болезнь может проявиться не сразу. Так что мой вам совет, сожгите сад, дом, деревья... все, что там есть, и сами больше никогда туда не ступайте ногой».

Когда Орудж впервые увидел Балами, то решил, что и он его пациент, поскольку тот пришел, записавшись к нему на прием. Когда подошла очередь, в кабинет вошел коренастый смуглый мужчина средних лет, с очень узким лбом. Кустистые брови, тяжело нависая над покрасневшими белками глаз, делали его облик тяжелым и устрашающим. Орудж, окинув его профессиональным взглядом, решил, что у него «олигофрения», и тотчас подумал, что человек этот похож своим внешним видом на профессионального убийцу.

– На что жалуетесь? – спросил он, как всегда.

– На вас...

– Что?

– У меня есть жалоба на вас.

Но подобными ответами Оруджа не так-то легко было сбить с толку, поскольку он уже встречался с манией, направленной лично против него.

Решил начать с другого конца.

– Ваше имя? – спросил он, хотя на карточке оно и так было указано.

– Балами, по фамилии Дадашев. Я не болен. У меня на вас жалоба. Вы захватили мою дачу.

Орудж тотчас припомнил армянина, с которым был хорошо знаком.

– Ошибаетесь, – ответил он, – дача эта принадлежала одному армянскому врачу, который затем переехал в Москву.

– Не я, вы ошибаетесь. До армянина эта дача принадлежала мне, точнее моему отцу, а до него моему деду. Дача, на которой вы живете, земля моих предков. Возможно, вы слыхали, – Мешади Дадаш, так вот это мой дед. Я пришел просить вас возвратить мне мою дачу. Время теперь подходящее, каждый стремится вернуть принадлежащее ему ранее имущество, и будет лучше для вас, если вы также вернете нашу дачу по доброй воле. Мне бы не хотелось, чтоб между нами из-за этого возникли споры, раздоры. Все, что я сказал, сущая правда. Здесь не может быть другого решения.

– Мне эту дачу выделил трест дачного хозяйства. Обратитесь туда.

– Я не собираюсь никуда обращаться. Во-первых, потому, что у меня на руках нет никаких документов, купчей и т.д. подтверждающих мои слова, во-вторых, вы известный, ученый, врач... Навряд ли у вас отберут и передадут мне...

– Тогда что вы от меня хотите?

– Вот того и хочу, чтобы вы добровольно возвратили мне мою дачу.

У Оруджа чуть было не сорвалось с языка: «Вы в своем уме?», но вовремя спохватился. Как психиатр не имел права на подобную фразу.

– Хорошо, – сказал Орудж. – Я живу на этой даче вот уже пять лет, достроил второй этаж, сделал другие ремонтные работы. Где же тогда вы были все эти пят лет? Почему только сейчас очнулись?

– Это не имеет значения. Вы потратились, ну что ж, мы это, обговорим и возвратим ваши затраты. Но и вы должны будете вернуть мою дачу. Я старший сын в семье, и эта дача принадлежит мне. Я прав? Я ведь предлагаю честную сделку?

– Нет, не честную, – посмотрев на часы, сказал Орудж. – У меня нет времени попусту тут с вами разговаривать. Меня ждут больные. Всего хорошего,

– Значит, не возвращаете мне дачу?

– Нет.

– Почему?

– Нет смысла говорить об этом. Дачу я получил законным путем, она моя, и я там буду жить.

– Нет, я не позволю вам там жить. Вы и дня там уже не останетесь.

– Почему? Вы ее подожжете, или танк поставите у ворот?

– Это мое дело.

– Ну, хорошо, а если я сообщу в милицию, что вы меня шантажируете?

– Я как раз этого и добиваюсь... Хочу, чтобы по вашей жалобе меня поймали и посадили за решетку. Сейчас уже время другое. Вас все знают. Представляете, какой ажиотаж поднимется в газетах. Да вас заставят кровью плакать. Будут говорить, мол, известный ученый, врач отобрал у бедного сельчанина дачу, в тюрьму его запрятал, оставил его детей сиротами.

У Оруджа лопнуло терпение.

– Знаете что? Пока я не взял вас за шиворот и не вышвырнул, вставайте и убирайтесь вон и чтоб я вас здесь не видел больше.

Балами спокойно встал, хмуро и тяжело глядя:

– Ну что ж. У меня два сына. Старшему Гусейнаге, двадцать один. Младшему – Гасанаге – девятнадцать. Если мне самому не удастся возвратить мою дачу, это сделают мои сыновья. Бог не терпит, если кто-то на чужое добро зарится. Не бойтесь людей, бога побойтесь – закончил Балами свою тираду и, спокойно направившись к дверям, вышел.

Это случилось в пятницу. Назавтра Орудж должен был встретиться с Офелией. Он позвал ее:

– Завтра я буду занят и не поеду на дачу. Встретимся на следующей неделе.

Офелия, молча выслушав, ничего не ответила.

\* \* \*

Однако и на следующей неделе Орудж, найдя причину, вновь известил Офелию о том, что не поедет на дачу. И не поехал. Отказался не только от ночи любви, но и от дружеской компании. Друзья удивились. Он же, оправдываясь, говорил, что, мол, отключили на даче газ, свет.

Мехти сказал:

– Я сейчас же позвоню Сеидаге, и тот пошлет человека, он тебе все исправит.

– Нет, не стоит, я уже говорил с мастером. Тот должен прийти и отремонтировать, что надо. На следующей неделе, даст бог, встретимся.

– Кстати, и про высоковольтную линию не забудь сказать, пусть уберет ее с территории дачи.

Через сад Оруджа проходила высоковольтная линия, Мехти ее имел в виду. Не дай бог при сильном ветре линия могла сорваться. Орудж и сам думал позвать мастера и попросить его убрать с территории дачи высоковольтную линию. Однако все откладывал, все было некогда.

Орудж не боялся Балами. Опасался лишь, что тот может выследить его и Офелию, затем сообщить родителям девушки, ославить ее на все село. Ну а если бы он поехал и не сообщил Офелии, она могла бы прослышать об этом и расстроиться, решив, что Орудж ее избегает, пресытился, хочет положить конец их отношениям. Во всяком случае, он не ездил на дачу недели две. Но как-то, не удержавшись, спросил у Офелии, знает ли она человека по имени Балами Дадашев из их села, мол, приходил к нему такой пациент. – Ему лечиться надо, пояснил он девушке, – а он только раз пришел и пропал.

– Балами? – переспросила Офелия. – Да, конечно его знаю. Пять лет в тюрьме просидел, только вышел.

– Вот как? И за что его посадили? – Кажется, за убийство. Говорили, он буфетчика убил. Но не могли доказать. Балами в буфете напился и избил его. Но все дело в том, что буфетчик не на работе умер, а пришел домой и в ту же ночь скончался от разрыва сердца. Да и буфетчика, собственно, Агакулу избил, а Балами только раза два тузанул его головой. В общем, дали ему пять лет. Вот и вышел теперь. В то время все село об этом говорило.

Через две недели Орудж несколько успокоился, показалось, что не было никакого Балами, что ему дурной сон приснился. И потому напрасно он откладывает встречу с Офелией, друзьями. Сегодня пятница, завтра он обязательно договорится с Офелией и поедет на дачу, а в воскресенье позовет друзей на шашлык.

С такими вот приятными мыслями он вошел в спальню, когда раздался телефонный звонок.

– Алло?

– Здравствуйте, это Балами.

– Кто?

– Балами. Я был у вас месяц назад, вспомнили? По поводу дачи. Ну, вы пришли к какому-то решению?

Орудж хотел швырнуть трубку, но воздержался.

– Как вы узнали мой телефон?

– Разве это трудно? Я и адресок ваш знаю. Ну, хорошо, что вы решили?

– Я уже сказал вам. И прошу меня больше не беспокоить.

– Хорошо. Но у меня к вам просьба, возьмите карандаш, бумагу и запишите.

– Что?

– Сейчас скажу, пишите?

Он продиктовал Оруджу шесть номеров, и Орудж, сам удивляясь своему послушанию, записал.

– Ну как, записали?

– Что это за номер?

– Мой телефон. Когда решитесь вернуть мне дачу, позвоните.

Орудж нервозно положил – трубку, хотел смять и выбросить бумажку с телефоном, однако свернул ее и положил в карман.

Утром Офелия сама подошла к нему. Воровато оглядываясь в коридоре, спросила шепотом:

– Не соскучился? Завтра увидимся?

– Завтра нет. На следующей неделе.

Однако Орудж на дачу не поехал и в следующую субботу. Как-то раз подошла к нему Офелия и попросила разрешение на два часа раньше уйти с работы. Ей необходимо быть на поминках.

– Хорошо. А кто у вас умер?

– Сосед. Я с дочкой его дружу. – Вдруг как бы о чем-то вспомнив: – Вахсей, чуть не забыла. Так ведь и ты его знаешь.

– Кого?

– Ну, того, кто умер. Он приходил к тебе, и ты еще **управлялся** о нем.

Орудж почувствовал, что сердце его забилось сильнее.

– Балами?

– Да... Балами... У него случился обширный инфаркт. Вот и умер.

Нельзя радоваться ни чьей смерти, это грех. Но в то время после известия о смерти Балами, Орудж будто почувствовал какое-то облегчение, будто с души камень свалился.

Утром, увидев Офелию, сказал торопливо.

– Завтра еду на дачу. Жду тебя там.

А Пакизе сказал:

– Давно я на даче не был. Завтра хочу поехать.

Пакиза знала, как быть. Аккуратно вложила в тендир-чурек, котлеты, разложила в пакеты картошку, вареные, яйца, сыр, масло, яблоки, зелень – рейхан, тархун, редиску... Все это сложила в большую плетеную корзину. Минеральную воду, алкогольные напитки не надо было брать. Их на даче было в избытке.

Орудж, надев дачный костюм – синие джинсы фирмы «Филипс», туфли – «адидас», простившись с Пакизой, спустился с корзиной в гараж. Вывел свою «Волгу» на шоссе и включил магнитофон. Звучали песни Ажды Пекан, Ибрагима Татлысеса, Сезен Аксу, и в памяти Оруджа оживали картины того, что должно произойти через два-три часа в его дачном домике. Приятная дрожь охватывала все тело его. Он представлял себе, как, немного времени спустя, подойдет к приоткрытым воротам и, оглядев переулок, будет с нетерпением ожидать Офелию. Вот мелькнет зеленый плащ, раздастся поспешный стук каблуков... Еще шаг и Офелия бросится ему на шею. Орудж одной рукой закроет ворота, другой будет гладить ее волосы, шею, затем, возьмет девушку на руки, внесет в дом. Раздевшись, они войдут в сауну. После горячих паров станут под холодный душ, обнимутся. Еще не остывший пар, холодная вода, смывающая пот, пахучая шампунь – все это стремительно сольется, и два тела соединятся в одно. Затем они будут пить коньяк, слушать музыку, смотреть порнографические фильмы. Конечно, подобные картины Офелия соглашалась смотреть разве что под воздействием коньячных паров. Чуть позднее они сами и даже еще более изощренно повторят эротические сцены, увиденные на экране.

Месяц без Офелии еще сильнее разжег, распалил его воображение. Стараясь догнать время, увеличил скорость. Можно подумать, что в его это власти было – передвинуть часы, поспеть раньше времени к грядущим событиям. Вспоминая запах духов Офелии, ее прикосновения, ласки, шепот, любовные стоны, он торопился, спешил. Проезжая мимо двухэтажного дома, где жила Офелия, он представил себе, как она готовится к встрече – меняет нижнее белье, одевает чулки, душится… и голова его при этом слегка кружилась, глаза заволакивала пелена томления. Въехав в переулок, он вышел из машины и, вдев ключ в массивный замок, отворил двойные ворота. Затем он вошел на территорию дачи, запер изнутри и отворил дверь, находящуюся, на первом этаже. Вынес корзину из машины, сложил продукты в холодильник, затопил печь, зажег свет, включил телевизор.

Был теплый апрельский день. Бросив плащ на перила балкона, Орудж немного погулял во дворе, осмотрел сад, полюбовался на море, видневшееся вдалеке, и затем поднялся на второй этаж в спальню, где у него стояло видео. У дверей обмер: внутри замка торчал ключ. Орудж не верил глазам. От дома, ворот и комнат было два ключа, и оба находились у Оруджа. Один – в сейфе, другой у него в кармане. И если оба ключа у него, тогда откуда взялся третий?

Ключ вдруг стал тихонько в замке поворачиваться, значит, внутри кто-то был и этот кто-то открывал ключом дверь. Орудж окаменел – «кто бы это мог быть?» Он почувствовал, как его прошибает холодный пот. Ключ, сделав полный оборот в замке, остановился. Вытянув руку, Орудж толкнул дверь и вошел внутрь. Вздрогнул – внутри находился человек довольно странного облика. С желтыми волосами, желтой щетиной на щеках – словам, все у него было желтое, даже ресницы. «Альбинос», – догадался про себя Орудж. Взяв себя в руки, спросил:

– Ты кто? Что ты здесь делаешь?

– Я Гусейнага, – ответил альбинос. – Старший сын Балами. Я пришел в свой отчий дом. А ты здесь что делаешь?

Оруджу кровь ударила в голову; как смел этот наглый альбинос, это страшилище, войти в его дом, разлечься на его кровати, на той самой кровати, где он занимался любовью с Офелией и пережил, и будет еще переживать незабываемо восхитительные мгновения; разлегся даже не потрудившись снять туфли, смял, осквернил подушки, одеяла.

Убирайся отсюда, – не своим голосом заорал на него Орудж.

Тут же осознал, что уже не в силах владеть собой, вскипел как мальчишка.

Гусейнага не тронулся с места.

– С чего ты взял, что это твой отцовский дом? – совсем уже глупо напустился на него Орудж. – Это я его выстроил.

Гусейнага не тронулся с места.

Орудж решил, что если понадобится пустить в ход силу, он, пожалуй, легко справится с этим щуплым наглецом. Хоть он и старше его годами почти вдвое, однако, не потерял спортивную форму. Но только этого еще не хватало, чтоб Орудж, один из уважаемых людей в городе, известный врач, ученый, полез драться с каким-то проходимцем.

Однако время шло, скоро должна была прийти Офелия. Она не должна была увидеть здесь Гусейнагу, а тот вообще не должен был увидеть ее. До ее прихода, Орудж во что бы то ни стало должен выставить вон этого непрошеного гостя. По возможности мягко он сказал:– Сынок, эти вопросы так не решаются. Я и твоему отцу объяснил. Мне эту дачу выделил трест дачного хозяйства. И вы туда обратитесь, идите, куда хотите, подавайте жалобу в суд. Мы ведь не в джунглях живем, чтобы каждый мог прийти и захватить то, что ему нравится. Если сейчас позвоню в милицию, тебя заберут, посадят в тюрьму. С какими такими намерениями ты влез в чужой дом? Откуда взял ключи?

Гусейнага стоял, молча, без движения, уставясь желтыми глазами прямо Оруджу в глаза. Под этим колючим взглядом испытывая чувство растерянности и неприязни, Орудж не знал, как ему поступить.

– Ну, хорошо, довольно. Уходи отсюда, а ключи я забираю. И чтоб больше и духа твоего тут не было, не смей и близко подходить к моему дому. Понятно? А если тебе что-то не ясно, зайдешь ко мне в городе – поговорим.

Но когда Орудж протянул руку, чтобы забрать ключи, в глазах Гусейнаги зажглась холодная искра, рот скривился. Запустив руку под кровать, Гусейнага вытащил оттуда лопату, ту самую, которой Орудж разрыхлял корни деревьев в саду. Видно, Гусейнага заранее ее туда припрятал. Но с какой целью? Схватившись за древко, Гусейнага бросился на Оруджа, целясь острием ему в голову. Все, что было после, Орудж помнит смутно, как кошмарный сон, или, скажем, кадры из фильмов ужаса. Реакция его была мгновенна. Не ожидая удара Гусейнаги, он молниеносно метнулся на противника, одной рукой схватил его за запястье, а другой за древко лопаты. Правым коленом с силой пнул альбиноса между ног. От боли Гусейнага закричал, рука его ослабла, и Орудж смог отобрать у него лопату. Но в этот момент Гусейнага, собравшись с силами, ударил Оруджа кулаком. Орудж от боли чуть не лишился рассудка, свет в глазах его померк, терпение лопнуло, и он, уже не владея собой, поднял лопату и со всего маху ударил Гусейнагу по черепу. В ту же секунду, как это бывает в фильмах, быстрые кадры сменились на медленные, рапидные. Гусейнага повалился на пол, из разбитой головы потекла кровь, взгляд заледенел. Орудж, как врач, сразу понял, что произошло; Гусейнага умер. И его убил Орудж. К тому же в своем собственном доме, то есть в доме Оруджа, на даче, которую он, Орудж выстроил. И теперь здесь, в этой комнате – мертвец. Труп молодого человека двадцати одного года. Его кровь, испачкала кровать, брызнула на стены, пол. Лопата так же была вся в крови. В последние годы чтение Оруджа состояло сплошь из детективных романов. И по видео насмотрелся их вдоволь. И поэтому, видя, что произошло, первое, что он сделал, вытащил носовой платок и тщательно протер рукоятку лопаты, на которой, как он понимал, остались следы его рук. В детективных романах именно так и поступали. Затем он хотел вытереть кровь с острия лопаты, но не вытер. Если на рукоятке нет следов его рук, какой вред от крови? Все равно поймут, что Гусейнага убит лопатой. Но кто убил? Пусть ищут. Вначале пусть найдут ответ на вопрос – что здесь делал Гусейнага? С какой целью пробрался на чужую дачу? Как вошел в эту комнату? Откуда взял ключи? Украл ли? Но это невозможно, оба ключа у Оруджа. Снял слепок и сделал себе новый ключ? Возможно, но с какой целью? Нагло пробраться в чужой дом, улечься на чужую постель – можно ли таким образом стать владельцем дачи? Ведь мы не в джунглях живем, в конце концов, есть законы.

Да... До этой минуты закон был на стороне Оруджа. После того, что случилось, каковы бы ни были мотивы, закон отвернулся от него. Был убит человек, и убил его Орудж. Это он совершил преступление. Это он обвиняемый, виновный, преступник. Конечно, все это так, только в том случае, если смогут раскрыть это преступление, доказать его вину. Нет, он должен бежать, спастись. Ну а если дело раскроется, все отрицать: нет, он в тот день не был на даче. Но, тогда следователь может задать вопрос: – «Откуда вы знаете, в какой именно день?».

Нет-нет, надо быть предельно осторожным, ни в коем случае нельзя говорить, в какой день. Меня не было на даче целый месяц. Так надо говорить. И в самом деле. Вот уже почти месяц меня здесь нет, если не считать этот злополучный день. Нет, я и сегодня здесь, не был. Кто знает, что я был на даче? Пакиза? Ничего страшного, вернусь домой и скажу – мол, передумал, не поехал на дачу. Вспомнил, что вечером в городе у меня дела. Так... Еще кто знает? Офелия? О, господи, через полчаса она будет здесь. Надо скорее отсюда сматывать. Ничего, она придет, постучит, уйдет. В понедельник что-нибудь придумаю, извинюсь, пообещаю, что увидимся на следующей неделе. Но сможет ли он увидеться с ней на следующей неделе, сможет ли вернуться на эту дачу? Ну, а если он не придет сюда никогда, как раскроется это дело? Кому придет в голову, что здесь на даче находится мертвец? Во всяком случае, ясно одно – надо поскорее уходить отсюда. С древка лопаты следы он вытер и хватит, а больше ниоткуда вытирать не надо – ни с дверей, ни с мебели. Здесь его дом. Здесь должны быть его следы. А определить, какие это следы – новые или старые – невозможно. Правда, при драке могла у него пуговица там какая-нибудь сорваться или что-нибудь выкатиться из кармана. Или волос с головы упасть – надо хорошенько все проверить.

Орудж еще раз внимательно осмотрел комнату: Гусейнага бездыханно лежал возле кровати. Из раны в голове все еще текла кровь, образуя лужицы на одеяле, стекая на пол... На виске, желтых волосах альбиноса кровь, постепенно свертываясь, засыхала. Возле мертвеца валялась окровавленная лопата. Других предметов, указывающих на недавнюю борьбу, здесь не было. Во всяком случае, ничего подозрительного Оруджу на глаза не попалось. В последний раз, окинув взором комнату, вышел. Захлопнув дверь, торопливо спустил по ступеням, сошел вниз, выключил телевизор, потушил печь, закрыл ключом дверь, вывел машину из ворот. «Самое главное – спокойствие. Меня здесь никто не видел. Меня здесь не было», – лихорадочно прикидывал Орудж. Надо скорее уезжать.

Машина, набирая скорость, отдалялась от дачи километр за километром. Мысли Оруджа, толкаясь друг о друга, лихорадочно бились, сплетались в узел в воспаленной голове. Мозг сверлила мысль – не допустил ли он какой ошибки, не оставил ли он на месте преступления улики? Он вдруг вспомнил, что второпях не взял ключи от верхней комнаты. Как он теперь сможет доказать, что эти ключи не его... Если есть два ключа, почему не может быть третий? Надо вернуться, забрать. Хотя нет, это рискованно, он может кого-то встретить. Офелию, например, и тогда еще хуже запутается. Проезжая мимо аэропорта, он вдруг вспомнил, что оставил в холодильнике продукты. Экспертиза с легкостью установит, что их сегодня туда положили, и таким образом установят его пребывание на даче. Как назло, даже газета, в которую была завернуть зелень, – с датой сегодняшнего дня. По этим приметам ничего не стоит определить, что Орудж был на даче именно сегодня, 5 апреля. Вернуться – значило подвергнуть себя риску, быть разоблаченным, а не вернуться и оставить продукты в холодильнике – значило подвергнуть себя еще большему риску. Орудж повернул машину назад. Только бы не встретить Офелию. Спустя минут восемь он вновь попал в свой переулок. Машину оставил во дворе, а сам вошел в дом. Вытащил все продукты из холодильника, а также хлеб из кастрюли, и все это вновь положил в корзину. Мокрые газеты вытащил из мусорки, по одной опустил в туалет. Оставаться далее было опасно. С минуты на минуту могла прийти Офелия и увидеть машину во дворе. Она поймет, что Орудж на даче, и станет стучать в ворота. И тогда он вынужден будет впустить ее и все рассказать. Но такое можно ли рассказать? А если он не откроет ворота, Офелия, чего доброго и сама поймет, что что-то случилось, и встревожится. А чем может кончиться ее тревога? Сколько времени прождет Офелия у ворот? Хотя, может, она пришла и ушла уже, когда Орудж был в дороге. Орудж отсутствовал на даче пятнадцать-двадцать минут. И в этом промежутке времени Офелия могла вполне прийти и возвратиться. Боже, хотя бы так и было!

Оставив корзину во дворе, Орудж бегом поднялся на второй этаж, поскользнувшись, чуть было не слетел с лестницы. «Только этого не хватало, чтоб ногу сломать» – подумал он в сердцах. Вытащив ключи, кончиком ноги приоткрыл дверь и заглянул внутрь: мертвец, лопата, кровать... Только вот кровавая лужа на полу еще больше расплылась...

Он поспешно прикрыл дверь ногой, звук захлопнутой двери оглушил. Орудж вздрогнул, ему показалось, что этот звук мог услышать не только он, но его могли слышать далеко окрест. Ключ от верхней комнаты – «третий ключ» он бросил в колодец. Семья Гусейнаги ничего не знает о происшедшей трагедии, – подумал Орудж. – А стоит ей узнать, поднимется нечто невообразимое. Ведь еще и семи дней не прошло со смерти Балами, а теперь вот и старший сын его ушел из жизни. Вот это трагедия так трагедия. Страшная трагедия. Страшная... И то, что он сам, Орудж, причастен к этой трагедии, никак не укладывалось в голове. Разве Орудж, виноват? Разве он затеял этот бессмысленный спор? Разве он пошел в дом Балами или это Гусейнага нагло вторгся к нему? Если бы Орудж не перехватил лопату, она тогда опустилась бы ему на голову. И теперь в верхней комнате, возле кровати лежал бы не Гусейнага, а он, Орудж, с проломленным черепом. Что он должен был сделать? Он защищал себя. Ну что ж, раз так, отчего ты не заявишь в милицию и не расскажешь все, как есть? Не от того ли, что все выглядит несколько неправдоподобно. И даже если ему поверят, как он сможет всем этом рассказать? Даже если дело передадут в суд и его оправдают, все равно у него на лбу до скончания дней будет записано «убийца». Это означает конец всему – уважению в обществе, карьере, работе. Выехав из переулка на шоссе, он мысленно перебирал все за и против и, наконец, окончательно пришел к единому выводу – мол, правильно поступает, что не заявляет в милицию. И потом, то, что произошло, нельзя назвать преступлением, это скорее – несчастный случай, на месте которого не осталось никаких следов. Ни единой зацепки. Если он правильно себя поведет, никто его, Оруджа, не посмеет обвинить в убийстве. Самое главное – не потерять самообладания, выдержки; вести себя так, словно ничего не произошло, словно ни о чем не ведает... Орудж поведет себя как надо, он профессиональный психиатр и умеет владеть собой. Ни один изощренный следователь не выведет его из себя. А в том, что рано или поздно ему придется нести ответ перед правосудием, у него не было сомнений. Даже если подтвердится версия, что это «несчастный случай», все равно к нему обратятся, хотя бы для наведения справок: кто в тот день был на даче? У кого еще мог быть ключ? Знает ли он от этого человека? Видел ли он его раньше? Были у него какие-либо отношения с его семьей?

На все эти вопросы он без запинки должен будет дать точные, исчерпывающие ответы. Да, и еще надо обеспечить себе алиби.

Направив машину к больнице, бросил на ходу, удивленному сторожу:

– У меня здесь бумаги остались должен их взять. Весь день работал и вдруг обнаружил, что часть бумаг оставил на работе.

И то, что сторож справился у него о времени, было как нельзя кстати. Орудж назвал не то время, которые показывали часы, а то, когда он находился за сорок два километра от того места, где они сейчас стояли, то есть время, когда он, размахнувшись опустил лопату на голову Гусейнаги. Выйдя из больницы, зашел в магазин, и, купив там зубную пасту, справился у продавца о его самочувствии. Вошел затем в аптеку и спросил валокордин, услышав в ответ «у нас нет», взорвался:

– А что у вас вообще есть? Что ни спросишь – нет. Час назад я заходил и спрашивал аспирин, и опять вы ответили «нет». Что это за аптека, если в ней даже аспирина нет?

Аптекарь, знавший Оруджа, удивился: – Доктор, аспирин у нас есть. Кто вам сказал, что его нет?

– Не знаю... Здесь молодая девушка сидела, она сказала.

\* \* \*

Когда Орудж открыл дверь своим ключом и вошел, Пакиза удивилась:

– А ты разве не на даче?

– Нет, не ездил, вспомнил по дороге, что послезавтра у меня доклад, а материалы все дома и в больнице. Сегодня я должен буду поработать до утра. А ты, пожалуйста, опорожни корзину, поставь все в холодильник, чтоб продукты не испортились.

Сцену эту Орудж сыграл довольно естественно: сам собой остался доволен. Однако при этом всего его била мелкая дрожь. Никак не мог совладать с собой, успокоиться. То, что произошло два часа назад, не выходило у него из головы. Принял душ, вначале горячий, затем холодный. Наполнив ванну водой, залез в нее, лег на спину, расслабился – подумал, если вскрыть себе вены в теплой воде, то это приятный конец, без боли незаметно отходишь в мир иной, подальше от того кошмара, который его теперь окружал. Однако он тотчас подавил в себе эти мысли... Рассердился на себя – какого дьявола? Пробыв полчаса в ванне, вышел, высушил феном волосы. Казалось, немного успокоился. Пакиза принесла ему крепкий чай с лимоном.

– Тебе звонили. Я, сказала, что ты купаешься.

– Кто звонил? – спросил Орудж.

– Сказал – Балами.

– Кто?

– Балами.

Орудж почувствовал, как сорвалось у него сердце. Балами! Балами, который вот уже несколько дней, как умер. Отец Гусейнаги, которого он три часа назад убил?!

Безусловно, этот звонок связан с происшествием на даче. Может, это не сам Балами, а кто-либо из членов его семьи. Во всяком случае, этот звонок неспроста.

Пакиза, сменив остывший чай, спросила:

– Ты не голоден?

Внимание Пакизы, ее услужливость, ласковый голос, несколько утешили Оруджа, он знал, что бы с ним ни случилось, Пакиза его не покинет, не предаст. Даже если его посадят в тюрьму – о ужас, и это не исключено – Пакиза его последняя опора. Он не надеялся на подобную преданность даже со стороны сына, не говоря о других своих родственниках и друзьях. Об Офелии в этом плане он даже вообще не думал. С облегчением подумал про себя: «Хорошо, что не встретился с ней».

– Ты не голоден? С утра ничего не ел... – снова спросила Пакиза.

И, правда, с утра он не проглотил и маковой росинки. И есть все равно не хотелось, не было аппетита, не было желания даже смотреть телевизор. Да и что нового он мог показать, разве что выдать новую порцию мрачных истеричных сообщений. И газеты так же. Со страниц лились ушаты клеветы друг на друга, строки, напичканные смертью, кровью, злобой. Ему хотелось, закрыть глаза и ни о чем не думать, ни о чем не слышать, никого не видеть. Хорошо бы было вообще отойти от суеты жизни и где-нибудь в прохладной тени, в тишине забыться и найти покой. Он смертельно устал от всего – от голосов, лиц, слов, мыслей. Устал от себя и от людей. Устал от больных, устал от здоровых. Он жаждал одного – тишины без края. Последней тишины. Нет, не того, что мы зовем концом. На это у него не хватило бы силы воли. Он не смог бы даже вскрыть вены в теплой ванне. Вот было бы хорошо, если бы можно было умереть во сне, без мучений, страха, ужаса. Просто уснуть и не проснуться...

Отпив глоток чая, закрыл глаза. В голову лезла всякая чертовщина. Вновь и вновь оживала в памяти роковая встреча на даче. Ни о чем другом уже не мог думать.

Чтоб отвлечь себя от этих ужасных мыслей, попытался вспомнить свои шальные игры с Офелией. Однако при одном воспоминании об этом его замутило. Детство вспомнил – лес, родник... Вспомнил, как выходил босиком в прохладные воды реки... Незаметно задремал.

Его разбудил дверной звонок. Собственно, это и не было звонком, а было нежная журчащая мелодия. Орудж привез этот звонок из Турции. Однако сейчас, то ли от того, что нервы его были туго натянуты, Оруджу показалось, что возле его уха, прогудев, промчался скорый поезд.

Вскочил, подошел к двери. Обычно он заглядывал в глазок и уж, потом открывал. А тут, словно бес попутал, не спрашивая – кто – открыл дверь. На лестничной площадке стоял Балами.

\* \* \*

Позднее Орудж и сам удивился, как это у него сердце не разорвалось. Ведь перед ним стоял человек, которого он считал мертвым. Человек, сына которого три часа назад он убил. Значит, он жив и пришел отомстить за сына. Но Балами не был похож на мстителя. Лицо его выражало спокойствие, и на нем блуждало даже нечто похожее на улыбку. Это последнее обстоятельство особенно озадачило Оруджа. Он и предполагать не мог, что Балами, этот человек с тяжелым, каменным взглядом, умеет улыбаться. Однако, чего не бывает на свете. Перед ним стоял человек с тем же лицом, какое он вспомнил – со смуглой кожей, узким лбом, мохнатыми бровями и не тем же – что-то изменилось на его лице, на нем появилась какая-та доброта, приветливость, улыбка.

– Это я недавно звонил вам. Жена сказала, что вы купаетесь. Вот я и подумал, раз купается, значит, дома будет. Тем более, что и погода холодная, хазри подул. В такую погоду, если искупаться и выйти, пожалуй, можно и воспаление легких заработать. Словом – с легким паром. Подумал, не худо бы навестить доктора. Не прогонит же... Можно войти?

– Прошу, – сдержанно пригласил Орудж.

Балами снял в прихожей куртку, ботинки и прошел в дом. В голове у Оруджа мысли роились, с быстротой молнии сменяя друг друга.

Так ведь Балами умер. Кто же ему сказал об этом? Офелия! Может, она имела в виду совсем другого человека? Разве на свете один Балами? Хорошо. Допустим это ясно. Умер не Балами, а кто-то другой. А этот Балами живее живого встал и пришел ко мне. Значит, ничего не знает о сыне? Если бы он подозревал Оруджа, то не вел бы себя с ним так миролюбиво. Ведь каких-то три часа назад он потерял сына. А может, слегка на этой почве тронулся?

Орудж профессиональным взглядом оглядел Балами, заглянув ему прямо в глаза, проследил за движениями рук... Нет, Балами не был похож на душевно больного. Во всяком случае, ничего не знает о происшедшей трагедии с сыном. Зачем тогда пришел к Оруджу? С какой целью?

Балами с прежней добродушной улыбкой оглядел залу. «Может, теперь он глаз положил на мою квартиру, – с неприязнью подумал Орудж. – Может, это новое психическое заболевание – зариться на чужое добро».

Пакиза принесла чай и положила перед Балами. Тот сказал, не поднимая головы:

– Спасибо, сестра.

Отпив глоток чая, Балами вновь оценивающим взглядом оглядел комнату.

– Странная штука – жизнь, – начал он издалека. – Меня не было здесь две недели, в Иран ездил. Дай бог, чтобы и тебе пришлось побывать на могиле святого имама в Мешхеде. Только сегодня вернулся, сразу решил зайти к вам. Было у меня в душе желание одно, вот я и загадал его на могиле святого. Я пришел сказать: у меня уже нет никаких претензий к вам. Я дарю вам эту дачу. Побывал на святом месте, я просветлел, будто святой имам сам мне посоветовал «оставь ты это дело, пусть живет и здравствует твой единоверец на этой даче. Ведь жил же там армянин, а ты молчал. Ну и пусть теперь там твой брат мусульманин живет. К чему эти распри? И у тебя, Балами, слава богу, есть все, что надо для жизни – дом, двор, семья, дети. Что было, то сплыло. И нечего о том поминать. Одним словом, пришел я к вам с миром – сказать – живите себе на этой даче на здоровье.

Как сказал Вахид:

Вахид! На этом свете

лишь любовь к созиданию – быль,

все остальное в мире – пыль.

Орудж в ужасе представил себе, как Балами, вернувшись в дом, станет искать сына. И рано или поздно найдет его. И один бог знает, что тогда будет.

Балами, выпив чай, встал. Орудж с легкостью, которая даже ему самому показалось странной, предложил:

– Посиди еще, Балами, куда ты так спешишь? Выпей еще чаю. А может, хочешь перекусить?

– Да нет, спасибо. Я должен идти. Дети дома ждут.

– И сколько их у тебя? – спросил Орудж умышленно. Мол, и понятия не имеет, сколько у него детей, и тем как бы подтверждает свою непричастность к смерти Гусейнаги.

– Я ведь вам уже говорил, – ответил Балами. – У меня два сына и дочь. Старший – Гусейнага, младший – Гасанага.

Орудж про себя подумал: – «Был Гусейнага». Нет теперь старшего, остался только младший. Однако Балами пока этого не знал. Он улыбался. Орудж знал. Но улыбку Балами должен был отвечать улыбкой. Балами, попрощавшись, ушел. В ту ночь Орудж до утра не спал. В воскресенье утром был взвинчен и сидел, будто на иголках. От каждого телефонного звонка вздрагивал, все ждал, что вот-вот ворвется к нему разъяренный Балами, или того хуже, придут за ним из милиции. Но за целый день в дверь никто не постучал. Было два-три пустяковых телефонных звонка. Звонила соседка, спрашивало, идет или нет вода, просто знакомая справлявшаяся об их самочувствии и, наконец, посторонний, спутавший номер.

Ночью, проснувшись, вновь до рассвета не спал. В шесть утра встал, принял душ. Побрился лезвием «Филипс», нехотя перекусил, выпил стакан чаю и пошел на работу. Подойдя к больнице, увидел у ворот знакомую фигуру. Это была Офелия. «Профессор, вам письмо», – сказала она и протянула ему конверт. Письмо было запечатано, однако внутри было пусто. Орудж не удивился, он был уже знаком с подобной конспирацией, к которой прибегала Офелия, дабы скрыть от посторонних их отношения. Сказала, понизив голос: – Прости ради бога, в тот день я не смогла прийти. У матери давление подскочило, и мне пришлось ей делать уколы. Не сердишься?

– Конечно, нет, – ответил Орудж и обрадовался в душе, что с Офелией все так гладко сошло. Затем вспомнил о своем алиби: – И я должен перед тобой извиниться. У меня неожиданно всплыло тут одно дело, и я не смог поехать. Ни в тот день, ни на следующий. Признаться, я переживал, что ты придешь и наткнешься на закрытую дверь. Так что хорошо, что ты не пришла. – Поспешно поправившись, – но то, что у твоей матери давление подскочило, это, конечно, нехорошо. Как сейчас?

– Утром измерила, было нормальным. – Офелия выглядела расстроенной. – Значит, и тебя не было? А, я сумасшедшая, места себе не находила, думала, ты будешь беспокоиться.

Беседа их несколько затянулась, и проходящие сослуживцы стали многозначительно их оглядывать. Вероятно, их отношения для многих не были секретом.

Орудж, приняв двух-трех пациентов, устал. Он чувствовал, что не может ни на чем сосредоточиться.

– Что-то у меня голова разболелась, – сказал ассистенту. – Я, пожалуй, пойду.

Дома он почувствовал себя еще хуже. В больнице жалобы пациентов хоть как-то отвлекали его от своих проблем, здесь же, дома, молчаливость безропотной Пакизы не рассеивала его одиночества, тоски. Орудж был неспокоен, раздражен, чувствовал стеснение в груди, от любого шороха тревожно вздрагивал, ожидая ужасного разоблачения. После жуткого происшествия на даче прошло уже три дня. Почему же до сих пор Балами молчит, не поднимает шума? А может он уже как раз таки ищет своего исчезнувшего сына, поднял тревогу, сообщил милиции. В таком случае они нападут на след и придут на дачу к Оруджу. Ведь, без сомнения, Гусейнага был посвящен в отцовские планы возвращения дачи. И, поскольку он не виделся с ним после его приезда из Мешхеда, Гусейнага не мог знать об изменении намерений отца. Если Балами сообщил уже в милицию об исчезновении сына, он, вероятно, сообщил и о том, что побывал у Оруджа. И тогда, без сомнения, ниточка, потянется к нему, к Оруджу. И, конечно, его тогда непременно вызовут, хотя бы на допрос. И потом, если он вообще не будет ездить на дачу это, опять-таки, покажется подозрительны. Рано или поздно Орудж все равно должен будет поехать туда, и тогда он вынужден будет сообщить в милицию о том, что на даче у него находится мертвец. Труп, который стал, вероятно, уже гнить и разлагаться, распространяя вонь. Если даже они сами его не обнаружат, то через месяц, самое большее через два, он должен будет сообщить об этом в милицию. Конечно, не раскрывая суть дела. Но этот месяц, полтора, он будет ежедневно, ежечасно, ежесекундно себя грызть. Сможет ли он это вынести? Ведь на свете нет ничего тяжелее неясности. Как говорится – лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Вдруг он понял, что может позвонить Балами. Хорошо, что не выбросил номер его телефона. – Ну, допустим, позвоню – думал он, что скажу? Сколько ни размышлял, не мог найти какой-нибудь повод. Что у него может быть общего с Балами? Можно позвонить и дать отбой. Во всяком случае, он услышит его голос, а голос, как известно, может многое сказать о настроении и состоянии человека. Но если он позвонит и даст отбой, как бы чего-нибудь из этого не вышло... Может, Оруджа телефон уже под наблюдением и прослушивается? Ну, ты друг, совсем, ей-богу, рехнулся, стал мнителен не в меру, – урезонил он себя. Поднял трубку, набрал номер. Чуть погодя, в трубке раздался мужской голос. Это был голос Балами, Орудж узнал его. Голос был спокоен.

– Да, слушаю. Кто это?

Орудж молчал. Балами вновь: «Алло?»

Голос Балами не был похож на голос человека, который говорит из дома, погруженного в траур. Отчего он спокоен – куда пропал Гусейнага? – мысленно спрашивал себя Орудж. Он думал до вечера и, наконец, нашел подходящий повод. Он решил позвонить и спросить у Балами о поездке в Иран, мол, друг мой тоже собирается туда съездить и хочет узнать, во сколько обходится поездка. Конечно, повод был пустяковый, но ничего другого не приходило на ум. Вечером в девять часов позвонил. Трубку вновь взял Балами. Орудж, подавив волнение, произнес:

– Здравствуй, Балами, это доктор Орудж.

– А... Орудж муаллим, рад слышать вас. Как вы? Какими судьбами? – голос Балами звучал бодро и даже, можно сказать, радостно. Никакого беспокойства.

Орудж начал издалека, рассказал о друге, который якобы собирается в Иран и, услыхав исчерпывающий ответ на свой вопрос, наконец, набравшись духу, спросил:

– Ну как вообще вы, Балами? Как ваши дети?

Балами: – Спасибо. Живем с божьей помощью.

Гасанага в саду работает, Гусейнага отвез цветы на продажу в Москву.

Орудж догадался, что Балами, как и многие другие сельчане Апшерона, выращивает в парнике гвоздики, затем отвозит их на продажу в Москву. Видно, поэтому не беспокоится о Гусейнаге, думает, что тот в Москве. Орудж понимал всю неосторожность своего вопроса, который впоследствии может обернуться против него, родить подозрения, однако, не удержавшись, решил порасспросить:

– А когда Гусейнага уехал в Москву?

– Вчера.

Орудж, услыхав это, чуть не выронил телефонную трубку из рук. Поспешно простившись, повесил ее рычаг. Странное чувство охватило его. Не знал, радоваться ли? Для радости причина была. Вся семья была жива и здорова, и Орудж никому из них не причинил зла. Но тогда кого, же он убил? Кто этот альбинос. До него только сейчас дошло, что у такого смуглого человека, как Балами, навряд ли может быть такой белобрысый сын. Это не был Гусейнага. Орудж, как врач не сомневался в том, что он умер. Если же он все же не умер, а был только ранен, затем пришел в себя, встал и пошел домой, то и в этом случае инцидент не исчерпан. Навряд ли он сможет забыть смертельный удар Оруджа. Значит, этот мерзавец на даче не был Гусейнагой. Ну и слава богу... Но тогда кто это был? Ему он представился как Гусейнага – сын Балами, он знал о его споре с Балами по поводу дачи. Какую цель преследовал? С одной стороны Орудж был рад, что Гусейнага жив, с другой его продолжал мучить секрет загадочного происшествия. Кого он убил? Зачем этот человек пришел в дом Оруджа? Что бы там ни было – во всяком случае, ясно одно – Орудж убил человека, и при одной мысли о том, что все это может открыться, его обуревал смертельный страх! Мог ли он поделиться с кем-то этой тяжестью, которая на него навалилась? Ни с кем. И в эту ночь он также не спал до утра. А утром, бреясь и увидев в зеркале свое осунувшееся лицо, запавшие воспаленные глаза, понял, что не в силах уже переносить эту неизвестность, эту муку. Еще одна такая ночь, и он сойдет с ума. Ведь в таком состоянии он не может ни работать, ни отдыхать. Да и Пакиза скоро все поймет. При одном взгляде на него становится ясно, что с ним что-то происходит. Пока что он отделывается выдуманной головной болью, бессонницей. Нервы Оруджа совсем расшатались. Во всяком случае, ему надо было быть предельно осторожным, чтоб не выдать себя, не сорваться. Ясно, что он убил не сына Балами. Значит, мотивы злого умысла отпадают. Если бы Гусейнага был убит, Балами непременно обвинил бы Оруджа и отомстил за смерть сына. А тот мертвец на даче неизвестно кто. Конечно, Орудж не должен брать на себя это преступление. Но он не может месяцами сидеть и ждать, пока милиция обнаружит труп. Может, альбинос был просто бродягой, которого никто искать не станет... И потом, скоро лето, наступит жара и волей-неволей ему все равно придется ехать на дачу, и тогда это происшествие всплывет наружу в еще более ужасающем виде. Произведя вскрытие, обнаружат точное время убийства, и тогда факт, что он не был на даче в течение двух-трех месяцев, вызовет подозрение, поскольку ранее он ездил туда чуть не каждую неделю. И Пакиза об этом знала, и друзья его знали... не говоря об Офелии. Кстати, если он и далее будет воздерживаться от встреч с ней, это вызовет дополнительные сложности в их взаимоотношениях. С какой стороны посмотреть – плохо. Он сегодня же поедет на дачу и все разрешит, сообщив в милицию, что обнаружил на даче труп неизвестного человека. Чтоб выйти сухим из воды надо не терять самообладания. Вести себя так, словно он тут ни при чем. А его волнение и растерянность будут выглядеть естественно. Еще бы – ты приезжаешь на дачу и находишь у себя дома чей-то труп.

Как тут не растеряться, не впасть в панику? Прямо сегодня же надо ехать, чтобы положить конец этой странной неопределенности. Пакизе пока ничего не надо говорить. Он все ей расскажет, как только вернется, и, конечно, он ей расскажет ту версию, что и в милиции. А сейчас надо придумать причину для поездки на дачу. Он скажет – новое колесо для машины купил и оставил на даче. А затем, мол, поднялся на второй этаж за кассетами и увидел там...

День был холодный, ветреный. Он остановил машину в переулке, а сам пошел во двор. Огляделся. Никаких изменений во дворе не было: тутовник, инжир, высоковольтная линия, идущая над садом, двухэтажный дом. Двери первого этаже он не стал открывать. Сразу поднялся на второй этаж, вошел в прихожую, подошел к дверям. В дверях вновь торчал ключ. Глаза Оруджа расширились от ужаса, ведь он бросил их в колодец. Или это другие ключи? Ключ крутанулся в замке до отказа и остановился. Дверь отворилась. Сердце Оруджа учащенно забилось, он еле сдержал себя, чтоб не потерять сознания – в глазах потемнело, голова закружилась.

На полу не было никаких следов крови, ни окровавленной лопаты, ни трупа. Альбинос жив и здоров, лежал на кровати. Ни на лбу, ни на черепе, нигде у него не было следов от раны. Увидев Оруджа, не спеша поднялся.

– Это ты? Ты опять здесь? – глухо спросил Орудж. – Кто ты такой, в конце концов?

– Я Гусейнага, старший сын Балами. Я пришел в свой отцовский дом, – четким голосом ответил альбинос.

Орудж уже слышал эти слова. И слова Гусейнаги и его взгляд, и движения, и жесты – все было повтором того, что уже произошло. И самое жуткое было то, что Орудж знал, как будут дальше развиваться события, неумолимо двигавшиеся к своей развязке. И он, Орудж не в силах был это предотвратить. Будто это не он, а кто-то другой повторял его голосом слова, сказанные четыре дня назад:

– Убирайся отсюда. – По собственному желанию Орудж смог добавить только одну лишь строчку в свой текст – «не вводи меня в грех».

Гусейнага молчал, то есть молчал тот, кто выдавал себя за Гусейнагу. И Орудж, как заведенный продолжал повторять, слова, уже сказанные им в тот день: «Это моя дача. Это я ее построил. Мне ее выделил трест дачного хозяйства... И твоему отцу я это говорил...».

Альбинос молчал. Ужасная минута откуда-то извне неумолимо мчалась на них, как скорый поезд. Орудж, прищурясь, посмотрел под кровать, зная, что там находится лопата, которой суждено сыграть роковую роль в их поединке. До ужасного конца оставались считанные секунды, Гусейнага, вытащив лопату, бросился на Оруджа. Орудж не испугался за свою жизнь, он знал, что опередит альбиноса. Он боялся другого – желал он того, или нет, но он должен будет убить молодого человека, стоящего, напротив. Схватясь за древко, каждый тянул лопату в свою сторону, но едва подоспела роковая минута, когда все это должно было случиться, лопата очутилась в руках Оруджа. И когда альбинос ударил его кулаком, Орудж, размахнувшись, острием лопаты ударил альбиноса по черепу. Тот упал. Кровь, как и в тот день, потекла на одеяло, на пол. Орудж вышел из комнаты. На этот раз он уже не вытащил платок и не вытер своих следов с рукоятки. Это было бессмысленно. Он сейчас ни о чем уже не мог думать, не мог ничего понять. Он твердо знал, что не сошел с ума, что психика его не нарушена. Однако этому необъяснимому явлению не мог найти объяснения. Вспомнил вычитанную в одной из книг фантастическую гипотезу о том, что порой человек может наперед предвидеть, почувствовать, пережить то, что с ним должно случиться в будущем. Возможно, это и есть подобное явление. И то, что случилось сегодня, он уже четыре дня назад пережил. – Значит, все, что случилось в тот день, мне померещилось – решил Орудж. Если это так, то, может, и сегодняшнее преступление – сон, и все это ему только мерещится…

Ему вдруг вспомнилось, как один из пациентов его предостерегал, мол, армянин, уезжая в Москву, околдовал дачу, обрызгал ядом корни деревьев, стены дома. Возможно, во всем этом есть доля правды и не такой уж это бред. Галлюцинация, вызванная этим веществом, налицо… И науке также известны воздействия галлюциногенных веществ на мозг. Да и разве события последних лет не явились таким вот ядом, который сбил всех нас с толку, заставил нас сомневаться в собственных силах. И потом, кто сказал, что человек знаком со всеми секретами природы колдовства. У этой жизни столько еще неразгаданных тайн. И сегодняшний случай – один из них. На секунду Оруджу показалось, что и в саду что-то изменилось, что-то произошло и это что-то – очень важное, оно имеет прямое, самое существенное отношение к его жизни. Это вопрос жизни и смерти Оруджа. Но что это, он не мог понять. Когда он понял, было уже поздно.

\* \* \*

Сильный порыв ветра сорвал высоковольтную линию в саду. Двор от дождя был весь мокрый. Но крыльцо под кровлей оставалось сухим. И когда Орудж с первого этажа сухого крыльца ступил на мокрую землю, он тотчас превратился в горящую головешку.

\* \* \*

Труп Оруджа нашли два дня спустя. Проходило важное совещание. И поскольку Оруджа ни дома, ни на работе не было, за ним послали человека на дачу. Это был шофер Мехти. Тот поехал и увидел у ворот машину Оруджа. Стал стучать. Никто ему не открывал. Тогда, перепрыгнув через забор, он очутился во дворе. Двор уже к тому времени просох. Шофер Мехти не сразу понял, что лежащая на земле черная головешка это и есть Орудж. Он сообщил родным, коллегам, те приехали и отвезли тело Оруджа в город.

Как то полагается, в газетах вышел некролог. В последний путь провожали Оруджа из больницы. Его похоронили в аллее почетного захоронения. Присутствовали члены семьи, – (сын прилетел из Москвы), – родственники, друзья, сотрудники, соседи, знакомые. Притулясь в уголке беззвучно плакала Офелия.

И Балами с двумя сыновьями – Гусейнагой и Гасанагой – проводили Оруджа до самой могилы.

4 января 1993 г. Баку

Перевод Чингиза Абдуллаева

# НОМЕР В ОТЕЛЕ

*Повесть*

*Октаю Эфендиеву*

*Оплакивайте бедняг осиротелых, без друга, без звука*

*Умирающих в отелях, умирающих в отелях…*

Фазиль Наджиб Гысакюрек

Преподаватель бакинского вуза, кандидат филологических наук Керим Аскероглу, внезапно проснувшись, все еще не мог стряхнуть с себя цепкие путы дремы, сжимавшие все его существо, и, разжав слипшиеся ресницы и открыв глаза, он увидел перед собой в просвете между двумя высокими креслами копну каштановых длинных волос и головку мальчугана, уткнувшуюся в плечо женщины. И дальше за ними представали взору ряды парных кресел, и между ними или из-за спинок женские волосы, мужские шевелюры, затылки, скулы, виски, уши, на самом конце, за рулем – лысая голова шофера, а перед ним, сквозь широкое лобовое стекло – катившееся под колеса автобуса широкое гладкое шоссе.

– Бей эфенди, что изволите – чай или кофе?

Керим, повернув голову направо, поднял глаза на обладательницу этого голоса – юную девушку в голубом блейзере и белой блузке – стюардессу автобуса. Вопрос адресовался не ему, а соседу – читавшему газету «Сабах» мужчине в клетчатом костюме и в очках.

– Пожалуйста, чаю.

Стюардесса, заметившая, что Керим очнулся от дремы, обратилась и к нему:

– Чай или кофе?

– Кофе, – сказал Керим и добавил: – Сахару – умеренно.

Он уже знал, что в Турции, заказывая кофе, надо оговаривать дозу сахара.

– Пожалуйста, – промолвила стюардесса и, налив в чашки чай и кофе, поставила, их на вставные столики перед пассажирами.

Керим все еще не пришел во вполне бодрствующее состояние. Хотя и эта полусидячая-полулежачая дремота причиняла физический дискомфорт, все же не хотелось отрешаться от ее неги, где исчезало ощущение времени и пространства. Наконец, он стал осознавать свое местопребывание, и, как бы желая утвердиться в этом осознании, обратился к стюардессе:

– Ханым Эфенди... – Ему доставляло явное удовольствие перекинуться словами с этой девушкой – «душенькой», отзывавшейся на каждый вопрос, каждую просьбу с очаровательнейшей улыбкой. – Долго ли еще до Стамбула?

– Четыре с половиной часа, – ответила она и улыбнулась.

Керим протер глаза и наконец-таки избавился от засасывающего, как трясина, мороки дремы, глотнул кофе и погрузился в созерцание дороги, стлавшейся справа и слева от маячившей впереди лысины водителя.

Зажигалась заря. Утренняя рань майского дня окрашивала окрестность в золотисто-розовое. Но встречные автобусы, легковушки и грузовики еще неслись с зажженными фарами. Кериму вспомнилось, что некогда на дорогах Азербайджана вот так же мчавшиеся спозаранку с непотушенными фарами машины вызывали сравнение с людьми, проведшими бессонную ночь. На ум пришло выражение: «Утро встретил зрячими глазами». Усмехнулся в душе: «Обо мне-то этого не скажешь... Дрыхал, как сурок... Уж не храпел ли?.. Чего доброго, сраму оберешься!!!»

Подумал и украдкой покосился на мужчину в клетчатом пиджаке. А тому до соседа никакого «умура».

Он поймал себя на мысли, что недельного пребывания в Турции оказалось достаточным, чтобы стал думать на здешнем турецком языке: нет «умура» – то есть «нет никакого дела». И впрямь, сосед был так увлечен спортивной полосой «Сабаха», что даже забыл о своем чае.

Керим допил кофе и подал чашку стюардессе с неугасимой улыбкой, а та преподнесла ему конвертик. Распечатав конвертик, он извлек из него влажную благоухающую одеколоном салфетку, вытер рот, освежил лицо, и одновременно с ароматом, ударившим в ноздри, кольнуло в сердце. За последние два-три года он уже привык к этим внезапным приступам боли в сердце, но этот одеколонный запах пробудил в нем странное ощущение; будто в памяти, как мгновенный луч, вспыхнуло и погасло давнее, далекое видение, настолько мимолетная вспышка, что он не успел осознать, что за картина ожила в памяти. Он легонько помассировал грудь, как бы поглаживая все еще покалывающее сердце, словно от этого поглаживания и ласки боль могла уняться. Но это было лишь механической привычкой; Керим знал, что без таблетки, которую держал в нагрудном кармане пиджака, не обойтись. Но принять таблетку не понадобилось – боль в сердце утихла так же внезапно, как и возникла, и сердце продолжило всегдашнюю работу неслышными, ровными, спокойными ударами.

Легкое, затаенное тревожное чувство не оставляло его, и причиной тому был аромат, исходивший от «одеколонной» салфетки. Вернее, воспоминание, разбуженное этим ароматом, но не уясненное Керимом.

Сосед по креслу, наконец, дочитал газету, сложил ее, упрятал в портфель и обратился к Кериму;

– Вы живете в Стамбуле?

– Нет, – отозвался Керим. – Я – из Азербайджана, Живу в Баку.

– Вот как!..

За четыре майских дня девяносто третьего года, проведенных в Анкаре, Керим уже уразумел, в каком русле продолжаться подобные диалоги: «Каково сейчас положение в Азербайджане? Очень переживаю из-за ваших событий... Как же вы отдали Лачин, Шушу? Почему не отстояли? Нет ли какого-нибудь решения этой самой карабахской проблемы?» – он предвидел такие и подобные вопросы. Так как он не знал ответа на многие из них и ему осточертело от бесконечных объяснений, доводов и оправданий, упреждая все расспросы, Керим сам повел разговор:

– Приехал в Анкару для участия в научном конгрессе. Выступил с докладом, по-вашему, «конфрансом». Решил на денек махнуть в Стамбул. Завтра вернусь в Анкару, а оттуда – в Баку. – И, не давая собеседнику возможности вставить в паузу нежелательные вопросы, спросил сам:

– А вы – стамбулец?

– Да. В Анкару выбрался на каникулы. Сестра моя живет там.

– Где вы работаете? – вновь задал он вопрос и, удивительно, что сосед не успел и рта раскрыть, как он предугадал ответ: судя по кожаным латкам, пришитым к локтям и воротнику клетчатого пиджака, – такие пиджаки носили, как полагал Керим, – одни лишь бухгалтеры, нотариусы, чиновный люд, проводящий большую часть рабочего времени за столом, протирая себе локти. Он не ошибся в догадке.

– Я нотариус... Мне остается год до пенсии.

Керим искал, что бы еще спросить, как нотариус сказал:

– Эфенди, я бы хотел кое о чем спросить у вас. Уж вы извините... Но как же так получается, что наши азербайджанские братья уступают свои города армянам? Лачии, Шушу... Мои предки тоже ведь из Кавказа, Ахалциха. Эти события очень удручают меня. Как же так, – в Боснии народ сражается до последней капли крови, защищает свои земли. Или у нас, на юго-востоке, – турецкая молодежь костьми ложится... Курдов я осуждаю, сепаратисты, их извне подстрекают, но, во всяком случае, и они дерутся, кровь свою проливают, на смерть идут – пусть даже во имя ложной идеи... А азери, без сопротивления, без кровопролития оставляют свои города и все врагу. Ну разве ж такое поведение не вызывает стыд, не заставляет краснеть?

О, господи, сколько раз приходится разжевывать, талдычить одно и то же!

– Вы бывали в Баку?

– Увы, нет, не довелось.

– Приезжайте. Я вас сведу в Аллею шехидов. «Тогда уж чувство стыда придется испытать вам», – чуть не вырвалось у него, но он не хотел уязвить при первой же беседе человека, которого вовсе не знал, потому смягчил свою мысль:

– Там, при виде сотен могил павших за родную землю шехидов вам не придется стыдиться за своих азербайджанских братьев.

Он словно впервые заметил мохнатые рыжие брови, голубые глаза, крепкую волосатую бородавку на щеке чиновника и, отчего-то решив приводить более обстоятельные доводы, пускаясь в долгие рассуждения, начал говорить о том, что эта война не ограничивается Карабахом, и даже не является только лишь противоборством между Арменией и Азербайджаном, он говорил о тайных происках и явных интересах больших держав. Война ведь, помимо полей сражений, ведется и очень-очень далеко от них, – в столицах сверхдержав, там, где сталкиваются интересы международных концернов, солидных банков, торговцев оружием, нефтью, наркотиками. Он говорил о влиянии армянского лобби в высоких московских, вашингтонских, парижских кабинетах и коридорах власти, о деньгах, богатстве, связях этого лобби, о религиозном факторе, – в который уже раз за эти дни.

– У меня создалось впечатление, что даже в столь дружественной, братской для нас стране, как Турция, армянское лобби сильнее азербайджанского, – добавил он.

Сосед терпеливо выслушал и, когда Керим закончил, произнес:

– Возможно. Вы, несомненно, правы. Но как бы то ни было, мне думается, что и «война за кресла» в Азербайджане – одна из причин этих событий.

Автобус свернул с шоссе направо и подкатил к стоянке, где крупными неоновыми буквами светилось название «Варан», – одной из компаний, занимающийся междугородными автобусными перевозками, наряду с «Камил Коч», «Улусой», имеющей свои стоянки на автострадах, – как успел узнать Керим. На трассе Анкара – Стамбул автобус делал лишь одну остановку, стало быть, полпути позади.

Стюардесса обратилась к пассажирам:

– Пожалуйста, можете сойти. Через полчаса продолжим путь.

Керим, выйдя со всеми, почувствовал предутреннюю прохладу и поежился, потянулся всласть, размялся, ощущая, как оживает отекшее от долгого сидения тело, онемевшие ноги, – кровь веселее побежала по жилам.

– Не хотели бы совершить утренний намаз? – это был густобровый попутчик. – Здесь есть небольшая мечеть для путников.

– Благодарю. – ответил Керим.

Нотариус пожал плечами и зашагал с группой пассажиров к придорожному храму Аллаха. Все – в современной цивильной одежде, в галстуках, и Кериму подумалось, что у прежнего, советского человека, – каковым, несомненно, являлся и он сам, хотя уже и был гражданином новой, суверенной республики, – своя удивительная психология. В минувшие советские времена Керим и мыслившее подобно ему целое поколение произносили такие понятия, как «коммунизм», «пролетарский интернационализм», «империализм», разве что с долей иронии, скепсиса, с оттенком подтрунивания, то есть – они не могли поверить, что эти термины когда-нибудь выражали некую реальность, и воспринимали их как чисто пропагандистскую лексику. А теперь вот, в иной стране он не мог принять всерьез дружный порыв этих интеллигентных господ, шествующих на утренний намаз: может быть, они и были истово верующими, но соблюдение религиозного ритуала в такую рань, при получасовой попутной стоянке, на Керима произвело впечатление показушности, демонстративности.

«Бедный ты советский человек! – пожурил он себя. – Ни во что веры в тебе не осталось: ни в социализм, ни в религию, ни в Бога, ни в черта... Но ведь миллионы людей веруют либо в одно, либо в другое, либо же еще в нечто, в кого-то и во что-то...»

«Я тоже верю в Аллаха, – ответил он самому себе. – Но вера – интимное, личное чувство, которое лелеют в тайне, какая нужда выставлять ее напоказ подобным внешними ритуалами? Какой прок в этом? Нуждается ли «уджа Танры» – сие великое, недосягаемое существо в столь поверхностных изъявлениях чувств?»

Вспомнились давние слова матери: «Поверяйте свои сердца Аллахом». Так оно и в самом деле. Если сердце твое в ладах со Всевышним, если ты – Божий человек, наверное, в глазах творца не столь уж важное значение имеют молитвы, пост, обряды. Как говорят турки: «онемли дейил» («не суть важна»). Он не сожалел, что не отправился в мечеть сотворить намаз. Да и не мог пойти, – не умел совершать молитву. «Что ни говори, а это тоже плоды советского образа жизни и воспитания».

– Вы не из Карса ли, эфенди?

Вопрос, прозвучавший над ухом, исходил от лысого шофера, поливавшего из шланга и мывшего ветровое стекло.

– Нет, я турок-азери, из Баку. Шофер отбросил шланг в сторону.

– Рад тебе, брат-азери! Азербайджан – душа наша! Не можете ли сказать, где можно записаться добровольцем в азербайджанскую армию? И я, и оба моих брата рвемся в Азербайджан, чтобы дать прикурить этим армянам!

В ясных серо-зеленых глазах шофера – неподдельный, чистосердечный порыв. Но эти слова, слышанные уже за несколько дней в разных вариантах, прозвучали для Керима как укор, и он, замотав головой, не ответил и направился к одноэтажной «стекляшке» на стоянке. Вошел в туалет, чтобы умыться. Стены, пол, устланные белоснежным кафелем, чистенькие никелированные краны, с сильной струей. Столь же опрятная лавка, кафе, все подметено, прибрано, все сверкает чистотой.

Вспомнились ему придорожные столовые в Азербайджане, минуты, когда рейсовые автобусы останавливались где-нибудь в гуляй-поле, у навесов, продуваемых ветрами, хриплый окрик небритого шоферюги заткнувшего концы замызганных штанов в носки, наподобие галифе, в ботинках, нечищеных со времен покупки: «Стоянка пятнадцать минут! Кто опоздает – пусть пеняет на себя! Ждать не будем!»

Столовая с обвалившейся штукатуркой, выцветшие, обшарпанные клеенки на колченогих столах, – облокотишься – прилипнешь, мутные стаканы, треснувшие тарелки, искореженные алюминиевые вилки и ложки, ядовито-зеленые мухи, облепившие открытую сахарницу. (Главное мушиное полчище осаждало мангалы на подворье, возле которых на заляпанной кровью колоде рубили и нарезали мясо).

И еще – выброшенные тут же, у столовой, в кусты тамариска ребрышки, косточки с так и не разжеванным жестким мясом, и кидающиеся на эту поживу, рвущие родные собаки... Поодаль – будка уборной, обшитая досками только с трех сторон, да и то с щелями, зловоние, бьющее в нос за полсотню шагов...

Отчего же здесь, где по трассе на дню проходят тысячи легковых машин, люди останавливаются на привал, отдыхают, столуются, – и ни единой мухи, ни одной голодной дворняги, все сияет чистотой? Будут ли у нас когда-нибудь такие же удобные автобусы с мягкими, как подушки лебяжьем пуху, креслами, с рессорами, упруго качающими тебя как в зыбке, такие же гладкие дороги и вдоль них – такие же чистенькие опрятные пристанища?

Керим подошел к прилавку. За стеклами витрин – всевозможная снедь, закуски, фрукты, соки, напитки, чей вид уже говорил, какая это вкуснота, дразнящие аппетит, мягкие, как вата, чуреки.

За доклад на конгрессе ему дали полмиллиона лир. Часть денег уплатил на автобусный билет; оставшееся на однодневное пребывание в Стамбуле и расходы на обратную дорогу в Анкару, тысяч десять-пятнадцать он мог себе позволить израсходовать на завтрак.

Как же неожиданно Садяр изменил свое решение! Впрочем, не так уж и неожиданно. Причина была ясна.

Садяр считался руководителем мини-делегации, состоявшей из него самого и Керима, и поначалу никак не хотел, чтобы Керим ехал в Стамбул. А потом чуть ли не настоял: непременно надо.

Ясно, где собака зарыта. Вспомнив о Садяре, он почувствовал и саднящую боль в ступнях: туфли жали. Относительно новые, эти туфли принадлежали Садяру. Садяр прихватил с собой на дорогу две пары (а может и больше) туфель, и в первый же день, по прибытии, глянув на обувку Керима, засокрушался:

– Послушай, ты ж солидный человек, что за старье носишь? На вот, бери мои, обуйся!

Керим, было, замялся, стал отнекиваться, но ведь тут и не раскошелишься на новые туфли: свои, и впрямь пообносились, утиль, можно сказать, зазорно в таких в люди выходить.

– Завтра тебе с докладом выступать... Носи мои. В Баку вернешь...

И, чтобы положить конец «интеллигентской щепетильности» Керима, Садяр взял и вышвырнул старые причиндалы Керима с двенадцатого этажа во двор, – когда тот принимал душ...

Керим не знал, возмутиться ли, обидеться или выразить благодарность, удовлетворение. Словом, в конце концов, обул эти самые Садяровы мокасины на полразмера меньше, но понемногу разносились, да вот теперь, поди же, опять жмут, – должно, быть, в автобусе ступни взопрели, раздулись.

В эти дни ему понравилось турецкое блюдо «бойрек» – кусок мяса в тесте. К тому же дешево. Взяв порцию бойрека, стакан айрана, поставил на поднос и, подойдя к кассе, заплатил двенадцать тысяч лир, сел за столик. Оказывается, здорово проголодался, – с аппетитом съел бойрек, отпил глоток айрана и... снова почувствовал острую боль в сердце. Внезапно из глубинных пластов памяти всплыли клочки воспоминаний – вкусовых ощущений запахов, видений, переплелись, зацепились друг за друга, и вся эта мозаика памяти обнажилась, как полная улова рыбачья сеть... Вкус айрана... перенес его в полувековую давность, когда он мальцом испил айран в горах Лачина, – в Истису... Вкус айрана повлек за собой и воспоминание о вкусе сюзьмы – творога. Там, в Истису, у войлочных кибиток, между «ян чубугу» и «гядя чубуг» («боковая жердь» и «матерая жердь») была протянута веревка, увешанная бельем, и еще, помнится, висела белая торба, с которой стекали белые капли. Наутро они ели сюзьму, извлеченную из той белой торбы, и та давняя сюзьма по вкусу напоминала сегодняшний айран. И вместе с памятным вкусом всплыли и запахи, оставшиеся на далеком берегу жизни, – душистый запах чабреца, угольных головешек в самоваре, запах можжевеловых дров, потрескивающих в огне; и он понял, что и недавний аромат одеколонной салфетки отозвался в душе запахом цветущей – раскидистой липы... С памятью о вкусе, о запахах оживали в воображении разрозненные картины, сцены, лица из детства.

Только что окончилась война. Отец, уже демобилизовался, но еще не вернулся с украинских краев. Летом мама привезла маленького Керима в свой родной город – Шушу, к тете Семае. У Керима сызмала было неладно с почками, и маме посоветовали подлечить мальчика в лачинском Истису.

Отправились на конной арбе – муж Семаи Мурсал (он был за возницу), мама и маленький Керим. Кузов арбы устали мафрашем и умостили тюфяками, подушками, одеялом – когда у Керима обострялись боли, укладывали его в походную постельку. Утихнет боль – и он тут же вскинет голову, и глазеет с крутой извилистой дороги на распахнувшееся приволье. Вся округа была феерическим царством бьющих, клокочущих родников, со звонкой, студеной водой, от которой ломило зубы. Они даже поспорили с дядей Мурсалом, – что продержит руку в струях родника Айгыр-булаг минуту, но не выдержал и полминуты, – пальцы окоченели, хотя и был август, еще, как говорится, овцы не нагуляли жиру. Вокруг низвергались россыпи водопадов, на склонах белели русла высохших ручьев, из-под земли там и сям били струи. С грунтовой дороги, карабкавшейся в горы, виднелась на дне ущелья речка Сабух, изумрудно-искрометная от отражения окрестных лесов, и дядя Мурсал, глядя на вскипавшую на перекатах пену, говорил, что Сабух спешит к реке Хакери, чтобы поведать ему свои заветные тайны. В Истису в трех местах из-под земли била вода, но не студеная, как в прежних родниках, а горячая и целебная, и эта живая вода сулила исцеление маленькому Кериму. Дядя Мурсал опять завел свое: хочешь, мол, поспорим (любил он спорить); засеки время по маминым часам, когда стрелки совпадут, вот из того ключа забьет фонтан. И впрямь, вода извергалась минуты три-четыре-пять за час, а после унималась. Мурсал-киши понимал язык природы. Бывало, набежит туча, и Керим с мамой хотят укрыться в войлочном мухуре, а Мурсал говорит:– «Не бойтесь, дождя не будет, тучка-то яловая».

– Мурсал-дайи, а зачем ты красную тесьму привязал к той вон балясине?

– Перейму боль твою, затем, чтоб ласточка там не гнездилась. Красный цвет ее и отвадит.

Очень любопытна была и «теория наследственности», по дяде Мурсалу: «Такой-то хромал – потому и у козы его детеныши хромоногими народились».

А Семая-хала знала назубок, какая травка, какой цветок против какой хвори помогает. Лечила маленького Керима настоем шиповника, а колики в животе унимала отваром из черенков мушмулы.

Из далеких снов памяти всплыл и вкус тмина, чуть отдававший вкусом маковых зернышек; вкус поджаренной кизиловой луковки, плова с гречишником, сваренного Самаей-халой, напоминавшего на вкус мамин плов, приправленный щавелем, с той разницей, что в плове со щавелем рис оказывался темно-серым, а с гречишником – пышным, белоснежным, зернышко к зернышку.

Мурсал-дайи водил с собой маленького Керима по горному приволью и показывал щедрую земную благодать: «Вот это лилпэр, всегда к чистой воде тянется, гляди, какие большущие листья у него, а это вот – росянка, в самую жарину у нее роса остается на лепесточках. А этот цветок с желтыми лепестками – лилия, поодаль тоже с желтым венчиком – целебная головчатка, вот норичник, вот – щавель, ну, а этот цветочек – ромашка.

Слышал, наверное, тысячелистник, вот портулак, вот звездчатка... А вот тебе еще лекарство – чистотел, это хорошо знает твоя Семая-хала. Это – мать-и-мачеха, а там дурнишник растет. Вон деревце, что корнями в скалу, вцепилось, – каменное дерево... На вот, пожуй эту травку, зубки прочисть... – И Мурсал-дайи протягивал ему пушистый, как бархат, серебристый листочек. – А это держидерево, с его цветов пчелы сок собирают, и мед потому отменный, сладкий получается... Слышишь птичьи голоса? Это кеклики перекликаются... Ты тут поберегись, а то крапива ножки твои обожжет... Гляди на деревья, запоминай: вот – кипарис, вот – тополь, вот – вяз, а эти, кряжистые – грабы... Вот богатыри наши – дубы. Дуб сперва корни поглубже в землю пускает, а уж потом в рост идет. Лет девять – пятнадцать укореняется, упирается и тянется ввысь, и стоит, и живет – пятьсот лет, тысячу и дольше... А вот липа – царица лесная, и тень от нее – на всю округу, и вода из-под нее всегда хорошая, вдобавок, от липового цвета и мед на славу. Да... под липой и прохлада, и услада, и водицы – не напиться...

«И запахом – не надышаться... Мир праху твоему, Мурсал-дайи... Вот в какую даль занесло запах цветущей липы, вот где он настиг меня, через полвека, – здесь, на полпути между Анкарой и Стамбулом... и всколыхнул, навеял ворох воспоминаний... Уж сколько лет, как ты покинул мир. И Семая-хала ненадолго пережила тебя... Знали бы вы, какие напасти нагрянули на нас, какие беды стряслись с нами».

Керим и позднее, во взрослую пору жизни, бывал в лачинских краях, поднимался в горы Сарыбаба, на Эйлаг Гырх-гыз, к озеру Гарагёль, и теперь названия далеких урочищ и отметин родной земли отзывались в памяти, будто кто-то нашептывал их на ухо: Яглы-булаг, Гызыл-гая, Кечили-дагы, Пери-чынгылы, Айгыр-гаясы, Шиш-гая, Дашлы-юрд, Кётан-гаясы, Ейвазлы-дагы, Новлу-булаг...

Теперь все эти места были захвачены армянами.

Он взглянул на часы. До отправления автобуса оставалось десять минут. Он вышел из столовой «аквариума», начал прохаживаться. Уже совсем рассвело. Недавние богомольцы уже расселись за столами в столовой.

Керим свернул направо и зашагал к роще между стоянкой и мечетью. Дошел до опушки, заглянул вниз, – сквозь густые заросли проступало и таяло дно долины, где бежала речка. Проступало и таяло потому, что оттуда, с низов, поднимался по крутизне клочковатый туман, местами плотно устилая долину белым ковром. Местами он клубился, густел и полз тяжело, а кое-где вился и взмывал дымчатыми бурунами, оставляя там и сям разрозненные клочья, как взбитая неким гигантским хлыстом, шерсть, и в просвет между этими клочьями сиротливо и неприкаянно выглядывали деревья из невидимого густолесья.

Керим провел ладонью по ветви, листьям ближайшего дерева и ощутил влагу, – это была не роса, а след тумана...

...Здесь, на юру, уже была не автобусная стояку компании «Варан» на автостраде Анкара – Стамбул, а Шуша... И речка, неслышно бежавшая по дну ущелья подернутого туманом, была речкой Дашалты, и лес, покрывавший склоны, был «Топхана-мешеси», и он, Керим стоял на плоской площадке Джидыр-дюзю, у пещера Мелика Шахназара, откуда справа виднелась вершины горы Кирс, а слева – скала Эримгяльди, и еще дали взору Керима представала гора Багрыган, – один из коллег-этимологов утверждал, что подлинное название ее не Багрыган, а Богра-хан.

Этот клочковатый, изодранный туман вился над Шушинским горным простором, и не будь этого тумана, можно было бы разглядеть на крутом склоне и старинное убежище – приют Ибрагим-хана. Рассейся этот туман, он бы выискал взглядом и уступчатую крутизну – «Гырх пиллекан»[[66]](#footnote-66) и, спустившись, ступень за ступенью, на дно ущелья, припал бы к пенистым струям Дашалты и испил бы воды. Испил бы и из родника Иса-булагы, а повыше от него еще и родник Сулеймана, два родника, но вкус воды у каждого особый, неповторимый. А еще – Туршсу, а еще Ширлан... И зажурчали шушинские ключи, а еще вспомнились их звук и смак – Сахсы-булаг, Ясты-булаг, Чарых-булаг, Секили-булаг.

Слезы душили его. Вспомнилась строка из стихов погибшего в вертолете (Анар предлагал по-азербайджански называть, эту машину «дикучар») – журналиста Алы:

Безумно хочется мне разрыдаться... Он не был знаком с Алы, видел только по телевидению. Из погибших во время того рокового полета знал только Вели – когда-то их свела работа в архивах. Вели занимался документами, связанными с Наримановым. Благородной души был человек. Мир его праху. Это был «человек Аллаха», как говаривала матушка.

Он вспомнил о матери. Пять лет, как ее не стало, с другой стороны, думалось, господь смилостивился над ней. Она бы не пережила трагедии Шуши.

И родилась ведь в Шуше. Там и познакомилась с прибившим в фольклорную экспедицию Аскером – будущим своим мужем – отцом Керима. И свадьбу в Шуше сыграли у Иса-булага. А какие знаменитости пели на торжестве – Хан, Зульфи...[[67]](#footnote-67) Там, в Шуше – могилы деда и бабушки. Там – последний приют Мурсал-дайи и Семаи-хала...

Шуша оживала в душе Керима – пядь за пядью, голосами, звуками, запахами, и ему чудилось веяние прохладного ветра с горы Кирс, ласкающего волосы, лицо, наполняющего грудь свежестью, и казалось, крупные капли слепого дождя орошали его лицо, и он словно ощущал вкус душистого чая, настоянного на чабреце и головочатке, и медовый запах цветущего пшата, и тревожно приятный аромат липы, и мятное, терпкое благоухание холодянки, и до слуха доносилось берущее за душу пение Гадира[[68]](#footnote-68) из сада Хан-гызы[[69]](#footnote-69). В это мгновение он ощущал Шушу всеми чувствами, всеми фибрами души...

От Семаи-халы осталось трое детей – Адиль, Зарифа, Лятифа. Зарифа перебралась в Баку, а остальные жили в Ходжалы. Они все приезжали почтить память матери Керима, но после траура их связи прервались, и они как-то не удосужились искать встреч.

20 мая девяносто второго года – Керим крепко запомнил этот день – в квартиру Керима, – он жил в поселке Мусабекова – постучались. На пороге стояла незнакомая женщина. Ее изможденное, увядшее, потемневшее лицо являло следы невообразимых мук и страданий.

– Ты не узнал меня, Керим? Лятифа – я, дочь Мурсал киши.

Когда разразилась беда в Ходжалы, Керим, услышав об этом, сразу же позвонил Зарифе. Соседи ответили, что ее ударил паралич, отнялась речь, а от ходжалинской родни нет никаких вестей, вероятно, все погибли. Оказалось, Лятифа жива.

Он ввел в дом, усадил. Воцарилось молчание.

– Как Зарифа?

– Сейчас ничего... – отозвалась Лятифа, медленно, трудно выговаривая слова.

Керим не решался спросить об Адиле. Собрался с духом:

– Адиль?

– Адиля... убили армяне... – произнесла Лятифа странно отрешенным, безучастным голосом. Лицо ее казалось окаменевшим. – И Адиля, и Кямала... – Добавила: – Я об отце моих детей... То есть, одной-единственной дочурки моей. И она... трех лет от роду погибла...

Опять бесконечное, мучительное молчание. Керим глядя, не нее, подумал: «Как изваяние скорби... Одеревеневшее, окаменевшее горе, ходячий памятник погибшей семьи...».

Она продолжала все тем же тихим, ничего не выражающим голосом:

– Армяне дали срок – четыре дня, чтобы все покинули Ходжалы... Обманули нас. Через пару часов началась стрельба. И наши, свои нас обманули... Мы, женщины порешили пойти на минное поле, сами подорвемся, а танкам нашим дорогу откроем. Не пустили... Обманули… Кямал велел мне с соседкой Бильгеис уйти из села, а мы мол, останемся и будем биться до конца. Я воспротивилась. Кроху свою, Семаю, вверила Бильгеис, а сама осталась... Сперва они убили Адиля, потом и Кямала. Потом дошел слух, что и Бильгеис в лесу подстрелили, но ребёнок уцелел. Кинулась в лес, двое суток металась, искала... наконец, нашла... трупик моей Семаи... Не от пули... Замерзла кровиночка моя. Ползла – ползла на четвереньках в снегу, окоченела – и все... Ручонки сплошь в колючках. Я их, колючки-то по одной, по одной повытаскивала, могилку вырыла... похоронила деточку мою.

... – Сайын йолчулар, атобуса бинменизи риджа эдийоруз![[70]](#footnote-70)

Едва сев в кресло, Керим надвинул козырек кепки на глаза, делая вид, что задремал. Ни с кем говорить ему не хотелось. До самого Стамбула ни на минуту не вздремнул.

Когда автобус сделал первую остановку в Стамбуле, сосед потянул его за рукав.

– Бей эфенди, не здесь ли вам сходить?

– Это – Таксим?

– Нет, мой эфенди. До Таксима еще далеко. Это...

Он назвал какое-то местечко, но Керим не расслышал. Главное, уяснил, что не Таксим. Нотариальный чиновник протянул ему визитку.

– Будете в Стамбуле – милости прошу в гости. Буду рад.

«Разве же мы не в Стамбуле? – удивился Керим. – И уж если чаешь меня видеть в гостях, чем не подходящий случай?.. Ну, а если это простая любезность, – и на том спасибо».

Чиновник, извлекая свой «дипломат» с верхней полки, проговорил:

– Уж вы не обессудьте, за мои разговоры, если что не так сказал...

Керим кивком головы дал понять, что общение не было ему в тягость.

– Вы, братья-азери, не падайте духом, – чиновник гнул свое. – Мы придем к вам на помощь и избавим от армян!

– Отлично! Вы избавите нас от армян, а мы придем к вам на помощь и избавим от ПКК[[71]](#footnote-71).

Нотариус, не ответив, попрощался кивком головы и сошел с автобуса.

Автобус двинулся дальше, проехав через мост над Босфором, выбрался из Азии в Европу и затормозил на остановке напротив германского консульства.

– Всего доброго, до свидания, – любезно улыбнулась стюардесса.

– Да хранит вас Аллах, – отозвался Керим, перекидывая ремень сумки через плечо.

\* \* \*

Это была первая встреча Керима со страной, которую он мечтал увидеть всю жизнь, которой грезил долгие годы и знал ее лишь понаслышке, по радиопередачам, попадавшимся от случая к случаю в руки книгам, журналам и газетам. У коллег, в последние годы зачастивших в Турцию, как и ездивших туда, как ходят по воду, он попросил привезти ему подробную карту Стамбула. И вывесил ее дома у себя над кроватью. Первое, что он видел каждое утро, открывая глаза, были части легендарного города, разграниченные Мраморным морем, Босфором, Халичем, и он твердил, как стихи, названия этих зон и других районов Стамбула: Фенербахча, Гаракей, Гадикей, Усгюдар, Бейоглу, Гызылторпаг, Аджибадем, Нишанташ, Бешикташ, Кафаташ, Шишли, Мачка, Мода, Фатех, Лалели, Агсарай, Баязид... – в воображении «шагая» по этим улицам, кварталам, проспектам, «переходил» по мосту Галата из Сиркечи в Гаракей, «садился» на катер и, «проплывая» по Босфору мимо Гыз-гуллеси, вокзала Хейдар-паши, шептал про себя строки Яхьи Кемаля:

Вчера, когда ваш дом взрывался смехом, ваша милость.

Мне в лодке бухтой мимо плыть случилось...

...Мысленно он сходил с судна на пристани Гадикей. На той самой пристани, о которую тоскующий на чужбине Назым Хикмет хотел бы биться, обернувшись волной, когда в «вапор»[[72]](#footnote-72) Мемет садился с мамой...» Воображение вело его в парк Гюльхане, где росло ореховое дерево, ностальгически воспетое Назымом: он мысленно бродил по базару Гапалы-чарши, рылся на стеллажах книгопродавцов в Сахафларе, гулял по проспекту Истиглал, пил кофе в пассаже Чичек, дойдя до Таксима, оттуда по узким кривым улочкам спустился на набережную, подходил ко дворцу Долмабахча, и по аллее, («Бульвару туманов», – как называл ее Атилла Ильхан), тянувшейся меж крутых крепостных стен и с другой стороны обставленной домами и заслоненной деревьями, устремлялся к Бешикташу и, как Орхан Вели, заворожено слушал многоголосье «Гапалы-Чарши, и щебетание Махмутпашы, дворы, где голубей полным-полно лотков – на доках – стукотню и аромат весенних ветерков...» – он: «слушал Стамбул с закрытыми глазами»... И вот теперь, когда он не в грезах, а наяву поднимался к площади Таксим, когда он подступал к Центру культуры «Ататюрк», ему показалось, что он уже не однажды бывал в этих местах, что он исходил их вдоль и поперек. Может, это оттого, что он смотрел на Стамбул как бы глазами отца. Конечно, отец не мог бы увидеть Центра культуры имени Ататюрка, – эта современная стеклянно-бетонная глыба была возведена много лет спустя после кончины его отца. Отец умер в пятьдесят шестом. Керим узнал памятник Ататюрку на площади Таксим по давним рассказам отца, который говорил, что в Стамбуле азербайджанцы назначают встречи именно здесь, у этого монумента. Отец некогда, в двадцатые годы, учился в Стамбульском вузе, был студентом у Кёпрюлю, Зеки Валида Тогана, Джафароглу, слушал в Чинаралты беседы Ахмеда Хашима, Орхана Сейфи, Фарука Нафиза.

Керим перенял у отца многое, но главных обретений было три – отец обучил его старому алфавиту, влюбил в волшебную «Книгу Деде-Горгуд» и заворожил неведомой Турцией, украдкой, наедине, с опасливой оглядкой (будто их тесная комнатушка на Чадровой улице была напичкана подслушивающими микрофонами), читая ему стихи турецких поэтов, и рассказывая о достопримечательностях Стамбула...

Тем не менее, он не хотел, чтобы Керим стал тюркологом: «Тюркология в Советском Союзе – поприще, находящееся под недреманным оком ЧК, ГПУ, НКВД... Так будет и впредь».

…Порой Кериму казалось, что он ощущает далее вкус йогурта, который некогда отведал отец в Ганлыджа. По вечерам отец нашаривал в эфире Турцию по радиоприемнику Т-6, чем-то напоминавшему мамино пальто – реглан, слушал последние известия, или нескончаемые, тягучие мелодии. Иногда и сам подтрунивал над этой «долгоиграющей музыкой: «Когда приехал в Турцию – услышал по радио длиннющую песню, проучился два года, еду домой, – а ту песню все еще не допели...»

Керим замечал, что всегда, прослушав Турцию, отец меняет настройку, оставляя стрелку на волне Баку или Москвы. К ним заходили соседи, родня, вообще визитеров хватало, и отец в тридцать седьмом арестованный и сосланный в места не столь отдаленные, был не в меру мнителен, подозревал чуть ли не в каждом приходящем в дом осведомителя и стукача... Таких он называл «йонджа» – словечко, которое употреблял в семейном кругу, в разговорах с матерью, «Имярек, сдается мне йонджа», «Да, похоже...» Керим впоследствии уразумел этот образный ярлык: «йонджа»[[73]](#footnote-73) – трава как бы вездесущая, потому и энкаведешные стукачи, у которых всегда и везде ушки на макушке, удостоились такого сравнения.

Двух лет обучения Аскера в Стамбуле оказалось достаточно, чтобы прилепить ему клеймо «пантюркиста». Он еще хорошо отделался, – не расстреляли, а упекли в ссылку, в Томск. Аскер, владевший в совершенстве арабским, фарси, русским, английским и даже латынью, по счастливому везению или чьему-то тайному благорасположению смог устроиться на учительскую работу. Ирония судьбы в том, что сей «пантюркист» и «панисламист» преподавал там основы марксизма-ленинизма!

Началась война – и «неблагонадежного» ссыльного учителя упекли в штрафной батальон. На фронте отличился и, благодаря полученным орденам и медалям, смог в сорок шестом вернуться в Баку, к семье. Он продолжал слушать Турцию по «Т-6». Как-то Керим – ему было тогда лет девять-десять – заметил, что после очередного «турецкого» сеанса отец отчего-то забыл перевести настройку – для отвода глаз. Мальчик исправил промашку, покрутил переключатель и поставил указатель на Баку. Отец уставился на сына долгим оторопелым взглядом, потом растроганно привлек к себе и чмокнул в лоб: «Ах ты мой умница!» До того он лишь однажды поцеловал сына: когда вернулся с войны.

Кериму подумалось, что именно с того дня между ним и отцом возник доверительный контакт: кажется отец впервые ощутил, что сынишка повзрослел и стал понимать многие вещи. Может, потому и взялся с той поры посвящать его в турецкую поэзию, читая стихи. Кому тогда могло прийти в голову, что в один прекрасный день Керим будет вот так, без всякого «йонджи», недреманного ока, «хвоста» свободно фланировать, ходить-бродить по стамбульским улицам!

Аскера во второй раз арестовали в начале пятидесятых. Двумя днями раньше на ученом совете учинили расправу над «Книгой Деде-Горгуда»[[74]](#footnote-74), и на Аскера обрушил громы и молнии Чопур Джаббар. На рябом лице обвинителя громоздился длинный крючковатый нос, под которым топорщились короткие – на манер довоенных райкомовских и исполкомовских чинов – усики, похожие на чернильную кляксу.

– Тебе не удастся отвертеться! – громыхал Чопур Джаббар. – Не ты ли, Аскер, больше всех в республике усердствовал, превознося «Деде-Горгуд»? Имей же мужество, встань и признай свои грехи! И изволь растолковать: какое отношение имеет этот дастан к нам? Когда, скажите на милость, наши предки ели конину и пили кумыс?! Это все ты протаскивал подобную ересь из Турции, – видно, там тебе хорошо напудрили мозги! Ты вот в своей статейке трижды упоминаешь имя Рифата Килисли, ровно семь раз – я подсчитал! – делаешь реверансы Кёпрюлю, восемь раз кланяешься в ножки Орхону Шаику[[75]](#footnote-75)…

– Я лишь ссылался на этих ученых, – ответил Аскер устало, но, не выдержав, взорвался: – Иди и «стучи», куда хочешь!

Этого слово дорого обошлось ему. Одно слово, из-за которого все пошло прахом. Может, не сорвись оно с уст, дело кончилось бы увольнением, научной опалой. То, что Чопур Джаббар – стукач, было ведомо всем. Но Аскер впервые открыто заявил об этом.

А тот и бровью не повел.

– Я горжусь... горжусь тем, что всегда срывал маску с лица у таких врагов народа, как ты... разоблачал, разоблачаю и буду разоблачать!

Ночью родители извлекли из домашней библиотеки кое-какие книги – в их числе и Бартольда, Гордлевского – и сожгли.

Запах горелой бумаги надолго запомнился Кериму, и с тех пор всегда бумажная гарь напоминала ему ту жуткую ночь. Отец еще в молодые годы, возвращаясь домой из Стамбула, привез с собой горсть земли с могилы Тофика Фикрета в Ашияне, и дома эта горсть хранилась в молитвенном узелке матери. В ту ночь отец вспомнил и об этой реликвии, опасаясь, что и она может послужить уликой, но выкинуть на улицу не решился; развязав узелок, высыпал землю в кадушку с фикусом.

Его увели спустя две ночи. Вернулся через два года, Сталин уже умер, Мирджафар Багиров был разоблачен, «Деде-Горгуд» – «реабилитирован», времена менялись. Аскер в Сибири отрастил бороду, «заработал» цингу и потерял зубы. Случилось ему после ссылки встретиться на улице с Чопуром Джаббаром – тот устремился к Аскеру с расплывшейся в заискивающе-жалкой улыбке физиономией, в которую был впечатан смачный плевок...

...Боже, какие фортели выкидывает фортуна! Тот ли это Чопур Джаббар, который... Керим обуздал распалившиеся мрачные мысли. «Перестань! – одернул себя. – Хватит об этом, ради Аллаха! Какого черта!» Стоило ли вспоминать противную рожу стукача в такой дивный майский день, пропитанный головокружительным благоуханием магнолий, когда он спускался от Таксима к ослепительному Босфору!

Отца после ссылки будто подменили. Насколько воодушевленным, бодрым вернулся он с фронта, столь же измученным, изверившимся и потухшим предстал после второй ссылки. Всегда озабоченный, погруженный в гнетущие думы. Похоже, и к работе остыл. Уже и не было ни желания, ни сил допоздна засиживать за столом при свете своей лампы с зеленым абажуром, рыться в старых фолиантах, перебирая и разглядывая в лупу ветхие рукописи. Да и турецкое радио перестал слушать. Только когда речь зашла о Стамбуле, однажды вздохнул: – Иншаллах, настанет день, когда и тебе доведется побывать там... Ты будешь очарован этой страной… заворожен... тебе все покажется сном...

И вот этот желанный день настал, и действительно, он словно был опьянен, и все казалось волшебным сном.

\* \* \*

Обойдя стадион «Инёню», он вышел к набережной Босфора. Взглянул на часы: одиннадцать. В университете ему надо быть к двум, – так он условился в телефонном разговоре с Бехиджа-ханым, позвонив из Анкары. Присел на скамейку, где было запечатлено название газеты «Хурриет». На рейде стоял белоснежной лайнер с надписью на борту: «Тюрк дениз йоллары». Между азиатским и европейским берегами сновали двухпалубные теплоходы с пассажирами. По глади пролива мельтешили тарахтящие моторные лодки. Вдоль береговой кромки, прямо на парапете расположилась рыболовы, закинувшие снасти в море. На соседней скамейке миловалась парочка, он с ниспадающими на плечи космами, на затылке перехваченными лентой, она с короткой стрижкой, оба в голубых джинсовых костюмах. Парень насвистывал какую-то мелодию; она показалась Кериму знакомой, и он, вспомнив, удивился; это был финал Девятой бетховенской симфонии. Кажется, впервые в жизни он слышал, подобный симфонический свист.

Если отец пристрастил его к истории и литературе, от матери он перенял любовь к музыке, приобщившись к миру европейской классики и мугамам. Мать, врач по образованию, не являлась профессиональным музыкантом, но обладала звучным, приятным, как все истые шушинки, голосом, и на фортепиано играла недурно. Керим вспомнил, что еще малышом любил слушать мамину игру... Почему-то ему особенно нравился «Траурный марш» Шопена; бывало, подойдет к матери, прильнет шейкой к щеке: «Мама, сыглай-ка мне «мелтвецкий малш!» И слушал тихо, молча. Мать удивлялась: «Валлах, похоже, наш мальчик станет композитором».

Нет, не стал.

К музыке он питал отношение двойственное. Была музыка, которую безумно обожал, и была иная, которой… боялся, как пытки. У него была масса пластинок, кассет. Любил слушать во время работы, писанины, чтения, – проигрывал самые нежные, трепетные, возвышенные вещи – «Адажио» Альбинионы, Вивальди, Бах, Моцарт, Прокофьев... И национальную – мугамы в исполнение Гаджибабы, «Лейли и Меджнуна» Узеир-бека с Рубабой – Лейли; народные песни – Бюльбюль, Рашид, Акиф, и еще Фидан, ария Гюльчохры... Не мог наслушаться. Он давно забыл, когда, в какие времена впервые услышал все это, но, слушая вновь, точно знал, какие эмоции, какие чувства и переживания проснутся в душе, – это были неизменные эмоции, стабильная музыка, постоянная собеседница души. Он не испытывал никакого беспокойства, извлекая из фонотеки и проигрывая знакомые записи. Но не приведи Бог, если случится вдруг услышать по радио или еще где мотив, напев, некогда услышанный и давным-давно канувший в сны памяти... И тогда под наплывом оживших мгновений, часов, дней, лиц, заполонивших память, разбуженных одной только музыке присущей магией (исключая разве что запахи). Керим не знал, куда бежать, как спастись от этого мучительного нашествия воспоминаний... Внезапно его взору являлись то отец, то мать, любимые образы, утраченные друзья, – словом, жестом, улыбкой, вздохом сожаления…

В памяти поступал белый-белый, крашенный известью дом в молоканском селе. Теплое летнее утро, парное молоко, выпитое спозаранку, ночной лай сердитых собак, гроздья крупных звезд, повисшие в небе, цепляющиеся за ноги, «собачки» с репейника, ими дети кидались друг в друга и колючие шарики лепились к одежде.

...Как они отправились с Тамиллой в поход по Куре, – господи, какие они были молодые, только что поженились, и это плавание было как свадебное путешествие. Идею подал их сокурсник Садяр, вернее, его брат, живший в Нефтечале. Как его звали? Надо же, запамятовал! «Давайте я вас покатаю в лодке по Куре», – предложил он в те свадебные дни. Не поленились – поехали, молодо-зелено, море по колено. Брат Садяра встретил-приветил их честь по чести, усадил в лодку и айда по Куре. Миновали Сальянский мост – дальше Кура стала изгибаться, пошла зигзагами.

...Кинолентой замелькало перед глазами: подросток лет пятнадцати, несущийся на неоседланном жеребце, следом припустила собачка... У кромки воды – босые женщины с подобранными подолами, полощущие белье, в запруде барахтаются горластые ребятишки, озоруя друг друга с головой в воду. На берегах, кипела жизнь. А на самой реке ни души, никого, кроме их тупорылой плоскодонки с единственным веслом, ни посудины, ни плота, ни парома... Трое суток они плыли вверх по реке, ночуя в прибрежных селах, и ни свет, ни заря вновь продолжали путь. Однажды остановились на ночлег у родственников Садяра, которые разводили гусениц шелкопряда в особом помещении, где был свой температурный, световой режим. Название села выпало из памяти. «Гусеница должна четырежды погрузиться в спячку, – объяснял хозяин, – как отоспится вдосталь – уплетает листья с великим аппетитом...».

Долма из виноградных листьев – та, которую он вкусил у родича Садяра, была ему внове, с рыбной начинкой; нарезанные кусочки заворачивали в листья и держали над огнем; затлеют, загорятся листья – долма готова... К этому запаху примешивался и другой – так густо и терпко пахнут растолченные косточки засушенного борщевика. Запомнился ему и вкус куринской воды, процеженной в ноздреватом, пористом камне...

Брат Садяра – смуглолицый, лихой, в глазах чертики бегают. Как его звали, дай Бог памяти… Однажды, когда они бродили по лесу, Тамилла, заметив колючее существо, приняла его за ежа и хотела было ухватить, но их провожатый стремительным движением удержал ее за руку: «Это тебе не малышка-ежик, а енот! Вскинет свои иглы – держись! Может и стекло машины, и жесть продырявить. А если человека кольнет – ранит не на шутку, к тому же иглы ядовитые...».

Брат Садяра... Ага, вспомнил, Садыхом его звали, говорил, что иглы у енота, как «шариковая ручка» (тогда такие ручки только входили в моду). Отец братьев когда-то был речным капитаном на Куре, водил еще колесные суда, и детство Садяра и Садыха прошло, можно сказать, на борту, – Кериму помнились названия этих посудин – «Чапаев», «Абхазия», по словам Садыха, резвые были суда, бегали по реке по течению со скоростью двадцать пять километров в час, против – двадцать. Каким образом он запомнил эти цифры? Мог бы биться об заклад, за точность. Странные прихоти у памяти, в нее порой западают, совершенно не нужные вещи, а вот важные – забываются. Каким же причудливым таинственным законам подчиняется память? Садых рассказывал, что в свое время большие сухогрузы из Астрахани шли до Сальян, заходили в Куру, и плыли вверх по течению аж до Сабирабада, Моллакенда, Зардаба, Евлаха. «По ночам держались ближе к берегу, и мы слышали рев кабанов из тугайных лесов. Хороши были Гахайские леса под Агдамом, но самыми красивыми были леса Садайбека... До строительства Мингячевира, в половодье, Кура порой поднималась настолько, что мы проплывали затопленным лесом в лодке до Агджабеди. В те времена створ реки столбили деревьями – по ночам они служили как бы маяками...

На второй день они доплыли до места слияния вод Куры и Аракса. Керим с Тамиллой мечтали увидеть это место, еще во времена помолвки поклялись, что обязательно должны посмотреть слияние двух рек. По сути, их куринский круиз и начался с разговора об этом и хотя Садяр, заверивший их – «беру на себя», сам не смог участвовать в их путешествии, готовился в аспирантуру, но перепоручил Садыху, которому было достаточно одного слова старшего брата. Он окружил гостей таким вниманием, что им казалось, что век будут в неоплатном долгу перед радушным хозяином. А вот, поди же, теперь Керим чуть было не запамятовал само имя Садыха. «Абхазию», «Чапаева», даже скорость их запомнил, а вот имя Садыха с трудом вытащил из недр памяти. Как-то Садых теперь, – плавает ли на своей плоскодонке по Куре, рыбачит ли, как встарь? Сейчас, наверное, ему за пятьдесят. Надо было у Садяра справиться о брате.

Удивительное место – слияние рек; Кура и Аракс, уже устремившись по единому руслу, некоторое время текли как бы порознь, у каждой воды свой цвет, казалось даже своя скорость течения. То Аракс подгонял Куру, то Кура, вздыбившись, подминала Аракс...

Давным-давно помнится, и вода в паводок взыграла, где Аракс впадает в Куру, там, где стоит домик, – вон, на том мысу, – Садых показывал на серенькую хибару, – его затопило. Потом, когда вода спала, мы, мальчишки, добрались до хибары, вошли внутрь, а там рыбы навалом, насобирали по корзинке – и домой...

С какой стати это все вспомнилось Кериму – сегодня, стамбульским утром, на босфорском берегу? Часто его на воспоминания наводила музыка, – но все ж, каким образом случайно услышанная в столь необычайной «аранжировке» тема из бетховенской симфонии будила в памяти куринское свадебное путешествие их далекой молодости? Ведь не звучал же Бетховен в те дни, в той тупорылой плоскодонке, или в той комнате, где разводили гусениц шелкопряда! Да, неисповедимы тайны памяти, непредсказуема избирательность впечатлений и логика их возрождения... На ум пришла строка Ахмеда Хашима: «Осталась нам лишь сладость воспоминаний на этом свете, что затухает и темнеет». Может, и Кериму в этом мире осталась лишь сладость воспоминаний?..

...Или, быть может, тогда, на Куре, вот так же пахло водорослями, и дул такой же теплый ветерок, несущий в себе терпкие трепетные запахи, – глоток ветра, волна запаха, возвращающие нам былое...

\* \* \*

Ему вспомнился эпизод из русской летописи, относящийся к тринадцатому веку, связанный с двумя тюркскими ханами – братьями. Отрак-ханом и Сырчан-ханом. Князь Мономах пошел на них войной. Сырчан подался в донские степи, а Отрак обрел пристанище в кавказских горах и там стал правителем. Прошло время. Мономах умер, и Сырчан, воротившись в родные края, посылает брату гонца: мол, возвращайся и ты. Брат не внял призыву – он уже обжился на новой родине, снискал славу и почет, и богатство накопил. Тогда Сырчан-хан вот ведь какой тонкий психолог! – прибегнул к такому средству – снарядил в путь к брату музыкантов, дескать, играйте ему наши степные напевы, он и расчувствуется, затоскует и не выдержит разлуки – вернется. Но Сырчан-хан был сердцеведом, который знал и еще более глубокие тайники души человеческой. Он ведал и то, что может разбудить чувства, которые не способна родить даже музыка. И послал вдобавок брату пучок степной полыни, растущей на родине. Зная, что чувство ностальгии, разбуженное горьким полынным духом, превзойдет все. А у А.Майкова есть баллада, воодушевленная летописным преданием:

«Зовет к себе певца Сырчан,

И к брату шлет его с наказом:

«Он там богат, он царь тех стран,

Владыка надо всем Кавказом,

Скажи ему, чтоб бросил все,

Что умер враг, что спали цепи,

Чтоб шел в наследие свое,

В благоухающие степи!

Ему ты песен наших спой; –

Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан степной

И дай ему – и он вернется».

Сырчан-хан не ошибся, ни настойчивые призывы, ни звуки родных напевов не смягчили сердца Отрака. Но когда гонцы протягивают ему, наконец, пучок полыни, свита хана диву дается. Грозный владыка, перед которым трепетали все, взяв в руку полынь, прикладывает ее к устам, плачет и говорит своим придворным: «Прощайте... Я больше не владыка вам. Возвращаюсь на родину свою».

И летописные, и майковские слова, произносимые ханом, Керим мысленно отождествлял со строками баяты:

Чем быть ханом на чужбине, нищим будь в родном краю...

Запах речных водорослей, запах степной полыни, Отрак-хан, Сырчан-хан, Стамбул, босфорская синь, слияние Куры и Аракса... Где начало и конец цепочки воспоминаний?

Осталась только сладость памяти

На этом свете, что затухает и темнеет.

Керим устремил взор на противоположный берег, узнавая силуэты купола Ая-Софии, минаретов мечетей. – Это мечеть Султана Ахмеда, а та – «Сулейманийе»? Или наоборот?

Минаретов было шесть. Значит, не ошибся, это мечеть Султана Ахмеда. Где-то читал: Султан Ахмед, поручая зодчему строительство мечети, пожелал, чтобы минареты были из золота – «алтын». А зодчему послышалось: «алты» (шесть). Так и возвел шесть минаретов. А мечеть в святой Мекке имела только четыре минарета, – и Султан, чтобы загладить то ли ошибку тугоухого зодчего, велел пристроить к мекканскому храму Аллаха еще пару минаретов...

\* \* \*

Да, Керим «боялся» музыки. Музыка могла растрогать его, перевернуть душу до слез в отличие от легендарного хана Отрака...

Позавчера в Анкаре он чуть было не оконфузился.

С Эролом он познакомился в Баку – на симпозиуме по «Деде-Горгуду». С Эролом и еще Доган-беем он сошелся накоротке. Да и с Бехиджа-ханым он имел честь познакомиться тогда же. Эрол был по-медвежьи космат, кряжист, плечист, чуть сутул. Держался, подавшись вперед, будто вот-вот упадет, и косолапая, вразвалочку, походка напоминала медвежью пластику. Длинные космы, ниспадая, путались в бороде и усах. Он неизменно носил ворсистую меховую куртку, мохнатый шерстяной джемпер, казалось, и, ложась спать, он не снимал это облачение, и оно пристало к нему, как шкура. Говорят, медведь – зверь добродушный, при виде безоружного человека не тронет, даже лапой глаза прикрывает, дескать, я тебя не вижу. И у Эрола был такой жест – вдруг прикрывал обеими ручищами, так и хочется сказать – лапами глаза, чтобы не видеть того, чего не хотел видеть. Между тем, все это он видел, все замечал, ничто не ускользало от цепкого острого взгляда узковатых, как он сам говорил, «кыпчакских» глаз. И манера речи у него была необычная, будто перематывал, во рту остужая, раскаленные слова, выдыхал их из себя. Но была у него, у этого явного «медведя» очень нежная и ранимая душа. Он быстро воспламенялся, был сентиментален, как большинство тучных, дородных людей. При всей своей глубокой эрудиции историка он был чувствителен как поэт, живя более эмоциями, нежели холодными рассуждениями. И он, как Керим, любил музыку, и эта страсть сблизила их в симпозиумские дни не менее, чем научные интересы. Ему очень пришлось по душе пение Флоры Керимовой, и вот, приехав на конференцию в Анкару, Керим привез в дар другу кассету песен в ее исполнении.

Позавчера он гостил у Эрола. Эрол, получив кассету, поставил ее в магнитофон. Керим, попросивший записать в Баку песни у приятелей на радио, сам не прослушал их, все, по сути, были ему знакомы. И когда вдруг зазвучала новая неведомая ему песня, – он глянул на кассету и прочел надпись: это была песня «Шуша» Джаваншира Гулиева; и когда Флора ханым голосом, опаленным горем, допела о нашей вине, всеобщей вине перед брошенным, оставленным городом – Шушой, у Керима спазмой сдавило горло, и он едва удержался, чтобы не разрыдаться. Хорошо, что в этот момент Эрол отлучился на кухню, чтобы принести кофе. Керим взял себя в руки, чтобы Эрол не застал его плачущим. Как сказал Сабир: «Мужчина, хныча, честь свою погубит».

Что же ты плачешь здесь, в Анкаре, в благополучной, большой, могучей стране, в апартаментах, обставленных мягкими креслами, устланными пушистыми коврами, поглощающими звуки, в полусвете торшера, без конца дымя дорогими американскими сигаретами?.. Хватило б духу – пошел бы сражаться за Шушу...

Что можно было ответить на эти вопросы – инвективы самому себе, чем можно было оправдаться? Да, ему пошел пятьдесят восьмой, да, диабет, радикулит, гипертония... И глазами слаб стал – козни проклятого диабета... Он и оружия в руки не брал, кроме как на университетских занятиях по военному делу. Даже охотничьей берданки в руках не держал. Так-то так... «Но все же, все же, все же...». «Воевать не горазд – так лег бы костьми в Шуше!..».

Когда-то он завещал – похороните меня в Шуше – возле бабушки и деда. Пошел бы, умер бы, похоронили бы...

Кто бы похоронил? Шуша, его Шуша, Шуша его предков была в руках врага. Кто же его впустит в Шушу – армяне? Даже умереть – не пустят. Иди, мол, умирай себе в другом месте.

Но у него духу не хватило и на это – умереть в другом месте. И сердце не разорвалось от боли. Вот, видишь ли, прибыл в Анкару, на конгресс. По сути, и конгресс-то был предлогом – приехал сюда с прицелом – устроиться на работу. Нет, не движимый высокими идеями, не задаваясь целью выполнить некую полезную национальную миссию. Просто хотел подзаработать энную сумму – на приданое дочери. И – все дела. Мебельный гарнитур – набор досок, деревяшек. Вот в чем правда. И он не хотел припудривать эту правду высокопарной ложью, громкими словами. Уж, во всяком случае, наедине с собой, перед своей совестью. А другим людям выкладывать, объяснять не хотел. Кому и что объяснишь? Кому объяснишь, что у него, преподавателя вуза с тридцатилетним стажем, дома хоть шаром покати? Кому он должен втолковывать что у него одна-единственная дочь, свет его очей, помолвлена, и жених хороший, воспитанный, да вот только из семьи, где денег куры не клюют, отец – руководитель (или как там, собственник. Керим не мог взять в толк в этих делах), новоиспеченной компании, то-то у его половины форсу – через край. Честно говоря, у Керима и Тамиллы душа не лежала к такому выбору, им бы сватов попроще, поскромнее, если уж родниться, так с ровней. Но парень уперся и ни в какую, и его родители, скребя сердце, сдались, щадя чувства своего чада.

Тамилла дальновидно внушала: «Мы должны обеспечить дочери хотя бы самое элементарное приданое, чтобы никогда после они не попрекали, не тыкали нам в глаза...». И ободряла переживавшую из-за этого дочку: «Не бери в голову! Пусть хоть рухнет мир, а мы тебе справим приданое честь почести, как подобает по обычаю». Тамилла не бросала слов на ветер, но претворение этих слов в жизнь выпадало на долю Керима.

Впервые эта идея пришла ему в голову в Баку на симпозиуме. Вернее, на эту мысль навела его Бехиджа-ханым. Его реферат очень понравился и Эролу, и Доган-бею, и Бехиджа-ханым. И она предложила: «Керим-бей, а не хотели бы вы прочитать у нас в Стамбуле, в нашем университете курс лекций по азербайджанской литературе?»

Предложение было столь неожиданным, что Керим даже от растерянности не нашелся, что ответить. После симпозиума Садяр, Керим и еще несколько преподавателей пригласили турецких коллег на обед. У Садяра был приятель в ресторане «Аилэ» в восьмом микрорайоне – он заказал по телефону стол, и все отправились туда. Бехиджа-ханым, единственная дама в их обществе, сидела рядом с Керимом. Все то и дело провозглашали тосты в ее честь, расточали комплименты и дифирамбы. Бехиджа-ханым была растрогана и польщена. «Я прожила в этот вечер счастливейшие мгновения своей жизни», – говорила она. Она немного выпила, разомлела и поведала Кериму о деликатных обстоятельствах своей личной жизни; у нее были черные, как смоль, волосы, и несколько робкая, застенчивая улыбка. Тонкие выщипанные брови были пропорциональным и симметричным повторением ее губ – по форме и тонкости, и губы в розовой помаде казались цветным отражением сложенных друга на друга бровей. И когда она морщила губы, когда сводила брови, это мимическое движение выражало одни и те же эмоции. Она была незамужней. Причин, естественно не раскрыла. Взяла на воспитание дочь старшей сестры погибшей в дорожной катастрофе. Племянница, уцелевшая при аварии – ей тогда было пять лет, – получила травму мозга. Хотя теперь ей было пятнадцать, она с трудом выговаривала слова и изъяснялась. На Бехидже вдобавок лежали заботы о престарелой теряющей зрение матери.

Бехиджа поведала Кериму об еще одной странной странице своей жизни. Она вела занятия в университете шесть дней в неделю, совмещая преподавательскую работу с должностью декана. Каждую субботу, окончив занятия, она отправлялась ночным поездом в Анкару и возвращалась в ночь воскресного дня. Но в Анкаре у нее не было особых дел, каких-либо встреч или незнаемых уголков и не виденных до этого достопримечательностей. Все удовольствие этих поездок заключалось в дороге. Удобное купе, изысканное обслуживание, мерное, убаюкивающее покачивание мягкого вагона. «Вот единственный шик моей жизни», – говорила она.

Хотя и Керим не проявлял никакой инициативы насчет университетской идеи, она повторила предложение:

– Приезжайте в Стамбул. Обязательно – к нам в университет. – При всем том, что Бехиджа-ханым была чуть навеселе, она не преминула объяснить ему, какие документы требуются – «дилекче» – заявление, «озкечмиш»-автобиография, фотографии, копии дипломов...

Вернувшись домой, Керим посоветовался с женой, Тамилла была решительно за: «Тут нечего и думать, судить-рядить. Это шанс, выпавший нам. Ты обязательно должен ехать».

Собрал документы, послал, оказией, через коллегу, в Стамбул. Коллега вернулся с вестью: «Передал твои бумаги Бехидже-ханым: Она с нетерпением ждет твоего приезда».

Как-то попытался по телефону дозвониться в Стамбул, Бехидже-ханым, – не удалось. Через месяц пришел счет на несостоявшийся разговор, – столь астрономический, что заказывать новый разговор он не решился. А месяца три тому назад выпал такой случай: он услышал, что в Анкаре состоится конгресс, он попросил их декана – Садяра – взять и его. Садяр поначалу замялся, сославшись на то, что дал слово другому, коллеге. Но Керим, быть может, впервые в жизни изменил своим правилам, взорвался – Катается по загранкам всякая шушера, а я вот до сих пор за «бугор» и носа не казал! Раньше из-за отца не выпускали. Если ты хочешь знать, – не надо мне об этом говорить, но вынужден, – отец мой столько лет мыкался в ссылке из-за своей симпатии к Турции! Да я и сам немало лиха хлебнул по этой же причине! Как же так, одним за Турцию – кнут, а другим – пряник!

Садяр рассмеялся, повторив подначку, связанную с тюркологическими взысканиями друга:

– Ай... ой... гуд-бай...

– Брось ерничать! Я с тобой серьезно говорю.

– Ладно, не вешай носа. Что-нибудь придумаем.

И это было месяц тому назад – Садяр протянул ему конверт:

– Не ценишь меня. Вот тебе и приглашение.

Керима занимала лишь одна мысль: лишь бы мне поехать в Анкару, выступить на конгрессе, тогда все образуется, – он не сомневался, что его доклад вызовет большой интерес, был твердо уверен, что после доклада посыплются приглашения из разных университетов, но он, конечно, сдержит свое обещание и остановит свой выбор на университете, где работает Бехиджа-ханым.

Доклад он построил на своем научном открытии десятилетней давности. При прокладке дороги через Маразу, возле древней усыпальницы – тюрбе Дири Баба строителям пришлось подорвать скалу, и каменная плита, обнаруженная под скалой, заинтриговала археологов. То была не могильная плита, а очень крупная глыбы, покрупнее даже, чем плиты, обнаруженные на древних огузских захоронениях, – монолит высотой метра три-четыре, с непонятыми знаками на плоскости. Керим, едва взглянув на древний камень, почувствовал, что здесь кроется тайна, и эту тайну суждено раскрыть именно ему, Кериму... Камень был хорошо обработан, отшлифован, мнение геологов подтвердил и химический спектральный анализ, – возраст загадочного монолита составлял, по меньшей мере, два тысячелетия. То есть, в те незапамятные времена его обработали человеческие руки.

Керима занимали таинственные знаки на камне. Должно быть, ими была испещрена вся плоскость, но теперь большая часть стерлась, исчезла, остался лишь фрагмент в верхнем ряду – двадцать – двадцать пять знаков. Керим снял с них графический оттиск и испытал неописуемое удивление, волнение и восторг, обнаружил, что эти знаки были идентичны надписям на Орхонских скрижалях! Значит, письмена были выполнены на древнетюркском языке. В распавшемся строю встраивался пунктирный ряд: «ай... ой... ан... кут... итик… а... р…». Два слова можно было ясно разобрать: «улу» и «ата». Днем и ночью он бился над этой загадкой, строил догадки, предположения о том, осколками, частицами каких слов могли являться эти буквы, и на основе этих гипотез пытался воссоздать законченную фразу, оборот, мысль. Он потерял покой, ему даже снились реликтовые буквы. Он без конца переворачивал литературу, рылся в словарях тюркских языков, исследовал другие источники... и однажды ночью... во сне на него словно нашло озарение. Тут же проснулся, вскочил, включил настольную лампу... сердце готово было выскочить из груди. Достал планшет с изображением каменной скрижали и дописал недостающие буквы, как если бы речь шла о собственноручном автографе... «БАЙАТ БОЙУНДАН УЛУ ГОРКУТ АТА БИТИКЧИ АЙДЫР» (или: «АЙЫТДЫ).[[76]](#footnote-76)

Сомнений быть не могло, на камне была начертана именно эта фраза. Источники сообщали о существовании еще до «Книги Деде-Горгуда» (Праотца Горгуда произведения под названием «Битикчи (т.е. книжник, пишущий книги) улу хан Ата».

В этой первокниге брал начало свод сказаний, собранных в позднейшей «Книге Деде-Горгуда», разгаданная надпись на реликтовом камне, напоминавшая Орхонские письмена, сообщала о сенсации, которая должна была стать революцией в тюркологии. Это было открытие – самое значительное в тюркологии после открытия Томсена![[77]](#footnote-77)

В десятке тысяч километров от Орхонских скрижалей, здесь, в Азербайджане был найден образец этого алфавита, причем бесспорный документ, связанный с Деде-Горгудом. Это решало все и утверждало гипотезу, на протяжении многих лет вынашивавшуюся учеными, на правах доказанной истины. Значит, по меньшей мере, за два тысячелетия на этой земле жили люди, говорившие на тюркском, обитало племя «баят» – род вещего Горгуда, великого Физули, и к тому же обладавшего своей письменностью и оставившего после себя письменный памятник – весть, наказ, свидетельство, документ...

Керим в ту ночь не мог нарадоваться, не находил слов, чтобы выразить обуревавшее его ликующее чувство. Ведь эти местные письмена были древнее Орхонских, по крайней мере, на пять-шесть веков. Может статься, древний алфавит перекочевал именно отсюда, с Кавказа в те далекие края. И миграция пратюрок проистекала, может быть, не с Востока на Запад (как считалось доныне), а с Запада на Восток.

Он не сомкнул глаз. Ему не терпелось позвонить одному-двум коллегам, которые могли бы оценить смысл осенившей его в эту ночь догадки, поделить с ним радость открытия. И он с трудом удержался: «Неудобно... на ночь глядя...».

Едва дождавшись утра, обзвонил кое-кого из коллег, даже магарыч потребовал. Мирали Сеидов очень обрадовался новости, двое других восприняли ее весьма спокойно и индифферентно, а четвертый не скрыл своего скептического отношения: «Надо еще долго докапываться...».

С тех пор Садяр и заладил пародийную прибаутку: «Ай... ой... бай...».

Керим стремился обзавестись, дополнительными материалами. Он знал, что в той же зоне, в шемахинском селе Хыныслы обнаружены каменные идолы, археологи, свезя их в музейный запасник, держали их под замком, никому не показывая, дабы уберечь свои будущие диссертации от сглаза... Керим все же нашел способ добраться до идолов, уговорив археолога, носившего ключ от заветного хранилища в кармане, и когда отперли двери академического «тайника» в Шемахе, смог разочек лицезреть идолов и даже сфотографировать старым «Зенитом».

У него не оставалось никаких сомнений: эти каменные истуканы подтверждали его мысль – они были близнецами – тот же типаж, стиль, параметры – с обнаруженными в Туве и давно известными всему научному миру древнетюркскими статуями, – балбалами.

Он опубликовал статью в «Советской тюркологии». Реакции особой не последовало. Только Чопур Джаббар был в своем амплуа – разразился на партсобрании (он и был секретарем парткома) пламенной филиппикой с пеной у рта. Когда он поднимался на трибуну, все с передних рядов под разными предлогами пересаживались подальше, опасаясь брызжущей из уст оратора слюны.

– Товарищи! Сейчас объявились новые пантюркисты. Вот перед вами – Керим Аскероглу. Впрочем, эпитет «новый» относителен. Это у него генетически, в крови. – Не постеснялся потревожить и тень отца: не забыл плевка в лицо, полученного от Аскера. – Голубчики, хватит выискивать прародителей этому злосчастному народу, пришивать его к турецкому хвосту! Нынче это в моду вошло, всякий дилетант везде и всюду взялся выискивать «турецкий след». Имейте мужество признать раз и навсегда научную истину: до X – XI веков в этих краях турок и в помине не было! Были некогда индийцы, были албанские племена, прочие аборигены, – они-то и явились пращурами азербайджанского народа. А то ведь глядишь, один ухватится за какие-то каракули на камне, толкует их на свой лад, другой уцепится за варсагов, сарсагов и черт знает, еще за что… Хватит играть судьбами народа!

Выпалил, выговорился, завершив тираду резким креном головы, и Кериму показалось, что длинный нос оратора очертил в пространстве восклицательный знак. И точка – его усы.

Эта «историческая речь» Чопура Джаббара прогремела в сентябре восемьдесят четвертого года. А через четыре года... Эх, дался ему этот Чопур Джаббар! Нашел, о ком думать... Да, в тот год Керима чуть было не исключили из партии. Садяр заступился, взял, так сказать, под крыло, но не преминул и упрекнуть:

– Тебе что, дела не хватает? Что ты ухватился за этот «гудбай»?

– При чем тут «гудбай»?

– По-английски – «до свидания». Ведь твои каменные письмена можно, при желании, прочесть и так. Может наши пращуры калякали и на «инглиш»?

– Будь хоть раз серьезным. Делать науку – не шутки шутить.

– А вот твоя наука, извини, несерьезна. Нельзя строить на произвольных ассоциациях – «ой», «ай»... К тому же, какого рожна тебе нужно привязывать нас туркам?

– Как так – «привязывать»? А кто же мы, по-твоему?

– Оставь, ради Аллаха. Не дразни гусей. Джаббар только того и ждет.

Спустя несколько месяцев он получил письмо из Лондона, от авторитетного тюрколога Джорджа Льюиса. Мистер Льюис, прочитав журнальную статью Керима, очень заинтересовался ею, просил послать ему фотокопию каменных письмен. «Достопочтенный мистер Аскероглу! Если вам удастся подкрепить Вашу гипотезу соответствующим научным аппаратом, – а я верю в Вашу удачу, – то это может явиться большим открытием и откроет совершенно новую эпоху в тюркологии...».

После этого к Кериму стали относиться чуточку уважительней, однако в дальнейшем развернулись столь бурные и стремительные события, произошла столь крутая переоценка ценностей, что открытие Керима совершенно незаметно вписалось в общий фон как саморазумеющая, давно известная истина и было забыто. В водовороте политических бурь никому не было дела ни до Керима, ни до существа его открытия. «Азербайджан, тысячелетиями являющийся родиной турок... колыбель Деде-Горгуда...» – подобные слова превратись в газетные клише и стереотипы. А изыскания Керима стали излишними, как ненужные доказательства якобы общепринятых аксиом.

В сентябре восемьдесят восьмого года перед многотысячной толпой на площади Азадлыг Чопур Джаббар уже запел по-другому:

– Хватит нам гнушаться своими корнями! Хватит отрицать нам свое тюркство, истинных предков, свою родословную! Мы должны вернуться к своим корням? Заткнуть рты предателей отечества, манкуртов нации, ставящих под сомнение тюркское происхождение азербайджанцев! На протяжении тысячелетий эти земли были тюркскими землями, родиной Деде Горгуда. Были, есть и будут!

Масса реагировала восторженным гулом и бурными аплодисментами на пламенную речь Джаббара. Керим, находившийся в гуще этой толпы, не мог поверить своим ушам. Что за наваждение? Тот ли это Джаббар?

О, Аллах, опять Чопур Джаббар... Дался тебе он! «Чур, не вспоминай об обезьяне...», – как предостерегал один классический персонаж...

Керима больше всего удивило и даже чуть расстроило то, что и здесь, в Анкаре, его доклад не вызвал особой реакции. После выступления к нему подошел, опираясь на трость, весьма преклонного возраста старец, оказавшийся маститым фольклористом-горгудоведом Фахраддин-беем, поздравил:

– Я всю жизнь в своих статьях твердил, что турки обитали на этих землях задолго до рождества Христова.

Доклад Садяра завоевал куда больший успех. Он говорил об алфавите, доказывал, что буква «х» не имеет столь уж большого значения для азербайджанской письменности: «Эта буква отторгает азербайджанский диалект от единого с ним турецкого языка и, стало быть, она нам не нужна», – эти слова вызвали бурную овацию в зале.

Они остановились в отеле «Стад», в одном номере с Садяром. Керим, поздравив коллегу с успешным выступлением, задал ему вопрос:

– Так ты утверждаешь, что между нашими языками никакой разницы нет?

– Конечно, – отозвался тот. – А какая, по-твоему, есть разница?

– Я только что был внизу в вестибюле, услышал диалог наших новоприбывших туристов из Баку с женщиной-администратором. – Она одной из наших туристок говорит: «Сизе ики кишилик отаг верийорум»[[78]](#footnote-78).

Землячка возмутилась: С какой стати вы меня вселяете с чужими мужчинами? У меня свой муж (ər).

Администратор: «Эр» – годжа» ли?[[79]](#footnote-79) Туристка взъярилась еще пуще: «Почему «годжа»?! Совершенно молодой, здоровый, как огурчик!».

Садяр покатился со смеху.

– Да будет тебе! Здесь, брат, надо в таком духе и выступать. Видал, какой фурор произвело? А начнешь вякать другое – так впредь и не пригласят. Так-то. Да, между прочим, ты обратил внимание на ту красотку в баре... Обязательно к ней подрулю... Ладно, а как с твоими делами?

– Сказали, надо идти в Комитет высшего образования. Может, понадобится и в Стамбул махнуть. Да, и гонорар за доклад получил. Оказалось – хватает лишь на рейс автобусом – туда – обратно. У нас остается три дня.

– А чего тебе, брат, тащиться в Стамбул. Позвонил бы по телефону.

– Погляжу... Наведаюсь в Комитет по образованию. А поехать хочется. Я ведь не видел Стамбул. Будет полезное с приятным...

Садяру отнюдь не по душе пришлось это стамбульское «отклонение». Как-никак, он возглавлял делегацию, нес ответственность.

В комитете сообщили, что из университета никаких бумаг, документов насчет Керима не поступало, хорошо бы ему самому отправиться в Стамбул и выяснить вопрос. Керим попросил работника комитета созвониться с Бехиджа-ханым. Учтивый чиновник заглянул в блокнот, набрал по коду стамбульский номер, попросил к телефону Бехиджа-ханым; оказалось, ее нет на месте. Будет завтра к двум. Чиновник повторил совет:

– Самое лучшее – ехать вам туда. Как только университет вышлет нам документы – немедленно оформим.

Он приобрел билет на стамбульский автобус и вернулся в отель. Ключа на щитке не было, – значит, Садяр в номере. Поднялся в номер. И застал коллегу в обществе красотки из бара, пьющими коньяк. Садяр при виде его и бровью не повел и произнес по-русски:

– А вот и наш герой! Познакомься, Наташа, оказывается, наша соотечественница.

– Да не Наташа, я говорю же тебе. Надя меня зовут Надежда!

– Это еще хорошо! Надежда – всегда хорошо! Надо надеяться. Будем надеяться. Надежда-ханым – наша соотечественница, вернее, бывший соотечественница из бывший Советский Союз, из Одесса. Ты сейчас гражданка какого государства – Россия, Украина?

Керим заметил, что они уже на «ты».

– А я – гражданка мира, – отозвалась Надежда. – Где хорошо – там и родина.

– Ай саг ол! – воскликнул Садяр.

– Саг ол – это «спасибо», – сказала гостья: – Я знаю, у меня был приятель – грузин.

– Мы не грузинцы, – поправил Садяр. – Мы азербайджане.

– Для меня все кавказцы – на одно лицо, что азербайджанцы, что грузины, что армяшки. Армяшек, правда я не люблю.

– Ай, молодец! – похвалил Садяр. – Правильно делаешь. Давай будем выпить за тебя. – И повернулся к Кериму, перейдя на азербайджанский: – Выпьешь?

– Нет, у меня кое-какие дела. Мне надо уходить.

– Это ты совершенно кстати, – хитро ухмыльнулся Садяр.

– О чем это вы балакаете? – поинтересовалась Наташа.

– О делах, – ответил Садяр, продолжая разговор с Керимом. – В Стамбул как – едешь?

– Еду.

– Отлично! – просиял Садяр. – Будь здоров! За тебя. Будем выпить за моего друга. Он, знаешь, какой большой ученый!

– С удовольствием. А почему он уходит?

– У него свидание с министром. Вернется только завтра.

– Жаль, – вздохнула Надежда. – Ученые – моя слабость. Больше всего я в мужчине ценю интеллект.

– Я тоже очень большой ученый. Не веришь, спроси у него. – Потом Садяр почему-то стал, как бы оправдываться перед Керимом: – Братишка, ты уж не обессудь меня. На земле живем лишь раз... вот и отводим душу...

Надежда усекла слово «братишка».

– Вы что, в самом деле братья? – спросила она.

– Еще лучше, чем родной брат, – сказал Садяр.

Керим уже терял терпение, – вложил в портфель нужные бумаги и поспешил попрощаться. Вышел из номера, вызвал лифт, как тут же следом за ним появился Садяр и протянул ему ворох долларов.

– На, понадобится.

Да, были у Садяра и такие широкие жесты, деньги у него водились, и тратить не скупился. Оно и понятно имеешь – не жалеешь. А ведь столько крезов, что над каждой копейкой дрожат... Впрочем, может Садяр просто щеголял щедростью, зная, что Керим наверняка откажется.

– Спасибо, у меня есть.

– Да откуда у тебя? Будто я не знаю. Бери, говорят тебе... «гудбай» ты этакий!

– Честное слово, нет необходимости...

– Тоже мне идеальный герой! Положительный советский человек... Слушай, и советская власть – тю-тю, и ее герои! Разве что один ты остался, да и еще твой кореш Гияс Зейналлы... Да, уж вы мир переделаете... Возьми, говорю. Я-то знаю, что у тебя есть, а чего нет...

Садяр окинул его взглядом с ног до головы. И этот взгляд, быть может, непроизвольно, нечаянно, задержался на туфлях, в которые был обут Керим... Керим покраснел до ушей. Хорошо, что подъехал лифт. Двери раскрылись, и Керим сиганул в кабину, отстранив протянутую руку с ворохом «зелененьких».

\* \* \*

Когда Эрол вернулся с кофе, еще не отзвучала песня о Шуше.

– «Шуша» – это новая песня?

– Да. Совсем новая. Потеряли Шушу и вот оплакиваем ее.

Эрол налил в бокалы виски.

– Класть лед?

– Клади.

– С содовой?

– Нет.

– Хотел выпить в твою честь, – сказал Эрол. – Но... знаешь... давай выпьем за Шушу! За освобождение Шуши от армян!

Керим вспомнил давнее застолье у Садяра в Баку, тогда тот принимал гостя из Венгрии. Садяр поклонился Кериму и шепнул на ухо: «Сейчас я выдам такой тост, что Ласло (так звали гостя) зальется слезами. Вот увидишь».

А Ласло весело болтал с дамами, рассказывал анекдоты, вызывая смущенное хихиканье.

– Прошу внимания. У меня тост.

Все обратились в слух. Ласло прервал очередную байку. Он понимал по-русски.

– Выпьем за Трансильванию! – сказал Садяр. Все растерянно переглянулись. Керим не сводил взгляда с гостя. Он никогда не видел, чтоб лицо человека так разительно менялось. Ласло побелел, улыбка слетела с лица, он застыл, как пригвожденный, потом поднялся и, пошатываясь, – выпил он изрядно, – обойдя стол, бухнулся на колени перед Садяром, облобызал его руку и... разрыдался...

Сколько воды утекло с тех пор, а эта сцена все еще стояла перед глазами. Керим знал, что Трансильвания – венгерский анклав, отнятый у Венгрии и включенные в состав Румынии, но он не ведал, что это традиционный тост у венгров, к тому же, имеющий столь неожиданную силу воздействия.

Выходит, и нам выпал этот жребий – думалось ему в гостях у Эрола. – провозглашать тосты за Шушу и оплакивать ее.

\* \* \*

Они промочили горло, послушали иные песни, потом выпили еще, излили друг другу душу. Оказалось, что отец Эрола был из крымских татар. Эрол рассказывал, что несколько лет тому назад, будучи в Ташкенте, он разыскал одного из своих крымских родичей. Тот был – поэтом. В сорок четвертом их всей семьей депортировали в Узбекистан, когда тому родичу было девять лет. Родич поведал Эролу, что до недавнего времени крымским литераторам из татар цензура запрещала упоминание о море, дескать, в Узбекистане моря нет, и уж если ты заикаешься о море, стало быть, подразумеваешь Черное, то есть вздыхаешь по Крыму, по покинутой родине, а вот этого-то делать нельзя, выкинь из головы.

– Мордовороты! – по-медвежьи рычал Эрол. – Сколько же можно изгаляться над людьми?

– Обязательно поезжай в Стамбул. Но я не люблю Стамбул... И отец не любил его, не любил взморье, Босфор... – это все бередило крымскую память... И он всегда бежал от воспоминаний. И мне, наверно, от него перешло. Но, знаешь, иные стамбульцы, в свою очередь, не жалуют Анкару. Ты слышал остроту Яхьи Кемаля? Приехал он в Анкару, побыл, при возвращении в Стамбул у него спрашивают, что, мол, понравилось вам в Анкаре? А он отвечает: «Возвращение в Стамбул...».

Эрол хохочет, он уже навеселе.

Глотнув виски, мурлычет:

Истамбулун хавасы, парасы, карысы...[[80]](#footnote-80)

– Не забывай, брат мой, Истамбул – чуточку Константинополь…

\* \* \*

– Эфенди, не желаете ли почистить обувь?

Перед ним стоял мальчуган лет восьми-девяти с подвешанной на ремне через плечо коробкой, державший наготове щетку и ваксу.

– Нет, спасибо, – ответил Керим и взглянул на часы: без четверти два. Время подоспело. Он направился к университету.

Широкие окна университетского фойе открывались на Босфор. У окна распластала крылья некогда потерявшая голову Ника Самофракийская. Фойе заполнила молодежь. Парни и девушки вольготно расположились на ступенях лестниц, на перилах, кто на корточках сидит, кто, сложив ноги по-турецки, а иные парочки, глядишь, целуются-милуются, и хоть бы хны, никому ни до кого нет дела. Почти все, в том числе и студентки курили сигареты, иногда он и она – на пару, поочередно затягивались сигаретным дымом. Группа девушек в длинных платьях и платках держалась в стороне, особняком, укутанные так, что проглядывали лишь личики – глаза, нос, рот, подбородок. Даже ушей не видно Керим слышал, что некоторые мусульманские страны арабского мира выделяют специальные поощрительные стипендии девушкам, соблюдающим хиджаб[[81]](#footnote-81), а побудившие к этому других девушек – вознаграждались дополнительной суммой. Более того, говорят, что достаточно носить женские имена, освященные религией, – Хадиджа, Фатьма, Аиша, – чтобы удостоиться денежных поощрений. – Так ли оно, или просто слухи, распускаемые левыми радикалами, – Керим не знал, но думал, глядя на студентку, дымящую сигаретой на коленях у парня, что уж лучше «не так и не этак». И поймал себя на мысли, что в нем, может быть, говорят закостенелые моральные догмы советского человека. Как бы то ни было, он приглядывался к этому многолюдью, – быть может, среди них были и его будущие питомцы – студенты. Вспомнил бакинскую студенческую молодежь, которым долгие годы преподавал. Одно время он очень гордился, что иные из его бывших питомцев вышли в лидеры Народного фронта: мол, они извлекли нечто и из моих штудий. Ведь он, не ограничиваясь программой, обстоятельно рассказывал студентам об общих для них тюркских народов памятниках, об Орхонских письменах, о « – Гудатгу Билик»[[82]](#footnote-82), Махмуде Кашкарлы, Ясеви... Когда, нагрянули новые события, он поначалу зачастил на митинги, однажды даже и на трибуну поднялся; вел митинг его бывший студент, Кериму он помнился серьезным, толковым, несколько нелюдимым молодым человеком. На семинары приходил хорошо подготовленный, а вот вне занятий ни с кем не общался, ни с педагогами, ни с сокурсниками. А теперь вот, поди же, дирижирует стотысячной массой, сколько горящих взоров, приковано к нему, люди ловят каждое его слово!

В тот день Керим встретил на трибуне и другого своего студента, – и его помнил хорошо, тише воды ниже травы, всегда при встрече здоровался обеими руками, кротко заглядывая в глаза. Почему-то Керим настороженно относился к людям с этой манерой – здороваться обеими руками. Это инстинктивное ощущение не обмануло его. День был жаркий, летний, волнение да еще окаянный диабет, во рту пересохло; он заметил на краю трибуны бутылки «Истису», но пробиться туда в тесноте было трудно, и он обратился к бывшему студенту – тому, который когда-то обеими руками здоровался: «Сынок, – имя он запамятовал, – подай-ка мне стакан вот той водички». Кериму показалось, что студент не расслышал, и он повторил просьбу. «Вы что на водопой пришли сюда?» Керим обомлел. Ему и присниться не могло, что некогда заискивающе-учтивый студент может так по-хамски огрызнуться на него. Но сей обнаглевший «паинька» выдал вдобавок: «3десь участь нации решается!.. Здесь арена доблести, а не павильон вод! И я вам не водонос!» Керим стоял громом пораженный. Придя в себя, только и вымолвил «Ай да молодец...» Но студент уже не слышал его; повернулся спиной, отошел.

Керим насмотрелся на то, как меняются человеческие лица, но такое видел впервые. Дальше пришлось наблюдать и более разительные перемены. На глазах менялось не только выражение лиц, но даже как бы и черты. Глаза, взиравшие некогда подобострастно, кротко, источали злобу, презрение, ненависть.

Другой его бывший студент, ведший митинг, предоставив слово очередному оратору, отступил назад и, только теперь заметив Керима, произнес тоном радушного хозяина: «Добро пожаловать!» – Получалось, что здесь Керим как бы у него в гостях... Керим не преминул заметить: «Вы вот говорили об исламе, возрождении религии... А тут бюст Бабека. Но ведь Бабек сражался против ислама. Как это увязать?» Студент усмехнулся: «Вы подходите к вопросу с чисто академической стороны. А надо бы – с позиций национальной идеологии. Мы должны и на ислам опираться, и Бабека воспринимать как символ освободительного движения»: «Стало быть, опять – идеология?». В тот день и Абульфаз находился на трибуне. Подошел, прислушался к их разговору. Они поздоровались. С Абульфазом Керим не был близок, но знал его давно, уважал за добропорядочность, убежденность. Иногда, встречаясь в рукописном фонде, университете или академии, они, бывало, справлялись друг у друга о самочувствии, о делах.

Абульфаз показал на запрудившую площадь людей: «Вот эту массу иные именуют толпой, иные – народом, нацией. Но как бы то ни было, надо уметь говорить с этими людьми, бей. Если заведешь про очень высокие материи, начнешь в дебри лезть, – не примут тебя, дескать, куда уж нашему брату! Вон куда его занесло! Надо находиться чуть повыше, чуточку только, тогда сможешь убедить, вразумить».

А теперь, в пору турецкой поездки Керима, Абульфаз был президентом, и Керим не знал, насколько он следует прежде высказанным критериям, – давно не доводилось встречаться.

Он еще раз-другой сходил на митинги. Предлагали выступать, отказывался. Не горазд был громогласно ораторствовать, а уже тем более витийствовать трескучими лозунгами и фразами. Митинги начинались и завершались передаваемой по динамикам увертюрой оперы «Кёроглу». Сам по себе выбор этой героической музыки как воодушевляющего символа был Кериму по душе, да вот в разговорах с иными деятелями – «фронтовиками» у него создавалось ощущение, что эти люди ведут себя так, как если бы и увертюру сотворили они сами, а не Узеир-бека...

Когда же он услышал «историческое» выступление Чопура Джаббара, то и вовсе перестал посещать митинги. Но гул толпы долго еще преследовал его. Однажды, ни свет, ни заря, часа в четыре – полпятого пополуночи он проснулся в смятении, услышав постепенно нарастающий гул: казалось, что приближался поток демонстрантов, громко скандирующих... опять «отставка! отставка!» или что еще. Что за шествие, на ночь глядя? Наконец, он осознал, что никакого шествия, демонстрации нет, а гул исходил от водопроводных труб – несколько дней, как было прервано водоснабжение, и вот теперь начали подавать, и вода, еще не дойдя до кранов, завела такой «духовой оркестр».

Он еще раз сходил на Площадь, в ноябре восемьдесят восьмого. Ему бы долежать в постели, сахар опять «подскочил», да не выдержал, не утерпел, услышав, что группа молодых людей объявила голодовку, – среди них были и его студенты. Несмотря на все увещевания и протесты Тамиллы, вышел на улицу, потащился на Площадь, расспросив людей, нашел палатку, где находился его студент. Холодина. В палатке горит огонь в мангале. Его студент лежит на войлочной подстилке, обросший, в шерстяной шапке, обмотав шею шарфом, с осунувшимся бледным лицом. Керим увещевал, мол, прекрати голодовку, не мори себя, есть другие пути борьбы, долго уговаривал, приводил всевозможные доводы. Студент слушал молча. То ли ему невмочь было разговаривать, спорить, то ли – считал бывшего наставника нестоящим оппонентом. Как бы то ни было, отмалчивался. Только под конец выдохнул: «Нет. – И добавил усталым, сдавленным голосом: – Так, муаллим, жили вы, а мы не хотим... по-вашему...»

Керим понял, что молодого человека не переубедить, и вспомнил случай, о котором некогда поведал ему маститый коллега Аббас Заманов. В тридцатые годы Аббасу Заманову довелось некоторое время директорствовать в театре оперы, – бывают и такие парадоксы судьбы. На одном из заседаний некий высокопоставленный чин из ЦК позволил себе несколько крутой тон в разговоре с Узеир-беком. Почтенный композитор немедленно встал и покинул кабинет. Партийный чинуша растерялся и воззвал к Аббасу Заманову: «Верни Узеир-бека...» Аббас муаллим догнал композитора на лестнице, попросил вернуться. «Он уставился на меня, потеребил пальцами усы и сказал: «Аббас Заманов! Ты открыл глаза и застал мир таким. Но ведь мы видывали и других людей...».

Керим не помнил, в какой связи Аббас-муаллим рассказывал этот эпизод, но ему живо предстала давняя сцена, вернее, ему показалось, что он видел все глазами Узеир-бека, видел совершенно другие лица, ожившие перед взором уязвленного композитора в тот миг, – Алибек, Ахмедбей[[83]](#footnote-83), Мирза Джалил, Абдуррагимбек, Джавид Эфенди, Ахмед Джавад...

Кериму подумалось, что не только разные народы говорят на разных языках, бывает, что разные поколения одного и того же народа не могут найти общего языка.

\* \* \*

Он спросил, где находится кабинет Бехиджа-ханым, показали. Открыл дверь, переступил порог. Она встала из-за стола, подала руку, улыбнулась, и Керим впервые заметил, что она улыбается одними лишь губами – глаза остаются прежними.

– Добро пожаловать! Когда приехали?

Керим сообщал о том, что пять дней назад они с Садяром прибыли на конгресс в Анкару. И, раскрыв «сумку», извлек из нее подарок – маленький коврик и преподнес ей.

– Это вам. Презент из Азербайджана...

– Стоило ли вам утруждать себя, Керим-бей, – как-то вяло отреагировала Бехиджа-ханым. – В этом не было, нужды... Неделей раньше мне привезли из Баку точно такой же коврик.

Керим остолбенел и, не зная, что сказать, осознавая жалкую бессмысленность своих слов, выдавил из себя:

– Ручная работа...

– Ковры ткут руками, – заметила она тем же тоном, пусть это и было не совсем так, но у Керима пропало всякое желание вступать в спор.

Она отстранила коврик.

– Заберите, пожалуйста. Может, преподнесете какому-нибудь знакомому...

– Подарки не возвращают, – Керима душила обида. Он вспомнил, как купил коврик, отказав себе в новой обувке и добавив еще кое-какую сумму.

Он уже почувствовал, что эта встреча не пройдет в духе бакинской приятной и доверительной беседы. Потому сразу перешел к делу, сообщил о своем разговоре в Комитете по высшему образованию.

– Мне объяснили, что мои документы должны представить вы. Вот я и приехал...

– Но на сей раз мы пригласили преподавателя из Казахстана, – огорошила она.

– Вместо меня?..

– Место-то ведь не ваше. Мы просто решили пригласить одного педагога из-за рубежа и остановили выбор на казахстанском коллеге. Ведь и казахи – наши тюркские собратья, не так ли? А вот в Турции нисколько не знают казахскую литературу.

Керим словно потерял дар речи. Казалось, перед ним стояла не гостья Баку, а совершенно другой человек. Ледяное лицо, ледяной тон.

...И в тот же миг он осознал, что все бесполезно, ничего не изменить, вопрос решен.

Как было растолковать Бехиджа-ханым, что он столько месяцев жил только этой мыслью, строил все свои планы и виды на будущее сообразно этому и все надежды их семьи, быть может, будущность их дочери зависит от этого ангажемента. Да и как заикнуться о такой прозе – приданое, мебель дребедень... Мог ли он позволить себе такие унизительные объяснения? Он смог только сказать:

– Вы ведь сами предложили... И я перекроил все свои планы...

– Весьма сожалею. Все это время у нас с вами не было какого-то контакта. Нет и официальной договоренности, чтобы...

Ему пришел на ум широко употребляющийся в турецком, но отсутствующий в азербайджанском языке эпитет: «аджымасыз». То есть «бездушный, бесчувственный». Так вот, сколь «аджымасыз» оказалась эта «жгучая брюнетка» с тонкими, как бы запертыми губами, и неулыбающимися глазами... Но осознавала ли она сама, какой немилосердный удар нанесла Кериму? И сколько вещей пришлось бы разжевать, чтобы довести это до ее сознания, – поди, толкуй о статусе вузовских преподавателей в Азербайджане, о разнице между их реальной зарплатой – тамошней и здешней, о мытарствах честных педагогов, интеллигентов, не желающих есть неблагоприобретенный хлеб, о нужде, заставляющей, и его, Керима, браться за писание чужих диссертаций, и еще Бог весть о чем... Надо бы и о туфлях, взятых «напрокат», прочесть лекцию о том, сколь большое значение в азербайджанской среде имеет приданое, чуть ли не решающее условие, определяющее дальнейший «рейтинг» невесты... И уж тем более этой женщине «до лампочки», как воспримут фиаско Керима его друзья и недруги, – кто будет злорадствовать, кто – подтрунивать в глаза и за глаза и Тамиллу донимать начнут…

Да и что скажет сама Тамилла, – однажды ее прорвало: «тюфтяй, – сказала, – ничего путного не можешь...», только однажды сказала, но думала так о нем всегда, когда и не пилила. А дочь... Вообразил ее дрожащие губы, налившиеся слезой глаза, – как это все втолкуешь Бехиджа-ханым, как он опустится до такого жалкого просительства? Да и вообще, какое это имеет отношение к делу? Ведь нет же никакого официального предложения, письменной договоренности. Так им заблагорассудилось или жребий выпал другому, счастливцу из Казахстана и баста!

Вспомнилась ему старая притча: на каком-то пиршестве хану понравилось пение певца-ханэндэ. «Явись завтра во дворец, одарю тебя десятью золотыми монетами». Пришел ханэндэ на другой день, напомнил хану об обещании. А тот: «чудак-человек... Вчера ты спел – понравилось мне, я похвалил – понравилось тебе. Вот и все дела. Чего же пожаловал?».

То-то Чопур Джаббар будет злорадствовать, выставлять его на посмешище. Вспомнив физиономию своего супостата, его «восклицательный» нос, вздрогнул. Чопур Джаббар уставился на него в упор. Здесь, в этом кабинете... еще когда он вошел и окинул взглядом пространство, в поле его зрения попало знакомое лицо, но он не обратил внимания. А теперь ясно видел это лицо. Да, это был Чопур Джаббар, взиравший на него с большой фотографии на книжной полке, даже почудилось – с усмешкой. Фото с дарственной надписью для Бехиджа-ханым.

– А... Джаббар... – добавить «бей» язык не повернулся. – Он был здесь?

– Да.

– Когда приезжал?

– Кажется, в феврале. – В студеном взгляде Бехиджа-ханым сквозила подозрительная настороженность. Постепенно все для Керима прояснялось. Даже без последовавшего затем ее вопроса.

– Могу ли я спросить у вас, Керим-бей...

– Пожалуйста.

– Вы – коммунист?

– Был. Сейчас – ни компартии, ни коммунистов. Почему это вас интересует?

– Так, ничего.

Ему хотелось сказать: и ваш дражайший Чопур Джаббар, чье фото вы водрузили над головой, был коммунистом, да еще и нашим секретарем парткома, еще некогда, записав меня в «пантюркисты», пытался выпихнуть из партии, изничтожить, затоптать. Промолчал. Он мог бы и сказать, что над вами красуется портрет бывшего стукача, агента, шпика. Но не сказал.

Мог бы добавить: мздоимец, известный на весь Азербайджан. Не сказал.

Не дал ему сказать – отец. В подобные моменты жизни ему чудился голос отца: не забывай, какого ты рода-племени, чей ты сын, никогда не опускайся до уровня подлых противников. Не борись с ними их средствами. Если и захочешь – не получится у тебя...

\* \* \*

Поговаривали, что Чопур Джаббар почему-то предпочитает брать взятки у женского туалета. Однажды Кериму с Садяром, выходившими из университета, дорогу преградил толстопузый мужчина, похоже, из сельской периферии. Судя по самодовольному виду, – из «денежных». То ли завфермой, то ли колхозный председатель или совхозный директор.

– Извините, – обратился он, – где тут бабский туалет?

– Джаббар-муаллима ищешь? – любезно улыбнулся Садяр.

А тут – как на грех или на удачу – на лестнице показался сам Чопур Джаббар.

Садяр, не моргнув глазом, сказал ему с прозрачным намеком:

– Дажаббар-муаллим, клиент явился. – И улыбнулся той же любезной улыбкой. – Ищет дамский туалет…

Джаббар ничуть не смутился, не покраснел, он и не умел краснеть, но Садяру ничего не ответил. Керим заметил, что только перед Садяром он поджимает хвост. С того дня, кажется, традиция «с женским туалетом» отпала. Впредь Чопур стал брать мзду в спичечных коробках. Перед каждым зачетом и экзаменом, доставал сигарету и оглядывал студентов:

– У кого найдутся спички, ребята?

Те были в курсе: впихнув в коробки по полсотни, по сотенной, протягивали экзаменатору.

– Оставьте себе, муаллим, у меня есть еще коробок, – говорил даритель, акцентируя последние слова, дескать, посмотрим, какую отметку выставишь, а там поглядим...

Все это ему бы высказать Бехиджа-ханым. Но не высказал. Поднялся.

– Очень сожалею... Но...

Что «но» – он и сам не знал.

– Хошча галын.[[84]](#footnote-84)

– Гюле-гюле[[85]](#footnote-85).

Бехиджа-ханым не сочла нужным даже принести подобающие случаю извинения. Он закрыл за собой дверь, все еще льстя себя надеждой, что она окликнет его, вернет: «я подумала, возможен и другой вариант», и все образуется.

Но его не окликнула и, направляясь по коридору к лестнице, он думал, что если и найдется пара самых ненавистных ему на свете людей, то один из них – Чопур Джаббар, а второй стала только что Бехиджа-ханым.

– Ого. Керим-бей! – Мысли его прервал стоящий у лестницы с широко распростертыми объятиями Доган-бей. По турецкому обычаю, он поцеловал Керима в обе щеки.

– Какая приятная встреча! Когда прибыли?

Лицо Доган-бея источало такое тепло, такое доброе участие и расположение, что Керим выложил ему все без утайки.

– Ах, дочь кяфира... – засокрушался Доган-бей. – Да покарает ее Аллах... Вы в такой же мере коммунист как я. Хотя и всю жизнь, питал к коммунистам неприязнь. Мы же специалисты, душа моя, специалистов ценить надо! – Доган-бей, похоже, возмущался больше Керима, – вот, эфенди, наша беда: Турция осталась в руках таких, как Бехиджа-ханым. Будь моя воля, я бы ее не то, что в руководители сектора, даже в педагоги не пустил. Когда-то накатала реферат о небольшом романе, а теперь возомнила себя светилом науки. Рази ее Аллах!.. Вы переговорите с ректором. Ректор – славный человек, очень толерантный... Ему нет дела до левых-правых, ценит толковых специалистов. Думаю, пойдет нам навстречу. Хотите – пойдем вместе.

Они направились в приемную ректора. Оказалось он в отъезде, в Измире.

– Когда вернется?

– Завтра утром. В половине одиннадцатого у него заседание, – сообщила секретарша. – Приходите к десяти. Обязательно сведу вас.

– Но мне вечером возвращаться в Анкару.

– Сдайте билет, – предложил Доган-бей. – Свидитесь с ректором, а уж потом уедете. Вам надо обязательно встретиться с ним. Уверен на все сто процентов – он решит вопрос. Куда вы сейчас направляетесь? Могу подвезти на машине.

– Если мне придется остаться в Стамбуле, то надо бы устроиться в отеле. Желательно – подешевле.

– Разумеется. Жаль, у меня рандеву. А то бы пообедали вместе.

– Благодарю. Посоветуйте, в какой отель мне лучше податься?

– Довезу вас до Таксима. Там на улице Сыра Селвилер множество скромных гостиниц. Вам подойдут.

\* \* \*

Он наведался в три отеля на названной улице. Даже на самый дешевый номер денег не хватило. Наконец, попытал счастья в «Вардаре».

– Мне бы номер на ночь. Подешевле.

– Дешевые все сданы. Сожалею – администратор в бордовом форменном пиджаке развел руками. – Сожалею.

Керим уже порядкам устал, проголодался. Хотел в туалет.

– Я был уже в трех отелях, – в отчаянье проговорил он. – Отсюда мне идти некуда. Найдите мне какой-нибудь номер.

Администратор внимательно всмотрелся в Керима. И Керим не сводил с него взгляда. Запавшие глаза, под глазами мешки. Наверное, и он страдает почками. Администратор все еще смотрел на него, о чем-то размышляя, что-то прикидывал.

– Могу предложить один номер, – наконец проговорил он. – Но...

– Что «но»? Дорого стоит?

– Нет, очень дешево. Самый дешевый у нас номер, тысяч лир...

– Согласен.

– Но...

– Какое еще «но»? Не беда, если нет удобств, душа, прочего.

– Душа нет, но туалет имеется.

– Вот и ладно. Одну ночь обойдусь без душа. Вот пятьдесят тысяч лир.

Дайте ключ, администратор почему-то продолжал колебаться, и Керим никак не мог понять причину этих колебаний.

– Может, вы хотели бы предварительно заглянуть...

– Не стоит. Есть постель – и ладно.

Администратор медленно протянул ему ключ. Направляясь к лифту, он чувствовал на спине долгий цепкий взгляд.

Номер и впрямь, оказался убогим: без окон, темный, тесный... Койка, пара стульев, шифоньер и все. Шифоньер был с зеркалом, заляпанным желтыми кляксами – и не разглядишь себя. Попользовался туалетом, умылся и направился к шифоньеру, намереваясь положить дорожную сумку, но... внутри оказалась куча одежды: на пластмассовых вешалках висели поношенные мужские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки разной степени свежести, сноп безвкусных аляповатых галстуков. На верхней полке – соломенные и фетровые шляпы, пара кепок, шерстяная шапка. А внизу – пять-шесть пар разнокалиберной мужской обуви. «Верно сказано: от постного мяса и навару нет», – подумал Керим. В номере даже не прибрали прежде, чем впускать постояльца. А как простыни, наволочки – сменили? Приподнял одеяло, нет, все свежее, необлежанное, хотя и чуть влажное. Отходя от кровати, зацепился ногой за стул, взвыл от боли «Эх… могиле – и той бы не быть тесной...» – Подумал, и от этой мысли стало как-то не по себе, мурашки по спине побежали. Чертовски проголодался. «Схожу куда-нибудь, перекушу. Кажется, тут есть дешевые закусочные».

Спускаясь по лифту, собирался сказать администратору, чтоб прибрали в номере, но того на месте не оказалось. И вообще, в холле – ни души. Ключ от номера, как увесистая груша, отягощал карман, – повесил его на крючок с соответствующим номером и вышел на улицу.

По обе стороны тесной улочки Сыра-Селвилер магазины, скромные гостиницы, – парикмахерские, бары, духанчики. Перед духанчиками на вертикальной вращавшейся шашлычнице обжаривались над мангалом большие куски мяса, с которых длинными ножами срезались тонкие слои, – это называлось «донер-кабаб». Керим зашел в одну из таких закусочных, заказал донер-кабаб, «чобан салатасы» – «пастуший салат», кока-колу. В тесном помещении стояло всего-навсего четыре столика, клиентов трое или четверо. На стене меню, – донер-кабаб, Адана кабабы, лепешки с фаршем, жаркое, почки... Возле меню висела большая фотография бородатого старца в меховой папахе, – Керим не узнал, чей это портрет, возможно, государственный муж, литератор, ученый или богослов минувшего столетия. Официант подал в блестящих металлических тарелках донер-кабаб с нарезанной картошкой, «чобан салатасы» – с зеленым луком, петрушкой, стакан кока-кола со льдом и соломкой.

– Приятного аппетита.

Керим показал на портрет старца.

– Кто это?

– Мой отец. Отошел в лучший мир. Вот это хозяйство от него досталось.

Он был тут и хозяином, и поваром, и официантом.

Керим посолил салат, откусил мягкий, как вата, белоснежный, тающий во рту хлеб, потянул через соломку кока-колу, и почувствовал, как кольнуло сердце. Он уже знал, что каждый приступ боли связан с каким-то воспоминанием и из потаенных, очень далеких глубин памяти стало просачиваться смутное видение, проступая все яснее и четче, как изображение на фотопленке, и перед взором ожил Секили-булаг... И лилпяр, растущий вокруг устья, и волшебная студеная вода, которую они пили, всасывая через полый стебелек лилпяр.

Он помассировал покалывавшее сердце и стал прислушиваться к проникновенно томительной музыке, которую только что поставил заботливый хозяин-повар-официант. Нежный и приятный голос исполнительницы, аккомпанировавшей себе на гитаре, напоминал по манере американскую фолк-певицу Джоан Баетс, но это была турчанка, певшая на родном языке. Она только изредка оттеняла мелодию аккордами на гитаре, преимущественно пела без аккомпанемента.

Кериму вспомнилось определение такой манеры исполнения, некогда услышанное из уст знакомого врача сабирабадца Агабейли, – «яван охума». Хорошая метафора. «Яван охума» – как «хлеб всухомятку». Он вкусил хлеб всухомятку – еще кусок. Хлеб показался даже вкуснее, чем донер-кабаб. Мясо было постноватым.

Вслушался в слова песни – они показались знакомыми.

Прошла, промчалась жизнь моя

Прошла, как ветра дуновенье,

И мне все мнится до сих пор,

Прошло единое мгновенье...

Юнис Эмре! Конечно же, Юнис Эмре.

Тому свидетель сам господь,

Душа моя вселилась в плоть,

Настанет время, упорхнет,

Как птах из клетки – для сравненья.

– Кто эта певица? – спросил он у хозяина-повора-официанта.

– Ясемин Гумрал. Понравилось?

– Очень.

У него были кассеты большинства турецких звезд. Но о Ясемин Гумрал он ничего не слышал, и по телевидению не видел, даже фото на глаза не попадалось. Молода ли, в летах ли, красива ли, невзрачна ли, или ничего – не знал. Но на миг ему показалось, что может пойти хоть на край света на звуки этого голоса. Можно плениться красотой, изяществом, смехом, запахом волос женщины, лучистым взглядом, мимолетным поворотом головы, но оказывается, можно влюбиться и в голос, только в голос. Куда бы ни позвал, ни поманил его этот голос – был готов бросить все и устремиться за ним, бросить все – работу, семью, жизнь, которой жил, родину... Ясемин Гумрал уже пела другую песню – собственного сочинения, как она сама сообщила. Песню о тоске разобщенных душ.

Обнялись два континента

над Босфором на мосту,

Нам же сойтись не суждено...

Керим знал и то, что никогда и никуда не помчится на зов этого голоса, никогда не бросит свою работу, семью, привычный уклад жизни, и если в этом вечном городе, который является и Стамбулом, и «чуточку Византией», железобетонными цепными мостами соединились Европа и Азия, то ему, Кериму, никогда не встретиться, не сойтись с обладательницей этого голоса.

Не доев донер-кабаб, он съел всухомятку весь хлеб, уплатил тридцать пять тысяч лир и вышел на улицу.

В ушах все еще звучал голос Ясемин Гумрал и печальные неумолимые истины древнего поэта: «Прошла, промчалась жизнь моя. Прошла как ветра дуновенье…»

Вновь ожила перед глазами Шуша, мечеть Гевхар-ага, мгновенная ассоциация соединила строки Юниса Эмре неувядающим двустишием поэтессы Агабейим-ага старшей сестры Гевхер-ага, бейтом, созвучным по настрою и ладу:

Любовь ко мне явилась в ночь,

и в ночь ушла,

Не помню, как и жизнь

прошла и прочь ушла...

Как ему было объяснить все это – тоску по безвозвратно ушедшим былым дням, шушинскую ностальгию Агабейим-ага в «золотой клетке», в роскошном дворе тегеранского правителя – мужа, – как все это объяснить окружающим людям – Бехиджа-ханым, даже и Доган-бею, и Эролу, добродушному, как медведь (так ли уж добр медведь, он не знал, но люди отчего-то питают к косолапому «хозяину» теплые чувства), водителю компании «Варан», автобусному попутчику с мохнатыми бровями?..

Как объяснить, чем была Шуша – не только для его народа, но и конкретно для него самого – Керима и что значит, и каково потерять этот город? Каково – когда у тебя «из головы дым идет» при невыносимо мучительной мысли, что родник Хан-гызы, могилы Вагифа, Навваба, старинные очаги достославных семейств Гаджигули, Мехмандаровых, мечеть Мемаи – под пятой врага? Любопытно знать – есть ли в турецком языке такое – «дым из головы идет?». А если нет, каков эквивалент?

В наступающих сумерках светились и сияли огни реклам. Табло со светящейся бегущей строкой вновь сообщало о карабахских событиях, инициативах ОБСЕ, о разъяснениях и заявлениях президента, премьера. А Керим думал о словах семилетней девочки увиденной в Баку, на телеэкране, и сердце щемило, как в безжалостных тисках.

– У нас в Шуше был дом, был отец, и было дерево во дворе...

Было... было... было...

– Каждую ночь мне снится, что наше дерево распустило цветы...

Где-то он читал древнее предание: тюркский хан попадает в плен к китайцам. Император Поднебесной оказывает ему всяческие почести, содержит пленника в подобающих его сану и славе условиях. Но хан хранит угрюмое молчание, смотрит тучей, никогда ни разу улыбка не тронула его губ. Несколько лет вот так и прожил – нелюдимым и молчуном. Денно-нощно устремив взоры безмолвствовал в пространство, в сторону родимой земли. Летописец завершил предание словами: «Вот так глядел, глядел всю жизнь и умер». Этот печальный сказ для Керима был потрясающим выражением невидимого, неслышимого горя человеческого сердца, затаенной, сокровенной его тоски, угасания души.

Кериму казалось, что он до конца, до донышка проникает и ощущает эту душевную рану, неприкаянную тоску, одиночество, боль, невыразимую словами и потому могущую быть только умалчиваемой?

Я не помню, как же жизнь

прошла и прочь ушла.

Удивительная вещь – поэзия, одной строкой может сказать то, чего хватило бы на повесть, на роман.

Керим был человеком литературы: вся его жизнь прошла среди слов, в общении с книгами, стихотворными строками, текстами, и этот книгомир был для него столь же реален, как мир сущий, полон воспоминаний, горестей и радостей.

Строка высокородной Агабейим о незамечаемом беге времени, слова Юниса Эмре о быстротечности жизни, проходящей в мгновение ока, всколыхнули другие пласты памяти, другие тексты. Вспомнил самые потрясающие творения мировой прозы о закате жизни – толстовскую «Смерть Ивана Ильича», чеховскую «Скучную историю», «Смерть в Венеции» Томаса Манна, «Господина из Сан-Франциско» Бунина, «Снега Килиманджаро» Хемингуэя...

Предсмертное состояние, холодное дыхание смерти, леденящее душу, страх смерти, вползающее в сердце предчувствие рокового конца, последние исповедальные счеты с прожитой или непрожитой, не сбывшейся, как бы хотелось, не сумевшей сбыться жизнью. Почему так все сложилось? Почему я поступил так, а не иначе? Почему я сделал то-то, а не то-то? Вообще, в чем был смысл прожитой жизни, – последний спрос с себя, последнее раскаяние, бесполезность этого раскаяния, непоправимость, необратимость. Керим знал людей, которые не жили, а проживали, прожигали жизнь. Знал людей, которые тоже не жили, – а словно отбывали назначенный срок, влача, тусклые, бесцветные дни.

На ум пришло стихотворение Расула Рза:

Говорят, вечера навевают печаль,

Говорят, угнетает кромешная ночь.

Говорят... говорят...

Ну а днем? Как-нибудь

Нам до вечера б дотянуть...

Да, для многих и многих жизнь – только лишь ожидание, ждут, пока наступит вечер, настанет ночь, – томительный, гнетущий вечер, нескончаемая темная ночь... Чтобы опять же ждать и дождаться – с открытыми бессонными глазами и каждое наступившее утро – не праздник, не великое чудо мироздания, а только лишь стадия в череде ожидания дня, вечера и затем ночи, вечного нескончаемого ожидания.

Может быть, и народившаяся жизнь – тоже некий срок наказания, который тебе надо отбыть? Ждем конца, исхода, финала, как подолгу ждем на остановке не желающего подойти трамвая, автобуса... Куда нас повезет этот «транспорт», – не к новому ли пункту ожидания? Каждый шаг, каждая пядь, каждый миг, день, год этой изнурительной дороги, ведущей от колыбели до могилы – ожидание, ожидание, – люди ждут, как если бы ждали, пока пройдет насморк, пока выдадут зарплату, пенсию, ждут последнего акта, финала. Люди? Разве он сам, Керим – не один из них?

Но ведь были, были те, кто жил по-иному. Взять того же Садяра. Керим никому никогда не завидовал. И Садяру не завидовал – ни его «мерседесу», ни роскошной пятикомнатной квартире, доставшейся в наследство от тестя-академика, в Доме ученых, ни даче в Пиршагах, ни деньгам, которых куры не клюют, рублям, лирам, долларам, ни усладам, которым он сейчас наверное предается со своей Наташей... или, кажется, Надеждой? Но, между нами говоря, похоже, и ты чуток неравнодушен к этой Нат... Надежде? Да уж, ничего себе… аппетитная... Как сказал Гараджаоглан: «Словно снег на эйлаге, грудь бела, мне припасть бы, и пропасть бы, умереть...».

В этом таинственном мироздании одному только существу завидовал Керим, – Аллаху, астафулла[[86]](#footnote-86). Кериму представлялось, что жизнь – плод сотворчества Всевышнего с человеком, но Всевышний знает весь сюжет этого действа, а главное – конец, а человек – нет. Керим, точь-в-точь как древние суфии, видел человека богоравным, и не сомневаясь в существовании обоих, не был твердо уверен, кто кого сотворил. Человек ли творца, Творец ли человека? Ведь для человека Бог – лишь тот, кто существует в его воображении и иного не может быть, и значит, Бог – субстанция, существующая в его, человека, воображении, сознании, представлении, и в таком случае, воображение, сознание, представление столь же материальны, как сама действительность. И с каждым угасающим человеческим разумом исчезает Бог, и возрождается вновь в ином сознании и воображении. Но безотносительно к первичности или вторичности сущего – одна истина для него была неоспорима: Господь ведает. Он всеведущ. А человек – нет. Может, в этом и счастье человека? Как сказал Физули – «Неведеньем была душа блаженна...» И он же говорил: «Не тот умудрен, кто сущего мира премудрость постиг, Мудрец только тот, кто тайн мирозданья не знает...».

Господь ведает и то, что было, и что есть и что будет. Человек же не знает былого – ему приходится лишь верить свидетельствам таких же людей, и не может постичь сути происходящего. И пребывает в совершенном неведении о грядущих событиях.

Не могуществу и мудрости Всевышнего завидовал Керим, он завидовал его всеведению. Было у Господа досье на всех людей от Адама и Евы до Керима, – доскональный перечень каждого поступка, помысла, пусть даже неосуществленного, каждой мысли, обрывка мысли, искорки мимолетного желания, – все запечатлено в неистощимой, необъятной и бесконечной божественной памяти. Он ведает не только корни, источники, движители событий, – он предвидит и их последствия, плоды – на пять лет или пять тысячелетий вперед.

...И знает о каждом из нас во много раз больше того, что мы знаем сами о себе. Несоизмеримо больше. Даже Христос, Моисей, Мухаммед, Будда, Конфуций, Низами, Монтень, Шекспир, Достоевский, Марсель Пруст, Фрейд... – все вместе взятые – не знают о человеке и миллионной доли того, что ведает Бог. Ибо Бог знает самые трепетные движения человеческой души, самые тонкие наития человеческого разума в контексте всех других людей, прошлого и будущего, – в их сопряжении и противостоянии, прогрессе и регрессе, составлении и борении. Человек этого не знает. Быть может, и не должен знать, и это само по себе доставляет одну из мудрых тайн, ведомых лишь Богу?..

Что произойдет через час. Через час он вернется в свой отель. А вдруг нет? Вдруг? Не приведи Бог (то-то и оно!), ему на голову упадет камень и уложит насмерть? «Астафулла!» Чур, чур! Типун тебе на язык. Нет, через час он непременно вернется в тесную комнатушку в отеле. «Тесную, как склеп». Опять это ужасное сравнение! Представил свое обиталище и похолодел. Чем позже вернется туда – тем лучше. Только для того, чтоб переночевать.

Находился, намаялся, а ко сну не тянуло. Предвидел, что долго не сможет уснуть. Боялся маятных, гнетущих мыслей, завладевших его существом, боялся сердечных «сюрпризов». Здесь, на улице, в человеческой толкотне и суете, съедаемый и терзаемый горькими, невеселыми думами, воспоминаниями, он мог, по крайней мере, рассыпать их вокруг, расплескать, развеять по лицам встречных поперечных, растворить в мешанине уличного гомона, автомобильного гула. А в сумерках и безмолвии гостиничной клетки вся сумятица наплывающих мыслей, чувств обернется червем, гложущим и грызущим его изнутри.

«Вернусь в отель, когда уж совсем изведусь...» – решил про себя. Но после полудремотной ночи в автобусе, после разочарований и переживаний уходящего дня у него уже и сил не оставалось слоняться и плутать по улицам. Ноги налились свинцом, еле держат. Туфли, взятые у Садяра, вроде, разносились, но теперь, когда набрякли и вздулись после автобусного томления, они нестерпимо жали.

Всю жизнь мечталось побывать в Стамбуле, побродить всласть от зари до зари по городу, исходить его вдоль и поперек, и вот теперь, когда мечта сбылась, исполнение оказалось невозможным. Волоча ноги, доплелся до набережной, и когда в глаза бросилась надпись на пристани – «Ускюдар» – направление переправы через пролив – его осенила хорошая идея. «Сяду на теплоход, билет стоит недорого, тысяч пять лир, – отправлюсь через Босфор в Ускюдар и – обратно». Над Босфором опускался дивный вечер. «Сиди себе на палубе любуйся морем, на европейский, азиатский берег.

А как обратно вернусь – приспеет и пора отойти ко сну. Потопаю в отель – и на боковую». На ум взбрела когда-то слышанная смешная фамилия «Атды-ятды Батдыгалдыев»[[87]](#footnote-87).

Уплатив пять тысяч лир, купил жетон, бросил в щелку на контрольном турникете и прошел в зал ожидания, теплоходик уже причалил, и молодые парни – пассажиры, не дожидаясь, пока закрепят концы и перекинут сходни, нетерпеливо перескакивали с палубы на причал. А пассажиры постарше, посолиднее и терпеливее сошли по сходням, посудина разгрузилась и последним сошел на берег одинокий, отрешенный от суеты, наверное, никуда не спешащий как и Керим, пассажир, поплелся ленивой походкой и только когда он завернул за угол и скрылся из виду, служащий открыл двери, и поток новых пассажиров хлынул в салоны и на палубы двухпалубного теплохода «Шехид Акбулут».

Керим устроился сидеть на верхней палубе, в носовой части. И погрузился в созерцание неповторимой панорамы вечернего Стамбула, с мусульманско-христианскими силуэтами – минареты и купола мечетей, Айя София, внушительный ствол Генуэзской башни, искрящийся огнями дворец Чираган, маяки на Босфоре, мигающие буи, огни лайнеров, теплоходов, баркасов, моторных лодок...

Он думал – человек в неведении не только о далеком будущем, но и о том, что произойдет через час. Ведь совсем недавно он думал, что через часок будет у себя в отеле, а вот же – оказался на теплоходе, пересекавшим Босфор, и переправившись через Мраморное море через час ступит ногой на азиатскую землю.

Слово «недавно» – «байаг» – напомнило ему турецкое баяты – в Турции говорят «мани».

Dünyaya ayağ gəldim

Yatmadım, oyağ gəldim

Ömür deyir yuz ildir

Könül deyir bayağ gəldim[[88]](#footnote-88)

Что нашептывала душа ему, Кериму? Впрямь ли он явился в мир «недавно»? Или «сто лет назад»?

Мост, соединявший два материка, виделся теперь лишь силуэтом, и огни нескончаемого потока машин издали на сумеречном фоне напомнили порхающих по воздуху светлячков.

Да, и человек – наподобие светлячков. Где ему, бедняге, не предвидящему свою участь хотя бы на час, предугадать на месяц вперед то, сколько еще отпущено ему жизни на бренной земле?

Керим не умел молиться, но в последнее время обращался мысленно ко Всевышнему с одной-единственной просьбой: «Господи, не прошу у тебя долгой жизни, но только вразуми мне – знаменьем ли, намеком ли, знаком ли, – сколько мне осталось жить, год, два, пять или... язык не поворачивается сказать – ... десять... Я бы тогда знал свой расклад...».

Но Всевышний безмолвствовал.

Из репродукторов на судне лилась старинная турецкая песня, очень полюбившаяся Кериму:

Здесь края чужие – Муш.

Перевал – губитель душ.

Уходящим нет возврата,

Отчего же, почему ж?

Здесь йеменская страна,

Степь-пустыня зелена.

Уходящим – нет возврата,

Отчего же? Чья вина?

В этой песне тлела тоска «мехметов»[[89]](#footnote-89), в начале века тянувших солдатскую ношу в Йемене и зачастую не возвращавшихся назад, тоска заждавшихся и не дождавшихся их.

Через пару часов он будет у себя в отеле. Ляжет спать. И, быть может, приснится ему никогда не виданный Йемен или Шуша, куда встарь отправлялся каждое лето, привольный простор Джидыр-дюзю, редчайший дар шушинской земли – цветок «харыбюльбюль». Потом наступит утро и все истает, и Джидыр-дюзю, и волшебный цветок. Он встанет и отправится в университет. На прием к ректору.

Как-то решится вопрос? Удастся ли намерение Керима? Аллах знает. Вот и доехали! В том-то и дело. Именно так; Аллах знает. Только и только он. Один он ведает все. Ведает о завтрашней встрече с ректором, и о том, что Керим услышит в ответ. Конечно, знает и о том, что от решения вопроса косвенно зависит и будущая судьба его дочери. О, Господи, не разочаруй меня, не сокрушай, сделай так, чтобы сбылось мое чаянье, – молил он Аллаха, – иначе как я вернусь в Баку, домой, в семью («тюфтяй», «размазня», «неудачник»), на службу – («слыхал, наш «герой» вернулся не солоно хлебавши»...).

Этот мучительный вопрос-загадка пульсировал в мозгу; ответ на него знал один Господь, и Керим завидовал всеведущему небожителю. Завидовал – то есть, верил на все сто процентов в его существование, и уповал на его милость и еще – побаивался. Только чуточку, потому что не знал за собой никакого греха, лиходейства, постыдного поступка перед Ним, и если он справедлив, если знает все и вся, то уж хорошенько переворошил, покопался в биографии – «объективке» Керима, где по полочкам разложены добро и зло. Теплоход приближался к азиатскому побережью, и он ясно различал частные виллы, одна краше другой. Каждый особняк, в два-три этажа – со своей окраской, неповторимым архитектурным решением, использованным стройматериалом.

У многих под террасами, выходящими на пролив – свои моторные лодки, а у иных – яхты, от полуосвещенных кают которых по воде тянулись мерцающие полосы. На водной глади, под лунным сиянием искрились серебристые осколки. Он представлял себе и интерьер этих вилл – насмотрелся, дизайнов таких роскошных жилищ на телеэкране, в цветных журналах.

Виллы обставлены мягкой мебелью, устланы коврами, сады – райские кущи, с бассейнами, гаражи, открывавшиеся дистанционным релейным управлением, три шикарных авто во дворе и сауна, и теннисный корт, винный погреб, на первом этаже – биллиардная, огромные залы для раутов, бары, украшенные всевозможными напитками, на крышах, в соляриях – нежащиеся, загорающие под солнцем изящные дамочки в бикини, параболические антенны, принимающие все телестудии мира. Владельцы этих вилл проводили дневное время в небоскребах холдингов в общении с деловыми людьми, в переговорах – через компьютеры, факсы, карманные радиотелефоны с космической связью – с офисами в самых отдаленных городах, звоня из автомобилей аж в Нью-Йорк, Сингапур или Рио-де-Жанейро...

А вечерами их ждали яхты, дорогие рестораны, пышные банкеты, а ночи – казино, найт-бары, общество благоухающих, искрящихся драгоценностями и улыбками дам в декольтированных нарядах. Зимой – поездки на Улудаг, горнолыжные забавы. Летом – пляжи Антальи, клубы аквалангистов, подводная охота, прогулки на водных лыжах; игра в гольф, бильярд, на тотализаторе, игра в казино, игра, игра, игра...

В стамбульских, анкаринских трущобах тоже жили люди. Жили люди и в палатках беженцев – в Мильской, Муганской степях. Появлявшиеся на свет, жившие, рожавшие, умиравшие на обшарпанных циновках и килимах, расстеленных вдоль парапета на набережных, тоже были люди. Ютившиеся в лодках, ни свет, ни заря закидывавшие сети в море, весь век с семьями, детьми проводившие в этой рыбачьей посудине, встающие и засыпающие вместе с солнцем, – тоже были люди.

Почему так несправедливо, нелепо расписана книга Божьих дарений? И к какой части книги было ближе положение Керима? Вернее, от какой отстояло дальше – от пятизвездных отелей или трущоб? Или и то, и другое было далеко от него – как звезды в небе?

Что же дальше – край мой? Юность?

Или звезды в вышине?..

Сквозь березы свет струится,

Теплый, желтый свет в окне....

А для него, для Керима – откуда исходило манящее тепло светящегося «желтого окошка»? Из Баку ли? Из Стамбула? Из Шуши? «В городе на семихолмном затерялся мой бутон... (В Стамбуле – родном городе – потерял свой цветок Назым…)

... Ни стыдиться дум о смерти,

Ни бояться – не резон...

Назым, вырвавшийся из капиталистического ада и вступивший в коммунистический рай, по его собственным словам, «подыхал» в самой благолепной сердцевине этого эдема – в Москве.

Мне чужбина – пуще смерти,

Ах, цветочек мой, цветок...

А Мамед Эмми, вырвавшийся из коммунистического ада, сподобился капиталистического рая и угас с именем Азербайджана на устах...

– Чай, чай, бублики!..

Ветер с Мраморного моря крепчал. Палубные созерцатели разбежались и набились в салоне. Керим остался на палубе в «гордом одиночестве», и зазывания судового продавца с перекинутой через плечо плетеной корзиной адресовались только к нему.

– Чай, чай, кому чаю? Бублики...

Керим замотал головой.

– Благодарю, не требуется.

Продавец ушел – палуба совсем обезлюдела. Стало холодно не на шутку. Он продрог, к тому ж и проголодался. Вроде, и не перекусил часок тому назад. Зря он не дожевал тот донер-кабаб, и сейчас зря отказался от услуг продавца – мог бы хоть бубликом заморить червяка... Казалось, и птицы марты, выстроившиеся в ряд на волнорезе, озябли – жались друг к дружке.

Эти съежившиеся птицы, холодные, неласковые огни маяков, буев, судов, далеких домов, качка на теплоходе – все будто напоминало кадры какого-то фильма, и он был не действующим лицом, а зрителем, толком, не понимающим своего выбора. «Действительно, какого рожна я потерял тут... усталый, голодный, без денег, взрослый дядя, у которого хлопот полон рот, которому все обрыдло, какого черта втемяшилась блажь – пуститься в такую даль в погоне за призрачным заработком? С какой стати попусту сорить днями на последней финишной прямой жизни, и без того прожитой в суете? Почему всю жизнь он прожил с неотвязной мыслью, что он у кого-то в должниках? Когда он избавится от этого долга? Кому он должен? Уж не всем ли? До каких пор он будет обольщаться иллюзией, дескать, все еще впереди или нечто светит впереди. Ничего впереди нет, ничегошеньки. Как нет ничего и позади. Только бремя бесплодно прожитой жизни, согнувшее спину. Вот и все.

...И не прожить заново эту бестолковую жизнь, прокрутив ее как кинопленку...

Но существует ведь еще и вера в потустороннюю жизнь. Будто бы по завершении земной жизни, за каменным ее порогом – могильной плитой, начинается новая жизнь. Но останется ли в той жизни – если она существует – память здешнего земного бытия, – может ли он сохранить, уберечь в той, потусторонней памяти этот стамбульский вечер, этот ветер, вьющий с Мраморного моря, щемящую песню «Здесь йеменская страна...», белый лайнер, следующий из Черного в Мраморное море, силуэты чабанов в мохнатых папахах, проступающие сквозь туман на эйлаге Гырх-гыз, как фантастические, ночные видения, неприкаянную птицу, доверчиво угнездившуюся на носу плоскодонки во время их путешествия по Куре, песню «Лачин», которую напевала мама, одиночество и боль до конца непонятого никем отца, тутовое дерево на бузовнинской даче, удивлявшее сочетанием белых ягод на одной ветке и черных на другой, чарующий голос Ясемен Гумрал – сможет ли он уберечь всю эту массу воспоминаний, красок, слов, звуков, образов, толкающих друг друга, наплывающих друг на друга? Единственное сокровище; достояние, которое стоило бы взять с собой на тот свет – память, ее бесценные залежи. И если прожитая тобой жизнь будет стерта из памяти, вычеркнута, выброшена, забыта, значит, ты не продолжаешь жить, а начинаешь жить заново с нуля. А это совершенно другое дело. Нечто, начинающееся и кончающееся небытием. Так что ж – снова затевать этот бессмысленный сюжет? А стоит ли? Прожили, насмотрелись…

В детстве Керим долгое время никак не мог поверить, что когда-нибудь, он умрет: «Пока я вырасту, люди изобретут такое лекарство, что не будут умирать»... Самая незыблемая вера в собственное бессмертие у него опиралось на наивное и простое рассуждение: «Да как может быть, чтобы меня не было? Как я могу исчезнуть? Где ж я буду сам?»

Однажды этому наивному оптимизму положила конец столь же простая, но жуткая мысль: «Ладно, а где ты был до того, как появился на свет? В небытие. Не повстречайся случайно твои будущие отец и мать, не понравься они друг другу, не возникни у них желание – тебя и не было бы вовсе. И для тебя, до зачатия в лоне матери и появления на свет, ничего не существовало... Ни людей, ни улиц, ни деревьев, ни этого небосвода, увешанного гроздьями звезд... Так и все пребудет – после твоей смерти. А для тебя не будет ни неба, ни моря, ни звезд. Только пустота, беспросветная тьма небытия...».

Теплоход причаливал к берегу. Отдавали концы. Сколько осталось, если бы знать, сколько осталось до конца, до пустоты, до небытия. «Остальное – молчанье», – как говорит Гамлет.

Эх, да что ломаешь голову, изводишь себя, будь что будет! «Не получится разговор с ректором, не смогу найти подход, уговорить, уломать, – вернусь восвояси! Ну, пусть себе судачат, ну, почешут языками пять дней, десять, месяц, а потом все забудется. И с приданым как-нибудь выкрутимся. Все ведь выдают дочерей замуж... Женятся, женят... не все же, как я, кусают себе локти. Ничего, запрягусь, буду вкалывать, накатаю диссертацию не одному денежному профану, а десяти, продадим семейное добро, и самое дорогое – книги отца и то, что я сам насобирал – продам, на что они впредь? Что мне терять? Долго ли до конца?.. Одолжу денег у Садяра – на пару-другую лет». Это был самый мучительный, невыносимый и, быть может, даже невозможный способ выйти из положения. Но был и худший... как он ни пытался выкинуть из головы, но и этот путь маячил перед глазами как запасной вариант.

Изверившись во всех вариантах, отчаявшись, он приходил к решению: на худой конец, выложу Садяру все, впрочем, он и так в курсе моих проблем, попрошу включить меня в состав приемной комиссии, и я один разочек, всего один-единственный, черт возьми, шепну на ушко одному из этих толстопузых дядь, дающих мзду у женского туалета, или «попрошу спичек» у студентов на экзамене...

Тьма уже загустела, но Керим, кажется, и в темноте видел, представлял, чувствовал, как лицо заливается краской стыда, как горят уши...

Садяр, конечно, пойдет навстречу, уважит просьбу. Кериму казалось, случись такое, Садяр даже обрадуется. Такие, как Садяр, не верят в то, что кто-нибудь на свете может остаться до конца чистым, без пушка на рыльце... Они уверены «рано или поздно»... И стоит их прогнозам подтвердиться, они испытывают радость, будто находят некую индульгенцию для себя «А как же? Я же говорил... Ну, конечно... Рано или поздно... Да и как быть ему, бедолаге... Да, да, разумеется, понимаю, все понимаю, но отныне и ты, Керим, и твой соратник Гияс не корчьте из себя ходячую добродетель, не глядите на всех прокурорами... Все мы люди, человеки, у каждого свои уровень запросов, потребностей... Человек, как говорится, вскормлен сырым молоком. Да и молоко, между прочим, дорожает день ото дня, ха-ха-ха… Так-то, брат, Гуд бай...»

Ладно, мир не перевернется, если и я один раз отступлюсь... оступлюсь... Или Аллах не простит мне греха? Но он же всевидящ и всеведущ... и вес понимает лучше меня.

– Эфенди, вы не сойдете на берег? – Это был судовой служащий. Теплоход давно причалил, все пассажиры сошли – оставался один Керим.

– Я вернусь обратно.

– Надо вам сойти и приобрести новый билет.

Керим так и сделал.

Когда завершил обратный рейс на европейский берег, у него уже и сил не оставалось добраться до отеля. И сердце давало о себе знать острым покалыванием.

Увидев драндулет с надписью «Таксим» на ветровом стекле – маршрутку, – по-здешнему, «долмуш», он «проголосовал», сел в машину. Доводилось ему ездить в маршрутке и в Анкаре. Одно наблюдение подтвердилось и здесь. Почему-то пассажиры маршруток никогда не вступали в разговор между собой, не общались. В автобусах, трамваях – другое дело, и словом перекинутся, и пошутят, посмеются, при случае, и подискутируют. А в «долмуше», глядишь, народу – битком, возле водителя – двое, по три человека – во втором и третьем рядах, молча уплатят за проезд, возьмут сдачу и сидят, набрав в рот воды. Как при покойнике. Маршрутка остановилась в квартале «Таксим», справа от Центра культуры имени Ататюрка. Керим направлялся к отелю. Олеандры в сквере справа расцвели, и их сладковатый аромат, мешаясь с запахом свежескошенной травы на газонах, пьянил.

Есть месяц прекраснее, благоуханнее мая? Как было близко и как было далеко счастье, блаженство, обещаемое этими запахами?

Отель был пустынен. Ни души. Администратора нет на месте. Бери ключ от любого номера, иди, открывай.

Керим, естественно, взял ключ от своего номера. Лифт стоял на первом этаже, с открытыми дверями. Вошел в кабину, нажал на кнопку «пятый».

Когда переступил порог номера, от затхлого, спертого воздуха затошнило. И окна нет, чтоб проветрить. Оставил дверь на время открытой, но это не освежило воздух – в коридоре тоже воздух застоялся и был волглым, сырым, стены и снаружи, и в номере заплесневели. Закрыв дверь, он снял верхнюю одежду, умылся. Заметил, что один стул исчез. Вот ведь какая ценность! Он-то точно помнил – стульев была пара. Значит, в его отсутствие в номер заходили. А из шифоньера, интересно, одежонку убрали? Нет, все как было, – поношенные костюмы – серые, желтые в полоску, в клетку, черные пиджаки с замызганными и затертыми до блеска воротниками, плащ в пятнах, **ратиновое** пальто с истертыми на локтях рукавами, соломенная, фетровая шляпы, черные мокасины, черные туфли с ремешками, ботинки с развязанными шнурками, расползшиеся шлепанцы, выцветшие ковбойки, тенниска, когда-то имевшая белый цвет, дешевый шерстяной пуловер, джемпер без пуговиц... И те же аляповатые галстуки...

Он разулся, снял носки, разделся – надо было навесить, наложить свою одежду на чужое старье, хотя он и чуть брезговал чужим. Но вдруг заметил незанятую вешалку, – на нее и нацепил свой пиджак, брюки, и водрузил кепку. Выпростал края одеяла, подобранные под матрац, выключил свет, свалился в постель и уснул, как убитый.

\* \* \*

Его разбудила боль. Это были уже не прежние мгновенные покалывания. Сердце сжало железными клещами, боль отдавала в спину, под лопатку, растекалась по всему телу, с трудом поднял правую руку, провел ладонью по лбу – холодная испарина. К беспощадной, жестокой боли примешался страх – он внезапно испытал такую беспомощность, отчаяние, что захотелось вскричать, позвать на помощь, и с ужасом осознал, что и кричать нет сил. Еще более ужасная, леденящая мысль вспыхнула в мозгу: «Инфаркт?» Тогда уже не подняться – сердце не выдержит, оборвется. Под рукой ни телефона, ни кнопки вызова. Попытался приподняться в постели, но тут же от скрутившей боли распластался навзничь и больше не предпринимал попыток.

Как сообщить о своем состоянии? Когда узнают? Не раньше, чем утром. Или днем. Может, заглянет уборщица прибрать. И то вряд ли. Похоже, в этом номере вовсе не убирают.

Иначе столько барахла не оставалось бы в шифоньере. Боже, что за сумасшедшая боль! И как он пойдет завтра к ректору – если сердце не отступит? А не пойдет – тогда все надежды лопнут, как мыльный пузырь.

На какие шиши он справит приданое? Где найдет столько денежных неучей, метящих в ученые? Или и впрямь придется «чиркать» у студентов? Ничего себе, юмор. Нашел время шутить... О боже, какая дикая боль! К черту! И ректора, и эту импортную дребедень, и «спички». Лишь бы эта боль отпустила... С ума можно сойти. Неужели инфаркт? Как же тогда? О господи, пощади и помилуй. Кто вытащит меня отсюда, кто увезет? Куда? В какую больницу? Если даже микроинфаркт, ишемия, – минимум месяц проваляешься без движения. Лекарства, врачи... Да кто меня станет выхаживать, обхаживать, на какие деньги? ...Узнай Садяр – приедет ли? Возьмет ли на себя хлопоты? Ему же послезавтра лететь в Баку! Доклад предстоит... Нам бы вместе... да вот... Нет, не бросит он меня на произвол судьбы... Сам не сможет, другому поручит... И моих дома не вспугнуть бы… придумает отговорку, чтоб их успокоить. Надеюсь и расходы за мое пребывание здесь оплатит... Хорошо, что хоть он при деньгах и не жлоб. Как там их заработал, раздобыл, нажил, – не мое дело, главное, широкая душа, не оставит друга в беде... Хорошо, что я в стычках, в пылу спора не перегибал палку, не портил с ним отношений. Он, Садяр, знает все это и при случае, когда речь заходит о «трудовых» и «нетрудовых», сводит все на шутку: «Ты – такая, я – такой», – как у Полада в песне поется.

Да уж самое время – песни петь… тут взвыть хочется... сердце раскалывается, трещит по всем швам, нет, не раскалывается, не трещит, а сжимается в ком, в комочек, как в железных тисках, вот-вот искрошится, оборвется, упадет...

Нет, ничего не может со мной стрястись, не может... А если… как тогда со свадьбой дочери? Насколько придется отложить? А после... Может, и не суждено мне увидеть свадьбу. И Шушу увидеть – не судьба, даже окажись такая возможность, – никудышным сердцем на такую высоту... Что за мука, что за наказание, о боже. В кармане пиджака валидол... попробуй теперь доберись, достань, не додумался положить рядом... нет, не похоже, что тут одним валидолом обойдешься.

Попытался вспомнить, в каком кармане пиджака положил таблетки. И где повесил пиджак. Казалось, он сквозь дверку шифоньера с заляпанным зеркалом ощупывал, перебирал взглядом подряд всю одежду, вывешенную внутри, и в этот самый миг, скрученный страшной болью он осознал страшную истину: ОН УМИРАЕТ.

В утлом номере захудалого отеля завершалась пятидесятивосьмилетняя эпопея жизни. До конца оставались считанные минуты, от силы – часы, до неумолимо грядущего Конца – в одиночестве, без участия, без друга, в безмолвии. И вскоре для него не останется ничего – ни предстоящей встречи с ректором, ни происшедшего неприятного разговора с Бехиджа-ханым.

В эти мгновения он не испытывал никакой неприязни к этой женщине. Он даже жалел и сочувствовал ей, до слез ему было жаль Бехиджа-ханым, при мысли об ее одиночестве, о том, как она растила-лелеяла калеку-дитя злосчастной сестры, единственное жалкое удовольствие, кайф, утеху в ее жизни – эти бесцельные катания в поезде Стамбул-Анкара, туда и обратно, – комок подкатывал к горлу. И взору представала Лятифа – измученная мать, вытаскивавшая в Ходжалинском лесу колючки из ручонок мертвого ребенка по одной, по одной... ...И он знал, знал твердо, что всего этого вот-вот не будет, не останется в памяти, и самой памяти не будет...

… и другая догадка осенила его, каким-то наитием он разгадал тайну этой комнаты; все стало теперь ясно ему, – загадочное поведение администратора, то, как он колебался, предлагал Кериму этот номер, то, как испытующе ощупывал взглядом Керима, пытаясь определить, подходящий он клиент или нет.

В этом номере отеля поселялись, чтобы умереть. В этот номер отеля приходили – сами того не ведая своими ногами, добровольно, люди, которым суждено было умереть, обреченные на смерть. Их приводила сюда судьба, рок, и одежда в шифоньере была ни чем иным, как наследием, последним следом, оставленным на земле умершими, одинокими, сирыми людьми, когда-то, в разное время, в разные месяцы, годы испустившими дух в этом гостиничном номере...

...Теперь среди них останется последний след Керима, кандидата филологических наук Керима Аскероглу – серые брюки, синий пиджак, коричневая рубашка, черная кепка и черные носки. И еще туфли... Но они вовсе не мои... Садяра... Туфли... Мысль о туфлях Сядяра была последней мыслью Керима на этом свете, и последний приступ нестерпимой боли, прежде чем навсегда остановить сердце, погасил его разум и повергнул в вечный мрак.

\* \* \*

«По предложению и инициативе известного английского тюрколога Джорджа Льюиса Королевское астрономическое общество Великобритании присвоило одному из новооткрытых астероидов имя покойного литературоведа Керима Аскероглу – автора важного открытия в тюркологии. Ныне в бесконечной мгле вселенной мерцает и небесное тело, носящее имя нашего соотечественника, талантливого азербайджанского ученого Керима Аскероглу» (Из газет).

1993-1994гг.

Стамбул, Баку. Загульба

Дом творчества композиторов

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ

# Раздумья об Азербайджанстве*[[90]](#footnote-90)*

Дата «2000-й», еще непривычная глазу, вводит в заблуждение многих, полагающих, что начался новый век, новое тысячелетие. Это не так. Мы еще пребываем в двадцатом веке. Двадцать первый век – третье тысячелетие – начнется 1 января 2001 года. Впрочем, если учесть календари на всей планете, то и эта дата выглядит условной. Многие мусульманские страны живут по лунному календарю хиджры, есть свои календари у китайцев и у целого ряда других народов.

Но, как бы то ни было, мир в целом сообразуется с христианским летоисчислением и приемлет факт смены века и тысячелетия в будущем году.

Есть у истории и другая условность. Календарь календарем, но смысл, облик, дух каждого века не связан с некими календарными днями или годами. Историческая фабула временного отрезка, принимаемого нами как XX век, завязалась в 1905-1906 годах – в период революций, определивших облик столетия, – или же в четырнадцатом году – с первыми залпами первой мировой войны, и завершилась в декабре 1991 года распадом страны, именовавшейся «СССР», и сообщества под названием «социалистический лагерь». Быть может, потому мне кажется, что век двадцатый уже десять лет как исчерпал себя, а век двадцать первый еще не начался и, по меркам исторических координат, все еще неизвестно, начнется он или нет с первым январем 2001 года.

История, в определенном смысле, – условное понятие. Происходят различные общественно-политические события, выдвигаются лидеры, возвышаются, блистают и угасают. Войны, катаклизмы, восстания, мятежи, революции, путчи, научные открытия, художественные откровения, – всю эту последовательность, зачастую непостижимую человеческим разумом и логикой, историки пытаются выстроить по определенной системе, понять и истолковать, опираясь на ту или иную идеологию. В этом смысле История – своего рода творение самих же историков.

Может быть, Истории и нет вовсе, а есть книги историков об определенных событиях.

Если Историей именуется определенная хронологическая последовательность событий, тогда она и впрямь – терпение Бога. На многие современные события, представляющиеся нам алогичными, несправедливыми, неправедными, ответ следует по прошествии десятилетий, а то и столетий, и Господь ставит все на свои места в Истории. И внушает людям – воплощенным знаком неисповедимого терпения своего – веру в Историю, в ее логику и вещий смысл. Человек принимает на веру существование Истории. И историки становятся нашими провожатыми на этом пути.

Каждый человек, историк или – не историк, испытывает, потребность оглянуться назад, – стремиться воссоздать в памяти, осмыслить, понять и свою прожитую жизнь, и время, в которое ему выпало жить, и прошлое народа, нации, к которым он принадлежит. И я, как люди предшествующих и уже немалых, последующих поколений, человек XX века. Азербайджанский тюрок. На исходе столетия, на последнем перевале жизни, в канун вступления в новое тысячелетие, волей-неволей погружаюсь в мир воспоминаний, и раздумий. В моем возрасте воспоминания, по сути, и есть раздумья, и последние опираются только на память, на минувшее. И поскольку эта поздняя пора жизни моей приходится на стык тысячелетий, размышления о прожитом, естественно, перетекают в думы о судьбах и истории моего народа.

Когда я думаю о судьбах, об истории азербайджанского народа, перебираю в памяти различные события разных лет, перед взором моим оживает Черный календарь.

Январь, 1990 год – кровавая ночь с 19 на 20 число.

Февраль. 1988 год. Убийство двух юношей, Али и Бахтияра в Аскеране – первые жертвы Карабахской трагедии. Начало изгнания азербайджанцев из Армении, сумгаитские события 1988 года и ходжалинская бойня 1992 года.

Март, 1918 год. Геноцид, учиненный дашнаками в Баку против нашего народа.

Апрель, 1920 год. 28-е число. День, когда XI Красная армия втоптала в прах независимую Азербайджанскую Республику.

Май, 1992 год. Предательская сдача Шуши армянам.

Июнь, 1992 год. Оккупация Лачина.

Июнь, июль, август, сентябрь (1990-1993). Зверское истребление жителей села Баганис-Айрум, оккупация Кяльбаджара, Губадлы, Агдама, Физули, Джебраила, Зангелана. Путч в Гяндже, угроза гражданской войны. Попытки создания Талыш-Муганской Республики и расчленения Азербайджана.

Ноябрь, 1991 год. Сбитый в карабахском небе вертолет – гибель всей группы во главе с Тофиком Исмайловым.

Декабрь, 1988 год. Зверское убийство азербайджанцев в Гукарском районе Армении.

Перечисленное – только то, что засело в памяти. Если я вновь заглянул бы в исторические изыскания, документальные произведения, газеты, справочники, то мог бы значительно расширить этот Черный календарь.

Нет народа, который в роковые периоды исторического существования не претерпел бы бедствий, и я не собираюсь утверждать, что азербайджанцы в этом отношении оказались исключительными горемыками. Выставлять себя самым многострадальным народом стало национальной традицией у армян. Конечно, армяне, как и все другие народы, на протяжении истории хлебнули немало лиха. Но вот, например, евреи, на протяжении тысячелетий куда больше подвергшиеся гонениям, мытарствам, настоящему геноциду, отнюдь не голосят, к месту или не к месту, о своих страданиях и мучениях. И, памятуя об исторических бедах, выпавших на нашу долю, нам никак не должно довольствоваться их оплакиванием, пребыванием в трауре, причитаниями в различных жанрах, нам надо задуматься о причинах этих бедствий, искать пути их предотвращения в будущем.

Причин бед, переживаемых Азербайджаном, более чем достаточно Волшебная красота нашей природы – блага, дарованные нам судьбой, – долы и горы, реки и луга, леса, море, – целительные чары девяти климатических поясов; дары земли и моря, богатства недр и, конечно, в первую очередь, нефть – все это дразнит аппетиты ближних и дальних алчущих охотников. Другое обстоятельство – расположение Азербайджана на геостратегической позиции – скрещении путей между Азией и Европой. Азербайджан – один из ключей к воротам, открывающимся с юга на север, с востока на запад, И сильные мира сего жаждали держать этот ключ у себя в кармане. Со времен Александра Македонского – греко-персидских войн, баталий между Ираном и Тураном, арабских, монгольских нашествий до XVIII века, когда Петр I положил глаз на Юг, теплые моря, на Кавказ – территория, именуемая Азербайджаном, постоянно подвергалась нашествиям чужеземцев, и нашему народу приходилось защищать свое национальное существование, самостояние, достоинство от многократно превосходящих сил завоевателей. В последние два столетия судьба и историческая бытность Азербайджана, в основном, связана с российским фактором. Если в первой четверти XIX века азербайджанские ханства стояли в центре российско-иранского соперничества, перешедшего с дипломатического этапа в кровавые войны и в конце завершившегося вновь дипломатическими соглашениями, то в конце XIX– начале XX века с нефтяным бумом – наша страна оказалась и в сфере интересов Запада. Экономическая экспансия, столь же значимая в XX веке, как политическая агрессия, продолжалась до 1920 года – до советизации Азербайджана. Судьбы азербайджанского народа, начиная с XIX века и, можно сказать, на протяжении всего XX столетия, связаны со сферой влияния российско-армянского фактора. Было бы вернее сказать, армяно-российского фактора, ибо, несмотря на превосходство России и по численности населения, и по силовому потенциалу, российскую политику в отношении Азербайджана, в основном, определяло и определяет поныне армянское влияние.

Вспомним армяно-мусульманские войны 1905 и 1918 годов. Да, да, войны, народ именно так назвал эти события, восприняв их не как стычки, столкновения, а как настоящую войну. «Мусульманские» в этом словосочетании понимается как эпитет, определяющий не религиозную, а национальную принадлежность. И сама последовательность слов – «армяно-мусульманские», т.е., в начале называются армяне, – акцентирует, кем развязана война, кто зачинщик этой кровавой бойни. Джафар Джаббарлы в драме «В 1905 году» с большим мастерством смоделировал подстрекательскую, по меньшей мере, созерцательную позицию царского правительства.

Если не принимать всерьез схематичные образы Асрияна и Володина, выведенные на сцену в соответствии с идеологическими нормативами эпохи, в лице Губернатора, Саламова и Агамяна драматург раскрыл ведущих персонажей этой ситуации, а в ключевой реплике: «Стреляли казаки!» – сущность событий.

До советского периода враждебность армян к азербайджанцам проявлялась в кровавых столкновениях, осуществлявшихся с немыслимой жестокостью и изуверством. Не отрицаю, что чувство отмщения в ответ на неслыханную жестокость в иных случаях толкало и азербайджанцев к насилию, но это всегда было лишь ответной акцией, инициатива в развязывании стычек неизменно исходила с армянской стороны. Незлобивость, незлопамятность, отходчивость, милосердие и доброта, присущие азербайджанскому менталитету, с гениальной силой воздействия раскрыты в пьесе Джалила Мамедкулизаде «Кяманча».

В советский период азербайджанофобия армян не могла продолжаться в открытую, потому стала осуществляться тихой сапой, в завуалированной форме. Опять же, за широкой спиной «старшего брата». И неважно, что это прикрытие не состояло сплошь из русских, а включало в себя, наряду с русскими (а порой числом более их), евреев, поляков, грузин и множество самих армян, занимавших ключевые посты в Советской России и чуть позже в СССР. Политика всесоюзных партийных, советских органов, НКВД в отношении Азербайджана (и в значительной степени Турции) направлялась армянским влиянием. Идея, которую армяне и проармянские радетели внедряли в русское сознание, то исподволь, то открыто (как в нынешнее время), заключалась в том, что Турция – извечный враг России, и азербайджанцы, хоть мы переиначили их этноним, в душе остаются турками и хранят приверженность не России, а Турции, то бишь, как только представится возможность, перейдут на ее сторону. А объединение Азербайджана с Турцией означало бы потерю Россией всего Кавказа, Туркестана, поволжских земель с тюркско-татарским населением, даже чуть ли не Якутии-Саха и в итоге расчленение и распад державы. И предотвратить эту «угрозу» можно лишь с помощью «единственного верного друга России на Кавказе» – армян. Вот и вся музыка. Вот, вкратце, концептуальная начинка армянской политики и вот позиция, принятая российским политическим мышлением с армянской подачи. Если во времена царизма армяне вкладывали капитал в нефть, в торговлю, и им удавалось добиваться министерских портфелей и даже поста премьера России, то с победой большевистского режима на арену вышли коммунисты с дашнакским нутром. И именно потому бедный Нариманов дефисом сопрягал эти два, якобы взаимоисключающих понятия: «коммунисты-дашнаки».

Первый большевистский режим на территории Азербайджана – Бакинская коммуна, возглавлявшаяся Степаном Шаумяном и состоявшая преимущественно из армян. На севере создателем Азербайджанской коммунистической партии явился Анастас Микоян, а в Южном Азербайджане эту роль выполнил армянин Султанзаде, то бишь Микаелян. Бразды партийного правления в Советском Азербайджане и в Баку оказались в руках Левона Мирзояна, Саркиса и прочих. Во главе карательных органов, учинявших в 37-м году расправы над азербайджанским народом, в первую очередь, над интеллигенцией, стояли Рубен Маркарян, Хорен Григорян и иже с ними.

Основы трагедии 37-го года были заложены еще в первой половине двадцатых годов, когда Нариман Нариманов, хотя и формально, считался главой Азербайджанского правительства и, видя тогдашнее положение и предвидя будущие последствия, бил тревогу в письмах и телеграммах Ленину, Сталину, Троцкому.

Деятельность Нариманова ныне некоторыми оценивается сугубо отрицательно. Между тем, если смотреть не с идеалистических позиций, а в контексте обстоятельств исторической и политической реальности, то Нариманов делал все, что было в его силах, во имя сохранения национального существования Азербайджана. Единственным способом обезвреживания идей, внедрявшихся армянами в мозги российских и союзных правителей (идей, о которых я говорил выше), и упрочения позиций Азербайджана в составе Союза было – убедить и доказать, что Восток последует но пути коммунистической революционности и Азербайджан будет лидером в этом походе. Вдобавок Нариманову приходилось отражать нападки национальных предателей, обвинявших его самого в национализме, «католиков, больших, чем Папа».

Перед М.Дж.Багировым, первым руководителем-азербайджанцем после Нариманова, возглавлявшим республику, эта задача предстала с большей остротой, в более сложный исторический период. Ни на миг не забывая о патологической жестокости М.Дж.Багирова, беспощадно истреблявшего лучших сынов и дочерей азербайджанского народа, никоим образом не прощая ему этих преступлений, мы опять же с исторической точки зрения должны иметь в виду, что его действия были обусловлены определенными реальностями. М.Дж.Багиров хорошо помнил об участи Нариманова и сделал выводы из этого опыта. Он был хорошо осведомлен и об армянских кознях, и о том, что и «свои» из его окружения готовы в любой момент «заложить» и его, и нацию. И потому он должен был выбить козырь из рук и армян, и национальных манкуртов, политических мутантов. Козырями были доносы о «тенденциях национализма, пантюркизма», направлявшиеся в Москву.

Эта проблема в той или иной плоскости, в различных формах – по мере изменения обстоятельств эпохи – стояла перед всеми, кто руководил Азербайджаном в советское время. Они стремились решать эти вопросы в рамках существующих возможностей, добивались определенных успехов, но также и терпели неудачи, Как это ни покажется странным, даже и сегодняшний Азербайджан, да, да, независимый, суверенный, признанный мировым сообществом, ставший членом международных организаций Азербайджан, вновь сталкивается с теми же проблемами. Российская Дума голосует за денонсацию Беловежских соглашений, то есть не признает распада СССР, косвенным путем официально ратует за восстановление приснопамятного государства. Мне помнится, некоторые из прибывших в Баку думских депутатов, в том числе и спикер Г.Селезнев, носили на лацканах депутатские значки, воспроизводившие не триколор нынешней Российской Федерации, а серпастый молоткастый стяг.

Осознаем ли мы, насколько опасна для Азербайджана война против Чечни, ведущаяся под вывеской антитеррористической операции? Эйфория российских генералов, давно отвыкших от военных триумфов и гордящихся победами над Басаевым и Хаттабом, как если бы они одержали верх чуть ли не над Наполеоном, трубящие о взятии каждого маленького аула, может превратиться в попытку силой оружия вновь восстановить СССР. Ведь и советские маршалы, в 45-м году одержавшие победу над фашистской Германией, впадали в блажь продолжить поход аж до Парижа (подобно царю Александру Первому в наполеоновские времена). В СМИ уже начались идеологическое обеспечение и пропагандистская подготовка этой возможной экспансии. «Азербайджан поддерживает чеченских боевиков, в Азербайджане имеются их военные лагеря, базы, оружие перевозится транзитом через Азербайджан, в Азербайджане нагнетается исламский фанатизм, нарастают тенденции исламского фундаментализма, действуют радикальные религиозные центры...» – подобные измышления потоками извергаются московскими телеканалами.

У Азербайджана нет границы с Чечней. Спрашивается, если оружие доставляется в Чечню из Азербайджана, то, стало быть, оно провозится через Дагестан, то есть по российской территории, и если Россия не в состоянии контролировать свою же территорию, то в чем она может обвинять Азербайджан?!

Другая наша «вина» – то, что мы, «не понимая» своих экономических выгод, решили транспортировать нашу нефть не через российскую территорию, а по нефтепроводу Баку – Грузия – Джейхан. А это, оказывается, означает усиление влияния США и ослабление влияния России в регионе... Караул, Кавказ уплывает из рук! Это великое злосчастье могут предотвратить только и только единственные друзья русских – армяне. Поэтому, дескать, надо вооружать Армению. Хотя и Чечня считается неотъемлемой составной частью России, Нагорный Карабах надо поддерживать не как неотъемлемую часть Азербайджана, а как государственное образование, пусть с не имеющим аналога в мире, самостоятельным статусом. Снова все планируется по старому армянскому сценарию, и российская политика пребывает в роли только лишь исполнителя этих армянских замыслов. Бедная Россия... Гулливер на поводу у лилипута...

А как Азербайджан? И его сокрушенно назвать бедным? Или есть выход из этого исторического тупика, и брезжит свет в конце тоннеля, в который нас загнали, начиная с 87-88-х годов?

Что объединяет армян, проживающих в Армении, и их карабахских сородичей, пренебрежительно прозванных первыми «шуртва» («обращенный»), калифорнийского армянина-миллионера и ростовского армянина-карманника, армянского академика в Москве и армянского сапожника в Тбилиси, парижанина Шарля Азнавура и террориста из «АСАЛА» в Бейруте? Родной язык? Нет, большинство армян, рассеянных по разным странам, не знают армянского языка. Вероисповедание? Отчасти, так как и в армяно-григорианской церкви существует размежевание, есть и такие армяне, которые не исповедуют никакую религию.

Территория? Об этом и не приходится говорить, – какая привязанность к земле может объединять людей, живущих на пяти континентах мира? Тогда что же? Что объединяет, сплачивает армян?

Только одно чувство – чувство мщения, внушаемое с колыбели каждому армянскому ребенку, мифы, легенды о несправедливости, гнете, которым армяне, якобы, подвергались из века в век, и жажда реванша, возмездия за это все по отношению к другим народам, прежде всего, к туркам. При всем том, что вдалбливание таких страстей, такой ненависти в души соплеменников с пеленок в конечном счете идет только во вред даже собственному народу, это, во всяком случае, реальность, реальный фактор.

А что же должно сплотить нас, азербайджанцев, в чем должна состоять наша национальная идея? Можно ли с учетом объединяющих и разделяющих нас исторических факторов, целостности наших земель и расчлененности на Север и Юг, раскол традиционно исповедуемой религии на таригаты-конфессии и другие факторы, сплотить нас под зонтом или шатром единой идеологии?

Разговоры о выработке нашей национальной идеологии спорадически возникают и, по правде говоря, не вызывают у меня особого энтузиазма. Не только потому, что, как писатель, испытываю определенную аллергию к понятию «идеология», – еще не стерты из нашей памяти коммунистическая идеология и императивы, которые она ставила перед нами. Кроме того, любая единая идеология, по-моему, закрепощает свободу мысли, стремится вогнать мировидение человека, взгляды на жизнь в определенные колодки, приспособить ее под свои стереотипы. Но истиной является и то, что каждый человек выбирает для себя определенную общественно-политическую, философскую, идеологическую позицию и, если он постоянен в своей вере, неизменен в убеждениях, он живет по этим избранным и принятым им принципам, В этом отношении, естественно и у меня есть свои принципы жизни, морали, поведения, и я всю жизнь стремился следовать им. Но сейчас речь идет не о моем мировоззрении, а о моих размышлениях об азербайджанстве. У меня, как у гражданина Азербайджана, писателя есть свои определенные суждения и мнения об этом предмете. Разумеется, никому навязывать свои взгляды я не намерен. Я только хочу сказать несколько слов о том, как я вижу и чувствую идеалы азербайджанства. Кредо азербайджанства можно обозначить пятью словами, и я бы хотел раскрыть их понятийное содержание. Вот они, эти пять слов.

СВОБОДА, НЕЗАВИСИМОСТЬ,

РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, ДРУЖБА

Посвященные сразу увидят, что три слова из этих пяти совпадают с принципиальными лозунгами французской революции; Свобода, Равенство, Братство. Но я вкладываю и в эти слова несколько иной смысл.

Свободу я понимаю, в первую очередь, как СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ. В этом смысле СВОБОДА ЛИЧНОСТИ совпадает с понятием ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, которое сейчас в большой моде. Однако последнее понятие содержит в себе правовой оттенок. А СВОБОДА предполагает не только юридические права человека, но и свободу мысли. То есть, в моем понимании, СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ – это человек, не только осознающий свои права, но также гарантированный свободой мысли, если хотите, фантазии. Без неограниченной свободы мысли, воображения, фантазии невозможно достичь значимых успехов ни в науке, ни в искусстве, ни в политике, ни в производстве, вообще ни в одной сфере жизни. Только свободная личность способна выполнять деятельность, продвигающую вперед народ, нацию, человечество в целом. Свободная личность, которая не является пленником стереотипов, стандартов, догм. И, наконец, экономически свободная и независимая.

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ – свобода мысли, слова, СМИ, собраний, проведение пикетов, митингов, различных организаций, структур, в том числе, и политических партий, – это фундаментальные принципы демократического общества. Поэтому данное понятие – первое в ряду пяти перечисленных выше. Страны, где нет СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ, могут быть и независимыми. Например, Албания времен Энвера Ходжи, Северная Корея, некоторые мусульманские страны, африканские, латиноамериканские страны. Но страна, где существует СВОБОДА ЛИЧНОСТИ, не может не быть независимой. Ибо, СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК обретает возможность бороться за свободу и независимость своей страны и добиться этой цели. Демократический строй в Великобритании и Франции, то есть, обеспечение человеческих свобод позволил также свободомыслящим патриотам в колониях этих государств бороться за национальную независимость. В результате Индия, Пакистан, Алжир, многие арабские страны и страны Африки смогли сбросить колониальные цепи.

НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ. Второе и очень важное условие. Естественное чаяние и законное право каждого народа – построить свое независимое, суверенное государство в рамках границ, принятых мировым сообществом, в условиях территориальной целостности и неприкосновенности.

Порой советская пропаганда и даже часть политологов постсоветского периода выдвигали такую абсурдную идею, что бывшие советские республики не в состоянии существовать суверенно, якобы у малых народов нет такой возможности, и потому, видите ли, распад СССР – трагедия, в первую очередь, для этих неприкаянных малых народов. Во-первых, среди бывших советских республик наряду с Эстонией с миллионным населением, есть и сорокамиллионная Украина. Не говоря еще о Белоруссии, Казахстане. Узбекистане, – ведь и Азербайджан с населением восемь миллионов человек – не страна-невеличка. И почему Люксембург, Андорра, Кувейт, Непал или Сейшельские острова могут жить как независимые государства, а, допустим, Грузия или Литва – нет? Выступающие против независимости бывших советских республик утверждают, мол, в мире нет совершенно независимых стран. Даже, дескать, и сверхдержавы не являются полностью суверенными. Эти утверждения ни что иное, как дешевая демагогия.

Конечно, каждый народ обитает на планете Земля, и каждая страна обязана соблюдать принятые мировым сообществом законы и условия общежития, подписанные ими обязательства, конвенции, уставы международных организаций, в которых они состоят.

Совместное общежитие народов сродни неписаным, но подразумеваемым бытовым обязательствам отдельных людей, семейств. Ты хозяин своего жилья, и не желаешь, чтобы кто-либо извне вмешивался в твою частную жизнь... Но ты не вправе устраивать дома «концерты» духового оркестра или взрывы, или пожары, в рассуждении «так мне хочется». Ты не вправе и оставлять краны открытыми и «топить» соседей ниже этажом. Есть еще этические понятия, нормы уважительного взаимоотношения.

Если у соседей траур, ты отложишь радостные торжества у себя в доме. В этом смысле, конечно, независимость и у семей, и у государств имеет свои определенные пределы. И семья, и страна, соблюдающие правила культурного уважительного поведения, не станут ущемлять соседей. Или, заботясь о своих национальных интересах, не будут игнорировать национальные интересы других. Если река протекает из твоей страны на территорию сопредельной, ты не вправе преградить ей путь и оставить соседнюю страну без воды.

Национальная независимость, как и свобода личности, означает самую серьезную Ответственность. В том числе ответственность перед собственным народом.

Все это общеизвестные истины, – и в этом смысле даже самые крупные независимые государства не свободны от ответственности перед остальными. Однако, считать необоснованным стремление бывших советских республик к независимости, исходя из такого посыла, – вздор, передергивание карт. Вы говорите: Голландия, Швеция или Австрия также не вполне независимы? Пусть так. Вот и нам достаточно такой степени независимости, большего не хотим.

РАВЕНСТВО. Равноправие всех граждан не на словах, а на деле независимо от классовой, национальной, расовой принадлежности, вероисповедания, пола – другой основополагающий принцип демократического общества. В советском обществе твердили о всеобщем равноправии и, вместе с тем, один класс – пролетариат – объявляется гегемоном. Класс крестьянства пристраивался к гегемону, а сословие интеллигенции считалось обслугой этих двух. (Этот ущербный образ мышления доныне не выветрился из многих мозгов, вновь роль интеллигенции видят в служении кому-то – власти, оппозиции, народу. Твердят: интеллигенция должны служить народу. Получается, что интеллигент – это ни часть народа, а некое существо, которое народ держит у дверей за порученца).

История показала, к чему привел этот однобокий подход в советском обществе, декларировавшим равенство. По существу, и гегемония пролетариата была фарисейской формулой, обеспечивавшей гегемонию только лишь одной касты – советской бюрократии. Как многие реалии той поры, и эта тема точно выражалась в анекдотах. Советский гость спрашивает у рабочего иностранного автозавода: «Кому принадлежит этот завод?» «Хозяину», – следует ответ, «А чей это автомобиль?». «Мой», – отвечает рабочий. Тот же диалог повторяется в советском городе. Иностранный турист любопытствует: «Кому принадлежит этот завод?» «Мне» – отвечает с гордостью советский рабочий, «А чья это автомашина у завода» «Директора» – вздыхает рабочий.

Карьера тагиевых, нагиевых, ступень за ступенью, выбившихся из чернорабочих в миллионеры, при советском режиме была бы несбыточной. Проявившие способности и талант в предпринимательстве, коммерции, торговле, бизнесе преследовались, сживались со свету или же им приходилось скрывать и подменять свою профессию. Крестьян, знающих толк в деле, наживших добро своим трудом и горбом, сметливостью и рачительностью, клеймили как кулаков, «раскулачивали», уничтожали. Между тем, общество может нормально развиваться лишь при условии, когда каждый занимается своим делом, работой, которую он может умело и успешно выполнять. Необходимо при исходных равных условиях, не допуская предпочтений и дискриминации, обеспечить каждому человеку возможность использовать свой шанс, рассчитывая на свое умение, способности и, по меньшей мере, на свою судьбу.

Наряду с классовым равенством, одно из основных условий демократического строя – равенство наций, рас, конфессий.

Недопустимо, когда какая-либо нация выступает с позиций превосходства над другими нациями, расами, составляющими население страны, и, пользуясь преобладающей численностью, унижает национальное достоинство этнических меньшинств, проявляет пренебрежение к их национальным ценностям, недопустимы любые формы преследований, давления и горькие последствия подобной дискриминации бумерангом бьют по самой господствующей нации.

Участь фашистской Германии – один из трагических и поучительных уроков истории человечества.

Принцип равенства – один из основополагающих принципов Азербайджанской демократии, делающей первые шаги, переживающей еще младенческую пору, должен распространяться и па этнические меньшинства. Присущие национальному менталитету нашего народа терпимость, толерантность призваны органично присутствовать и претворяться в жизнь по отношению ко всем национальным общинам. Конечно, эту терпимость не следует понимать, как попустительство антиконституционным радикально-экстремистским тенденциям, как среди азербайджанских турок, так и среди национальных меньшинств, как среди мусульман, так и среди иноверцев.

Порой даже в самых демократических странах, пользуясь конституционными свободами, к власти приходят радикальные клерикалы, ультралевые или ультраправые силы и затем попирают эти же демократические свободы. Поэтому принцип равенства не может быть отнесенным к врагам равенства.

Равенство полов, в первую очередь, должно гарантировать женщинам занимать равное с мужчинами положение в обществе, в том числе, занимать важные позиции и в политической жизни. Выдвижение женщин лишь по формальным статистическим критериям, как это практиковалось в СССР, означало бы вульгаризацию принципа равенства.

Однако женщина, как Мать, как первая воспитательница своих детей, как хранительница очага, несущая основное бремя бытовых забот семьи, должна иметь, сравнительно с мужчинами, определенные дополнительные льготы и привилегии в общественной жизни. Это обеспечило бы справедливую не на словах, а на деле регламентацию принципа равенства.

Необходимо обеспечить с сохранением полной, наравне с мужчинами, зарплаты женщин, работающих в учреждениях и на производстве, отведение им определенных часов рабочего дня с тем, чтобы они уделяли это время семье, детям.

БРАТСТВО – здесь подразумевает ТЮРКСКОЕ БРАТСТ-ВО. Взаимоотношения тюркских народов, в первую очередь происходящих от огузов азербайджанских и анатолийских турок, единых по историческим корням, языковым истокам, образу мышления и поведения, обычаям и традициям, нравственным и эстетическим понятиям, могут быть охарактеризованы более как БРАТСТВО, нежели ДРУЖБА.

Один из важных и вызывающих наибольшие споры факторов тюркского братства – вопрос о языке. Я неоднократно излагал свою позицию на этот счет и готов вновь изложить ее. При общности исторических корней, ныне языки всех тюркских народов, даже входящих в огузскую группу анатолийских и азербайджанских турок, туркмен и гагаузов, – это самостоятельные языки, в определенной степени разнящиеся друг от друга. Не диалекты, а именно языки. Идея о слиянии этих языков в единый тюркский язык нереальна столь же, сколь и утопия о едином – русском языке коммунистического будущего. Ни одна нация не пожелает отказаться от своего родного языка, формировавшегося веками. Однако, в целях дальнейшего сближения тюркских народов тюркские государства и автономные республики могут выработать единую языковую политику. Эта политика может осуществляться через взаимоизучение языков, преподавание их в школах и в вузах, более тесный информационный взаимообмен (пресса, радио, телевидение), обмен студентами, школьниками, активизацию перевода художественной и научной литературы, совместные издания, энциклопедические, литературоведческие изыскания, принятие общих терминов и в других аспектах. Наряду с сохранением, сбережением языка каждого тюркского народа, можно было бы принять турецкий язык как средство общения между этими близкими народами. Нужно выстроить общее культурно-духовное пространство – информационное, научное, художественное тюркского мира, но ни один тюркский народ, даже самый малочисленный, не должен нивелироваться и раствориться в общем и абстрактном понятии Туран. Это и нереально. Я, как раньше, так и теперь сторонник наименования нашего языка как «азербайджанско-тюркского» или «азерийско-тюркского». Если слово «тюркский» в этих словосочетаниях связано с традиционным, идущим из глубины веков, названием нашего языка, то «азербайджанский» или «азерийский» служит для разграничения его с турецким. И пусть слово «азери», якобы, некогда обозначившее один из языков иранской группы, но давно сроднившееся с нашим слухом, не настораживает нас. Болгары-славяне или кавказоязычные аварцы не открещиваются от своего этнического самоназвания, некогда относившегося к тюркским этносам. «Азерийско-тюркский» в определенной мере удачнее, чем «азербайджанско-тюркский», так как не опирается только на территориальный принцип. И не лучше ли было бы вместо несуразных выражений «грузинские азербайджанцы, дагестанские азербайджанцы, армянские азербайджанцы» говорить: азерийские тюрки, прожинающие в Грузии, Дагестане, Армении? Было бы во всех отношениях правомерно называть наш язык, па котором говорят от Дербента до Хамадана, от Игдира до Зенджана, от Борчалы до Кяркута, «азерийско-тюркским».

Под понятием ДРУЖБЫ, изрядно затасканным советской пропагандой, мы имеем в виду ДРУЖБУ НАРОДОВ, Ибо суть, существо этого, увы, избитого выражения чрезвычайно важны для судеб нашего народа. Дружба народов должна быть отнесена и к добрым дружественным отношениям с соседними народами, близкими нам и территориально, и по исторической судьбе, обычаям и традициям, и к различным нациям, проживающим в самом Азербайджане. О братских узах с турецким народом я уже сказал выше. Что касается дружественных отношений с исламскими странами, то нам следует иметь добрые, хорошие отношения и с такими далекими мусульманскими странами как Нигерия и Индонезия, но самые близкие, самые теплые отношения нам надо построить с исповедующими ислам сопредельными Ираном, Пакистаном, Афганистаном, Таджикистаном, арабскими государствами. За исключением Ирана, ни с одной из этих стран у нас нет проблем. Проблема, беспокоящая Иран и Азербайджан, – это вопрос о Южном Азербайджане. Для решения этой проблемы нам надлежит отрешиться от утопических грез и принять как факт, что Южный Азербайджан составная часть сегодняшнего Ирана. Если мы, как и все другие государства, столь ревностно относимся к нашей территориальной целостности, добиваемся однозначного признания Нагорного Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана, то мы должны признать такое же право за Иранским государством. Но, разумеется, никто не может заставить нас оставаться безучастными к судьбе 25 или 30 миллионов наших сонародников на Юге. Азербайджанские тюрки в Иране составляют не национальное меньшинство, а равновеликий по численности с фарсами основной компонент. В таком случае и язык этой внушительной части населения должен занять достойное место в официальных политических структурах, в СМИ, в системе науки, образования и культуры. Должны быть обеспечены условия для культурных связей Северного и Южного Азербайджана. Если различия в алфавитах в какой-то мере создают помехи для этих связей, то телевизионный эфир и радиоволны способны доносить нашу поэзию, искусство, музыку, родное слово по ту или по эту сторону Аракса. Это пойдет во благо и иранской государственности, ведь если тайные или явные запреты затыкают реальную угрозу, они чреваты взрывом, выбросом «пробки»... Права, не таящие угрозы государственной целостности Ирана, – право говорить, писать, читать, учиться на родном языке – должны предоставляться большому народу не как подачка, а как законный и естественный долг совести, Если эта проблема будет изжита, историческая и традиционная близость Ирана и Азербайджана, родство культур, литератур, искусства, музыки, уклада жизни обеспечат в полном смысле взаимное духовное обогащение обоих государств в новой плоскости. Конечно, необходимым условием является избавление некоторых горячих голов в Иране, как и в России от имперских галлюцинаций. Никто и нигде не должен рассматривать сегодняшний независимый Азербайджан как совокупность ханств-вассалов прежних иранских шахов, в том числе, и правителей Ирана тюркского происхождения, либо же как бывшую советскую социалистическую республику. Ни публично, ни в тайных грезах. В народе говорят: «Скрытый торг дружбу расторг». Также и наши отношения с Россией – вопрос исключительно значимый и судьбоносный. Мы никоим образом не должны отождествлять неприятия колониальной политики царской России и шовинистической деспотии руководства СССР с нашим отношением к русскому народу, русской культуре, науке, литературе и искусству, образованию и здравоохранению.

С точки зрения культурного прогресса, отрешения от восточной инертности и приобщения к западному динамизму, наше двухвековое общение в Россией имеет также много неоспоримых положительных сторон. Это наглядно доказывает сравнение с соседними мусульманским странами. Если Россия сможет избавиться от своих внутренних противоречий и продвинется вперед по пути демократии, декларированной, но, к сожалению, не утвердившейся в полном смысле, если впадая в иллюзии, не будет пытаться вновь под новой вывеской реставрировать империю, списанную в архив истории, если она сможет постичь корни и сущность нашего братства с Турцией, не воспринимать с ревностью наши отношения с Америкой и, наконец, займет более объективную позицию в наших спорах с Арменией, тогда у нас могут сложиться самые тесные и самые добрые отношения с нашим великим северным соседом. Азербайджан еще долгое время будет пользоваться посредничеством русского языка для приобщения к мировым духовным ценностям и еще многие годы будет находится в сфере притяжения русской культуры. Само по себе это отнюдь не отрицательное и зазорное обстоятельство. Я здесь хочу остановиться на одном моменте.

Некоторым азербайджанским интеллигентам, в силу известных исторических обстоятельств, недостаточно владеющими родным языком, вменяют это в вину. Конечно, в идеальном случае каждый интеллигент должен знать свой родной язык. Однако, справедливости ради скажем и то, что немало наших композиторов, художников, даже писателей, к сожалению, не умеющих общаться на родном языке на желательном уровне и с желательной свободой, совершили куда больше благих дел во имя возвышения азербайджанской культуры, достижения ею уровня образцов мирового искусства, чем иные отечественные златоусты, только умеющие говорить. Жаль азербайджанских тюрков, «хромающих» в родном языке. Но как назвать владеющих азерийско-тюркским языком сонародников, на этом же языке охаивающих азербайджанских тюрков, «растекающихся мыслью» по тюркскому древу против тюркства?

Грузия – наш близкий сосед, наш стратегический союзник. Наше географическое расположение предопределяет стратегический смысл этого союзничества, носящего не преходящий, а долговременный характер. Специфика грузинской культуры, ее обращенность к Западу связаны также и с тем, что в свое время старый Тифлис был интернациональным кавказским городом и восхождение в этом городе плеяды значительных личностей Азербайджана, реализация ряда важных явлений нашей культуры – естественны. Наши дружественные отношения с Грузией призваны также и обеспечить судьбу полумиллиона наших сонародников, проживающих в этой стране. История на пути своего развития знает и срывы и нельзя исключать, что завтра, не приведи Аллах, объявится некий новый Гамсахурдия, осуществляющий политику насилия в отношении проживающих в Грузии азербайджанских тюрков. Во всяком случае, и мы, и еще больше наши сонародники в Грузии должны быть готовы к такому повороту событий, чтобы не им самим, ни Азербайджану в целом, не пришлось вновь пережить участь азербайджанцев, проживающих в Армении.

Каковы же должны быть наши отношения с Арменией, армянами – после стольких кровопролитий, жестокостей, неизлечимых ран, трагедий миллионов людей, порушенных очагов, разоренных жилищ, оскверненных могил? Выскажу парадоксальную мысль: даже если мы сочтем девяносто девять процентов армян нашими заклятыми противниками, мы не должны считать армянский народ как таковой своим врагом. Ибо никакой народ в мире не является врагом другому народу. То, что народы не враги друг другу, – вопрос принципа, даже быть может, символическое выражение идиллических иллюзий. Правительства, политические системы, армии, олигархи, борзописцы, труженики пера, именующие себя интеллигентами, могут пропагандировать и внушать чувства ненависти, злобы и вражды к другому народ. Но народ сам по себе не может являться врагом.

Как французы, англичане, воевавшие с фашистской Германией, не считают немцев своими врагами, как японцы, разгромившие американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе и американцы, обрушившие на Хиросиму атомную бомбу, сегодня не являются врагами, как турки и греки, палестинцы и израильтяне стремятся найти общий язык, наступит день, когда после справедливого решения Нагорно-Карабахского вопроса, восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращения беженцев в родные края, когда понемногу затянутся пока что кровоточащие раны, я бы хотел верить, что и Азербайджан с Арменией смогут установить нормальные добрососедские отношения. Ведь армяне не перекочуют со своих мест проживания на Луну, стало быть, мы исторически обречены на соседство. И если поговорка «Плох сосед – переселись» применима к семьям, то к народам ее не отнесешь. Если же мы считаем армян противниками, то подобает лучше изучить сего неприятеля. Надо подготовить специалистов, в совершенстве знающих армянскую историю, язык, глубоко информированных о политических партиях, сегодняшней прессе, состоянии общественной жизни. В ряду метров тюркского языкознания фигурируют и армяне: в Армении – Ачарян, в Турции – Акоп Дилачар, в России – лазаревы, будаговы, севортяны...

Мне не верится, что столь пытливое изучение турецкого языка продиктовано особой любовью к туркам. Так же, как в разгар холодной войны подготовка и деятельность специалистов по советологии, кремлелогии в Америке, Европе не являлись выражением любви к Советскому Союзу и кремлевским вождям, а преследовали цель лучше знать противника, прощупать его сильные и уязвимые стороны и использовать это знание в борьбе.

Если мы верим в восстановление Азербайджанской государственности в Нагорном Карабахе и дальнейшее проживание армян здесь – реальность, то уже сейчас, не откладывая на завтра, надо начать дело подготовки кадров из числа тех же карабахских армян, лояльно относящихся к суверенным правам Азербайджана, нашей государственности и территориальной целостности и способных управлять Карабахом как образованием, входящим в состав Азербайджана.

Я не говорю о том, чтобы готовить из армян сексотов, шпионов или агентов влияния, работающих на нас в Карабахе. Нет, Боже упаси. Мы должны думать, искать и заранее готовить местные кадры, которые могли бы вести административную работу в Нагорном Карабахе, ориентируясь на Конституцию Азербайджана и принимая как факт юрисдикцию нашей республики над этой территорией. Наверное, такие люди есть, но из-за страха не «высовываются». Необходимо убеждать карабахских армян, что деятельность таких лояльно мыслящих сограждан была бы во благо не только Азербайджану, но и им самим – армянам Карабаха.

Для достойного решения Карабахской проблемы мы должны, как народ, избавиться от пораженческого комплекса. Чтобы отрешиться от горечи военных неудач в Карабахе, достаточно вспомнить события, которые происходят на наших глазах. Если огромная Россия, обладающая самой большой армией в мире, располагающая новейшим и грозным оружием, многовековым военным опытом и искушенными полководцами, генералами, офицерами, получившими современное военное образование, вот уже несколько лет не может управиться с маленькой Чечней, если Грузия не может утихомирить небольшую Абхазию, если высоко подготовленная, боевитая и храбрая турецкая армия долго не могла искоренить курдских террористов из ПКК, то неправомерно воспринимать Карабахскую неудачу Азербайджана, только-только создающего национальные вооруженные силы, как трагедию и представлять народу именно как иллюстрацию безысходности. В XIX веке Франция, потерпевшая поражение в войне с Пруссией, потеряла Эльзас и Лотарингию. В Париже на площади Согласия возвышаются памятники, символизирующие каждую провинцию. После потерн названных провинций, соответствующие им памятники были зачехлены. Вплоть до окончания Первой мировой войны, когда Франция нанесла поражение Германии и вернула свои провинции. Вагон, где Германия подписала акт о капитуляции, охранялся как историческая реликвия, и когда бесноватый фюрер в годы Второй мировой войны оккупировал Францию, пораженческое правительство Петена подписало акт о капитуляции в том же вагоне, войска Третьего Рейха победно промаршировали по Елисейским нолям. Но пять лет спустя Германия была разгромлена, и Гитлер свел счеты с жизнью в бункере, а Эльзас, и Лотарингия, и вся Франция вновь добились свободы. История – терпение Бога.

В судьбе каждого народа случаются лихолетья. Россия была вынуждена подписать позорный Брестский мир, Турции пришлось подписать унизительное Мудросское соглашение, но прошло время, справедливость восторжествовала, и эти подписанные документы были брошены на свалку истории.

Один из факторов, который сыграет важную роль в будущей судьбе Азербайджана – отношения с США, с Европой. Вспомним триаду, впервые провозглашенную Алибеком Гусейнзаде и в последствии подхваченную Зией Гейалпом; Тюркизация, Исламизация, Модернизация. Последнее понятие трактуют и как европеизацию, вестернизацию. Во всяком случае, в него вкладывается смысл: усвоение западных ценностей, Но если в независимом Азербайджане на первый план выдвигается тюркизация, акцентируется возвращение к исламским ценностям, то третьему элементу – модернизации – восхождению на уровень развитых стран современного мира – предается не столь уж большое значение. Почему-то модернизация, усвоение западных, европейских ценностей, воспринимается как нечто могущее причинить ущерб национальным интересам. Разумеется, если сегодня названия наших газет и журналов, независимых телеканалов и радиостудий составляют иностранные слова, если бакинские улицы заполнили вывески и рекламы на иностранных языках, оттеснившие надписи на родном языке, если наша молодежь говорит на азербайджанском языке с русским или английским акцентом, интонациями, оснащая речь заемной лексикой, то такую европеизацию, модернизацию никак нельзя принимать.

Джалил Мамедкулизаде в «Книге моей матери» горько иронизировал над гипертрофированными проявлениями этих трех начал, критиковал исламизацию, тюркизадию, русификацию как забвение символической Книги Матери, то есть как утрату национальных ценностей. Но ведь мир, в том числе, западный мир, выработал истинные и ныне очень необходимые нам духовные, философские, культурные, эстетические, художественные ценности, наконец, демократические политические ценности. И мы должны воспользоваться именно этими ценностями.

Говоря о дружбе народов, прежде всего надо помнить о важнейшей стороне этого понятия – содружестве народов, населяющих Азербайджан. То, что эти народы считают себя азербайджанцами, справедливо и правомерно. Но, будучи азербайджанцем, лезгин не должен отрекаться и не отрекается от своего лезгинского происхождения, талыш – талышского, аварец – аварского, тат – татского, курд – курдского. Точно также азербайджанский тюрок не должен отрешаться от своей тюркскости. С одним условием: забыть навсегда высказанное в определенном контексте утверждение; «У турка не может быть иного друга, кроме турка». Надо воспринимать как естественное явление сегодняшнее возрождение идей тюркизма, запрещенных в советское время, носители которых подвергались гонениям, репрессиям, приговаривались к смерти, ссылке. Однако в этом деле нельзя и впадать в крайности. Бессмысленно закрывать глаза на реальные исторические истины, принимая тюркизм в чисто филологическом смысле. То есть, сколь мне ни близки по историческим, языковым корням казах или башкирец, они не ближе, чем говорящие на языках другой системы талыш, лезгин или курд. Тат, аварец, чьи обычаи и традиции, особенности кухни на протяжении веков были едины и схожи, для меня родственнее, чем хакас или якут, чьи родные языки входят в одну с моим систему языков.

Также и семейные узы связывают азербайджанских тюрков не с чувашами и тувинцами, а с талышами, курдами, лезгинами и представителями всех иных наций, с гордостью называющих себя азербайджанцами. Чрезвычайно важное с точки зрения исторических изысканий, исследований по лингвистике, литературе пространство тюркства не может отторгнуть нас от пространства Азербайджана. Азербайджан – часть тюркского мира, но внутри Азербайджана существует и особый азербайджанский мир, и в этом мире азербайджанцы не тюркского происхождения также занимают достойное и почетное место.

И я убежден, что эти сыны и дочери Отечества, взявшись за руки, плечом к плечу, единые в чаяниях и помыслах, построят счастливый Азербайджан – свободную, независимую страну XXI века – Третьего тысячелетия, где будут царить Свобода, Независимость, Равенство, Братство и Дружба.

И мечтаю, и молю Всевышнего о том, чтобы этот будущий Азербайджан, живущий в моих грезах, которого быть может, мне не суждено увидеть, вознесся на пяти краеугольных камнях, принципах, которые выше я стремился разъяснить:

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

КЛАССОВОЕ, НАЦИОНАЛЬНОЕ,

РАСОВОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ РАВЕНСТВО

И РАВЕНСТВО ПОЛОВ

ТЮРКСКОЕ БРАТСТВО

ДРУЖБА НАРОДОВ

# Достоинство

*Эссе*

Как то раз, в течение одного дня, мне пришлось быть свидетелем двух почти одинаковых, совпадающих ситуаций, сопоставление которых наводило на определенные размышления. Утром я участвовал на высоком совещании, где некий большой начальник во всю крыл и распекал своих подчиненных. Требовательность и строгость – необходимые качества руководителя, но меня, откровенно говоря, несколько шокировала манера обращения этого самоуверенного начальника средних лет к другим начальникам – младшим по должности, но отнюдь не по возрасту. – Ты проявил безответственность, халатное отношение к делу, недопонимание своих обязанностей, – кричал большой начальник меньшему по рангу. Шокировало не только обращение на «ты» к пожилому подчиненному, но и то, что этот последний стоял навытяжку, принимал все нарекания, оскорбительный тон, унижающее «тыканье» – как должное, покорно и как-то слишком охотно соглашался с тем, что является бездельником, разгильдяем, мямлей. Ухитрялся лишь вставлять время от времени: «Вы совершенно правы...»

Волей случая в тот же день, но уже к вечеру, пришлось присутствовать и на другом совещании, где полновластным «хозяином», самым старшим начальником был уже тот, на которого при мне, да и при многих других, рычали и топали ногой. И что ж... Спустя всего несколько часов после утренней накачки теперь кричал и топал ногой он. «Маленький начальник» – Там, Здесь он был «большим», главным. Униженный и оскорбленный утром, вечером он сам унижал и оскорблял уже своих подчиненных. Теперь перед ним стоял навытяжку другой начальник, да, да, именно начальник, хотя, разумеется, еще меньший по должности, и опять-таки старший по возрасту. Стоял и так же безропотно соглашался с тем, что он разгильдяй, мямля, бездельник... Поразительно, что и слова были буквально теми же самыми, утренними... То ли фантазии не хватало на новые эпитеты, то ли сами эти эпитеты были четко установленными, привычно последовательными... А может, обруганный утром, сознательно или подсознательно, компенсировал таким вот изощренным способом нанесенный ему моральный ущерб. Внешне безропотный, покорный Там, он Здесь отыгрывался на другом таком же внешне покорном и безропотном. Я не зря выделяю слово «внешне». Ибо, как я понял, безоговорочное приятие всех оскорблений в свой адрес Там, утром, было просто притворством, обеспечивающим возможность излить душу, дать выход накопившимся эмоциям Здесь. Беспрекословно отвечая на «ты» – «Вы», он сохранил привилегию «тыкать» нижестоящим. Которые, разумеется, отвечали ему на «Вы».

Размышляя об этих двух аналогичных ситуациях, я все больше убеждался, что в их основе стоят не административные проблемы, не проблемы субординации, служебной этики, элементарной воспитанности. Нет. Основной сутью этих ситуаций является проблема человеческого достоинства. Вернее его отсутствия в поведении двух людей. Двух обруганных в тот день начальников – среднего и младшего. Но, думается, в данном случае нетрудно предугадать и характер третьего персонажа – самого большого из трех начальников. Исходя из увиденного, мне легко представить его в совершенно ином качестве – в роли «распекаемого» еще более высоким начальством. Ничего удивительного – чужое достоинство готовы растоптать, как правило, те, у которых нет своего собственного. Терпя поношения «сверху», подлаживаясь под нрав того, кто выше, смешно кичиться своим собственным показным всемогуществом. Честь – не двуликий Янус, с противоположными минами, обращенными в разные стороны. Но для подобных людей иерархическая цепочка – безжалостна – подобострастный взгляд вверх, дает определенные шансы горделиво взирать свысока в обратном направлении...

Мы – граждане страны, которая почти 70 лет назад сбросила оковы векового рабства. Мы – дети революции, которая смела классовое, экономическое, социальное неравенство, упразднила бюрократическое чинопочитание, власть денежного мешка, аристократическую кастовость. «Мы не рабы, рабы не мы» – в этой первофразе ликбеза начало не только грамоты, но и новой нравственности, нового мироощущения – осознания собственного человеческого достоинства. Разные исторические этапы в многотрудном поступательном движении общества выковали характер нового – советского человека – стойкого, работящего, гордого – человека с чувством собственного достоинства. Дореволюционное горьковское определение: «Человек – это звучит гордо», – обрело реальное, конкретное воплощение применительно к гражданину новой социалистической формации. Все это, несомненно, и неоспоримо. Но как же живучи рецидивы сословной, иерархической психологии, если до сих пор руководитель министерства ли, предприятия ли, района ли, воспринимается порой не как лицо облеченное определенной властью – строго контролируемой, народной, по сути, властью, не как работник, выполняющий конкретную, возложенную на него функцию в данном временном отрезке. Нет, должностное лицо это воспринимается некоторыми как некий абсолютный вершитель судеб в ведомственном или районном, областном, городском масштабе, и он, этот районный или ведомственный деятель, – во весь период своего функционирования – безупречно прав во всех вопросах, хотя он и обречен сразу же после своего ухода стать «козлом отпущения», виновным во всех ошибках, допущенных не им одним, а огромным количеством подчиненных, «искренно» веривших в непогрешимость всех действий обожаемого шефа. В чем корень проблемы? Опять же в человеческом достоинстве, А также в его отсутствии. Им, этим достоинством, не обладают и те, кто поют «аллилуйя» любым поступкам и словам функционирующего начальника, и кто отрекается от всего содеянного и сказанного на следующий же день после падения прежнего квазикумира. Но достоинства нет, по сути, и у самого кумира, позволяющего одурманить себя грубой или изысканной лестью, «искренним» подобострастием, «идущим из глубин души» подхалимством. Как же можно верить искренности од и панегириков, если они произносятся людьми подчиненными, следовательно, в любом случае зависимыми, небескорыстными. Одаривая их «боготворение», не унижает ли прежде всего свое собственное достоинство одаривающий? Если начальник ведет себя скромно, но при этом рой штатных подлиз поют дифирамбы его скромности, умный, порядочный, дальновидный руководитель обязан насторожиться, призадуматься: не пытается ли живучая, настырная братия конъюнктурщиков и карьеристов подкрасться с тыла, с флангов, прекрасно понимая, что лобовой, фронтальный натиск неприкрытой лести – теперь неэффективен. У приспособленцев завидная мобильность. Впрочем, если вместо лица – маска, ее и менять-то не стоит труда. Те, кто еще вчера кричали, что любой разговор о наших недостатках – злостное критиканство и очернительство, что у нас одни лишь достижения во всех мыслимых и немыслимых сферах, что все наши дома, учреждения, поля, улицы, рынки и магазины населены одними лишь идеальными героями, сегодня с такой же имитацией «гражданской страсти « меняют эйфорическую волну на волну критическую. Куда проще говорить о правде, чем говорить правду.

Уши вянут, когда слышишь на собраниях и заседаниях «ужасно смелые» речи тех, кто всегда боялся, а в глубине души и продолжает бояться всякого обновления, всех основательных перемен в производственной, хозяйственной сфере, в социально-экономических областях, в нравственном и духовном климате общества. «Дозволенная смелость» по внутреннему убеждению подобных людей – лишь один из возможных способов переждать бурю, тряску времени, пока все не вернется на круги своя. И это теснейшим образом связано с понятием человеческого достоинства. Обладающая им личность никогда не позволит себе жить по принципу – вчера я был осторожен, сегодня – смел, а завтра – как скажут... Вчера я воспевал, сегодня обличаю, а завтра...

Впрочем, у подобных людей нет не только достоинства, но и осмысления Времени, как единой, неразрывной нравственной субстанции: по их мнению, нет ни Вчера, ни Завтра. Одно вечное Сегодня.

Но, как известно, нет Сегодня без Вчера и Завтра. Завтра будет таким, каким мы его подготовим Сегодня и для этого нельзя забывать то, что было Вчера... Память тоже, как и Время, категория нравственная. «Забывчивость» одних не должна покоиться на ложном убеждении, что отшибло память всем. «Исторический склероз» – опаснейшее из общественных болезней.

Конечно, злопамятность, мстительность – чужда самому духу нашего общества и многим из тех, кто повинен во вчерашних упущениях, дана возможность перестроиться по существу. И в методах работы, и в человеческих отношениях, и во внутреннем, психологическом плане, те, кто сможет выдержать испытание Временем достойно – принесут еще много пользы стране, народу. Но поняв, что уровень новых задач, выдвинутых временем, тебе не по плечу, можно с таким же достоинством уступить место... Существует и честь отказа, мужество достойного отречения. К сожалению, есть и третий путь, далекий от достоинства – путь социальной мимикрии, имитации «нужного» поведения, при внутреннем неприятии его причин. Измена собственным убеждениям во имя сохранения собственных благ. Цинизм выжидания.

XXVII съезд КПСС решительно и твердо подтвердил необратимость процесса обновления нашей жизни, стратегию далеко идущих коренных перемен... Съезд сказал о всех упущениях открыто и четко, перед лицом всего мира заклеймив обывательскую «мудрость», сводящуюся к присказке о соре и избе... решимость очистить свой дом гораздо важнее всяческих кривотолков – своих и чужих. Средоточием, основой, сутью общественного обновления – является проблема полноценной человеческой личности. Достоинство общества определяется человеческим достоинством его членов-личностей – духовно содержательных, энергичных, интеллектуально богатых, эмоционально развитых. Порядочность, совестливость, чувство подлинного достоинства обязательные качества такой гармоничной личности.

\* \* \*

Достоинство, как и совесть – понятия стабильные, они не могут эластично подтягиваться под обстоятельства. Нелепо «консервировать» совесть до поры, до времени, Живем то всего раз. Невозможно пренебречь достоинством в определенной ситуации, рассчитывая восстановить его в другой. Гонор, высокомерие, надменность – прямые антиподы достоинства. Как правило, это взаимоисключающие критерии, хотя порой видимость может запутать нас – показное чванство примем за подлинное достоинство. Я знал людей с большим гонором, с весьма спесивыми манерами, с постоянным снисходительно-скучающим выражением на лице. Впрочем, слово «постоянно» я употребил неточно, потому что надменно-высокомерные по отношению к большинству человечества, эти люди мгновенно преображались в общении с теми, от кого они так или иначе зависели – их сурово-непроницаемый взгляд становился искательно-заискивающим, недоступно гордое выражение лица превращались в выжидательно-внимательную мину. Это и есть утеря достоинства. Если ты улыбчив, доброжелателен, остроумен, обаятелен – не храни эти свои доблести для соответствующих обстоятельств и «полезных», нужных людей. Будь так же приветлив с чистильщиком обуви, как и с директором завода, института, совхоза. Если же ты хмур по натуре, неразговорчив, замкнут, не заливайся соловьем на престижном приеме, не удосужив ответом приветствие лифтерши...

Я встречал служителя муз, человека с гонором, тщеславного и самоуверенного. Болезненно самолюбивый и столь же болезненно самовлюбленный, он однажды совершенно преобразился прямо на моих глазах, когда унижаясь, упрашивая, настаивая добивался престижной премии. Его достоинство (точнее отсутствие этого чувства) позволяло ему быть просителем наедине, ради того, чтобы стать гордым триумфатором прилюдно. Убедив кого надо, что он, только он один и достоин вожделенного поощрения, всеми правдами и неправдами добившись его, сей служитель муз скромно, потупив очи, заявлял, что удостоен вовсе не он, а все его коллеги, весь народ, чуть ли не все человечество в его лице.

А есть ли в мире степень поощрения, наипрестижнейшая премия, из-за которых человек мог бы поступиться самой главной из наград жизни – своим достоинством?

Один начальник... Впрочем, хватит о начальниках. Спустимся с начальственных эмпирий к элементарной текучке быта. К так называемой сфере обслуживания, с которой так тесно связаны часы и минуты нашей жизни, наше настроение и, следовательно, работоспособность, распорядок нашего времени, а значит мера отдачи нашего труда обществу, стране, коснемся мелочей повседневности, которые не так редко бросают вызов чувству человеческого достоинства...

Швейцар с генеральской осанкой (по крайней мере с полковничьей выправкой), стоящий у дверей гостиницы, готов уничтожить, испепелить вас суровым взглядом, если, не дай бог, вы замешкались, предъявляя визитную карточку гостя. При ее же утере или при ее отсутствии прочих соответствующих пропусков он даже разговаривать с вами не станет, чего доброго еще и вышвырнет. Честь ему и хвала, ведь он бдительно стоит на страже правил и инструкций, утвержденных для гостиниц и высотных домов гостиничного типа. Но так почему же, когда вы суете этому самому швейцару, торжественному как бронзовый монумент, трешку или даже рубчик, от его монументальной непреклонности не остается и следа. Он рвется нести не только ваш чемодан, а чуть ли не вас самого на руках... Не таким уж неумолимым стражем правил оказывается этот истукан, если ничто человеческое ему не чуждо... Он не только не гнушается подачками, он ждет их, рассчитывает на них.

Конечно, он обязан контролировать вверенный ему участок, но хамить он вовсе не обязан. А хамит он потому, что, не имея собственного достоинства, старается унизить ваше. Я уважал бы не только того швейцара, который зорко следит за входящими в гостиницу, подозревая в каждом грабителя или поджигателя, но и того, еще мною невстреченного, кто с негодованием отверг бы мятый рубчик... А много ли встречал каждый из нас официантов, горделиво возвращающих нам чаевые?

Пустой дневной ресторан. Ты – командированный из другого города, пришел сюда не для загула, не для обильных возлияний, не для прожигания жизни, а для того, чтобы просто пообедать. В зале сорок свободных мест, три посетителя (ты – четвертый), и двенадцать молодых, цветущих, «элегантных как рояль» официантов. Они оживленно беседуют на неизвестно какие, но, видимо, насущно важные и неотложные темы. Жадно пытаясь поймать небрежно скользящие, проходящие сквозь тебя, как рентгеновский луч, взгляды этих тебя незамечающих гренадеров, ты мучительно думаешь о бесцельно, безвозвратно утерянных минутах, часах такого дефицитного в наш век времени... После твоих долгих молчаливо зазывных взглядов, красноречивой мимики и жестов, один из гренадеров неторопливой, ленивой походкой приближается к твоему столу, чтобы вскользь сообщить: этот стол не обслуживается? Почему именно этот столик? Неизвестно. То ли стол заказан (кем, когда, как, на какое время?), то ли заминирован. Угораздило же тебя сесть именно за этот стол, в то время, как вокруг еще сорок свободных мест. Впрочем, убежден – куда бы ты не сел, наверняка выяснилось бы, что как раз именно этот стол и не обслуживается. Важно не умение найти, «вычислить» обслуживаемый стол. Важно другое, а именно – самоутверждение официанта. Важно, чтобы ты осознал простую истину: хотя он, официант, и вынужден обслуживать тебя в течение короткого и весьма определенного отрезка жизни, в компенсацию такой несправедливости судьбы он непременно докажет тебе свое превосходство. Он может пересадить тебя. Усадить при наличии сорока свободных мест именно за тот столик, за которым уже сидят, разговаривают, пьют. Может им нежелательно твое присутствие, может у них свои беседы, не предназначенные для посторонних ушей. Может, они настроены весело, игриво, а тебе не хочется их компании. Может, наконец, и тебе самому не хочется есть в присутствии других людей. Ты, может быть, чавкаешь, когда ешь... Или чавкают они... В любом случае ты предпочитаешь есть за отдельным столом, при наличии стольких свободных мест – это твое право. Ан нет. Ты еще должен отстоять это свое право. Ну хорошо, отстоял, доказал, в виде крупного одолжения тебе позволили остаться на своем месте, не пересадили за чужой или другой стол. Все равно в арсенале официанта еще немало способов поставить тебя на место. Он может заставить тебя ждать часами, может объявить, что настал санитарный час, а твой час, соответственно, отодвинулся на неопределенное время. Он может не записывать твой заказ, сославшись на свою хорошую память или на отсутствие карандаша, а потом вместо котлет по-киевски принести азу по-татарски, уверяя, что именно это ты и заказывал и вообще это твое любимое блюдо с самого детства. Способов испортить настроение человеку много. Все зависит от выдумки, энергетических запасов, душевного настроя официанта. Вступать в нудные пререкания, ссылаться на какие-то правила, долго выяснять отношения – все это не для тебя, не для твоих нервов: своих собственных стрессов хватает. И не за мелкой перебранкой пришел ты сюда, а с самой непритязательной потребностью утолить голод. И самое главное – не хочется так нелепо унижать свое достоинство по столь ничтожному и мелкому поводу. И опять же, все, все простил бы я нагловатому официанту и никак не могу простить лишь одно – его прямо-таки актерское (по системе Станиславского) преображение прямо на глазах, когда, после напряженной, наэлектризованной трапезы, оставляешь ему – своему мучителю – лишние купюры. С количеством купюр связана и степень художественного перевоплощения. Нет, это уже не он. Не может человек так измениться за считанные минуты (считанные деньги). Это уже другой официант – услужливый и корректный, предупредительный и вежливый, ласковый и нежный, галантно подвигающий стул, когда ты, расплатившись, встал, и трепетно сдувающий пылинку с твоего пиджака. У этого официанта и в помине нет чувства собственного достоинства, зато есть собственное «Жигули», припаркованное у входа в ресторан. Купленное на наши с вами подачки. А не унизили ли и мы свое достоинство, купив финальную добрую улыбку официанта и нейтрализовав в памяти его хамские повадки?..

\* \* \*

Оторвемся снова от грешной земли, воспарим в небеса – окажемся на этот раз в высотах в прямом смысле слова: мы в комфортабельном салоне аэрофлотского чудо-лайнера.

Как-то раз пришлось и мне лететь из-за рубежа первым классом. В салоне была вполне нормальная температура, но мне предлагали то роскошный плед, чтобы я не простыл, то прохладительные напитки, дабы не испытывал жажду. По нравам тех лет предлагали выпить и кое-что покрепче. Очаровательные стюардессы были внимательны, предупредительны, они заботились о моем рационе, о круге моего чтения...

Через два дня, уже внутренним рейсом, в самолете, разумеется, без «классового» распределения мест, я должен был лететь в свой город. Я прибыл в аэропорт за час с лишним до времени вылета. Наш рейс, как и десяток других, переносился на неопределенное время, а пока всего лишь на два часа. В этом и заключалось дело – если бы рейс откладывался на шесть или десять часов, можно было бы соответственно спланировать свое время. Но срок в два часа привязывал тебя к определенной точке – к своему чемодану: багаж не принимался ни у стойки регистратуры, ни в камере хранения.

Через два часа тем же бесстрастным тоном было сообщено, что дополнительное объявление о нашем рейсе будет через два часа. К справочному бюро невозможно было пробиться. Те счастливчики, которым все же это удалось, получили ответ, лаконизму которого позавидовал бы сам Хемингуэй с его пресловутым телеграфным стилем: – Нет. Не знаю. Ждите объявлений.

И мы ждали. Терпеливо, покорно. Безмолвно, безнадежно. Через каждые два часа нас радовали обещанием новых вестей через все те же неизменно стабильные два часа.

16 часов простоял я у своего чемодана на ногах, не имея возможности отлучиться ни на шаг. Камеры хранения из-за обилия застрявших рейсов были наглухо закрыты. Буфетную стойку можно было взять лишь кавалерийским наскоком. Все стулья, кресла, диваны, все на чем можно было сесть, прилечь, примоститься, было оккупировано давно и, казалось, навсегда. На лестничных ступеньках, расстелив газеты, лежали женщины, дети...

Меня угнетала не физическая усталость, голод, жажда. Душило чувство унижения. Мысль о том, что люди, ведающие пассажирской службой аэропорта, так наплевательски равнодушны к физическому состоянию женщин и мужчин, стариков и детей, здоровых и больных, сильных и слабых, преступно безучастны к их человеческому достоинству, полагая, что имеют дело лишь с покорной массой томящихся в ожидании пассажиров, а не тысячами отдельных граждан, с личностями, с людьми.

Наш народ героически вытерпел невзгоды суровых времен – эвакуации – промерзшие вагоны, немыслимое многолюдье эшелонов, бесконечные пересадки и ожидания на перронах, продуваемых всеми ветрами. Но то была война... Не до удобств было...

Сейчас, в мирное время, на исходе века, с его ошеломляющим техническим прогрессом, торжеством комфорта и сервиса, крупный современный аэропорт не может обеспечить своих пассажиров достаточным количеством чая, кофе, булок, кресел, мест в комнатах матери и ребенка, полок в камерах хранения, более или менее вразумительной информацией о задержках рейсов. Я согласился бы простоять не сходя с места, не то что 16 часов, а все 24, но дайте мне хотя бы точную информацию о времени вылета, не морочьте голову двухчасовыми отсрочками. Ведь вам-то хорошо известно, что вылет откладывается не на два часа, а на явно больший срок времени. Так скажите об этом. Объясните причину. Внятно, толково, ясно... И я уверяю вас, наполовину уменьшится раздраженность, недовольство, нервозность... извинитесь перед женщиной с детьми, улегшейся на лестничных ступеньках.

Поднимите людям настроение – добрым словом ли, приятной музыкой ли, ну чем-нибудь таким, чтобы они поняли – их уважают, с ними считаются, о них заботятся – хотя бы в чисто моральном плане...

А то ведь получается, что все это в порядке вещей, что все происходящее будто бы совершено нормально – через каждые сто двадцать минут откупаться одной скупой фразой насчет следующих двух часов. Да какие там извинения... – мы тут делом занимаемся, нам не до извинений или приятной музыки, – последует наверняка ответ... Объявляя интеллигентскими замашками, прекраснодушием и слюнтяйством нормы человеческого отношения к людям, «суровые прагматисты» наглядно демонстрируют и то, каким образом они занимаются делом... и каковы результаты подобной деятельности. Обстановка в аэропорту демонстрировала это довольно-таки впечатляюще.

Можете вообразить, что началось, когда наконец-то объявили наш рейс. Мы бросились к трапу самолета, как пассажиры «Титаника» к шлюпкам. Мы штурмовали небо, как санкюлоты Бастилию. Добравшись до своих кресел в самолете, мы не сразу и вспомнили, что вес собственного тела можно ощущать не только ногами... И тут, в счастливые мгновения обретенного относительного покоя, стюардесса хорошо поставленным голосом объявила, что экипаж удалился на отдых, и самолет наш вылетит утром (была полночь). Она добавила, и в этом была цель объявления, что все пассажиры обязаны покинуть самолет до времени вылета, то есть до утра. Это было уже не унижение нашего пассажирского достоинства, это был вызов здравому смыслу. Это было издевательством, глумлением над людьми в конце концов. Мы, пассажиры, решили защищаться в креслах, как те же санкюлоты на баррикадах – ни шагу со своих еле обретенных мест... Стюардесса угрожала милицией, ссылалась на какие-то правила, которые, оказывается, запрещают пассажирам проводить часы вынужденного ожидания в удобных креслах самолета, но ничего не имеют против многочасовых томительных ожиданий на ногах…

Истошно заплакал ребенок. – Дайте ребенку воды, – попросила мать стюардессу.

– До взлета и набора высоты запрещается открывать бутылки с водой, – бесстрастно отчеканила стюардесса и дала ценный совет: – Подождите до утра.

Ребенок завопил еще сильнее.

Я вспомнил свой «первый класс» на почти таком же аэрофлотовском самолете, вспомнил прохладительные напитки, плед, журналы, газеты, вышколенную вежливость тех стюардесс… А ведь классы у нас существуют лишь в самолетах – подумалось мне – в нашем обществе все равны и все организации, учреждения, министерства, комитеты, союзы, ведомства, агентства и т.д. и т.п. в том числе и славный «Аэрофлот», должны строго уважать достоинство и честь любого гражданина, независимо от того, каким классом, куда и откуда он летит, едет, плывет...

Ведь все, в конечном счете, сводится к человеческой личности, к его самоуважению, к чувству собственного достоинства... Именно это чувство внушаем мы, подрастающему поколению, помня мудрое русское наставление, внесенное Пушкиным в эпиграф «Капитанской дочки»: «Береги честь смолоду».

Чувство профессионального достоинства не позволит настоящему рабочему человеку выдать заведомый брак, каменщику строить вкривь и вкось, хирургу зашить пациента небрежно, председателю колхоза заниматься приписками, а поэту черной халтурой. Но если человек это, прежде всего, личность, а потом уже представитель той или иной профессии, то и человеческое достоинство основа основ его «я».

Атрофированность чувства чести в людях может обернуться серьезным моральным уроном для общества в целом. Пренебрегая фактором человеческого достоинства в сферах обслуживания, на транспорте, в быту, можно породить тип людей в какой-то степени ущемленных, понукаемых и помыкаемых – то есть тип, бесконечно далекий от коммунистических идеалов.

... А в ту ночь, в самолете ребенку все же дали воду. Дали после того, как все пассажиры, усталые, измученные, изнуренные, но не потерявшие человеческого достоинства, заявили, что напишут коллективное письмо куда надо с указанием фамилии стюардессы, если она сейчас же не принесет воды ребенку. Это возымело действие. Ребенок напился, успокоился. На большее мы, пассажиры, не решились. «Как-нибудь дотерпим до утра, не умрем же от жажды», – наверное, думал в душе каждый. Умение терпеть не ропща – это ведь тоже достоинство...

\* \* \*

Утром хорошо отдохнувший, выспавшийся экипаж (пишу об этом без иронии: то, что экипаж должен хорошо отдохнуть для четкого выполнения своей сложной работы – аксиома) поднял наш самолет в заоблачные выси. Но до этого, вслед за членами экипажа по переднему трапу поднялись на борт еще трое свежевыбритых пассажира и расселись в креслах первого ряда первого салона. Один из них оказался моим знакомым. В ту пору он занимал важный пост.

– И ты летишь этим рейсом? – удивился он, увидев меня. – Где же ты был?

Я вкратце рассказал ему историю последних суток своей жизни.

– Как жаль, что я тебя не увидел раньше, – искренне огорчился мой сановный знакомый. – Мы просто замечательно провели время. Смотрели интересную телепередачу, поужинали, поехали в город, вернулись прямо к взлету, чуть не проспали... Жаль, жаль, я не знал, что ты здесь...

Я вспомнил давний фельетон большого и всегда актуального писателя Джалила Мамедкулизаде. В этом фельетоне, написанном в 1922-м году, он рассказывает, как однажды увидел внушительную очередь перед железнодорожной кассой. Люди стояли за билетами на поезд. Рядом была другая касса; которая тоже была открыта, но перед ней никакой очереди не было. «Вторая, касса для ответработников», – объяснили старому писателю. «Это просто замечательно, – обрадовался Джалил Мамедкулизаде, – а почему бы не провести и отдельную железную дорогу: одни рельсы для ответработников, другие для простых граждан».

Я рад, что мой знакомый не встретил меня в часы долгого ожидания перед посадкой и не повел за собой туда, где телевизор, кондиционер, мягкие кресла и точная информация о времени вылета...

Да я и не пошел бы... Если мне и есть чем гордиться в данной ситуации, то именно этим...

Апрель 1986г.

# Очищающий стон кяманчи

Вначале несколько объяснительных слов в связи с заглавием моих заметок, ибо, по всей вероятности, не все знают значение этого экзотического слова – КЯМАНЧА.

Кяманча – это азербайджанский национальный струнно-смычковый музыкальный инструмент, на котором испокон веков исполнялась наша народная музыка, и в числе исполнителей, также испокон веков, были как азербайджанцы, так и армяне. Вообще, в культуре, музыке, бытовых особенностях, кухне этих, увы, ныне столкнувшихся народов – много общего. Собственно говоря, и сталкиваются не народы сами по себе, а определенные силы в их среде, при активном, хотя и невидимом участии заинтересованных кругов извне. Но об этом, как и о самой кяманче – чуть позже.

Вначале же мне – на пороге нового тысячелетия, хотелось бы оглянуться без гнева и пристрастия на свой уходящий век, в котором нам довелось родиться, жить, работать, страдать и радоваться, надеяться и терпеть разочарования. Вопреки календарям (да и календари у разных народов разные, скажем, у мусульман, буддистов другое летосчисление), но все же если за основу брать принятый человечеством христианский отсчет времени, – так вот, вопреки этому календарю XX век начался не 1 января 1901 года, а несколько позже, с революционных событий 1905 года в России, на Дальнем и Ближнем Востоке, и завершился в декабре 1991 года в Беловежской пуще распадом СССР и исчезновением так называемого социалистического лагеря, жестко противостоящего, по существу, всему остальному миру.

И вот у меня, как, наверное, у многих, такое ощущение, что век XX уже закончился, но век XXI еще не наступил и неизвестно, наступит ли он 1 января 2001 года. Лицо столетия определяют не формальные даты, а эпохальные события.

Лицо XX века определили революции, перевороты и войны. Конечно, и в предшествующие века были кровопролитные войны, грандиозные революции, но ни одна из них не оказывала такого тотального воздействия на судьбы всего человечества, как катаклизмы нашего столетия. Я выскажу мысль, которая, конечно же, может быть оспорена. Вопреки общепринятому мнению, на мой взгляд, в XX веке произошли не две мировые войны, а три. Ушли в историю войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, оставив после себя не только ни с чем не сравнимые человеческие потери, материальные разрушения, но и руины духа, рухнувшие надежды нескольких потерянных поколений.

В настоящее же время – вот уже более полувека – идет третья мировая война: от Кореи, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, через Кашмир, Афганистан, Ближний Восток до Африки и Центральной Америки, а в последние годы она включает в свою кровавую орбиту и Балканы. И эта война, по-моему, имеет не меньше прав именоваться мировой, чем две предшествующие. Некоторые политики определяют все это как дугу нестабильности, но это слишком мягкий эвфемизм для определения кровавых столкновений, в которых погибают сотни тысяч людей, рушатся веками устоявшиеся ценности быта, взаимоотношения народов, мечты и чаяния целых изувеченных физически и духовно поколений, принесенных в жертву на алтарь ложно понимаемых политических приоритетов, неверно осознаваемых национальных и государственных интересов.

Истинные или мнимые национальные интересы – вот, видимо, наиболее точное определение причин и побудительных мотивов третьей, необъявленной мировой войны.

Если в первых двух войнах XX века сражались страны или группа стран друг с другом, то в третьей мировой войне противостоят друг другу этносы внутри самих стран, но все же это не гражданская война, как можно было бы определить на первый взгляд, а этнические столкновения, локальные каждая в отдельности, ограниченные пределами определенного региона, но в своей совокупности образующие зловещую картину мирового пожара.

Это как бы отдельные, автономные участки общей мировой бойни, но причины этих трагических событий в рамках границ каждого отдельного государства нередко одни и те же. Разумеется, с учетом специфических особенностей и условий каждой страны и каждого конфликта.

Концептуальная основа этих кровавых столкновений, порой переходящих в настоящие боевые действия, в том, что очень трудно увязать два основополагающих принципа международного кодекса – принцип территориальной целостности страны, неприкосновенности ее границ – с одной стороны и стремление проживающих в этих странах национальных меньшинств к самоопределению – с другой. Оба этих принципа, безусловно, крайне важны для стабильности как вовлеченных в конфликт регионов, так и мира в целом. Любой пересмотр границ, их передел или перекройка не только губительны для данной страны, но и чреваты созданием прецедента для всех остальных государств. Цепная реакция подобных эксцессов может взорвать мир.

С другой стороны, должно быть понято стремление любой нации, большой или малой, сохранить свою самобытность, своеобразие и уникальность своей культуры, языка, экономического уклада, ментальности.

Цивилизованное, но, к сожалению, пока еще далеко нереальное решение этой донельзя сложной и болезненной проблемы – в увязке двух этих принципов. Территориальная целостность страны должна быть сохранена без всяких оговорок, но в этой единой стране национальным меньшинствам должны быть созданы все условия для полноценного морального и материального существования, для гармоничного развития своей экономики, культуры, языка в условиях широкого самоуправления. То есть тот самый идеал, который уже давно достигнут в развитых европейских странах, таких, скажем, как Швейцария. Хотя и сама сытая и благополучная Европа временами содрогается от взрывов в Ольстере или в Стране басков.

В странах с компактным проживанием национальных меньшинств закономерны автономии с самыми широкими правами и с самым высоким статусом. Именно такую форму национальной автономии для Нагорного Карабаха предлагает Азербайджан, получая в ответ неизменный отказ. Отказ, опирающийся на аргументы свершившегося факта и на заемную силу. Кстати, 200 тысяч азербайджанцев, компактно проживающих, до их поголовного изгнания, на территории Армении, и мечтать не могли о какой-либо форме автономии.

Именно с карабахского конфликта, к которому советское руководство того времени отнеслось преступно беспечно, возник прецедент, который в конце концов привел к Чечне.

Политика двойных стандартов, которой до сих пор отдается предпочтение в определенных кругах и России, и Запада, еще более усугубила проблему и создала еще одну, дополнительную новую проблему в самом общественном сознании как Азербайджана, так и Армении. В азербайджанском, по всей видимости, и в армянском обществе возникло противостояние между теми, кто относился и относится, несмотря ни на что, дружелюбно к России, уважительно к ее истории и с восхищением к ее великой культуре, и теми, кто воспринимает политику северного соседа как политику двойных стандартов и предлагает дистанцироваться от нее как можно дальше.

Будучи глубоко признательным за приглашение высказаться по поводу Кавказа и его будущего, понимая и уважая благородные цели инициаторов книги, не хотелось бы здесь более подробно излагать свою точку зрения на истоки и причины карабахского конфликта, приводить свои доводы и аргументы, – а их у меня достаточно, я, тем не менее, не мог, хотя бы в общих чертах, не коснуться проблемы, которая сегодня является самой острой проблемой и кровоточащей реальностью Азербайджана и, я думаю, и Армении. И представляю, предаваясь фантазиям, как было бы замечательно, если бы того конфликта, как и конфликтов в Абхазии, Осетии, Чечне, не было, и каким благословенным краем – раем (простите за каламбур) туризма, гостеприимства, благоденствия стал бы наш Седой Кавказ. Кавказ, процветающий в ладу всех ее населяющих больших и малых народов, в добром соседстве с сопредельными странами. Фантазии фантазиями, но ведь такое время рано или поздно непременно наступит. Хочется, чтобы оно наступило не слишком поздно. Это еще и эгоизм 63-летнего человека, мечтающего увидеть счастливое время своими собственными глазами и хоть немножечко пожить в нем на старости лет.

Мои фантастические мечты все же опираются на реалии истории. В войнах – больших и малых – победителей не бывает, ибо якобы побежденная сторона копит в себе обиду и жажду возмездия, а это залог будущей войны, результаты которой могут быть прямо противоположными. А ведь альтернативой проигрыша может быть не реванш, а согласие и взаимопонимание, мужество найти в себе силы понять другую сторону.

Европейские народы пришли к этому пониманию, умению жить в мире и согласии, экономически взаимовыгодно сотрудничая (что не исключает здоровой конкуренции в определенных областях), через трагический опыт двух больших войн. И если есть отдельные исключения, – вспомним опять же Балканы, – они лишь подтверждают необратимость самой перспективы разрешения возникающих споров невоенным путем.

Я надеюсь, что в XXI веке – в новом тысячелетии – многие страны Азиатского и Африканского континентов придут к таким же формам толерантного взаимосуществования через не менее горький опыт все еще продолжающейся третьей мировой войны в разных регионах этих огромных пространств.

И закончатся, наконец, не столетние, а тысячелетние войны государств, рас и наций.

Ведь должен же прорыв в космос – свершение XX века – стать в грядущих десятилетиях качественно более крупным скачком, более дальним прыжком в глубины Вселенной, а в этом случае он – этот качественно новый скачок человечества в глубины космоса – неизбежно должен породить в населяющих Землю разумных существах чувство единства, общности перед лицом загадок или угроз Галактики, ощущение нашей планеты, не как калейдоскопа стран, а как единого Отечества. В том случае, если мы встретимся где-то с иными формами разумного существования, мы независимо от принадлежности к разным нациям и расам обнаружим свою однородность перед лицом другой цивилизации, и это сплотит нас, как сплачивается каждый народ во время противостояния с чужой силой. А если мы все же одиноки во Вселенной, то это чувство космического одиночества должно заставить нас забыть все распри и дрязги между собой во имя нашей уникальной жизни и ее хрупкой недолговечности перед лицом Бесконечности во времени и пространстве.

Написав эти строки, я подумал о том, что иной читатель воспримет мои «космические пассажи» как уход от конкретных решений межнациональных проблем на Кавказе, как упование если не на Бога, то по крайней мере, на «космических пришельцев» для преодоления наших реальных бед, с которыми мы сами не в состоянии справиться. Но это отнюдь не так. Просто я уверен, что прогресс науки – а он в наше время в основном связан с космическими задачами, – заставит землян жить в иных координатах, изменить сам способ мышления, основанного ныне на местечковых инстинктах.

Но еще большую надежду на решение болезненных вопросов я возлагаю на культуру. Может, это тоже плод фантазии мечтателя, но решение многих вопросов, казалось бы, таких далеких от забот культуры, я вижу в активной роли литературы, искусства, духовной деятельности в целом. Литература, музыка в этом направлении могут сделать больше, в этом я абсолютно убежден, чем политика и дипломатия, не говоря уже об оружии. Народы не могут и не должны разговаривать друг с другом орудийными залпами, не должны ездить друг к другу на танках, жить в постоянном страхе взрывов, террористических актов, растить поколения, отравленные ненавистью, привыкшие к жестокости и насилию с детства.

Если остервенение, ненависть, мстительность – это тоже эмоциональные состояния, то ведь есть и другие эмоции – ностальгические чувства к мирному прошлому, светлые воспоминания о минувших днях дружеского общения, есть, наконец, общая память о совместно пережитом – репрессиях, экономических невзгодах, несвободе, потерях...

И здесь, в конце моих заметок, я хочу вернуться к их началу, к кяманче, и объяснить, почему я выбрал это слово и символом чего оно является.

У классика нашей литературы Джалиля Мамедкулизаде есть небольшая одноактная пьеса, которая так и называется – «Кяманча». В основе – события начала века, когда тоже происходили, правда, не в столь глобальных масштабах, азербайджано-армянские столкновения.Вооруженный отряд азербайджанцев в горах... Вдруг кто-то замечает одиноко бредущего из одного горного села в другое старого человека. Им оказывается армянин, которого знает каждый в этих горах – он замечательный исполнитель на кяманче. Его тут же захватывают, и кто-то предлагает сразу убить – ведь идет война не на жизнь, а на смерть.

Не надо сразу обвинять азербайджанцев в излишней жестокости, по ходу текста выясняется, что у каждого из участников отряда совсем недавно убиты близкие люди – члены семьи, родственники, друзья. И неважно, что мстить будут совершенно невинному человеку, ведь и убитые родственники членов отряда тоже ни в чем не были повинны.

На казни особенно настаивает главарь отряда – крутой и суровый человек, у которого погибла вся семья. Решение принимается убить, но вдруг кто-то вспоминает, что старик изумительный музыкант-исполнитель. Предлагают, чтобы он напоследок, перед смертью, исполнил что-нибудь на кяманче, благо и инструмент при нем – старик возвращался со свадьбы.

Обреченный старик просит лишь об одном: чтобы кяманчу после его смерти отдали сыну, он и его растит музыкантом. И начинает играть.

Печальные звуки кяманчи, напоминающие человеческий стон, гулко раздаются в обезлюдевших горах, и самый жестокий человек в отряде, его глава, опаленный горем и тоской, вдруг говорит: «Прекрати, бери свою кяманчу и убирайся с моих глаз.

Когда ты играешь, все былое оживает у меня в сердце, все минувшие дни...».

Скупой на слова главарь вспоминает то блаженное время, когда не было никакой вражды между народами, когда были общие радости и горести, когда люди встречались на свадьбах. Когда не было между ними глухой стены ненависти – убийств, крови, жестокой мести. И, отпуская старика, он говорит слова, которые вроде бы и не очень соответствуют его твердому характеру: «Сейчас же уходи, иначе я убью тебя, а потом и себя».

Узнавая страшные подробности кровавых сцен карабахской беды, я всегда находил надежду, быть может, последнюю, в том, что когда-нибудь все – и армяне, и азербайджанцы – прислушаются к звукам кяманчи, к ее грустным мелодиям, к ее стону и очистятся от всего, что мешает понимать боль и страдания друг друга.

И в этом будет залог того, что ломкий голос кяманчи заглушит, наконец, грохот орудий и лязг танков.

Ведь у каждого народа есть такой инструмент, способный затронуть самые сокровенные струны очерствевших сердец. У одних он может называться кяманчей, у других – чеховской «скрипкой Ротшильда».

Оглавление

[Современник от судьбы 3](#_Toc406584848)

[Последняя ночь уходящего года 7](#_Toc406584849)

[Рассказ гардеробщицы 17](#_Toc406584850)

[Наутро после той ночи 20](#_Toc406584851)

[Происшествие в полночь 28](#_Toc406584852)

[Я, ты, он и телефон 64](#_Toc406584853)

[Грузинская фамилия 83](#_Toc406584854)

[МОЛЛА НАСРЕДДИН-66 96](#_Toc406584855)

[Без шуток 96](#_Toc406584856)

[Утро селения Кизиловка 99](#_Toc406584857)

[Стакан воды 102](#_Toc406584858)

[Цепочка 105](#_Toc406584859)

[Приключение чисел 115](#_Toc406584860)

[Рука руку моет, или Приглашение на бозбаш 119](#_Toc406584861)

[Интересное исследование 123](#_Toc406584862)

[Ореховая скорлупа 127](#_Toc406584863)

[Наш голова 129](#_Toc406584864)

[Овцы мои 131](#_Toc406584865)

[Сказка о добром короле 139](#_Toc406584866)

[Печальный фарс 151](#_Toc406584867)

[Времена года, или что было сокрыто в папке 159](#_Toc406584868)

[Обязательно встретимся!.. 171](#_Toc406584869)

[ПРИКАЗЫ ПРИЗРАКОВ В ПОГОНАХ 187](#_Toc406584870)

[Чистосердечное признание 197](#_Toc406584871)

[Кто дали? Или за здравствует свобода слова! 200](#_Toc406584872)

[Что отведал? – Крепкого леща! 212](#_Toc406584873)

[ТЬМА 231](#_Toc406584874)

[КОНТАКТ 237](#_Toc406584875)

[Красный лимузин 280](#_Toc406584876)

[Наваждение 294](#_Toc406584877)

[НОМЕР В ОТЕЛЕ 320](#_Toc406584878)

[Раздумья об Азербайджанстве 381](#_Toc406584879)

[Достоинство 400](#_Toc406584880)

[Очищающий стон кяманчи 411](#_Toc406584881)

1. Хала (азерб.) – тетя. [↑](#footnote-ref-1)
2. Уста (азерб.) – мастер. [↑](#footnote-ref-2)
3. Азербайджанское блюдо: пирожок с начинкой из орехов и специй. [↑](#footnote-ref-3)
4. Мозалан, Лаглагы, Гыздырмалы, Эрдэмхаял – псевдонимы писателей, сотрудничавших в журнале «Молла Насреддин». [↑](#footnote-ref-4)
5. Гочи – наемники, выбивающие долги. [↑](#footnote-ref-5)
6. Аваз Авазов – непереводимая игра слов, которую можно приблизительно передать как Взамен Взаменов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Гарын Кулу – игра слов, буквально означающих: чревоугодник. [↑](#footnote-ref-7)
8. Гарын (азерб.) – живот. [↑](#footnote-ref-8)
9. Аксакал – буквально: белобородый, употребляется как знак уважения к старшему. [↑](#footnote-ref-9)
10. Имя и фамилия корреспондента повторяют название первого романа Марлена Мамедова: Бахар – весна. Гюнешли – солнечная. [↑](#footnote-ref-10)
11. Бирмай – Первомай. [↑](#footnote-ref-11)
12. Мамед Эмин Расулзаде – лидер независимой Азербайджанской Республики (1918-1920гг.), эмигрировавший после установления Советской власти в Турции. [↑](#footnote-ref-12)
13. Иран дуст – друг Ирана. [↑](#footnote-ref-13)
14. Тюрксевер оджагы – общество тюркофилов. [↑](#footnote-ref-14)
15. Донер – разновидность шашлыка, который готовят в Турции. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ильдениз Куртулан – турецкий писатель, друг и переводчик автора. [↑](#footnote-ref-16)
17. Мерхаба (тур.) – Здравствуйте! [↑](#footnote-ref-17)
18. Хошча галын (тур.) – Счастливо! [↑](#footnote-ref-18)
19. Гюле-гюле (тур.) – До свидания! [↑](#footnote-ref-19)
20. Тасаттюр – правила, предписывающие телесное наказание. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ах, Наташа, Наташа

    Горю я в огне твоём. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hırıldayır (азерб.) – ухмыляется, хихикает. [↑](#footnote-ref-22)
23. Хırıldayır (азерб.) – хрипит. [↑](#footnote-ref-23)
24. «Шахс-бир» – личность, «бир» – один. [↑](#footnote-ref-24)
25. «Алма» – яблоко, «нийе» – почему? [↑](#footnote-ref-25)
26. Догу кёй («Восточный город») (поселение). [↑](#footnote-ref-26)
27. Автор сохраняет турецкое произношение имени (прим.переводчика). [↑](#footnote-ref-27)
28. Боз гурд – серый волк, тотем древних тюрок. [↑](#footnote-ref-28)
29. Хадж – паломничество в Мекку. [↑](#footnote-ref-29)
30. Автор ручается за подлинность слов царя Соломона, и в случае предъявления ему судебного иска готов представить суду соответствующие доказательства. См. Ем.Ярославский «Библия для верующих и неверующих». [↑](#footnote-ref-30)
31. О времена, о нравы – перевод с латинского оригинала автора. [↑](#footnote-ref-31)
32. ОРУ – Особое Разведывательное Управление. [↑](#footnote-ref-32)
33. ПРУ – Политическое Разведывательное Управление. [↑](#footnote-ref-33)
34. ВРУ – Высшее Разведывательное Управление бывшего КГБ СССР – примечание автора. [↑](#footnote-ref-34)
35. ЖРУ – Женское Разведывательное Управление. [↑](#footnote-ref-35)
36. МРУ – Морское Разведывательное Управление. [↑](#footnote-ref-36)
37. ТРУ – Техническое Разведывательное Управление. [↑](#footnote-ref-37)
38. Скэллэр и скэмбер – специальные аппараты, мешающие прослушиванию – прим.автора. [↑](#footnote-ref-38)
39. Азербайджанское национальное блюдо. [↑](#footnote-ref-39)
40. Зыррама (азерб.) – охламон, недотепа. [↑](#footnote-ref-40)
41. Сагсаган – сорочка. [↑](#footnote-ref-41)
42. Сандыг (азерб.) – сундук. [↑](#footnote-ref-42)
43. Смысл выражения: «Тот, кого считаю красивым». [↑](#footnote-ref-43)
44. «Айы» – медведь; «айым» можно истолковать и как «мой медведь» и как «моя луна». [↑](#footnote-ref-44)
45. Гаймаг – сливки, маймаг – недотепа. Размазня. [↑](#footnote-ref-45)
46. «Давай подеремся» [↑](#footnote-ref-46)
47. Созвучно азербайджанскому «сек ким сен?» – «Кто ты есть?» [↑](#footnote-ref-47)
48. Название известного рассказа Дж.Мамедкулизаде о «бывших» (Ред.) [↑](#footnote-ref-48)
49. Древняя цитадель в Баку. [↑](#footnote-ref-49)
50. Очевидна аллюзия с персонажем сатирической повести Дж.Мамедкулизаде. [↑](#footnote-ref-50)
51. Басти Багирова – Герой Труда, знатный хлебороб советских времен. [↑](#footnote-ref-51)
52. Джан-джияр – закадычный друг. [↑](#footnote-ref-52)
53. Джамашир – нижнее белье. [↑](#footnote-ref-53)
54. Мырыг – щербатый. [↑](#footnote-ref-54)
55. Марыг т– засада (при охоте). [↑](#footnote-ref-55)
56. Той – свадьба, пир. [↑](#footnote-ref-56)
57. Поговорка, смысл: «еще есть слон, который больше верблюда». [↑](#footnote-ref-57)
58. В оригинале: «Перепелка в беях» (Примечание переводчика). [↑](#footnote-ref-58)
59. Названия блюд азербайджанской кухни. [↑](#footnote-ref-59)
60. В оригинале обыгрывается два различных смысла глагола «саймаг» – «считать» и «считаться». [↑](#footnote-ref-60)
61. Отставка. [↑](#footnote-ref-61)
62. Динмез (азерб.) – молчут. [↑](#footnote-ref-62)
63. Хабарчи (азерб.) – сплетник, ябеда. [↑](#footnote-ref-63)
64. Дюшпара – суп из мелких пельменей на бульоне. [↑](#footnote-ref-64)
65. Фигуральное выражение, переносный смысл: «никто». «Килим» – ковер без ворса. [↑](#footnote-ref-65)
66. «Сорок ступеней». [↑](#footnote-ref-66)
67. Хан Шушинский и Зульфи Адыгёзалов. [↑](#footnote-ref-67)
68. Гадир Рустамов, известный певец. [↑](#footnote-ref-68)
69. Хан гызы – дочь хана. Так в народе называют Хуршуд бану Натаван – знаменитую поэтессу, классика азербайджанской литературы, дочь последнего карабахского хана. [↑](#footnote-ref-69)
70. Уважаемые пассажиры просим вас сесть в автобус! (Тур.) [↑](#footnote-ref-70)
71. Подразумеваются курдские сепаратисты, занимающиеся террористической деятельностью. [↑](#footnote-ref-71)
72. Вапор (тур.) – пароход, судно. [↑](#footnote-ref-72)
73. Йонджа (азерб.) – клевер. [↑](#footnote-ref-73)
74. «Книга Деде Горгуда» – азербайджанский эпос, объявленный в 40-х годх антинародным и чуждым. [↑](#footnote-ref-74)
75. Р.Килисли, Ф.Кёпрюлю, О.Шаик – турецкие ученые-горгудоведы. [↑](#footnote-ref-75)
76. «Вещий отец Горгуд – книжник из рода Баят молвит (или «молвил»). [↑](#footnote-ref-76)
77. Томсен – датский тюрколог, впервые расшифровавший Орхоно-Енисейские письмена. [↑](#footnote-ref-77)
78. «Я даю вам комнату на двоих (обыгрываются слова «киши – мужчина. По-азербайджански. И лицо – по-турецки\_. [↑](#footnote-ref-78)
79. Эр (азерб.) – муж. Годжа – муж (по-турецки), а по-азербайджански – «старик». [↑](#footnote-ref-79)
80. Стамбульская хмарь, барыши, барышни… [↑](#footnote-ref-80)
81. Правила. Предписывающие прикрытие тела, головы. [↑](#footnote-ref-81)
82. «Наука о счастье» – трактат средневекового тюркского автора Юсифа Баласагунлу. [↑](#footnote-ref-82)
83. Выдающиеся писатели, поэты, общественные деятели, публицисты, идеологи начала ХХ века. [↑](#footnote-ref-83)
84. Счастливо оставаться (тур.) [↑](#footnote-ref-84)
85. До свидания (тур.) [↑](#footnote-ref-85)
86. «Прости Аллах». [↑](#footnote-ref-86)
87. Прибл.аналог – «Легкопалкин – Всепроспалкин». [↑](#footnote-ref-87)
88. Дословно:

    В мир я пешком пришел,

    Не во сне, а в явь пришел.

    Жизнь твердит: сто лет назад,

    А душа: недавно пришел. [↑](#footnote-ref-88)
89. «Мехметами» называют турецких солдат-новоброанцев. [↑](#footnote-ref-89)
90. Перевод лекции, прочитанной в Американском университете в Баку. [↑](#footnote-ref-90)